ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 5

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1856–1859 гг.

Весь Толстой в один клик

Лев Толстой

Полное собрание сочинений. Том 5. Произведения 1856–1859 гг.

«Библиотечный фонд»

1856-1859

Толстой Л. Н.

Полное собрание сочинений. Том 5. Произведения 1856–1859 гг. / Л. Н. Толстой — «Библиотечный фонд», 1856-1859 — (Весь Толстой в один клик)

© Толстой Л. Н., 1856-1859
© Библиотечный фонд, 1856-1859

Содержание

Лев Николаевич 8
Предисловие к электронному изданию 9
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 12
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ. 13
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ. 14
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1856—1859 гг. 16
ИЗ ЗАПИСОК КНЯЗЯ Д. НЕХЛЮДОВА. 16
АЛЬБЕРТ. 30
I. 30
II. 31
III. 33
IV. 34
V. 36
VI. 40
VII. 42
ТРИ СМЕРТИ. 46
I. 46
II. 48
III. 50
IV. 52
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ. 54
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 54
I. 54
II. 57
III. 62
IV. 67
V. 71
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 75
VI. 75
VII. 81
VIII. 87
IX. 92
ВАРИАНТЫ ИЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ РЕДАКЦИЙ 98
АЛЬБЕРТ. 98
*№ 1 (I ред.). 98
** № 2 (III ред.). 98
* № 3 (III ред.). 101
* № 4 (III ред.). 102
8. 103
9. 104
10. 105
11. 108
12. 110
ТРИ СМЕРТИ. 113
* № 1 113
* № 2 113

* № 3 113
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ. 114
* № 1 (I ред.). 114
* № 2 (I ред.) 114
* № 3 (I ред.). 117
* № 4 (I ред.). 117
* № 5 (I ред.). 119
* № 6 (I ред.). 120
* № 7 (1 ред.). 121
* № 8 (I ред.) 122
* № 9 (II ред.). 123
* № 10 (II ред.). 124
НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ (1856—1859) 125
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 125
* I. 125
* II. 129
* III. 143
[Первый отрывок.] 143
[Второй отрывок.] 144
[Третий отрывок.] 146
* IV. 147
* V. 148
** VI. 148
* VII. 153
** VIII. 154
СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ РАЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ 158
* I. 158
[А]198 158
[Б] 159
[В] 159
* II. 160
1. [Заметка о фермерстве.] 160
2. [Заметки к вопросу о порядке и условиях освобождения.] 161
3. Предложеніе крѣпостнымъ мужикамъ и дворовымъ сельца Ясной Поляны Тульской губерніи, Крапивенскаго уѣзда. 162
4. [Отношение к Министру Внутренних Дел С. С. Ланскому по поводу проекта освобождения крестьян.] 163
5. Докладная записка [Товарищу Министра Внутреннихъ Дѣлъ А. И. Левшину.] 165
6. [Проект условия с крестьянами Ясной Поляны и Грецовки.] 166
7. Дневникъ помѣщика. 166
* III. 173
** IV. 175
Глава I. 175

* V. 177
** VI. 181
КОММЕНТАРИИ 183
ИЗ ЗАПИСОК КНЯЗЯ Д. НЕХЛЮДОВА. 183
АЛЬБЕРТ. 190
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ. 190
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ И ГРАНОК, ОТНОСЯЩИХСЯ К «АЛЬБЕРТУ». 195
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ТЕКСТА ВСЕХ РЕДАКЦИЙ «АЛЬБЕРТА». 197
ТРИ СМЕРТИ. 201
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ. 204
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ. 204
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ «СЕМЕЙНОГО СЧАСТИЯ». 208
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ «СЕМЕЙНОГО СЧАСТИЯ» ПО РУКОПИСЯМ И ПО ПЕЧАТНОМУ ТЕКСТУ РОМАНА. 209
[НАЧАЛО ФАНТАСТИЧЕСКОГО РАССКАЗА.] 213
ОТРЫВОК ДНЕВНИКА 1857 ГОДА. 214
ОТЪЕЗЖЕЕ ПОЛЕ. 218
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ. 218
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ «ОТЪЕЗЖЕГО ПОЛЯ». 221
ЗАПИСКИ МУЖА. 222
ОТРЫВОК БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. 223
СКАЗКА О ТОМ, КАК ДРУГАЯ ДЕВОЧКА ВАРИНЬКА СКОРО ВЫРОСЛА БОЛЬШАЯ. 225
[СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ.] 226
КАК УМИРАЮТ РУССКИЕ СОЛДАТЫ (ТРЕВОГА). 227
[О РУССКОМ ВОЕННО-УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.] 228
ПИСАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОЕКТУ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЯСНОПОЛЯНСКИХ КРЕСТЬЯН. 229
1. [Заметка о фермерстве.] 231
2. [Заметки (А и Б) к вопросу о порядке и условиях освобождения.] 231
3. Предложение крепостным мужикам и дворовым сельца Ясной Поляны Тульской губернии, Крапивенского уезда. 232
4. Отношение к министру внутренних дел Ланскому по поводу проекта освобождения крестьян. 232
5. Докладная записка [товарищу министра внутренних дел А. М. Левшину]. 233
6. [Проект условий с крестьянами Ясной поляны и Грецовки.] 234
7. Дневник помещика. 234
[ПРОЕКТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ.] 238
IV. 241
V. 243
VI. 244
УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН. 247

СОДЕРЖАНИЕ 261
Иллюстрации 263

Лев Николаевич Толстой Полное собрание сочинений. Том 5. Произведения 1856—1859 гг.

Государственное издательство
«Художественная литература»
Москва – 1935

Электронное издание осуществлено в рамках краудсорсингового проекта «Весь Толстой в один клик»
Организаторы: Государственный музей Л. Н. Толстого
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Компания ABBYY

Подготовлено на основе электронной копии 5-го тома Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной Российской государственной библиотекой

Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам report@tolstoy.ru

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы ABBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные произведения* публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая

LÉON TOLSTOÏ

OEUVRES COMPLÈTES

SOUS LA RÉDACTION GÉNÉRALE
de V. TCHERTKOFF

AVEC LA COLLABORATION DU COMITÉ DE RÉDACTION:
K. CHOKHOR-TROTSKY, N. GOUDZY, N. GOUSSEFF, A. GROUSINSKY,
N. PIKSANOFF, N. RODIONOFF, P. SAKOULINE, V. SRESNEVSKY
A. TOLSTAÏA et M. TSIAVLOVSKY

SANCTIONNÉE PAR LA COMMISSION DE RÉDACTION D'ÉTAT:
V. BONTCH-BROUIÉVITCH, I. LOUPPOL et M. SAVELIEFF

PREMIÈRE SÉRIE
OEUVRES

TOME
5

ÉDITION D'ÉTAT
MOSCOU — 1935

Л. Н. ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

22
67

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
В. Г. ЧЕРТКОВА

ПРИ УЧАСТИИ РЕДАКТОРСКОГО КОМИТЕТА В СОСТАВЕ
А. Е. ГРУЗИНСКОГО, Н. К. ГУДЗИЯ, Н. Н. ГУСЕВА, Н. К. ПИКСАНОВА,
Н. С. РОДИОНОВА, П. Н. САКУЛИНА, В. И. СРЕЗНЕВСКОГО,
А. Л. ТОЛСТОЙ, М. А. ЦЯВЛОВСКОГО и К. С. ШОХОР-ТРОЦКОГО

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ
В СОСТАВЕ В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧА, Н. К. ЛУППОЛА
и М. А. САВЕЛЬЕВА

СЕРИЯ ПЕРВАЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМ
5

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА—1935

Перепечатка разрешается безвозмездно.
–
Reproduction libre pour tous les pays.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1856—1859 гг.

РЕДАКТОРЫ
Н. М. МЕНДЕЛЬСОН
В. Ф. САВОДНИК

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ.

В настоящий том входят произведения 1856—1859 годов.

Кроме известных произведений: «Из записок князя Д. Нехлюдова» («Люцерн»), «Альберт», «Три смерти» и «Семейное счастие», печатаемых по журнальным текстам, как единственным авторизованным, в этот том включены варианты к трем последним вещам, извлеченные из черновых рукописей Толстого, а также четыре произведения, опубликованные уже после его смерти: «Сказка о том, как другая девочка Варинька скоро выросла большая», «Как умирают Русские солдаты» («Тревога»), «Лето в деревне» и «Речь в Обществе Любителей Российской словесности».

Впервые печатаются в настоящем томе неоконченные и неотделанные произведения и наброски художественного содержания: «Начало фантастического рассказа», «Отъезжее поле», «Записки мужа», «Отрывок без заглавия», «Светлое Христово воскресенье»; писания, относящиеся к проекту освобождения яснополянских крестьян, в количестве семи номеров; один набросок публицистического содержания: «Записка о дворянстве»; заметка юридического содержания: «О русском военно-уголовном законодательстве» и, наконец, «Отрывок дневника 1857 года» (Путевые записки по Швейцарии) и «Проект по лесному хозяйству».

Произведения, появившиеся в печати при жизни Толстого, размещены в порядке их опубликования, остальные – в порядке их написания, поскольку они могут быть хронологически приурочены к определенному моменту.

Н. М. Мендельсон.

В. Ф. Саводник.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.

Тексты произведений, *печатавшихся при жизни* Л. Толстого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв и начертаний до-Гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Л. Толстого и лиц его круга (брычка, пожалуста).

При воспроизведении текстов, *не печатавшихся при жизни* Л. Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые, а также и черновые тексты), соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, дополняются в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это «ударение» не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся и это оговаривается в сноске.

На месте слов, неудобных в печати, ставится в двойных прямых скобках цифра, обозначающая число пропущенных редактором слов: [[1]].

Неполно написанные конечные буквы (как напр., крючок вниз, вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «аббревиатуры») типа «к-ый», вместо который, и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый, «т[акъ] к[акъ]» и т. п. лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова, в процессе беглого письма, для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?].

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 *неразобр.*] или: [2 *неразобр.*], где цыфры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-накрест и т. п., воспроизводятся *не* в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ломаных < > скобках; но в отдельных случаях допускается воспроизведение зачеркнутых слов в ломаных < > скобках в тексте, а не в сноске.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом. Дважды подчеркнутое – курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребления); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях – с оговоркой в сноске: *Абзац редактора*.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.

Обозначения: *, **, ***, ****, в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают: * – что печатается впервые, ** – что напечатано после смерти Л. Толстого, *** – что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и **** – что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.

Л. Н. ТОЛСТОЙ
1860 г.
Размер подлинника

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1856—1859 гг.

ИЗ ЗАПИСОК КНЯЗЯ Д. НЕХЛЮДОВА. ЛЮЦЕРН.

8 июля.

Вчера вечером я приехал в Люцерн и остановился в лучшей здешней гостиннице, Швейцергофе.

«Люцерн, старинный кантональный город, лежащий на берегу озера четырех кантонов, – говорит Murray, – одно из самых романтических местоположений Швейцарии; в нем скрещиваются три главные дороги; и только на час езды на пароходе находится гора Риги, с которой открывается один из самых великолепных видов в мире».

Справедливо или нет, другие *гиды* говорят то же, и потому путешественников всех наций, и в особенности англичан, в Люцерне – бездна.

Великолепный, пятиэтажный дом Швейцергофа построен недавно на набережной, над самым озером, на том самом месте, где в старину был деревянный, крытый, извилистый мост, с часовнями на углах и образами на стропилах. Теперь, благодаря огромному наезду англичан, их потребностям, их вкусу и их деньгам, старый мост сломали и на его месте сделали цокольную, прямую, как палка, набережную; на набережной построили прямые четвероугольные пятиэтажные дома; а перед домами в два ряда посадили липки, поставили подпорки, а между липками, как водится, зеленые лавочки. Это – гулянье; и тут взад и вперед ходят англичанки в швейцарских соломенных шляпах и англичане в прочных и удобных одеждах и радуются своему произведению. Может быть, что эти набережные и дома, и липки, и англичане – очень хороши где-нибудь, но только не здесь, среди этой странно величавой и вместе с тем невыразимо гармонической и мягкой природы.

Когда я вошел наверх в свою комнату и отворил окно на озеро, красота этой воды, этих гор и этого неба в первое мгновение буквально ослепила и потрясла меня. Я почувствовал внутреннее беспокойство и потребность выразить как-нибудь избыток чего-то, вдруг переполнившего мою душу. Мне захотелось в эту минуту обнять кого-нибудь, крепко обнять, защекотать, ущипнуть его, вообще сделать с ним и с собой что-нибудь необыкновенное.

Был седьмой час вечера. Целый день шел дождь, и теперь разгуливалось. Голубое, как горящая сера, озеро, с точками лодок и их пропадающими следами, неподвижно, гладко, как будто выпукло расстилалось перед окнами между разнообразными зелеными берегами, уходило вперед, сжимаясь между двумя громадными уступами, и, темнея, упиралось и исчезало в нагроможденных друг на друге долинах, горах, облаках и льдинах. На первом плане мокрые светло-зеленые разбегающиеся берега с тростником, лугами, садами и дачами; далее темно-зеленые поросшие уступы с развалинами замков; на дне скомканная бело-лиловая горная даль с причудливыми скалистыми и бело-матовыми снеговыми вершинами; и всё залитое нежной, прозрачной лазурью воздуха и освещенное прорвавшимися с разорванного неба жаркими лучами заката. Ни на озере, ни на горах, ни на небе ни одной цельной линии, ни одного цельного цвета, ни одного одинакового момента, везде движение, несимметричность, причудливость, бесконечная смесь и разнообразие теней и линий, и во всем спокойствие, мягкость, единство и необходимость прекрасного. И тут, среди неопределенной, запутанной свободной красоты, перед самым моим окном, глупо, фокусно торчала белая палка набережной, липки с подпорками и зеленые лавочки, – бедные, пошлые людские произведения, не утонувшие так, как дальние дачи и развалины, в общей гармонии красоты, а, напротив, грубо противоречащие

ей. Беспрестанно, невольно мой взгляд сталкивался с этой ужасно прямой линией набережной и мысленно хотел оттолкнуть, уничтожить ее, как черное пятно, которое сидит на носу под глазом; но набережная с гуляющими англичанами оставалась на месте, и я невольно старался найти точку зрения, с которой бы мне ее было не видно. Я выучился смотреть так и до обеда один сам с собою наслаждался тем неполным, но тем слаще томительным чувством, которое испытываешь при одиноком созерцании красоты природы.

В половине восьмого меня позвали обедать. В большой великолепно убранной комнате, в нижнем этаже, были накрыты два длинные стола, по крайней мере, человек на сто. Минуты три продолжалось молчаливое движение сбора гостей: шуршанье женских платьев, легкие шаги, тихие переговоры с учтивейшими и изящнейшими кельнерами; и все приборы были заняты мужчинами и дамами, весьма красиво, даже богато и вообще необыкновенно чистоплотно одетыми. Как вообще в Швейцарии, большая часть гостей – англичане, и потому главные черты общего стола – строгое, законом признанное приличие, несообщительность, основанные не на гордости, но на отсутствии потребности сближения, и одинокое довольство в удобном и приятном удовлетворении своих потребностей. Со всех сторон блестят белейшие кружева, белейшие воротнички, белейшие настоящие и вставные зубы, белейшие лица и руки. Но лица, из которых многие очень красивы, выражают только сознание собственного благосостояния и совершенное отсутствие внимания ко всему окружающему, что́ не прямо относится к собственной особе, и белейшие руки с перстнями и в митенях движутся только для поправления воротничков, разрезывания говядины и наливания вина в стаканы: никакое душевное волнение не отражается в их движениях. Семейства изредка тихим голосом перекидываются словами о приятном вкусе такого-то кушанья или вина и красивом виде с горы Риги. Одинокие путешественники и путешественницы одиноко, молча, сидят рядом, даже не глядя друг на друга. Если изредка из этих ста человек два разговаривают между собою, то наверно о погоде и восхождении на гору Риги. Ножи и вилки чуть слышно двигаются по тарелкам, кушаньев берется понемногу, горошек и овощи едятся непременно вилкой; кельнеры, невольно подчиняясь общей молчаливости, шопотом спрашивают о том, какого вина прикажете? На таких обедах мне всегда становится тяжело, неприятно и под конец грустно. Мне всё кажется, что я виноват в чем-нибудь, что я наказан, как в детстве, когда за шалость меня сажали на стул и иронически говорили: «отдохни, мой любезный!» в то время как в жилах бьется молодая кровь и в другой комнате слышны веселые крики братьев. Я прежде старался взбунтоваться против этого чувства задавленности, которое испытывал на таких обедах, но тщетно; все эти мертвые лица имеют на меня неотразимое влияние, и я становлюсь таким же мертвым. Я ничего не хочу, не думаю, даже не наблюдаю. Сначала я пробовал заговаривать с соседями; но, кроме фраз, которые очевидно повторялись в стотысячный раз на том же месте и в стотысячный раз тем же лицом, я не получал других ответов. И ведь все эти люди не глупые же и не бесчувственные, а наверное у многих из этих замерзших людей происходит такая же внутренняя жизнь, как и во мне, у многих и гораздо сложнее и интереснее. Так зачем же они лишают себя одного из лучших удовольствий жизни, наслаждения друг другом, наслаждения человеком?

То ли дело бывало в нашем парижском пансионе, где мы, двадцать человек самых разнообразных наций, профессий и характеров, под влиянием французской общительности, сходились к общему столу, как на забаву. Там сейчас же, с одного конца стола на другой, разговор, пересыпанный шуточками и каламбурами, хотя часто и на ломаном языке, становился общим. Там всякий, не заботясь о том, как выйдет, болтал, что приходило в голову; там у нас были свой философ, свой спорщик, свой bel esprit,[1] свой пластрон, всё было общее. Там, тотчас после обеда, мы отодвигали стол и в такт ли, не в такт ли принимались по пыльному ковру танцовать

[1] [остроумец,]

la polka[2] до самого вечера. Там мы были хоть и кокетливые, не очень умные и почтенные люди, но мы были люди. И испанская графиня с романическими приключениями, и итальянский аббат, декламировавший Божественную Комедию после обеда, и американский доктор, имевший вход в Тюльери, и юный драматург с длинными волосами, и пьянистка, сочинившая, по собственным словам, лучшую польку в мире, и несчастная красавица-вдова с тремя перстнями на каждом пальце, – мы все по-человечески, хотя поверхностно, но приязненно относились друг к другу и унесли друг от друга кто легкие, а кто искренние сердечные воспоминания. За английскими же table d'hôt'ами[3] я часто думаю, глядя на все эти кружева, ленты, перстни, помаженные волосы и шелковые платья, сколько бы живых женщин были счастливы и сделали бы других счастливыми этими нарядами. Странно подумать, сколько тут друзей и любовников, самых счастливых друзей и любовников, сидят рядом, может быть, не зная этого. И Бог знает, отчего, никогда не узнают этого и никогда не дадут друг другу того счастья, которое так легко могут дать и которого им так хочется.

Мне сделалось грустно, как всегда после таких обедов, и, не доев десерта, в самом невеселом расположении духа я пошел шляться по городу. Узенькие, грязные улицы без освещения, запираемые лавки, встречи с пьяными работниками и женщинами, идущими за водой, или в шляпках, по стенам, оглядываясь, шмыгающими по переулкам, не только не разогнали, но еще усилили мое грустное расположение духа. В улицах ужъ было совсем темно, когда я, не оглядываясь кругом себя, без всякой мысли в голове, пошел к дому, надеясь сном избавиться от мрачного настроения духа. Мне становилось ужасно душевно холодно, одиноко и тяжко, как это случается иногда без видимой причины при переездах на новое место.

Я, глядя только себе под ноги, шел по набережной к Швейцергофу, как вдруг меня поразили звуки странной, но чрезвычайно приятной и милой музыки. Эти звуки мгновенно живительно подействовали на меня. Как будто яркий веселый свет проник в мою душу. Мне стало хорошо, весело. Заснувшее внимание мое снова устремилось на все окружающие предметы. И красота ночи и озера, к которым я прежде был равнодушен, вдруг, как новость, отрадно поразили меня. Я невольно в одно мгновение успел заметить и пасмурное, серыми кусками на темной синеве, небо, освещенное поднимающимся месяцем, и темно-зеленое гладкое озеро с отражающимися в нем огоньками, и вдали мглистые горы, и крики лягушек из Фрёшенбурга, и росистый свежий свист перепелов с того берега. Прямо же передо мной, с того места, с которого слышались звуки и на которое преимущественно было устремлено мое внимание, я увидал в полумраке на средине улицы полукругом стеснившуюся толпу народа, а перед толпой, в некотором расстоянии, крошечного человека в черной одежде. Сзади толпы и человечка, на темном сером и синем разорванном небе, стройно отделялось несколько черных раин сада и величаво возвышались по обеим сторонам старинного собора два строгие шпица башен.

Я подходил ближе, звуки становились яснее. Я разбирал ясно дальние, сладко колеблющиеся в вечернем воздухе полные аккорды гитары и несколько голосов, которые, перебивая друг друга, не пели тему, а кое-где, выпевая самые выступающие места, давали ее чувствовать. Тема была что-то в роде милой и грациозной мазурки. Голоса казались то близки, то далеки, то слышался тенор, то бас, то горловая фистула с воркующими тирольскими переливами. Это была не песня, а легкий мастерской эскиз песни. Я не мог понять, что это такое; но это было прекрасно. Эти сладострастные слабые аккорды гитары, эта милая, легкая мелодия и эта одинокая фигурка черного человечка среди фантастической обстановки темного озера, просвечивающей луны и молчаливо возвышающихся двух громадных шпицев башен и черных раин сада, всё было странно, но невыразимо прекрасно, или показалось мне таким.

---

[2] [польку]

[3] [общими обедами]

Все спутанные, невольные впечатления жизни вдруг получили для меня значение и прелесть. В душе моей как будто распустился свежий благоухающий цветок. Вместо усталости, рассеянья, равнодушия ко всему на свете, которые я испытывал за минуту перед этим, я вдруг почувствовал потребность любви, полноту надежды и беспричинную радость жизни. Чего хотеть, чего желать? сказалось мне невольно, вот она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще надо! Всё твое, всё благо…

Я подошел ближе. Маленький человечек был, как казалось, странствующий тиролец. Он стоял перед окнами гостинницы, выставив ножку, закинув кверху голову, и, бренча на гитаре, пел на разные голоса свою грациозную песню. Я тотчас же почувствовал нежность к этому человеку и благодарность за тот переворот, который он произвел во мне. Певец, сколько я мог рассмотреть, был одет в старенький черный сюртук, волоса у него были черные, короткие и на голове была самая мещанская простая старенькая фуражка. В одежде его ничего не было артистического, но лихая, детски веселая поза и движения, с его крошечным ростом составляли трогательное и вместе забавное зрелище. В подъезде, окнах и балконах великолепно освещенной гостинницы стояли блестящие нарядами, широкоюбные барыни, господа с белейшими воротниками. Швейцар и лакей в золотошитых ливреях, на улице, в полукруге толпы и дальше по бульвару, между липками, собрались и остановились изящно одетые кельнеры, повара в белейших колпаках и куртках, обнявшиеся девицы и гуляющие. Все, казалось, испытывали то же самое чувство, которое испытывал и я. Все молча стояли вокруг певца и внимательно слушали. Всё было тихо, только в промежутках песни, где-то вдалеке, равномерно по воде, долетал звук молота, и из Фрёшенбурга рассыпчатой трелью неслись голоса лягушек, перебиваемые влажным, однозвучным свистом перепелов.

Маленький человечек в темноте среди улицы заливался, как соловей, куплет за куплетом и песня за песней. Не смотря на то, что я подошел вплоть к нему, его пенье продолжало доставлять мне большое удовольствие. Небольшой голос его был чрезвычайно приятен, нежность же, вкус и чувство меры, с которыми он владел этим голосом, были необыкновенны и показывали в нем огромное природное дарованье. Припев каждого куплета он всякий раз пел различно, и видно было, что все эти грациозные изменения свободно, мгновенно приходили ему.

В толпе, и наверху в Швейцергофе, и внизу на бульваре слышался часто одобрительный шопот и царствовало почтительное молчание. На балконах и в окнах всё более и более прибавлялось нарядных, живописно в свете огней дома облокотившихся мужчин и женщин. Гуляющие останавливались, и в тени на набережной повсюду кучками около липок стояли мужчины и женщины. Около меня, куря сигары, стояли, несколько отделившись от всей толпы, аристократические лакей и повар. Повар сильно чувствовал прелесть музыки и при каждой высокой фистульной ноте восторженно недоумевающе подмигивал всей головой лакею и толкал его локтем с выражением, говорившим: каково поет, а? Лакей, по распустившейся улыбке которого я замечал всё им испытываемое удовольствие, на толчки повара отвечал пожиманием плеч, показывавшим, что его удивить довольно трудно и что он слыхал многое получше этого.

В промежутке песни, когда певец прокашливался, я спросил у лакея, кто он такой и часто ли сюда приходит.

– Да в лето раза два приходит, – отвечал лакей, – он из Арговии. Так, нищенствует.

– А что, много их таких ходит? – спросил я.

– Да, да, – отвечал лакей, не поняв сразу того, о чем я спрашивал, но, разобрав ужъ потом мой вопрос, прибавил: – о нет! Здесь я только одного его видаю. Больше нету.

В это время маленький человечек кончил первую песню, бойко перевернул гитару и сказал что-то про себя на своем немецком patois,[4] чего я не мог понять, но что произвело хохот в окружающей толпе.

– Что это он говорит? – спросил я.

– Говорит, что горло пересохло, выпил бы вина, – перевел мне лакей, стоявший подле меня.

– А что, он верно любит пить?

– Да эти все люди такие, – отвечал лакей, улыбнувшись и махнув на него рукою.

Певец снял фуражку и, размахнув гитарой, приблизился к дому. Закинув голову, он обратился к господам, стоявшим у окон и на балконах: «Messieurs et mesdames, – сказал он полуитальянским, полунемецким акцентом и с теми интонациями, с которыми фокусники обращаются к публике, – si vous croyez que je gagne quelque chosse, vous vous trompez; je ne suis qu'un bauvre tiaple».[5] Он остановился, помолчал немного; но так как никто ему ничего не дал, он снова вскинул гитару и сказал: «A présent, messieurs et mesdames, je vous chanterai l'air du Righi».[6] Наверху публика молчала, но продолжала стоять в ожидании следующей песни, внизу в толпе засмеялись, должно быть, тому, что он так странно выражался, и тому, что ему ничего не дали. Я дал ему несколько сантимов, он ловко перекинул их из руки в руку, засунул в карман жилета и, надев фуражку, снова начал петь грациозную милую тирольскую песенку, которую он называл l'air du Righi. Эта песня, которую он оставлял для заключения, была еще лучше всех прежних, и со всех сторон в увеличившейся толпе слышались звуки одобрения. Он кончил. Снова он размахнул гитарой, сиял фуражку, выставил ее вперед себя, на два шага приблизился к окнам и снова сказал свою непонятную фразу: «Messieurs et mesdames, si vous croyez que je gagne quelque chosse», которую он, видно, считал очень ловкой и остроумной, но в голосе и движениях его я заметил теперь некоторую нерешительность и детскую робость, которые были особенно поразительны с его маленьким ростом. Элегантная публика всё так же живописно в свете огней стояла на балконах и в окнах, блестя богатыми одеждами; некоторые умеренно-приличным голосом разговаривали между собой, очевидно, про певца, который с вытянутой рукой стоял перед ними, другие внимательно, с любопытством смотрели вниз на эту маленькую черную фигурку, на одном балконе послышался звучный и веселый смех молодой девушки. В толпе внизу громче и громче слышался говор и посмеиванье. Певец в третий раз повторил свою фразу, но еще слабейшим голосом, и даже не докончил ее, и снова вытянул руку с фуражкой, но тотчас же и опустил ее. И во второй раз из этих сотни блестяще-одетых людей, столпившихся слушать его, ни один не бросил ему *копейки*. Толпа безжалостно захохотала. Маленький певец, как мне показалось, сделался еще меньше, взял в другую руку гитару, поднял над головой фуражку и сказал: «Messieurs et mesdames, je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit»,[7] и надел фуражку. Толпа загоготала от радостного смеха. С балконов стали понемногу скрываться красивые мужчины и дамы, спокойно разговаривая между собою. На бульваре снова возобновилось гулянье. Молчаливая во время пения, улица снова оживилась, несколько человек только, не подходя к нему, смотрели издалека на певца и смеялись. Я слышал, как маленький человек что-то проговорил себе под нос, повернулся и, как будто сделавшись еще меньше, скорыми шагами пошел к городу. Веселые гуляки, смотревшие на него, всё так же в некотором расстоянии следовали за ним и смеялись…

Я совсем растерялся, не понимал, что это всё значит и, стоя на одном месте, бессмысленно смотрел в темноту на удалявшегося крошечного человека, который, растягивая большие

---

[4] [местное, провинциальное наречие,]

[5] [«Милостивые государи и государыни, ежели вы думаете, что я что-нибудь зарабатываю, то вы ошибаетесь; я бедный малый».]

[6] [«Теперь, милостивые государи и государыни, я спою вам песенку Риги».]

[7] [«Милостивые государи и государыни, благодарю вас и желаю вам спокойной ночи».]

шаги, быстро шел к городу, и на смеющихся гуляк, которые следовали за ним. Мне сделалось больно, горько и главное стыдно за маленького человека, за толпу, за себя, как будто бы я просил денег, мне ничего не дали и надо мною смеялись. Я, тоже не оглядываясь, с защемленным сердцем, скорыми шагами пошел к себе домой на крыльцо Швейцергофа. Я не отдавал себе еще отчета в том, что́ испытывал; только что-то тяжелое, неразрешившееся, наполняло мне душу и давило меня.

На великолепном, освещенном подъезде мне встретился учтиво сторонившийся швейцар и английское семейство. Плотный, красивый и высокий мужчина с черными английскими бакенбардами, в черной шляпе и с пледом на руке, в которой он держал богатую трость, лениво, самоуверенно шел под руку с дамой, в диком шелковом платье, в чепце с блестящими лентами и прелестнейших кружевах. Рядом с ними шла хорошенькая, свеженькая барышня, в грациозной швейцарской шляпе с пером, à la mousquetaire, из-под которой вокруг ее беленького личика падали мягкие, длинные, светло-русые букли. Впереди подпрыгивала десятилетняя румяная девочка, с полными, белыми коленками, видневшимися из-под тончайших кружев.

– Прелестная ночь, – сказала дама сладким, счастливым голосом, в то время как я проходил.

– Ohe! – промычал лениво англичанин, которому, видимо, было так хорошо жить на свете, что и говорить не хотелось. И всем им, казалось, так было спокойно, удобно, чисто и легко жить на свете, такое в их движениях и лицах выражалось равнодушие ко всякой чужой жизни, и такая уверенность в том, что швейцар им посторонится и поклонится, и что, воротясь, они найдут чистую, покойную постель и комнаты, и что всё это должно быть, и что на всё это имеют полное право, – что я вдруг невольно противопоставил им странствующего певца, который, усталый, может быть, голодный, с стыдом убегал теперь от смеющейся толпы, – понял, что́ таким тяжелым камнем давило мне сердце, и почувствовал невыразимую злобу на этих людей. Я два раза прошел туда и назад мимо англичанина, с невыразимым наслаждением оба раза, не сторонись ему, толкнул его локтем и, спустившись с подъезда, побежал в темноте по направлению к городу, куда скрылся маленький человек.

Догнав трех человек, шедших вместе, я спросил у них, где певец; они, смеясь, указали мне его впереди. Он шел один, скорыми шагами, никто не приближался к нему, он всё что-то, как мне показалось, сердито бормотал себе под нос. Я поровнялся с ним и предложил ему пойти куда-нибудь вместе выпить бутылку вина. Он шел всё так же скоро и недовольно оглянулся на меня; но, разобрав в чем дело, остановился.

– Что жь, я не откажусь, ежели вы так добры, – сказал он. – Вот тут есть маленький кафе, туда зайти можно – простенькое, – прибавил он, указывая на распивную лавочку, которая была еще отворена.

Его слово: простенькое, невольно навело меня на мысль не итти в простенькое кафе, а итти в Швейцергоф, туда, где были те, которые слушали его. Несмотря на то, что он с робким волнением несколько раз отказывался от Швейцергофа, говоря, что там слишком парадно, я настоял на своем, и он, притворяясь уже, что нисколько не смущен, весело размахивая гитарой, пошел со мной назад по набережной. Несколько праздных гуляк, как только я подошел к певцу, пододвинулись, прислушались к тому, что я говорил, и теперь, рассуждая между собой, пошли за нами до самого подъезда, ожидая верно от тирольца еще какого-нибудь представления.

Я спросил бутылку вина у кельнера, который встретился мне в сенях. Кельнер, улыбаясь, посмотрел на нас и, ничего не ответив, пробежал мимо. Старший кельнер, к которому я обратился с той же просьбой, серьезно выслушал меня и, оглядев с ног до головы робкую, маленькую фигуру певца, строго сказал швейцару, чтоб нас провели в залу налево. Зала налево была распивная комната для простого народа. В углу этой комнаты горбатая служанка мыла посуду, и вся мебель состояла в деревянных голых столах и лавках. Кельнер, который пришел

служить нам, поглядывая на нас с кроткой насмешливой улыбкой и засунув руки в карманы, переговаривался о чем-то с горбатой судомойкой. Он видимо старался дать нам заметить, что, чувствуя себя по общественному положению и достоинствам неизмеримо выше певца, ему не только не обидно, но истинно забавно служить нам.

– Простого вина прикажете? – сказал он с знающим видом, подмигивая мне на моего собеседника и из руки в руку перекидывая салфетку.

– Шампанского и самого лучшего, – сказал я, стараясь принять самый гордый и величественный вид. Но ни шампанское, ни мой будто бы гордый и величественный вид не подействовали на лакея; он усмехнулся, постоял немножко, глядя на нас, не торопясь посмотрел на золотые часы и тихими шагами, как бы прогуливаясь, вышел из комнаты. Скоро он возвратился с вином и еще двумя лакеями. Два из них сели около судомойки и с веселою внимательностью и кроткой улыбкой на лицах любовались на нас, как любуются родители на милых детей, когда они мило играют. Одна только горбатая судомойка, казалось, не насмешливо, а с участием смотрела на нас. Хотя мне было и очень тяжело и неловко под огнем этих лакейских глаз беседовать с певцом и угощать его, я старался делать свое дело сколь возможно независимо. При огне я его рассмотрел лучше. Это был крошечный, пропорционально сложенный, жилистый человек, почти карлик, с щетинистыми черными волосами, всегда плачущими большими черными глазами, лишенными ресниц, и чрезвычайно приятным, умильно сложенным ротиком. У него были маленькие бакенбарды, волоса были недлинны, одежда была самая простая и бедная. Он был нечист, оборван, загорел и вообще имел вид трудового человека. Он скорей был похож на бедного торговца, чем на артиста. Только в постоянно влажных, блестящих глазах и собранном ротике было что-то оригинальное и трогательное. На вид ему можно было дать от двадцати-пяти до сорока лет; действительно же ему было тридцать восемь.

Вот что́ он с добродушной готовностью и очевидной искренностью рассказал про свою жизнь. Он из Арговии. В детстве еще он потерял отца и мать, других родных у него нет. Состояния он никогда не имел никакого. Он обучался столярному мастерству, но двадцать два года тому назад у него сделался костоед в руке, лишивший его возможности работать. Он с детства имел охоту к пенью и стал петь. Иностранцы давали ему изредка деньги. Он сделал из этого профессию, купил гитару, и вот восьмнадцатый год странствует по Швейцарии и Италии, распевая перед гостинницами. Весь его багаж – гитара и кошелек, в котором у него теперь было только полтора франка, которые он должен проспать и проесть нынче же вечером. Он каждый год, ужь восьмнадцать раз, проходит все лучшие, наиболее посещаемые места Швейцарии: Цюрих, Люцерн, Интерлакен, Шамуни и т. д.; через St.-Bernard проходит в Италию и возвращается через St.-Gotard или через Савойю. Теперь ему тяжело становится ходить, потому что от простуды он чувствует, что боль в ногах, которую он называет глидерзухт, с каждым годом усиливается, и что глаза и голос его становятся слабее. Несмотря на это, он теперь отправляется в Интерлакен, Aix-les-Bains и, через малый St.-Bernard, в Италию, которую он особенно любит; вообще, как кажется, он очень доволен своей жизнью. Когда я спросил у него, зачем он возвращается домой, есть ли у него там родные или дом и земля, ротик его, как будто на сборках, собрался в веселую улыбочку, и он отвечал мне:

– Oui, le sucre est bon, il est doux pour les enfants![8] – и подмигнул на лакеев.

Я ничего не понял, но в лакейской группе засмеялись.

– Ничего нет, а то разве я бы стал ходить так, – объяснил он мне, – а прихожу домой, потому что всё-таки как-то тянет к себе на родину.

И он еще раз с хитро-самодовольной улыбкой повторил фразу: «oui, le sucre est bon», и добродушно рассмеялся. Лакеи очень были довольны и хохотали, одна горбатая судомойка большими, добрыми глазами серьезно смотрела на маленького человечка и подняла ему шапку,

[8] [Да, сахар хорош, он приятен для детей!]

которую он, во время разговора, уронил с лавки. Я замечал, что странствующие певцы, акробаты, даже фокусники любят называть себя артистами, и потому несколько раз намекал своему собеседнику на то, что он артист, но он вовсе не признавал за собой этого качества, а весьма просто, как на средство к жизни, смотрел на свое дело. Когда я спросил его, не сам ли он сочиняет песни, которые поет, он удивился такому странному вопросу и отвечал, что куда ему, это всё старинные тирольские песни.

– А как же песня Риги, я думаю, не старинная? – сказал я.

– Да, это лет пятнадцать тому назад сочинена. Был один немец в Базеле, умнейший был человек, это он сочинил ее. Отличная песня! Это, видите, он для путешественников сочинил.

И он начал мне, переводя по-французски, рассказывать слова песни Риги, которая видно ему очень нравилась:

Коли хочешь итти на Риги,
До Вегиса не нужно башмаков
(Потому что на пароходе едут),
А от Вегиса возьми большую палку,
Да еще под руку возьми девицу,
Да зайди выпить стаканчик вина.
Только пей не слишком много,
Потому что тот, кто хочет пить,
Должен заслужить прежде…

– О, отличная песня! – заключил он.

Лакеи находили, вероятно, эту песню весьма хорошей, потому что приблизились к нам.

– Ну, а музыку кто же сочинял? – спросил я.

– Да никто, это так, знаете, чтобы петь для иностранцев, надо что-нибудь новенькое.

Когда нам принесли льду, и я налил моему собеседнику стакан шампанского, ему, видимо, стало неловко, и он, оглядываясь на лакеев, поворачивался на своей лавке. Мы чокнулись за здоровье артистов; он отпил полстакана и нашел нужным задуматься и глубокомысленно повести бровями.

– Давно я не пил такого вина, je ne vous dis que ça.[9] В Италии вино d'Asti хорошо, но это еще лучше. Ах, Италия! славно там быть! – прибавил он.

– Да, там умеют ценить музыку и артистов, – сказал я, желая навести его на вечернюю неудачу перед Швейцергофом.

– Нет, – отвечал он, – там насчет музыки я никому не могу удовольствия доставить. Итальянцы сами музыканты, каких нет на всем свете; но я только насчет тирольских песен. Это им всё-таки новость.

– Что жь, там щедрее господа? – продолжал я, желая его заставить разделить мою злобу на обитателей Швейцергофа. – Там не случится так, как здесь, чтобы из огромного отеля, где богачи живут, сто человек бы слушали артиста и ничего бы ему не дали…

Мой вопрос подействовал совсем не так, как я ожидал. Он и не думал негодовать на них; напротив, в моем замечании он видел упрек своему таланту, который не вызвал награды, и старался оправдаться передо мной.

– Не всякий раз много получишь, – отвечал он. – Иногда и голос пропадет, устанешь, ведь я нынче девять часов прошел и пел целый день почти. Оно трудно. А важные господа аристократы, им иногда и не хочется слушать тирольские песни.

– Всё-таки, как же ничего не дать? – повторил я.

[9] [я только это скажу вам.]

Он не понял моего замечания.

– Не то, – сказал он: – а здесь главное on est très serré pour la police,[10] вот что. Здесь по этим республиканским законам вам не позволяют петь, а в Италии вы можете ходить сколько хотите, никто вам слова не скажет. Здесь ежели захотят вам позволить, то позволят, а не захотят, то вас в тюрьму посадить могут.

– Как, неужели?

– Да. Ежели вам раз заметят, а вы будете еще петь, вас могут в тюрьму посадить. Я ужь просидел три месяца, – сказал он, улыбаясь, как будто это было одно из самых приятных его воспоминаний.

– Ах, это ужасно! – сказал я. – За что же?

– Это так у них по новым законам республики, – продолжал он, одушевляясь. – Они этого не хотят рассудить, что надо, чтобы и бедняк жил как-нибудь. Ежели бы я был не калека, я бы работал. А что я пою, так разве я кому-нибудь вред этим делаю. Чтó же это такое! богатым жить можно, как хотят, a un bauvre tiaple,[11] как я, ужь и жить не может. Чтó жь это за законы республики? Коли так, то мы не хотим республики, не так ли, милостивый государь? мы не хотим республики, а мы хотим… мы хотим просто… мы хотим… – он замялся немного – мы хотим натуральные законы.

Я подлил ему еще в стакан.

– Вы не пьете, – сказал я ему.

Он взял в руку стакан и поклонился мне.

– Я знаю, что вы хотите, – сказал он, прищуривая глаз и грозя мне пальцем: – вы хотите подпоить меня, посмотреть, чтó из меня будет; но нет, это вам не удастся.

– Зачем же мне вас напоить, – сказал я: – я только желал бы вам сделать удовольствие.

Ему, верно, жалко стало, что он обидел меня, дурно объяснив мое намерение, он смутился, привстал и пожал меня за локоть.

– Нет, нет, – сказал он, с умоляющим выражением глядя на меня своими влажными глазами, – я так только шучу.

И вслед за этим он произнес какую-то ужасно запутанную, хитрую фразу, долженствовавшую означать, что я всё-таки добрый малый.

– Je ne vous dis que ça![12] – заключил он.

Таким образом мы продолжали пить и беседовать с певцом, а лакеи продолжали, не стесняясь, любоваться нами и, кажется, подтрунивать. Несмотря на интерес моего разговора, я не мог не замечать их и, признаюсь, сердился всё больше и больше. Один из них привстал, подошел к маленькому человечку и, глядя ему в маковку, стал улыбаться. У меня ужь был готовый запас злобы на обитателей Швейцергофа, который я не успел еще сорвать ни на ком, и теперь, признаюсь, эта лакейская публика так и подмывала меня. Швейцар, не снимая фуражки, вошел в комнату и, облокотившись на стол, сел подле меня. Это последнее обстоятельство, задев мое самолюбие и тщеславие, окончательно взорвало меня и дало исход той давившей злобе, которая весь вечер собиралась во мне. Зачем у подъезда, когда я один, он мне униженно кланяется, а теперь, потому что я сижу с странствующим певцом, он грубо рассаживается рядом со мной? Я совсем озлился той кипящей злобой негодования, которую я люблю в себе, возбуждаю даже, когда на меня находит, потому что она успокоительно действует на меня и дает мне хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергию и силу всех физических и моральных способностей.

Я вскочил с места.

---

[10] [много притеснений со стороны полиции,]

[11] [бедный малый,]

[12] [Я только это скажу вам!]

– Чему вы смеетесь? – закричал я на лакея, чувствуя, как лицо мое бледнеет и губы невольно подергиваются.

– Я не смеюсь, я так, – отвечал лакей, отступая от меня.

– Нет, вы смеетесь над этим господином. И какое право вы имеете тут быть и сидеть здесь, когда тут гости. Не сметь сидеть! – закричал я.

Швейцар, ворча что-то, встал и отодвинулся к двери.

– Какое вы имеете право смеяться над этим господином и сидеть с ним рядом, когда он гость, а вы лакей? Отчего вы не смеялись надо мной нынче за обедом и не садились со мной рядом? От того, что он бедно одет и поет на улице? от этого; а на мне хорошее платье. Он беден, но в тысячу раз лучше вас, в этом я уверен. Потому, что он никого не оскорбил, а вы оскорбляете его.

– Да я ничего, что вы, – робко отвечал мой враг лакей. – Разве я мешаю ему сидеть.

Лакей не понимал меня, и моя немецкая речь пропадала даром. Грубый швейцар вступился было за лакея, но я напал на него так стремительно, что швейцар притворился, что тоже не понимает меня, и махнул рукой. Горбатая судомойка, заметив ли мое разгоряченное состояние и боясь скандалу, или разделяя мое мнение, приняла мою сторону и, стараясь стать между мной и швейцаром, уговаривала его молчать, говоря, что я прав, а меня просила успокоиться. «Der Herr hat Recht; Sie haben Recht»,[13] твердила она. Певец представлял самое жалкое, испуганное лицо и, видимо не понимая, из чего я горячусь и чего я хочу, просил меня уйти поскорее отсюда. Но во мне всё больше и больше разгоралась злобная словоохотливость. Я всё припомнил: и толпу, которая смеялась над ним, и слушателей, ничего не давших ему, и ни за что на свете не хотел успокоиться. Я думаю, что если бы кельнеры и швейцар не были так уклончивы, я бы с наслаждением подрался с ними, или палкой по голове прибил бы беззащитную английскую барышню. Если бы в эту минуту я был в Севастополе, я бы с наслаждением бросился колоть и рубить в английскую траншею.

– И отчего вы провели меня с этим господином в эту, а не в ту залу? А? – допрашивал я швейцара, ухватив его за руку, с тем, чтобы он не ушел от меня. – Какое вы имели право по виду решать, что этот господин должен быть в этой, а не в той зале? Разве, кто платит, не все равны в гостинницах? Не только в республике, но во всем мире. Паршивая ваша республика!… Вот оно равенство. Англичан вы бы не смели провести в эту комнату, тех самых англичан, которые даром слушали этого господина, то есть украли у него каждый по нескольку сантимов, которые должны были дать ему. Как вы смели указать эту залу?

– Та зала заперта, – отвечал швейцар.

– Нет, – закричал я, – неправда, не заперта зала.

– Так вы лучше знаете.

– Знаю, знаю, что вы лжете.

Швейцар повернулся плечом прочь от меня.

– Э! что говорить! – проворчал он.

– Нет, не «что говорить», – закричал я, – а ведите меня сию минуту в залу.

Несмотря на увещанья горбуньи и просьбы певца итти лучше по домам, я потребовал обер-кельнера и пошел в залу, вместе с моим собеседником. Обер-кельнер, услыхав мой озлобленный голос и увидав мое взволнованное лицо, не стал спорить и с презрительной учтивостью сказал, что я могу итти, куда мне угодно. Я не мог доказать швейцару его лжи, потому что он скрылся еще прежде, чем я вошел в залу.

Зала была действительно отперта, освещена, и на одном из столов сидели ужиная англичанин с дамой. Несмотря на то, что нам указывали особый стол, я с грязным певцом подсел к самому англичанину и велел сюда подать нам неконченную бутылку.

---

[13] [Господин прав; вы правы,]

Англичане сначала удивленно, потом озлобленно посмотрели на маленького человечка, который ни жив, ни мертв сидел подле меня; они что-то сказали между собой, она оттолкнула тарелку, зашумела шолковым платьем, и оба скрылись. За стеклянными дверьми я видел, как англичанин что-то озлобленно говорил кельнеру, беспрестанно указывая рукой по нашему направлению. Кельнер высунулся в дверь и взглянул в нее. Я с радостью ожидал, что придут выводить нас, и можно будет наконец вылить на них всё свое негодование. Но, к счастью, хотя это тогда мне было неприятно, нас оставили в покое.

Певец, прежде отказывавшийся от вина, теперь торопливо допил всё, что оставалось в бутылке, с тем чтобы только поскорей выбраться отсюда. Однако он с чувством, как мне показалось, отблагодарил меня за угощенье. Плачущие глаза его сделались еще более плачущими и блестящими, и он сказал мне самую странную, запутанную фразу благодарности. Но всё-таки эта фраза, в которой он говорил, что ежели бы все так уважали артистов, как я, то ему было бы хорошо, и что он желает мне всякого счастия, была мне очень приятна. Мы вместе с ним вышли в сени. Тут стояли лакеи и мой враг швейцар, кажется, жаловавшийся им на меня. Все они, кажется, смотрели на меня, как на умалишенного. Я дал маленькому человечку поровняться со всей этой публикой и тут со всей почтительностью, которую только в состоянии выразить в своей особе, я снял шляпу и пожал ему руку с закостенелым отсохшим пальцем. Лакеи сделали, как будто не обращают на меня ни малейшего внимания. Только один из них засмеялся сардоническим смехом.

Когда певец, раскланиваясь, скрылся в темноте, я пошел к себе наверх, желая заспать все эти впечатления и глупую детскую злобу, которая так неожиданно нашла на меня. Но, чувствуя себя слишком взволнованным для сна, я опять пошел на улицу с тем, чтобы ходить до тех пор, пока успокоюсь и, признаюсь, кроме того, в смутной надежде, что найдется случай сцепиться с швейцаром, лакеем или англичанином и доказать им всю их жестокость и главное несправедливость. Но, кроме швейцара, который, увидав меня, повернулся ко мне спиной, я никого не встретил и один-одинешенек стал взад и вперед ходить по набережной.

«Вот она, странная судьба поэзии, – рассуждал я, успокоившись немного. – Все любят, ищут ее, одну ее желают и ищут в жизни, и никто не признает ее силы, никто не ценит этого лучшего блага мира, не ценит и не благодарит тех, которые дают его людям. Спросите у кого хотите, у всех этих обитателей Швейцергофа, чтó лучшее благо в мире? и все, или девяносто девять на сто, приняв сардоническое выражение, скажут вам, что лучшее благо мира – деньги. «Может быть, мысль эта вам не нравится и не сходится с вашими возвышенными идеями, – скажет он, – но что жь делать, ежели жизнь человеческая так устроена, что одни деньги составляют счастье человека. Я не мог не позволить моему уму видеть свет, как он есть, – прибавил он, – то есть видеть правду». Жалкий твой ум, жалкое то счастье, которого ты желаешь, и несчастное ты создание, само не знающее, чего тебе надобно… Зачем вы все покинули свое отечество, родных, занятия и денежные дела и столпились в маленьком швейцарском городке Люцерне? Зачем вы все нынче вечером высыпали на балконы и в почтительном молчании слушали песню маленького нищего? И ежели бы он захотел петь еще, еще бы молчали и слушали. Чтó, за деньги, хоть за мильоны, вас можно бы было всех выгнать из отечества и собрать в маленьком уголке Люцерне? За деньги вас можно бы было всех собрать на балконах и в продолжение получаса заставить стоять молчаливо и неподвижно? Нет! А заставляет вас действовать одно, и вечно будет двигать сильнее всех других двигателей жизни, потребность поэзии, которую не сознаете, но чувствуете и век будете чувствовать, пока в вас останется что-нибудь человеческое. Слово «поэзия» вам смешно, вы употребляете его в виде насмешливого упрека, вы допускаете любовь к поэтическому нечто в детях и глупых барышнях, и то вы над ними смеетесь; для вас же нужно положительное. Да дети-то здраво смотрят на жизнь, они любят и знают то, чтò должен любить человек, и то, чтò даст счастие, а вас жизнь до того запутала и развратила, что вы смеетесь над тем, чтò одно любите, и ищете одного того, чтò ненавидите и

чтò делает ваше несчастие. Вы так запутались, что не понимаете того обязательства, которое вы имеете перед бедным тирольцем, доставившим вам чистое наслаждение, а вместе с тем считаете себя обязанными даром, без пользы и удовольствия, унижаться перед лордом и зачем-то жертвовать ему своим спокойствием и удобством. Что за вздор, что за неразрешимая бессмыслица! Но не это сильней всего поразило меня нынче вечером. Это неведение того, чтò дает счастье, эту бессознательность поэтических наслаждений я почти понимаю или привык к ней, встречав ее часто в жизни; грубая, бессознательная жестокость толпы тоже была для меня не новость; что бы ни говорили защитники народного смысла, толпа есть соединение хотя бы и хороших людей, но соприкасающихся только животными гнусными сторонами, и выражающая только слабость и жестокость человеческой природы. Но как вы, дети свободного, человечного народа, вы христиане, вы просто люди, на чистое наслаждение, которое вам доставил несчастный просящий человек, ответили холодностью и насмешкой? Но нет, в вашем отечестве есть приюты для нищих. – Нищих нет, их не должно быть, и не должно быть чувства сострадания, на котором основано нищенство. – Но он трудился, он радовал вас, он умолял вас дать ему что-нибудь от вашего излишка за свой труд, которым вы воспользовались. А вы с холодной улыбкой наблюдали его как редкость из своих высоких блестящих палат, и из сотни вас, счастливых, богатых, не нашлось ни одного, ни одной, которая бы бросила ему что-нибудь! Пристыженный, он пошел прочь от вас, и бессмысленная толпа, смеясь, преследовала и оскорбляла не вас, а его, за то, что вы холодны, жестоки и бесчестны; за то, что вы украли у него наслаждение, которое он вам доставил, за это *его* оскорбляли.

«Седьмого июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним».

Это не выдумка, а факт положительный, который могут исследовать те, которые хотят, у постоянных жителей Швейцергофа, справившись по газетам, кто были иностранцы, занимавшие Швейцергоф 7 июля.

Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событие значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях. Что англичане убили еще тысячу китайцев за то, что китайцы ничего не покупают на деньги, а их край поглощает звонкую монету, что французы убили еще тысячу кабилов за то, что хлеб хорошо родится в Африке и что постоянная война полезна для формирования войск, что турецкий посланник в Неаполе не может быть жид, и что император Наполеон гуляет пешком в Plombières[14] и печатно уверяет народ, что он царствует только по воле всего народа, – это всё слова, скрывающие или показывающие давно известное; но событие, происшедшее в Люцерне 7-го июля, мне кажется совершенно ново, странно и относится не к вечным дурным сторонам человеческой природы, но к известной эпохе развития общества. Это факт не для истории деяний людских, но для истории прогресса и цивилизации.

Отчего этот бесчеловечный факт, невозможный ни в какой деревне немецкой, французской или итальянской, возможен здесь, где цивилизация, свобода и равенство доведены до высшей степени, где собираются путешествующие, самые цивилизованные люди самых цивилизованных наций? Отчего эти развитые, гуманные люди, способные в общем на всякое честное, гуманное дело, не имеют человеческого сердечного чувства на личное доброе дело? Отчего эти люди, в своих палатах, митингах и обществах горячо заботящиеся о состоянии безбрачных китайцев в Индии, о распространении христианства и образования в Африке, о составлении обществ исправления всего человечества, не находят в душе своей простого первобыт-

[14] [Пломбьер]

ного чувства человека к человеку? Неужели нет этого чувства, и место его заняли тщеславие, честолюбие и корысть, руководящие этих людей в их палатах, митингах и обществах? Неужели распространение разумной, себялюбивой ассоциации людей, которую называют цивилизацией, уничтожает и противоречит потребности инстинктивной и любовной ассоциации? И неужели это то равенство, за которое пролито было столько невинной крови и столько совершено преступлений? Неужели народы, как дети, могут быть счастливы одним звуком слова равенство?

Равенство перед законом? Да разве вся жизнь людей происходит в сфере закона? Только одна-тысячная доля ее подлежит закону, остальная часть происходит вне его, в сфере нравов и воззрения общества. А в обществе лакей одет лучше певца и безнаказанно оскорбляет его. Я лучше одет лакея и безнаказанно оскорбляю лакея. Швейцар считает меня выше, а певца ниже себя; когда я соединился с певцом, он счел себя равным с нами и стал груб. Я стал нагл с швейцаром, и швейцар признал себя ниже меня. Лакей стал нагл с певцом, и певец признал себя ниже его. И неужели это свободное, то, что люди называют положительно-свободное государство, то, в котором есть хоть один гражданин, которого сажают в тюрьму за то, что он, никому не вредя, никому не мешая, делает одно, что́ может, для того чтобы не умереть с голода?

Несчастное, жалкое создание человек с своей потребностью положительных решений, брошенный в этот вечно движущийся, бесконечный океан добра и зла, фактов, соображений и противоречий! Веками бьются и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной стороне благо, к другой неблаго. Проходят века, и где бы, что̀ бы ни прикинул беспристрастный ум на весы доброго и злого, весы не колеблются, и на каждой стороне столько же блага, сколько и неблага. Ежели бы только человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно и не давать ответы на вопросы, данные ему только для того, чтобы они вечно оставались вопросами! Ежели бы только он понял, что всякая мысль и ложна и справедлива! Ложна односторонностью, по невозможности человека обнять всей истины, и справедлива по выражению одной стороны человеческих стремлений. Сделали себе подразделения в этом вечном движущемся, бесконечном, бесконечно-перемешанном хаосе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю и ждут, что море так и разделится. Точно нет мильонов других подразделений совсем с другой точки зрения, в другой плоскости. Правда, вырабатываются эти новые подразделения веками, но и веков прошли и пройдут мильоны. Цивилизация – благо; варварство – зло; свобода – благо; неволя – зло. Вот это-то воображаемое знание уничтожает инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре. И кто определит мне, что̀ свобода, что деспотизм, что̀ цивилизация, что̀ варварство? И где границы одного и другого? У кого в душе так непоколебимо это мерило добра и зла, чтобы он мог мерить им бегущие запутанные факты? У кого так велик ум, чтоб хотя в неподвижном прошедшем обнять все факты и свесить их? И кто видел такое состояние, в котором бы не было добра и зла вместе? И почему я знаю, что вижу больше одного, чем другого, не от того, что стою не на настоящем месте? И кто в состоянии так совершенно оторваться умом хоть на мгновение от жизни, чтобы независимо сверху взглянуть на нее? Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, Всемирный Дух, проникающий нас всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что̀ должно; тот самый Дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу.

И этот-то один непогрешимый блаженный голос заглушает шумное, торопливое развитие цивилизации. Кто больше человек и кто больше варвар: тот ли лорд, который, увидав затасканное платье певца, с злобой убежал из-за стола, за его труды не дал ему мильонной доли своего состояния и теперь, сытый, сидя в светлой покойной комнате, спокойно судит о делах Китая, находя справедливыми совершаемые там убийства, или маленький певец, который, рискуя тюрьмой, с франком в кармане, двадцать лет, никому не делая вреда, ходит по горам и долам, утешая людей своим пением, которого оскорбили, чуть не вытолкали нынче, и который усталый, голодный, пристыженный, пошел спать куда-нибудь на гниющей соломе?

В это время из города в мертвой тишине ночи я далеко-далеко услышал гитару маленького человечка и его голос.

Нет, сказалось мне невольно, ты не имеешь права жалеть о нем и негодовать на благосостояние лорда. Кто свесил внутреннее счастье, которое лежит в душе каждого из этих людей? Вон он сидит теперь где-нибудь на грязном пороге, смотрит в блестящее лунное небо и радостно поет среди тихой, благоуханной ночи, в душе его нет ни упрека, ни злобы, ни раскаянья. А кто знает, чтò делается теперь в душе всех этих людей, за этими богатыми, высокими стенами? Кто знает, есть ли в них всех столько беззаботной, кроткой радости жизни и согласия с миром, сколько ее живет в душе этого маленького человека? Бесконечна благость и премудрость Того, Кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям. Только тебе, ничтожному червяку, дерзко, беззаконно пытающемуся проникнуть Его законы, Его намерения, только тебе кажутся противоречия. Он кротко смотрит с своей светлой неизмеримой высоты и радуется на бесконечную гармонию, в которой вы все противоречиво, бесконечно движетесь. В своей гордости ты думал вырваться из законов общего. Нет, и ты с своим маленьким, пошленьким негодованьицем на лакеев, и ты тоже ответил на гармоническую потребность вечного и бесконечного…

18 июля 1857 г.

АЛЬБЕРТ.

I.

Пять человек богатых и молодых людей приехали в третьем часу ночи веселиться на петербургский балик.

Шампанского было выпито много, большая часть господ были очень молоды, девицы были красивы, фортепьяно и скрипка неутомимо играли одну польку за другою, танцы и шум не переставали; но было как-то скучно, неловко, каждому казалось почему-то (как это часто случается), что всё это не то и ненужно.

Несколько раз они усиливались поднять веселье, но притворное веселье было еще хуже скуки.

Один из пяти молодых людей, более других недовольный и собой, и другими, и всем вечером, с чувством отвращения встал, отыскал шляпу и вышел с намерением потихоньку уехать.

В передней никого не было, но в соседней комнате, за дверью, он услыхал два голоса, споривше между собою. Молодой человек приостановился и стал слушать.

– Нельзя, там гости, – говорил женский голос.

– Пустите, пожалуйста, я ничего! – умолял слабый мужской голос.

– Да уж не пущу без позволения мадамы, – говорила женщина: – куда вы? ах какой!…

Дверь распахнулась, и на пороге показалась странная мужская фигура. Увидав гостя, служанка перестала удерживать, а странная фигура, робко поклонившись, шатаясь на согнутых ногах, вошла в комнату. Это был среднего роста мужчина, с узкой согнутой спиной и длинными всклокоченными волосами. На нем были короткое пальто и прорванные узкие панталоны, над шершавыми нечищенными сапогами. Скрутившийся веревкой галстук повязывал длинную белую шею. Грязная рубаха высовывалась из рукавов над худыми руками. Но, несмотря на чрезвычайную худобу тела, лицо его было нежно, бело, и даже свежий румянец играл на щеках, над черной редкой бородой и бакенбардами. Нечесанные волосы, закинутые кверху, открывали невысокий и чрезвычайно чистый лоб. Темные усталые глаза смотрели вперед мягко, искательно и вместе важно. Выражение их пленительно сливалось с выражением свежих, изогнутых в углах губ, видневшихся из-за редких усов.

Пройдя несколько шагов, он приостановился, повернулся к молодому человеку и улыбнулся. Он улыбнулся как будто с трудом; но когда улыбка озарила его лицо, молодой человек, – сам не зная чему, – улыбнулся тоже.

– Кто это такой? – спросил он шопотом у служанки, когда странная фигура прошла в комнату, из которой слышались танцы.

– Помешанный музыкант из театра, – отвечала служанка: – Он иногда приходит к хозяйке.

– Куда ты ушел, Делесов? – кричали в это время из залы.

Молодой человек, которого звали Делесовым, вернулся в залу.

Музыкант стоял у двери и, глядя на танцующих, улыбкой, взглядом и притоптыванием ног выказывал удовольствие, доставляемое ему этим зрелищем.

– Что же, идите и вы танцовать, – сказал ему один из гостей.

Музыкант поклонился и вопросительно взглянул на хозяйку.

– Идите, идите, – что ж, когда вас господа приглашают, – вмешалась хозяйка.

Худые, слабые члены музыканта вдруг пришли в усиленное движение, и он, подмигивая, улыбаясь и подергиваясь, тяжело, неловко пошел прыгать по зале. В середине кадриля

веселый офицер, танцовавший очень красиво и одушевленно, нечаянно толкнул спиной музыканта. Слабые, усталые ноги не удержали равновесия, и музыкант, сделав несколько подкашивающихся шагов в сторону, со всего росту упал на пол. Несмотря на резкий, сухой звук, произведенный падением, почти все засмеялись в первую минуту.

Но музыкант не вставал. Гости замолчали, даже фортепьяно перестало играть, и Делесов с хозяйкой первые подбежали к упавшему. Он лежал на локте и тускло смотрел в землю. Когда его подняли и посадили на стул, он откинул быстрым движением костлявой руки волосы со лба и стал улыбаться, ничего не отвечая на вопросы.

– Господин Альберт! господин Альберт! – говорила хозяйка, – что, ушиблись? где? Вот я говорила, что не надо было танцовать. Он такой слабый! – продолжала она, обращаясь к гостям, – насилу ходит, где ему!

– Кто он такой? – спрашивали хозяйку.

– Бедный человек, артист. Очень хороший малый, только жалкий, как видите.

Она говорила это, не стесняясь присутствием музыканта. Музыкант очнулся и, как будто испугавшись чего-то, съежился и оттолкнул окружавших его.

– Это всё ничего, – вдруг сказал он, с видимым усилием привставая со стула.

И, чтобы доказать, что ему нисколько не больно, вышел на середину комнаты и хотел припрыгнуть, но пошатнулся и опять бы упал, ежели бы его не поддержали.

Всем сделалось неловко; глядя на него, все молчали.

Взгляд музыканта снова потух, и он, видимо забыв о всех, потирал рукою колено. Вдруг он поднял голову, выставил вперед дрожащую ногу, тем же, как и прежде, пошлым жестом откинул волосы и, подойдя к скрипачу, взял у него скрипку.

– Всё ничего! – повторил он еще раз, взмахнув скрипкой. – Господа, будем музицировать.

– Что за странное лицо! – говорили между собой гости.

– Может быть, большой талант погибает в этом несчастном существе! – сказал один из гостей.

– Да, жалкий, жалкий! – говорил другой.

– Какое лицо прекрасное!.. В нем есть что-то необыкновенное, – говорил Делесов: – вот посмотрим.....

II.

Альберт в это время, не обращая ни на кого внимания, прижав скрипку к плечу, медленно ходил вдоль фортепьяно и настроивал ее. Губы его сложились в бесстрастное выражение, глаз не было видно; но узкая костлявая спина, длинная белая шея, кривые ноги и косматая черная голова представляли чудно̀е, но почему-то вовсе не смешное зрелище. Настроив скрипку, он бойко взял аккорд и, вскинув голову, обратился к пьянисту, приготовившемуся аккомпанировать.

– *«Melancholie G-dur»*[15] – сказал он, с повелительным жестом обращаясь к пьянисту.

И вслед за тем, как бы прося прощения за повелительный жест, кротко улыбнулся и с этой улыбкой оглянул публику. Вскинув волосы рукой, которой он держал смычок, Альберт остановился перед углом фортепьяно и плавным движением смычка провел по струнам. В комнате пронесся чистый, стройный звук, и сделалось совершенное молчание.

Звуки темы свободно, изящно полились вслед за первым, каким-то неожиданно-ясным и успокоительным светом вдруг озаряя внутренний мир каждого слушателя. Ни один ложный или неумеренный звук не нарушил покорности внимающих, все звуки были ясны, изящны и значительны. Все молча, с трепетом надежды, следили за развитием их. Из состояния скуки,

[15] [«Меланхолию в тоне Ге-дур!»]

шумного рассеяния и душевного сна, в котором находились эти люди, они вдруг незаметно перенесены были в совершенно другой, забытый ими мир. То в душе их возникало чувство тихого созерцания прошедшего, то страстного воспоминания чего-то счастливого, то безграничной потребности власти и блеска, то чувства покорности, неудовлетворенной любви и грусти. То грустно-нежные, то порывисто-отчаянные звуки, свободно перемешиваясь между собой, лились и лились друг за другом так изящно, так сильно и так бессознательно, что не звуки слышны были, а сам собой лился в душу каждого какой-то прекрасный поток давно знакомой, но в первый раз высказанной поэзии. Альберт с каждой нотой вырастал выше и выше. Он далеко не был уродлив или странен. Прижав подбородком скрипку и с выражением страстного внимания прислушиваясь к своим звукам, он судорожно передвигал ногами. То он выпрямлялся во весь рост, то старательно сгибал спину. Левая напряженно-согнутая рука, казалось, замерла в своем положении и только судорожно перебирала костлявыми пальцами; правая двигалась плавно, изящно, незаметно. Лицо сияло непрерывной, восторженной радостию; глаза горели светлым сухим блеском, ноздри раздувались, красные губы раскрывались от наслаждения.

Иногда голова ближе наклонялась к скрипке, глаза закрывались, и полузакрытое волосами лицо освещалось улыбкой кроткого блаженства. Иногда он быстро выпрямлялся, выставлял ногу; и чистый лоб, и блестящий взгляд, которым он окидывал комнату, сияли гордостию, величием, сознанием власти. Один раз пьянист ошибся и взял неверный аккорд. Физическое страдание выразилось во всей фигуре и лице музыканта. Он остановился на секунду и, с выражением детской злобы топая ногой, закричал: «*mol, c-mol!*»[16] Пьянист поправился, Альберт закрыл глаза, улыбнулся и, снова забыв себя, других и весь мир, с блаженством отдался своему делу.

Все находившиеся в комнате во время игры Альберта хранили покорное молчание и, казалось, жили и дышали только его звуками.

Веселый офицер неподвижно сидел на стуле у окна, устремив на пол безжизненный взгляд, и тяжело и редко переводил дыхание. Девицы в совершенном молчании сидели по стенам и только изредка с одобрением, доходящим до недоумения, переглядывались между собою. Толстое, улыбающееся лицо хозяйки расплывалось от наслаждения. Пьянист впивался глазами в лицо Альберта и со страхом ошибиться, выражавшимся во всей его вытягивавшейся фигуре, старался следить за ним. Один из гостей, выпивший больше других, ничком лежал на диване и старался не двигаться, чтобы не выдать своего волнения. Делесов испытывал непривычное чувство. Какой-то холодный круг, то суживаясь, то расширяясь, сжимал его голову. Корни волос становились чувствительны, мороз пробегал вверх по спине, что-то, всё выше и выше подступая к горлу, как тоненькими иголками кололо в носу и нёбе, и слезы незаметно мочили ему щеки. Он встряхивался, старался незаметно втягивать их назад и отирать, но новые выступали опять и текли по его лицу. По какому-то странному сцеплению впечатлений, первые звуки скрипки Альберта перенесли Делесова к его первой молодости. Он – не молодой, усталый от жизни, изнуренный человек, вдруг почувствовал себя семнадцатилетним, самодовольно-красивым, блаженно-глупым и бессознательно-счастливым существом. Ему вспомнилась первая любовь к кузине в розовом платьице, вспомнилось первое признание в липовой аллее, вспомнился жар и непонятная прелесть случайного поцелуя, вспомнилось волшебство и неразгаданная таинственность тогда окружавшей природы. В его возвратившемся назад воображении блистала *она* в тумане неопределенных надежд, непонятных желаний и несомненной веры в возможность невозможного счастия. Все неоцененные минуты того времени, одна за другою, восставали перед ним, но не как незначущие мгновения бегущего настоящего, а как остановившиеся, разростающиеся и укоряющие образы прошедшего. Он с наслаждением

[16] [«моль, це-моль!»]

созерцал их и плакал, – плакал не оттого, что прошло то время, которое он мог употребить лучше (ежели бы ему дали назад это время, он не брался употребить его лучше), но он плакал оттого только, что прошло это время и никогда не воротится. Воспоминания возникали сами собою, а скрипка Альберта говорила одно и одно. Она говорила: «прошло для тебя, навсегда прошло время силы, любви и счастия, прошло и никогда не воротится. Плачь о нем, выплачь все слезы, умри в слезах об этом времени, – это одно лучшее счастие, которое осталось у тебя».

К концу последней варьяции лицо Альберта сделалось красно, глаза горели, не потухая, крупные капли пота струились по щекам. На лбу надулись жилы, всё тело больше и больше приходило в движение, побледневшие губы уже не закрывались, и вся фигура выражала восторженную жадность наслаждения.

Отчаянно размахнувшись всем телом и встряхнув волосами, он опустил скрипку и с улыбкой гордого величия и счастия оглянул присутствующих. Потом спина его согнулась, голова опустилась, губы сложились, глаза потухли, и он, как бы стыдясь себя, робко оглядываясь и путаясь ногами, прошел в другую комнату.

III.

Что-то странное произошло со всеми присутствующими, и что-то странное чувствовалось в мертвом молчании, последовавшем за игрой Альберта. Как будто каждый хотел и не умел высказать того, что всё это значило. Что такое значит – светлая и жаркая комната, блестящие женщины, заря в окнах, взволнованная кровь и чистое впечатление пролетевших звуков? Но никто и не попытался сказать того, что это значит; напротив, почти все, чувствуя себя не в силах перейти вполне на сторону того, что открыло им новое впечатление, возмутились против него.

– А ведь он точно хорошо играет, – сказал офицер.

– Удивительно! – отвечал, украдкой рукавом отирая щеки, Делесов.

– Однако пора ехать, господа, – сказал, оправившись несколько, тот, который лежал на диване. – Надо будет дать ему что-нибудь, господа. Давайте складчину.

Альберт сидел в это время один в другой комнате на диване. Облокотившись локтями на костлявые колени, он потными, грязными руками гладил себе лицо, взбивал волосы и сам с собою счастливо улыбался.

Складчину сделали богатую, и Делесов взялся передать ее.

Кроме того, Делесову, на которого музыка произвела такое сильное и непривычное впечатление, пришла мысль сделать добро этому человеку. Ему пришло в голову взять его к себе, одеть, пристроить к какому-нибудь месту – вообще вырвать из этого грязного положения.

– Что, вы устали? – спросил Делесов, подходя к нему.

Альберт улыбался.

– У вас действительный талант; вам надо бы серьезно заниматься музыкой, играть в публике.

– Я бы выпил чего-нибудь, – сказал Альберт, как будто проснувшись.

Делесов принес вина, и музыкант с жадностию выпил два стакана.

– Какое славное вино! – сказал он.

– Меланхолия, какая прелестная вещь! – сказал Делесов.

– О! да, да, – отвечал, улыбаясь, Альберт, – но извините меня, я не знаю, с кем имею честь говорить; может быть, вы граф или князь: не можете ли вы мне ссудить немного денег? – Он помолчал немного. – Я ничего не имею… я бедный человек. Я не могу отдать вам.

Делесов покраснел, ему неловко стало, и он торопливо передал музыканту собранные деньги.

– Очень благодарю вас, – сказал Альберт, схватив деньги: – теперь давайте музицировать; я, сколько хотите, буду играть вам. Только выпить бы чего-нибудь, выпить, – прибавил он, вставая.

Делесов принес ему еще вина и попросил сесть подле себя.

– Извините меня, ежели я буду откровенен с вами, – сказал Делесов: – ваш талант так заинтересовал меня. Мне кажется, что вы не в хорошем положении?

Альберт поглядывал то на Делесова, то на хозяйку, которая вошла в комнату.

– Позвольте мне вам предложить свои услуги, – продолжал Делесов. – Ежели вы в чем-нибудь нуждаетесь, то я бы очень рад был, ежели бы вы на время поселились у меня. Я живу один и, может быть, я был бы вам полезен.

Альберт улыбнулся и ничего не отвечал.

– Что же вы не благодарите, – сказала хозяйка. – Разумеется, для вас это благодеяние. Только я бы вам не советовала, – продолжала она, обращаясь к Делесову и отрицательно качая головой.

– Очень вам благодарен, – сказал Альберт, мокрыми руками пожимая руку Делесова: – только теперь давайте музицировать, пожалуйста.

Но остальные гости уже собрались ехать и, как их ни уговаривал Альберт, вышли в переднюю.

Альберт простился с хозяйкой и, надев истертую шляпу о широкими полями и летнюю старую альмавиву, составлявшие всю его зимнюю одежду, вместе с Делесовым вышел на крыльцо.

Когда Делесов сел с своим новым знакомцем в карету и почувствовал тот неприятный запах пьяницы и нечистоты, которым был пропитан музыкант, он стал раскаиваться в своем поступке и обвинять себя в ребяческой мягкости сердца и нерассудительности. Притом всё, что говорил Альберт, было так глупо и пошло, и он так вдруг грязно опьянел на воздухе, что Делесову сделалось гадко. «Что я с ним буду делать?» подумал он.

Проехав с четверть часа, Альберт замолк, шляпа с него свалилась в ноги, он сам повалился в угол кареты и захрапел. Колеса равномерно скрипели по морозному снегу; слабый свет зари едва проникал сквозь замерзшие окна.

Делесов оглянулся на своего соседа. Длинное тело, прикрытое плащом, безжизненно лежало подле него. Делесову казалось, что длинная голова с большим темным носом качалась на этом туловище; но, вглядевшись ближе, он увидел, что то, что он принимал за нос и лицо, были волоса, а что настоящее лицо было ниже. Он нагнулся и разобрал черты лица Альберта. Тогда красота лба и спокойно сложенного рта снова поразили его.

Под влиянием усталости нерв, раздражающего бессонного часа утра и слышанной музыки Делесов, глядя на это лицо, снова перенесся в тот блаженный мир, в который он заглянул нынче ночью; снова ему вспомнилось счастливое и великодушное время молодости, и он перестал раскаяваться в своем поступке. Он в эту минуту искренно, горячо любил Альберта и твердо решился сделать добро ему.

IV.

На другой день утром, когда его разбудили, чтобы итти на службу, Делесов с неприятным удивлением увидал вокруг себя свои старые ширмы, своего старого человека и часы на столике. «Так что же бы я хотел видеть, как не то, что всегда окружает меня?» спросил он сам себя. Тут ему вспомнились черные глаза и счастливая улыбка музыканта; мотив «Меланхолии» и вся странная вчерашняя ночь пронеслись в его воображении.

Ему некогда было, однако, размышлять о том, хорошо или дурно он поступил, взяв к себе музыканта. Одеваясь, он мысленно распределил свой день: взял бумаги, отдал необходимые

приказания дома и торопясь надел шинель и калоши. Проходя мимо столовой, он заглянул в дверь. Альберт, уткнув лицо в подушку и раскидавшись, в грязной, изорванной рубахе, мертвым сном спал на сафьянном диване, куда его бесчувственного положили вчера вечером. Что-то не хорошо, невольно казалось Делесову.

– Сходи, пожалуйста, от меня к Борюзовскому, попроси скрипку дня на два для них, – сказал он своему человеку, – да когда они проснутся, напой их кофеем и дай надеть из моего белья и старого платья что-нибудь. Вообще удовлетвори его хорошенько. Пожалуйста.

Возвратившись домой поздно вечером, Делесов, к удивлению своему, не нашел Альберта.

– Где же он? – спросил он у человека.

– Тотчас после обеда ушли, – отвечал слуга: – взяли скрипку и ушли, обещались притти через час, да вот до сей поры нету.

– Та! та! досадно, – проговорил Делесов. – Как же ты его пустил, Захар?

Захар был петербургский лакей, уже восемь лет служивший у Делесова. Делесов, как одинокий холостяк, невольно поверял ему свои намерения и любил знать его мнение насчет каждого из своих предприятий.

– Как же я смел его не пустить, – отвечал Захар, играя печаткой своих часов. – Ежели бы вы мне сказали, Дмитрий Иванович, чтобы его удерживать, я бы дома мог занять. Но вы только насчет платья сказали.

– Та! досадно! Ну, а что он тут делал без меня?

Захар усмехнулся.

– Уж точно, можно назвать артистом, Дмитрий Иванович. Как проснулись, так попросили мадеры, потом с кухаркой и с соседским человеком всё занимались. Смешные такие… Однако характера очень хорошего. Я им чаю дал, обедать принес, ничего не хотели одни есть, всё меня приглашали. А уж на скрипке как играют, так это точно, что таких артистов у Излера мало. Такого человека можно держать. Как он «Вниз по матушке по Волге» нам сыграл, так точно, как человек плачет. Слишком хорошо! Даже со всех этажей пришли люди к нам в сени слушать.

– Ну, а одел ты его? – перебил барин.

– Как же-с; я ему вашу ночную рубашку дал и свое пальто ему надел. Этакому человеку можно помогать, точно, милый человек. – Захар улыбнулся. – Всё спрашивали меня, какого вы чина, имеете ли знакомства значительные? и сколько у вас душ крестьян?

– Ну, хорошо, только надо будет его найти теперь и вперед ему ничего не давать пить, а то ему еще хуже сделаешь.

– Это правда, – перебил Захар: – он, видно, слаб здоровьем, у нас такой же у барина был приказчик....

Делесов, уже давно знавший историю пившего запоем приказчика, не дал ее докончить Захару и, велев приготовить себе всё для ночи, послал его отыскать и привести Альберта.

Он лег в постель, потушил свечу, но долго не мог заснуть, всё думал об Альберте. «Хоть это всё странным может показаться многим из моих знакомых, – думал Делесов, – но ведь так редко делаешь что-нибудь не для себя, что надо благодарить Бога, когда представляется такой случай, и я не упущу его. Всё сделаю, решительно всё сделаю, что могу, чтобы помочь ему. Может быть, он и вовсе не сумасшедший, а только спился. Стоить это мне будет совсем не дорого: где один, там и двое сыты будут. Пускай поживет сначала у меня, а потом устроим ему место или концерт, стащим его с мели, а там видно будет.»

Приятное чувство самодовольствия овладело им после такого рассуждения.

«Право, я не совсем дурной человек; даже совсем недурной человек, – подумал он. – Даже очень хороший человек, как сравню себя с другими…»

Он уже засыпал, когда звуки отворяемых дверей и шагов в передней развлекли его.

«Ну, обращусь с ним построже, – подумал он: – это лучше; и я должен это сделать.»

Он позвонил.

– Что, привел? – спросил он у вошедшего Захара.

– Жалкой человек, Дмитрий Иванович, – сказал Захар, значительно покачав головой и закрыв глаза.

– Что, пьян?

– Очень слаб.

– А скрипка с ним?

– Принес, хозяйка отдала.

– Ну, пожалуйста не пускай его теперь ко мне, уложи спать и завтра отнюдь не выпускай из дома.

Но еще Захар не успел выйти, как в комнату вошел Альберт.

V.

– Вы уж спать хотите? – сказал Альберт, улыбаясь. – А я был там, у Анны Ивановны. Очень приятно провел вечер: музицировали, смеялись, приятное общество было. Позвольте мне выпить стакан чего-нибудь, – прибавил он, взявшись за графин с водой, стоявший на столике, – только не воды.

Альберт был такой же, как и вчера: та же красивая улыбка глаз и губ, тот же светлый, вдохновенный лоб и слабые члены. Пальто Захара пришлось ему как раз впору, и чистый, длинный, некрахмаленный воротник ночной рубашки живописно откидывался вокруг его тонкой белой шеи, придавая ему что-то особенно детское и невинное. Он присел на постель Делесова и молча, радостно и благодарно улыбаясь, посмотрел на него. Делесов посмотрел в глаза Альберта и вдруг снова почувствовал себя во власти его улыбки. Ему перестало хотеться спать, он забыл о своей обязанности быть строгим, ему захотелось, напротив, веселиться, слушать музыку и хоть до утра дружески болтать с Альбертом. Делесов велел Захару принести бутылку вина, папирос и скрипку.

– Вот это отлично, – сказал Альберт: – еще рано, будем музицировать, я вам буду играть, сколько хотите.

Захар с видимым удовольствием принес бутылку лафиту, два стакана, слабых папирос, которые курил Альберт, и скрипку. Но вместо того, чтобы ложиться спать, как ему приказал барин, сам, закурив сигару, сел в соседнюю комнату.

– Поговоримте лучше, – сказал Делесов музыканту, взявшемуся было за скрипку.

Альберт покорно сел на постель и снова радостно улыбнулся.

– Ах да, – сказал он, вдруг стукнув себя рукой по лбу и приняв озабоченно-любопытное выражение. (Выражение лица его всегда предшествовало тому, что он хотел говорить.) – Позвольте спросить… – он приостановился немного: – этот господин, который был с вами там, вчера вечером… вы его называли N, он не сын знаменитого N?

– Родной сын, – отвечал Делесов, никак не понимая, почему это могло быть интересно Альберту.

– То-то, – самодовольно улыбаясь, сказал он: – я сейчас заметил в его манерах что-то особенно аристократическое. Я люблю аристократов: что-то прекрасное и изящное видно в аристократе. А этот офицер, который так прекрасно танцует, – спросил он, – он мне тоже очень понравился, такой веселый и благородный. Он адъютант NN, кажется?

– Который? – спросил Делесов.

– Тот, который столкнулся со мной, когда мы танцовали. Он славный должен быть человек.

– Нет, он пустой малый, – отвечал Делесов.

– Ах, нет! – горячо заступился Альберт: – в нем что-то есть очень, очень приятное. И он славный музыкант, – прибавил Альберт: – он играл там из оперы что-то. Давно мне никто так не нравился.

– Да, он хорошо играет, но я не люблю его игры, – сказал Делесов, желая навести своего собеседника на разговор о музыке: – он классической музыки не понимает; а ведь Донизетти и Беллини – ведь это не музыка. Вы, верно, этого же мнения?

– О нет, нет, извините меня, – заговорил Альберт с мягким заступническим выражением: – старая музыка – музыка, и новая музыка – музыка. И в новой есть красоты необыкновенные: а Сомнамбула?! а финал Лючии?! а Chopin?! а Роберт?! Я часто думаю… – он приостановился, видимо собирая мысли, – что ежели бы Бетховен был жив, ведь он бы плакал от радости, слушая Сомнамбулу. Везде есть прекрасное. Я слышал в первый раз Сомнамбулу, когда здесь были Виардо и Рубини, – это было вот что, – сказал он, блистая глазами и делая жест обеими руками, как будто вырывая что-то из своей груди. – Еще бы немного, то это невозможно бы было вынести.

– Ну, а теперь как вы находите оперу? – спросил Делесов.

– Бозио хороша, очень хороша, – отвечал он, – изящна необыкновенно, но тут не трогает, – сказал он, указывая на ввалившуюся грудь. – Для певицы нужна страсть, а у нее нет. Она радует, но не мучает.

– Ну, а Лаблаш?

– Я его слышал еще в Париже в Севильском цирюльнике; тогда он был единствен, а теперь он стар, – он не может быть артистом, он стар.

– Что ж, что стар, всё-таки хорош в morceaux d'ensemble,[17]– сказал Делесов, всегда говоривший это о Лаблаше.

– Как что же, что стар? – возразил Альберт строго. – Он не должен быть стар. Художник не должен быть стар. Много нужно для искусства, но главное – огонь! – сказал он, блистая глазами и поднимая обе руки кверху.

И действительно, страшный внутренний огонь горел во всей его фигуре.

– Ах Боже мой! – сказал он вдруг, – вы не знаете Петрова – художника?

– Нет, не знаю, – улыбаясь отвечал Делесов.

– Как бы я желал, чтобы вы с ним познакомились! Вы бы нашли удовольствие говорить с ним. Как он тоже понимает искусство! Мы с ним встречались прежде часто у Анны Ивановны, но она теперь за что-то рассердилась на него. А я очень желал бы, чтобы вы с ним познакомились. Он большой, большой талант.

– Что ж, он картины пишет? – спросил Делесов.

– Не знаю; нет, кажется, но он был художник академии. Какие у него мысли! Когда он иногда говорит, то это удивительно. О, Петров большой талант, только он ведет жизнь очень веселую. Вот жалко, – улыбаясь прибавил Альберт. Вслед затем он встал с постели, взял скрипку и начал строить.

– Что, вы давно не были в опере? – спросил его Делесов.

Альберт оглянулся и вздохнул.

– Ах, я уж не могу, – сказал он, схватившись за голову. Он снова подсел к Делесову. – Я вам скажу, – проговорил он почти шопотом: – я не могу туда ходить, я не могу там играть, у меня ничего нет, ничего платья нет, квартиры нет, скрипки нет. Скверная жизнь! скверная жизнь! – повторял он несколько раз. – Да и зачем мне туда ходить? Зачем это? не надо, – сказал он, улыбаясь. – Ах, «Дон-Жуан»!

И он ударил себя по голове.

– Так поедем когда-нибудь вместе, – сказал Делесов.

---

[17] [ансамблях,]

Альберт, не отвечая, вскочил, схватил скрипку и начал играть финал первого акта «Дон Жуана», своими словами рассказывая содержание оперы.

У Делесова зашевелились волосы на голове, когда он играл голос умирающего командора.

– Нет, не могу играть нынче, – сказал он, кладя скрипку: – я много пил.

Но вслед затем он подошел к столу, налил себе полный стакан вина, залпом выпил и сел опять на кровать к Делесову.

Делесов, не спуская глаз, смотрел на Альберта; Альберт изредка улыбался, и Делесов улыбался тоже. Они оба молчали; но между ними взглядом и улыбкой ближе и ближе устанавливались любовные отношения. Делесов чувствовал, что он всё больше и больше любит этого человека, и испытывал непонятную радость.

– Вы были влюблены? – вдруг спросил он.

Альберт задумался на несколько секунд, потом лицо его озарилось грустной улыбкой. Он нагнулся к Делесову и внимательно посмотрел ему в самые глава.

– Зачем вы это спросили у меня? – проговорил он шопотом. – Но я вам всё расскажу, вы мне понравились, – продолжал он, посмотрев немного и оглянувшись. – Я не буду вас обманывать, я вам расскажу всё, как было, сначала. – Он остановился, и глаза его странно, дико остановились. – Вы знаете, что я слаб рассудком, – сказал он вдруг. – Да, да, – продолжал он, – Анна Ивановна вам, верно, рассказывала. Она всем говорит, что я сумасшедший! Это неправда, она из шутки говорит это, она добрая женщина, а я точно не совершенно здоров стал с некоторого времени.

Альберт опять замолчал и остановившимися, широко открытыми глазами посмотрел в темную дверь.

– Вы спрашивали, был ли я влюблен? Да, я был влюблен, – прошептал он, поднимая брови. – Это случилось давно, еще в то время, когда я был при месте в театре. Я ходил играть вторую скрипку в опере, а она ездила в литерный бенуар с левой стороны.

Альберт встал и перегнулся на ухо Делесову.

– Нет, зачем называть ее, – сказал он. – Вы, верно, знаете ее, все знают ее. Я молчал и только смотрел на нее; я знал, что я бедный артист, а она аристократическая дама. Я очень знал это. Я только смотрел на нее и ничего не думал.

Альберт задумался припоминая.

– Как это случилось, я не помню; но меня позвали один раз аккомпанировать ей на скрипке. Ну что я, бедный артист! – сказал он, покачивая головой и улыбаясь. – Но нет, я не умею рассказывать, не умею… – прибавил он, схватившись за голову. – Как я был счастлив!

– Что же, вы часто были у нее? – спросил Делесов.

– Один раз, один раз только… но я сам виноват был, я с ума сошел. Я бедный артист, а она аристократическая дама. Я не должен был ничего говорить ей. Но я сошел с ума, я сделал глупости. С тех пор для меня всё кончилось. Петров правду сказал мне: лучше бы было видеть ее только в театре…

– Что же вы сделали? – спросил Делесов.

– Ах, постойте, постойте, я не могу рассказывать этого.

И, закрыв лицо руками, он помолчал несколько времени.

– Я пришел в оркестр поздно. Мы пили с Петровым этот вечер, и я был расстроен. Она сидела в своей ложе и говорила с генералом. Я не знаю, кто был этот генерал. Она сидела у самого края, положила руки на рампу; на ней было белое платье и перлы на шее. Она говорила с ним и смотрела на меня. Два раза она посмотрела на меня. Прическа у ней была вот этак; я не играл, а стоял подле баса и смотрел. Тут в первый раз со мной сделалось странно. Она улыбнулась генералу и посмотрела на меня. Я чувствовал, что она говорит обо мне, и вдруг я увидел, что я не в оркестре, а в ложе стою с ней и держу ее за руку за это место. Что это такое? – спросил Альберт, помолчав.

– Это живость воображения, – сказал Делесов.

– Нет, нет… да я не умею рассказывать, – сморщившись отвечал Альберт. – Я уже и тогда был беден, квартиры у меня не было, и, когда ходил в театр, иногда оставался ночевать там.

– Как? в театре? в темной пустой зале?

– Ах! я не боюсь этих глупостей. Ах, постойте. Как только все уходили, я шел к тому бенуару, где она сидела, и спал. Это была одна моя радость. Какие ночи я проводил там! Только один раз опять началось со мной. Мне ночью стало представляться много, но я не могу рассказать вам много. – Альберт, опустив зрачки, смотрел на Делесова. – Что это такое? – спросил он.

– Странно! – сказал Делесов.

– Нет, постойте, постойте! – Он на ухо шопотом продолжал. – Я целовал ее руку, плакал тут подле нее, я много говорил с ней. Я слышал запах ее духов, слышал ее голос. Она много сказала мне в одну ночь. Потом я взял скрипку и потихоньку стал играть. И я отлично играл. Но мне стало страшно. Я не боюсь этих глупостей и не верю; но мне стало страшно за свою голову, – сказал он, любезно улыбаясь и дотрогиваясь рукою до лба, – за свой бедный ум мне стало страшно, мне казалось, что-то сделалось у меня в голове. Может быть, это и ничего? Как вы думаете?

Оба помолчали несколько минут.

Und wenn die Wolken sie verhüllen,
Die Sonne bleibt doch ewig klar,[18]

пропел Альберт, тихо улыбаясь. – Не правда ли? – прибавил он.

Ich auch habe gelebt und genossen.[19]

– Ах! старик Петров как бы всё это растолковал вам.

Делесов молча, с ужасом смотрел на взволнованное и побледневшее лицо своего собеседника.

– Вы знаете «Юристен-вальцер»? – вдруг вскричал Альберт и, не дождавшись ответа, вскочил, схватил скрипку и начал играть веселый вальс. Совершенно забывшись и, видимо, полагая, что целый оркестр играет за ним, Альберт улыбался, раскачивался, передвигал ногами и играл превосходно.

– Э, будет веселиться! – сказал он, кончив и размахнув скрипкой.

– Я пойду, – сказал он, молча посидев немного, – а вы не пойдете?

– Куда? – с удивлением спросил Делесов.

– Пойдем опять к Анне Ивановне; там весело: шум, народ, музыка.

Делесов в первую минуту чуть было не согласился. Однако опомнившись, он стал уговаривать Альберта не ходить нынче.

– Я бы на минуту.

– Право не ходите.

Альберт вздохнул и положил скрипку.

– Так остаться?

Он посмотрел еще на стол (вина не было) и, пожелав покойной ночи, вышел.

Делесов позвонил.

– Смотри, не выпускай никуда господина Альберта без моего спроса, – сказал он Захару.

---

[18] [Пусть облака окутывают солнце, оно всё же остается вечно сияющим,]

[19] [И я жил и наслаждался.]

VI.

На другой день был праздник. Делесов проснувшись сидел у себя в гостиной за кофеем и читал книгу. Альберт в соседней комнате еще не шевелился.

Захар осторожно отворил дверь и посмотрел в столовую.

– Верите ль, Дмитрий Иванович, так на голом диване и спит! Ничего не хотел подостлать, ей Богу. Как дитя малое. Право, артист.

В двенадцатом часу за дверью послышалось кряхтенье и кашель.

Захар снова пришел в столовую; и барин слышал ласковый голос Захара и слабый просящий голос Альберта.

– Ну, что? – спросил барин у Захара, когда он вышел.

– Скучает, Дмитрий Иванович; умываться не хочет, пасмурный такой. Всё просит выпить.

– Нет, уж если взялся, надо выдержать характер, – сказал себе Делесов.

И, не приказав давать вина, снова принялся за свою книгу, невольно, однако, прислушиваясь к тому, что происходило в столовой. Там ничего не двигалось, только изредка слышался грудной тяжелый кашель и плеванье. Прошло часа два. Делесов, одевшись, перед тем как выйти со двора, решился заглянуть к своему сожителю. Альберт неподвижно сидел у окна, опустив голову на руки. Он оглянулся. Лицо его было желто, сморщено и не только грустно, но глубоко несчастно. Он попробовал улыбнуться в виде приветствия, но лицо его приняло еще более горестное выражение. Казалось, он готов был заплакать. Он с трудом встал и поклонился.

– Если бы можно рюмочку простой водки, – сказал он с просящим выражением: – я так слаб… пожалуйста!

– Кофей вас лучше подкрепит. Я бы вам советовал.

Лицо Альберта вдруг потеряло детское выражение; он холодно, тускло посмотрел в окно и слабо опустился на стул.

– Или позавтракать не хотите ли?

– Нет, благодарю, не имею аппетита.

– Если вам захочется играть на скрипке, то вы мне не будете мешать, – сказал Делесов, кладя скрипку на стол.

Альберт с презрительной улыбкой посмотрел на скрипку.

– Нет; я слишком слаб, я не могу играть, – сказал он и отодвинул от себя инструмент.

После этого, что ни говорил Делесов, предлагая ему и пройтись, и вечером ехать в театр, он только покорно кланялся и упорно молчал. Делесов уехал со двора, сделал несколько визитов, обедал в гостях и перед театром заехал домой переодеться и узнать, что делает музыкант. Альберт сидел в темной передней и, облокотив голову на руки, смотрел в топившуюся печь. Он был одет опрятно, вымыт и причесан; но глаза его были тусклы, мертвы, и во всей фигуре выражалась слабость и изнурение, еще большие, чем утром.

– Что, вы обедали, господин Альберт? – спросил Делесов.

Альберт сделал утвердительный знак головой и, взглянув в лицо Делесова, испуганно опустил глаза.

Делесову сделалось неловко.

– Я говорил нынче о вас директору, – сказал он, тоже опуская глаза. – Он очень рад принять вас, если вы позволите себя послушать.

– Благодарю, я не могу играть, – проговорил себе под нос Альберт и прошел в свою комнату, особенно тихо затворив за собою дверь.

Через несколько минут замочная ручка так же тихо повернулась, и он вышел из своей комнаты со скрипкой. Злобно и бегло взглянув на Делесова, он положил скрипку на стул и снова скрылся.

Делесов пожал плечами и улыбнулся.

«Что ж мне еще делать? в чем я виноват?» подумал он.

– Ну, что музыкант? – был первый вопрос его, когда он поздно воротился домой.

– Плох! – коротко и звучно отвечал Захар. – Всё вздыхает, кашляет и ничего не говорит, только раз пять принимался просить водки. Уж я ему дал одну. А то как бы нам его не загубить так, Дмитрий Иванович. Так-то приказчик…

– А на скрипке не играет?

– Не дотрогивается даже. Я тоже к нему ее приносил раза два, – так возьмет ее потихоньку и вынесет, – отвечал Захар с улыбкой. – Так пить не прикажете давать?

– Нет, еще подождем день, посмотрим, что будет. А теперь он что?

– Заперся в гостиной.

Делесов прошел в кабинет, отобрал несколько французских книг и немецкое евангелие.

– Положи это завтра ему в комнату, да смотри, не выпускай, – сказал он Захару.

На другое утро Захар донес барину, что музыкант не спал целую ночь: всё ходил по комнатам и приходил в буфет, пытаясь отворить шкаф и дверь, но что всё, по его старанию, было заперто. Захар рассказывал, что, притворившись спящим, он слышал, как Альберт в темноте сам с собой бормотал что-то и размахивал руками.

Альберт с каждым днем становился мрачнее и молчаливее. Делесова он, казалось, боялся, и в лице его выражался болезненный испуг, когда глаза их встречались. Он не брал в руки ни книг, ни скрипки и не отвечал на вопросы, которые ему делали.

На третий день пребывания у него музыканта Делесов приехал домой поздно вечером, усталый и расстроенный. Он целый день ездил, хлопотал по делу, казавшемуся очень простым и легким, и, как это часто бывает, решительно ни шагу не сделал вперед, несмотря на усиленное старание. Кроме того, заехав в клуб, он проиграл в вист. Он был не в духе.

– Ну, Бог с ним совсем! – отвечал он Захару, который объяснил ему печальное положение Альберта. – Завтра добьюсь от него решительно: хочет ли он или нет оставаться у меня и следовать моим советам? Нет – так и не надо. Кажется, что я сделал всё, что мог.

«Вот делай добро людям! – думал он сам с собой. – Я для него стесняюсь, держу у себя в доме это грязное существо, так что утром принять не могу незнакомого человека, хлопочу, бегаю, а он на меня смотрит, как на какого-то злодея, который из своего удовольствия запер его в клетку. А главное – сам для себя и шагу не хочет сделать. Так они и все (это «все» относилось вообще к людям и особенно к тем, до которых у него нынче было дело). И что с ним делается теперь? О чем он думает и грустит? Грустит о разврате, из которого я его вырвал? Об унижении, в котором он был? О нищете, от которой я его спас? Видно, уж он так упал, что тяжело ему смотреть на честную жизнь…»

«Нет, это был детский поступок, – решил сам с собою Делесов. – Куда мне браться других исправлять, когда только дай Бог с самим собою сладить». Он хотел было сейчас отпустить его, но, подумав немного, отложил до завтра.

Ночью Делесова разбудил стук упавшего стола в передней и звук голосов и топота. Он зажег свечу и с удивлением стал прислушиваться…

– Погодите, я Дмитрию Ивановичу скажу, – говорил Захар; голос Альберта бормотал что-то горячо и несвязно. Делесов вскочил и со свечою выбежал в переднюю. Захар в ночном костюме стоял против двери, Альберт в шляпе и альмавиве отталкивал его от двери и слезливым голосом кричал на него.

– Вы не можете не пустить меня! У меня паспорт, я ничего не унес у вас! Можете обыскать меня! Я к полицмейстеру пойду!

– Позвольте, Дмитрий Иванович! – обратился Захар к барину, продолжая спиной защищать дверь. – Они ночью встали, нашли ключ в моем пальто и выпили целый графин сладкой водки. Это разве хорошо? А теперь уйти хотят. Вы не приказали, потому я и не могу пустить их.

Альберт, увидав Делесова, еще горячее стал приступать к Захару.

– Не может меня никто держать! не имеет права! – кричал он, всё больше и больше возвышая голос.

– Отойди, Захар, – сказал Делесов. – Я вас держать не хочу и не могу, но я советовал бы вам остаться до завтра, – обратился он к Альберту.

– Никто меня держать не может! Я к полицмейстеру пойду! – всё сильнее и сильнее кричал Альберт, обращаясь только к Захару и не глядя на Делесова. – Караул! – вдруг завопил он неистовым голосом.

– Да что же вы кричите так-то? ведь вас не держат, – сказал Захар, отворяя дверь.

Альберт перестал кричать. «Не удалось? Хотели уморить меня. Нет!» бормотал он про себя, надевая калоши. Не простившись и продолжая говорить что-то непонятное, он вышел в дверь. Захар посветил ему до ворот и вернулся.

– И слава Богу, Дмитрий Иванович! А то долго ли до греха, – сказал он барину, – и теперь серебро поверить надо.

Делесов только покачал головой и ничего не отвечал. Ему живо вспомнились теперь два первые вечера, которые он провел с музыкантом, вспомнились печальные дни, которые по его вине провел здесь Альберт, и главное он вспомнил то сладкое смешанное чувство удивления, любви и сострадания, которое возбудил в нем с первого взгляда этот странный человек, и ему стало жалко его. «И что-то с ним будет теперь? – подумал он. – Без денег, без теплого платья, один посреди ночи…» Он хотел было уже послать за ним Захара, но было поздно.

– А холодно на дворе? – спросил Делесов.

– Мороз здоровый, Дмитрий Иванович, – отвечал Захар. – Я забыл вам доложить, до весны еще дров купить придется.

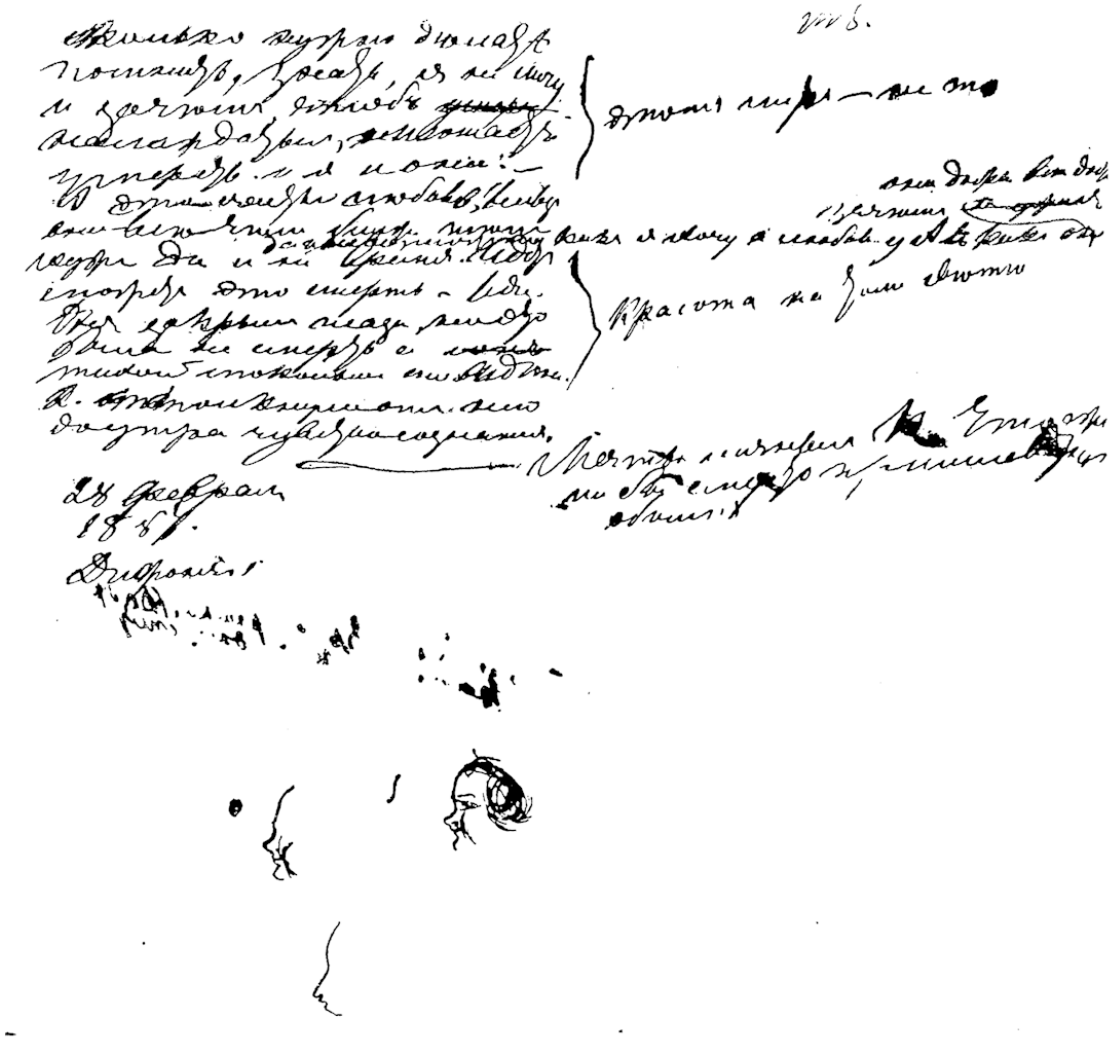
– А как же ты говорил, что останутся?

VII.

На дворе действительно было холодно, но Альберт не чувствовал холода, – так он был разгорячен выпитым вином и спором.

Выйдя на улицу, он оглянулся и радостно потер руки. На улице было пусто, но длинный ряд фонарей еще светил красными огнями, на небе было ясно и звездно. «Что?» сказал он, обращаясь к светившемуся окну в квартире Делесова, и, засунув руки под пальто в карманы панталон и перегнувшись вперед, Альберт тяжелыми и неверными шагами пошел направо по улице. Он чувствовал в ногах и желудке чрезвычайную тяжесть, в голове его что-то шумело, какая-то невидимая сила бросала его из стороны в сторону, но он всё шел вперед по направлению к квартире Анны Ивановны. В голове его бродили странные, несвязные мысли. То он вспоминал последний спор с Захаром, то почему-то море и первый свой приезд на пароходе в Россию, то счастливую ночь, проведенную с другом в лавочке, мимо которой он проходил; то вдруг знакомый мотив начинал петь в его воображении, и он вспоминал предмет своей страсти и страшную ночь в театре. Но, несмотря на несвязность, все эти воспоминания с такой яркостью представлялись его воображению, что, закрыв глаза, он не знал, что было больше действительность: то, что он делал, или то, что он думал. Он не помнил и не чувствовал, как переставлялись его ноги, как, шатаясь, он толкался об стену, как он смотрел вокруг себя и как переходил с улицы на улицу. Он помнил и чувствовал только то, что, причудливо сменяясь и перепутываясь, представлялось ему.

Проходя по Малой Морской, Альберт споткнулся и упал. Очнувшись на мгновение, он увидал перед собой какое-то громадное, великолепное здание и пошел дальше. На небе не было видно ни звезд, ни зари, ни месяца, фонарей тоже не было, но все предметы обозначались ясно.



Последняя страница рукописи первой редакции „Альберта“.
Размер подлинника.

В окнах здания, возвышавшегося в конце улицы, светились огни, но огни эти колебались, как отражение. Здание всё ближе и ближе, яснее и яснее выростало перед Альбертом. Но огни исчезли, как только Альберт вошел в широкие двери. Внутри было темно. Одинокие шаги звучно раздавались под сводами, и какие-то тени, скользя, убегали при его приближении. «Зачем я пошел сюда?» подумал Альберт; но какая-то непреодолимая сила тянула его вперед к углублению огромной залы.... Там стояло какое-то возвышение, и вокруг его молча стояли какие-то маленькие люди. «Кто это будет говорить?» спросил Альберт. Никто не ответил, только один указал ему на возвышение. На возвышении уже стоял высокий, худой человек с щетинистыми волосами и в пестром халате. Альберт тотчас узнал своего друга Петрова. «Как странно, что он здесь!» подумал Альберт. «Нет, братья!» – говорил Петров, указывая на кого-то. – «Вы не поняли человека, жившего между вами; вы не поняли его! Он не продажный артист, не механический исполнитель, не сумасшедший, не потерянный человек. Он гений, великий музыкальный гений, погибший среди вас незамеченным и неоцененным». Альберт

тотчас же понял, о ком говорил его друг; но, не желая стеснять его, из скромности опустил голову.

– «Он, как соломинка, сгорел весь от того священного огня, которому мы все служим, – продолжал голос: – но он исполнил всё то, что было вложено в него Богом; за то он и должен назваться великим человеком. Вы могли презирать его, мучить, унижать, – продолжал голос громче и громче, – а он был, есть и будет неизмеримо выше всех вас. Он счастлив, он добр. Он всех одинаково любит или презирает, что всё равно, а служит только тому, что вложено в него свыше. Он любит одно – красоту, единственно-несомненное благо в мире. Да, вот кто он такой! Ниц падайте все перед ним, на колена!» закричал он громко.

Но другой голос тихо заговорил из противоположного угла залы. «Я не хочу падать перед ним на колена, – говорил голос, в котором Альберт тотчас узнал голос Делесова. – Чем же он велик? И зачем нам кланяться перед ним? Разве он вел себя честно и справедливо? Разве он принес пользу обществу? Разве мы не знаем, как он брал взаймы деньги и не отдавал их, как он унес скрипку у своего товарища-артиста и заложил ее?.. («Боже мой! как он это всё знает!» подумал Альберт, еще ниже опуская голову.) Разве мы не знаем, как он льстил самым ничтожным людям, льстил из-за денег? – продолжал Делесов. – Не знаем, как его выгнали из театра? Как Анна Ивановна хотела в полицию послать его?» («Боже мой! это всё правда, но заступись за меня, – проговорил Альберт: – Ты один знаешь, почему я это делал».)

– «Перестаньте, стыдитесь, – заговорил опять голос Петрова. – Какое право имеете вы обвинять его? Разве вы жили его жизнью? Испытывали его восторги? («Правда, правда!» шептал Альберт.) Искусство есть высочайшее проявление могущества в человеке. Оно дается редким избранным и поднимает избранника на такую высоту, на которой голова кружится, и трудно удержаться здравым. В искусстве, как во всякой борьбе, есть герои, отдавшие все своему служению и гибнувшие, не достигнув цели».

Петров замолчал, а Альберт поднял голову и громко закричал: «Правда! правда!» Но голос его замер без звука.

– «Не до вас это дело, – строго обратился к нему художник Петров. – Да, унижайте, презирайте его, – продолжал он, – а из всех нас он лучший и счастливейший!»

Альберт, с блаженством в душе слушавший эти слова, не выдержал, подошел к другу и хотел поцаловать его.

– «Убирайся, я тебя не знаю, – отвечал Петров, – проходи своей дорогой, а то не дойдешь…»

– Вишь, тебя разобрало! не дойдешь, – прокричал будочник на перекрестке.

Альберт приостановился, собрал все силы и, стараясь не шататься, повернул в переулок.

До Анны Ивановны оставалось несколько шагов. Из сеней ее дома падал свет на снег двора, и у калитки стояли сани и кареты.

Хватаясь охолодевшими руками за перила, он взбежал на лестницу и позвонил.

Заспанное лицо служанки высунулось в отверстие двери и сердито взглянуло на Альберта. «Нельзя! – прокричала она: – не велено пускать», и захлопнула отверстие. На лестницу доходили звуки музыки и женских голосов. Альберт сел на пол, прислонился головой к стене и закрыл глаза. В то же мгновение толпы несвязаных, но родственных видений с новой силой обступили его, приняли в свои волны и понесли куда-то туда, в свободную и прекрасную область мечтания. «Да, он лучший и счастливейший!» невольно повторялось в его воображении. Из двери слышались звуки польки. Эти звуки говорили тоже, что он лучший и счастливейший! В ближайшей церкви слышался благовест и благовест этот говорил: да, он лучший и счастливейший. «Но пойду опять в залу, – подумал Альберт. – Петров еще много, много должен сказать мне». В зале уже никого не было, и вместо художника Петрова на возвышеньи стоял сам Альберт и сам играл на скрипке всё то, что прежде говорил голос. Но скрипка была странного устройства: она вся была сделана из стекла. И ее надо было обнимать обеими руками

и медленно прижимать к груди, для того чтобы она издавала звуки. Звуки были такие нежные и прелестные, каких никогда не слыхал Альберт. Чем крепче прижимал он к груди скрипку, тем отраднее и слаще ему становилось. Чем громче становились звуки, тем шибче разбегались тени и больше освещались стены залы прозрачным светом. Но надо было очень осторожно играть на скрипке, чтобы не раздавить ее. Альберт играл на стеклянном инструменте очень осторожно и хорошо. Он играл такие вещи, которых, он чувствовал, что никто никогда больше не услышит. Он начинал уже уставать, когда другой дальний глухой звук развлек его. Это был звук колокола, но звук этот произносил слово: «да», говорил колокол, далеко и высоко гудя где-то, «он вам жалок кажется, вы его презираете, а он лучший и счастливейший! Никто никогда больше не будет играть на этом инструменте.»

Эти знакомые слова показались внезапно так умны, так новы и справедливы Альберту, что он перестал играть и, стараясь не двигаться, поднял руки и глаза к небу. Он чувствовал себя прекрасным и счастливым. Несмотря на то, что в зале никого не было, Альберт выпрямил грудь и, гордо подняв голову, стоял на возвышеньи так, чтобы все могли его видеть. Вдруг чья-то рука слегка дотронулась до его плеча; он обернулся и в полусвете увидал женщину. Она печально смотрела на него и отрицательно покачала головой. Он тотчас же понял, что то, что он делал, было дурно, и ему стало стыдно за себя. «Куда же?» спросил он ее. Она еще раз долго, пристально посмотрела на него и печально наклонила голову. Она была та, совершенно та, которую он любил, и одежда ее была та же, на полной белой шее была нитка жемчугу, и прелестные руки были обнажены выше локтя. Она взяла его за руку и повела вон из залы. «Выход с той стороны», сказал Альберт; но она, не отвечая, улыбнулась и вывела его из залы. На пороге залы Альберт увидал луну и воду. Но вода не была внизу, как обыкновенно бывает, а луна не была наверху: белый круг в одном месте, как обыкновенно бывает. Луна и вода были вместе и везде – и наверху, и внизу, и сбоку, и вокруг их обоих. Альберт вместе с нею бросился в луну и воду и понял, что теперь можно ему обнять ту, которую он любил больше всего на свете; он обнял ее и почувствовал невыносимое счастье. «Уж не во сне ли это?» спросил он себя. Но нет! это была действительность, это было больше, чем действительность: это было действительность и воспоминание. Он чувствовал, что то невыразимое счастье, которым он наслаждался в настоящую минуту, прошло и никогда не воротится. «О чем же я плачу?» спросил он у нее. Она молча, печально посмотрела на него. Альберт понял, что она хотела сказать этим. «Да как же, когда я жив», проговорил он. Она, не отвечая, неподвижно смотрела вперед. «Это ужасно! Как растолковать ей, что я жив», с ужасом подумал он. «Боже мой! да я жив, поймите меня», шептал он.

«Он лучший и счастливейший», говорил голос. Но что-то всё сильнее и сильнее давило Альберта. Было ли то луна и вода, ее объятия или слезы, – он не знал, но чувствовал, что не выскажет всего, что надо, и что скоро всё кончится.

Двое гостей, выходившие от Анны Ивановны, наткнулись на растянувшегося на пороге Альберта. Один из них вернулся и вызвал хозяйку.

– Ведь это безбожно, – сказал он, – вы могли этак заморозить человека.

– Ах, уж этот мне Альберт, – вот где сидит, – отвечала хозяйка. – Аннушка! положите его где-нибудь в комнате, – обратилась она к служанке.

– Да я жив, зачем же хоронить меня? – бормотал Альберт, в то время как его бесчувственного вносили в комнаты

28 февраля 1858.

ТРИ СМЕРТИ.
Рассказ.

I.

Была осень. По большой дороге скорой рысью ехали два экипажа. В передней карете сидели две женщины. Одна была госпожа, худая и бледная. Другая – горничная, глянцовито-румяная и полная. Короткие сухие волоса выбивались из-под полинявшей шляпки, красная рука в прорванной перчатке порывисто поправляла их. Высокая грудь, покрытая ковровым платком, дышала здоровьем, быстрые черные глаза то следили через окно за убегающими полями, то робко взглядывали на госпожу, то беспокойно окидывали углы кареты. Перед носом горничной качалась привешенная к сетке барынина шляпка, на коленях ее лежал щенок, ноги ее поднимались от шкатулок, стоявших на полу, и чуть слышно подбарабанивали по ним под звук тряски рессор и побрякиванья стекол.

Сложив руки на коленях и закрыв глаза, госпожа слабо покачивалась на подушках, заложенных ей за спину, и, слегка наморщившись, внутренно покашливала. На голове ее был белый ночной чепчик и голубая косыночка, завязанная на нежной, бледной шее. Прямой ряд, уходя под чепчик, разделял русые, чрезвычайно плоские напомаженные волосы, и было что-то сухое, мертвенное в белизне кожи этого просторного ряда. Вялая, несколько желтоватая кожа неплотно обтягивала тонкие и красивые очертания лица и краснелась на щеках и скулах. Губы были сухи и неспокойны, редкие ресницы не курчавились, и дорожный суконный капот делал прямые складки на впалой груди. Несмотря на то, что глаза были закрыты, лицо госпожи выражало усталость, раздраженье и привычное страданье.

Лакей, облокотившись на свое кресло, дремал на козлах, почтовый ямщик, покрикивая бойко, гнал крупную потную четверку, изредка оглядываясь на другого ямщика, покрикивавшего сзади в коляске. Параллельные широкие следы шин ровно и шибко стлались по известковой грязи дороги. Небо было серо и холодно, сырая мгла сыпалась на поля и дорогу. В карете было душно и пахло одеколоном и пылью. Больная потянула назад голову и медленно открыла глаза. Большие глаза были блестящи и прекрасного темного цвета.

– Опять, – сказала она, нервически отталкивая красивой худощавой рукой конец салопа горничной, чуть-чуть прикасавшийся к ее ноге, – и рот ее болезненно изогнулся. Матреша подобрала обеими руками салоп, приподнялась на сильных ногах и села дальше. Свежее лицо ее покрылось ярким румянцем. Прекрасные темные глаза больной жадно следили за движениями горничной. Госпожа уперлась обеими руками о сиденье и также хотела приподняться, чтоб подсесть выше; но силы отказали ей. Рот ее изогнулся, и всё лицо ее исказилось выражением бессильной, злой иронии. «Хоть бы ты помогла мне!.. Ах! не нужно! Я сама могу, только не клади за меня свои какие-то мешки, сделай милость!.. Да уж не трогай лучше, коли ты не умеешь!» Госпожа закрыла глаза и, снова быстро подняв веки, взглянула на горничную. Матреша, глядя на нее, кусала нижнюю красную губу. Тяжелый вздох поднялся из груди больной, но вздох, не кончившись, превратился в кашель. Она отвернулась, сморщилась и обеими руками схватилась за грудь. Когда кашель прошел, она снова закрыла глаза и продолжала сидеть неподвижно. Карета и коляска въехали в деревню. Матреша высунула толстую руку из-под платка и перекрестилась.

– Что это? – спросила госпожа.

– Станция, сударыня.

– Что ж ты крестишься, я спрашиваю?

– Церковь, сударыня.

Больная повернулась к окну и стала медленно креститься, глядя во все большие глаза на большую деревенскую церковь, которую объезжала карета больной.

Карета и коляска вместе остановились у станции. Из коляски вышли муж больной женщины и доктор и подошли к карете.

– Как вы себя чувствуете? – спросил доктор, щупая пульс.

– Ну, как ты, мой друг, не устала? – спросил муж по-французски, – не хочешь ли выйти?

Матреша, подобрав узелки, жалась в угол, чтобы не мешать разговаривать.

– Ничего, то же самое, – отвечала больная. – Я не выйду.

Муж, постояв немного, вошел в станционный дом, Матреша, выскочив из кареты, на ципочках побежала по грязи в ворота.

– Коли мне плохо, это не резон, чтобы вам не завтракать, – слегка улыбаясь, сказала больная доктору, который стоял у окна.

«Никому им до меня дела нет, – прибавила она про себя, как только доктор, тихим шагом отойдя от нее, рысью взбежал на ступени станции. – Им хорошо, так и всё равно. О! Боже мой!»

– Ну что, Эдуард Иванович, – сказал муж, встречая доктора и с веселой улыбкой потирая руки, – я велел погребец принести, вы как думаете насчет этого?

– Можно, – отвечал доктор.

– Ну, что она? – со вздохом спросил муж, понижая голос и поднимая брови.

– Я говорил, она не может доехать не только до Италии, до Москвы дай Бог. Особенно по этой дороге.

– Так что ж делать? Ах, Боже мой! Боже мой! – Муж закрыл глаза рукою. – Подай сюда, – прибавил он человеку, вносившему погребец.

– Оставаться надо было, – пожав плечами, отвечал доктор.

– Да скажите, что же я мог сделать? – возразил муж, – ведь я употребил всё, чтобы удержать ее; я говорил и о средствах, и о детях, которых мы должны оставить, и о моих делах, – она ничего слышать не хочет. Она делает планы о жизни за границей, как бы здоровая. А сказать ей о ее положении, ведь это значило бы убить ее.

– Да она уже убита, вам надо знать это, Василий Дмитрич. Человек не может жить, когда у него нет легких, и легкие опять вырости не могут. Грустно, тяжело, но что ж делать? Наше и ваше дело только в том, чтобы конец ее был сколь возможно спокоен. Тут духовник нужен.

– Ах, Боже мой! да вы поймите мое положение, напоминая ей о последней воле. Пусть будет, что будет, а я не скажу ей этого. Ведь вы знаете, как она добра…

– Всё-таки попробуйте уговорить ее остаться до зимнего пути, – сказал доктор, значительно покачивая головой, – а то дорогой может быть худо…

– Аксюша, а Аксюша! – визжала смотрительская дочь, накинув на голову кацавейку и топчась на грязном заднем крыльце, – пойдем, Ширкинскую барыню посмотрим, говорят, от грудной болезни за границу везут. Я никогда еще не видала, какие в чахотке бывают.

Аксюша выскочила на порог, и обе, схватившись за руки, побежали за ворота. Уменьшив шаг, они прошли мимо кареты и заглянули в опущенное окно. Больная повернула к ним голову, но, заметив их любопытство, нахмурилась и отвернулась.

– Мм-а-тушки! – сказала смотрительская дочь, быстро оборачивая голову. – Какая была красавица чудная, нынче что стало? Страшно даже. Видела, видела, Аксюша?

– Да, какая худая! – поддакивала Аксюша. – Пойдем еще посмотрим, будто к колодцу. Вишь отвернулась, а я еще видела. Как жалко, Маша.

– Да и грязь же какая! – отвечала Маша, и обе побежали назад в ворота.

«Видно я страшна стала, – думала больная. – Только бы поскорей, поскорей за границу, там я скоро поправлюсь.»

– Что, как ты, мой друг? – сказал муж, подходя к карете и прожевывая кусок.

«Всё один и тот же вопрос, – подумала больная, – а сам ест!»

– Ничего, – пропустила она сквозь зубы.

– Знаешь ли, мой друг, я боюсь, тебе хуже будет от дороги в эту погоду, и Эдуард Иваныч то же говорит. Не вернуться ли нам?

Она сердито молчала.

– Погода поправится, может быть, путь установится, и тебе бы лучше стало; мы бы и поехали все вместе.

– Извини меня. Ежели бы я давно тебя не слушала, я бы была теперь в Берлине и была бы совсем здорова.

– Что ж делать, мой ангел, невозможно было, ты знаешь. А теперь, ежели бы ты осталась на месяц, ты бы славно поправилась, я бы кончил дела, и детей бы мы взяли…

– Дети здоровы, а я нет.

– Да ведь пойми, мой друг, что с этой погодой, ежели тебе сделается хуже дорогой… тогда, по крайней мере, дома.

– Что ж что дома?.... Умереть дома? – вспыльчиво отвечала больная. Но слово *умереть*, видимо, испугало ее, она умоляюще и вопросительно посмотрела на мужа. Он опустил глаза и молчал. Рот больной вдруг детски изогнулся, и слезы полились из ее глаз. Муж закрыл лицо платком и молча отошел от кареты.

– Нет, я поеду, – сказала больная, подняла глаза к небу, сложила руки и стала шептать несвязные слова. – Боже мой! за что же? – говорила она, и слезы лились сильнее. Она долго и горячо молилась, но в груди так же было больно и тесно, в небе, в полях и по дороге было так же серо и пасмурно, и та же осенняя мгла, ни чаще, ни реже, а всё так же сыпалась на грязь дороги, на крыши, на карету и на тулупы ямщиков, которые, переговариваясь сильными, веселыми голосами, мазали и закладывали карету…

II.

Карета была заложена; но ямщик мешкал. Он зашел в ямскую избу. В избе было жарко, душно, темно и тяжело, пахло жильем, печеным хлебом, капустой и овчиной. Несколько человек ямщиков было в горнице, кухарка возилась у печи, на печи, в овчинах лежал больной.

– Дядя Хведор! а дядя Хведор, – сказал молодой парень, ямщик в тулупе и с кнутом за поясом, входя в комнату и обращаясь к больному.

– Ты чаво, шабала, Федьку спрашиваешь? – отозвался один из ямщиков: – вишь, тебя в карету ждут.

– Хочу сапог попросить; свои избил, – отвечал парень, вскидывая волосами и оправляя рукавицы за поясом. – Аль спит? А дядя Хведор? – повторил он, подходя к печи.

– Чаво? – послышался слабый голос, и рыжее худое лице нагнулось с печи. Широкая, исхудалая и побледневшая рука покрытая волосами, натягивала армяк на острое плечо в грязной рубахе. – Дай испить, брат, ты чаво?

Парень подал ковшик с водой.

– Да что, Федя, – сказал он, переминаясь, – тебе, чай, сапог новых не надо теперь; отдай мне, ходить, чай, не будешь.

Больной, припав усталой головой к глянцовитому ковшу и мокая редкие, отвисшие усы в темной воде, слабо и жадно пил. Спутанная борода его была нечиста, впалые, тусклые глаза с трудом поднялись на лицо парня. Отстав от воды, он хотел поднять руку, чтобы отереть мокрые губы, но не мог и отерся о рукав армяка. Молча и тяжело дыша носом, он смотрел прямо в глаза парню, сбираясь с силами.

– Може ты кому пообещал уже, – сказал парень, – так даром. Главное дело, мокреть на дворе, а мне с работой ехать; я и подумал себе: дай у Федьки сапог попрошу, ему, чай, не надо. Може тебе самому надобны, ты скажи…

В груди больного что-то стало переливаться и бурчать; он перегнулся и стал давиться горловым, неразрешавшимся кашлем.

– Уж где надобны, – неожиданно сердито, на всю избу затрещала кухарка, – второй месяц с печи не слезает. Вишь, надрывается, даже у самой внутренность болит, как слышишь только. Где ему сапоги надобны? В новых сапогах хоронить не станут. А уж давно пора, прости Господи согрешенье. Вишь, надрывается. Либо перевесть его что ль в избу в другую или куда! Такие больницы, слышь, в городу есть; а то разве дело, занял весь угол, да и шабаш. Нет тебе простору никакого. А тоже чистоту спрашивают.

– Эй, Серега! иди, садись, господа ждут, – крикнул в дверь почтовый староста.

Серега хотел уйти, не дождавшись ответа, но больной глазами, во время кашля, давал ему знать, что хочет ответить.

– Ты сапоги возьми, Серега, – сказал он, подавив кашель и отдохнув немного. – Только, слышь, камень купи, как помру, – хрипя прибавил он.

– Спасибо, дядя, так я возьму, а камень, ей-ей, куплю.

– Вот ребята, слышали, – мог выговорить еще больной и снова перегнулся вниз и стал давиться.

– Ладно, слышали, – сказал один из ямщиков. – Иди, Серега, садись, а то вон опять староста бежит. Барыня вишь Ширкинская больная.

Серега живо скинул свои прорванные, несоразмерно большие сапоги и швырнул под лавку. Новые сапоги дяди Федора пришлись как раз по ногам, и Серега, поглядывая на них, вышел к карете.

– Эк сапоги важные! дай помажу, – сказал ямщик с помазкою в руке в то время, как Серега, влезая на козлы, подбирал вожжи. – Даром отдал?

– Аль завидно, – отвечал Серега, приподнимаясь и повертывая около ног полы армяка. – Пущай! Эх вы, любезные! – крикнул он на лошадей, взмахнув кнутиком; и карета и коляска с своими седоками, чемоданами и важами, скрываясь в сером осеннем тумане, шибко покатились по мокрой дороге.

Больной ямщик остался в душной избе на печи и, не выкашлявшись, через силу перевернулся на другой бок и затих.

В избе до вечера приходили, уходили, обедали, – больного было не слышно. Перед ночью кухарка влезла на печь и через его ноги достала тулуп.

– Ты на меня не серчай, Настасья, – проговорил больной, – скоро опростаю угол-то твой.

– Ладно, ладно, что ж, ничаво, – пробормотала Настасья.

– Да что у тебя болит-то, дядя? Ты скажи.

– Нутро всё изныло. Бог его знает что.

– Небось, и глотка болит, как кашляешь?

– Везде больно. Смерть моя пришла – вот что. Ох, ох, ох! – простонал больной.

– Ты ноги-то укрой вот так, – сказала Настасья, по дороге натягивая на него армяк и слезая с печи.

Ночью в избе слабо светил ночник. Настасья и человек 10 ямщиков с громким храпом спали на полу и по лавкам. Один больной слабо кряхтел, кашлял и ворочался на печи. К утру он затих совершенно.

– Чудно́ что-то я нынче во сне видела, – говорила кухарка, в полусвете потягиваясь на другое утро. – Вижу я, будто дядя Хведор с печи слез и пошел дрова рубить. Дай, говорит, Настя, я тебе подсоблю; а я ему говорю – куда уж тебе дрова рубить, а он как схватит топор да и почнет рубить, так шибко, шибко, только щепки летят. Что ж, я говорю, ты ведь болен был. Нет, говорит, я здоров, да как замахнется, на меня страх и нашел. Как я закричу, и проснулась. – Уже не помер ли? Дядя Хведор! а дядя!

Федор не откликался.

– И то не помер ли? Пойти посмотреть, – сказал один из проснувшихся ямщиков.

Свисшая с печи худая рука, покрытая рыжеватыми волосами, была холодна и бледна.

– Пойти смотрителю сказать, кажись, помер, – сказал ямщик.

Родных у Федора не было – он был дальний. На другой день его похоронили на новом кладбище, за рощей, и Настасья несколько дней рассказывала всем про сон, который он видела, и про то, что она первая хватилась дяди Федора.

III.

Пришла весна. По мокрым улицам города, между навозными льдинками, журчали торопливые ручьи; цвета одежд и звуки говора движущегося народа были ярки. В садиках за заборами пухнули почки дерев, и ветви их чуть слышно покачивались от свежего ветра. Везде лились и капали прозрачные капли… Воробьи нескладно подпискивали и подпархивали на своих маленьких крыльях. На солнечной стороне, на заборах, домах и деревьях, всё двигалось и блестело. Радостно, молодо было и на небе, и на земле, и в сердце человека.

На одной из главных улиц, перед большим барским домом, была постелена свежая солома; в доме была та самая умирающая больная, которая спешила за границу.

У затворенных дверей комнаты стояли муж больной и пожилая женщина. На диване сидел священник, опустив глаза и держа что-то завернутым в эпитрахили. В углу, в вольтеровском кресле, лежала старушка – мать больной – и горько плакала. Подле нее горничная держала на руке чистый носовой платок, дожидаясь, чтобы старушка спросила его; другая чем-то терла виски старушки и дула ей под чепчик в седую голову.

– Ну, Христос с вами, мой друг, – говорил муж пожилой женщине, стоявшей с ним у двери, – она такое имеет доверие к вам, вы так умеете говорить с ней, уговорите ее хорошенько, голубушка, идите же. – Он хотел уже отворить ей дверь; но кузина удержала его, приложила несколько раз платок к глазам и встряхнула головой.

– Вот теперь, кажется, я не заплакана, – сказала она и, сама отворив дверь, прошла в нее.

Муж был в сильном волнении и казался совершенно растерян. Он направился было к старушке; но, не дойдя несколько шагов, повернулся, прошел по комнате и подошел к священнику. Священник посмотрел на него, поднял брови к небу и вздохнул. Густая с проседью бородка тоже поднялась кверху и опустилась.

– Боже мой! Боже мой! – сказал муж.

– Что делать? – вздыхая сказал священник, и снова брови и бородка его поднялись кверху и опустились.

– И матушка тут! – почти с отчаяньем сказал муж. – Она не вынесет этого. Ведь так любить, так любить ее, как она… я не знаю. Хоть бы вы, батюшка, попытались успокоить ее и уговорить уйти отсюда.

Священник встал и подошел к старушке.

– Точно-с, материнское сердце никто оценить не может, – сказал он, – однако Бог милосерд.

Лицо старушки вдруг стало всё подергиваться, и с ней сделалась истерическая икота.

– Бог милосерд, – продолжал священник, когда она успокоилась немного. – Я вам доложу, в моем приходе был один больной, много хуже Марьи Дмитревны, и что же, простой мещанин травами вылечил в короткое время. И даже мещанин этот самый теперь в Москве. Я говорил Василью Дмитревичу – можно бы испытать. По крайности утешенье для больной бы было. Для Бога всё возможно.

– Нет, уже ей не жить, – проговорила старушка: – чем бы меня, а ее Бог берет. – И истерическая икота усилилась так, что чувства оставили ее.

Муж больной закрыл лицо руками и выбежал из комнаты.

В коридоре первое лицо, встретившее его, был шестилетний мальчик, во весь дух догонявший младшую девочку.

– Что ж детей-то, не прикажете к мамаше сводить? – спросила няня.

– Нет, она не хочет их видеть. Это расстроит ее.

Мальчик остановился на минуту, пристально всматриваясь в лицо отца, и вдруг подбрыкнул ногой и с веселым криком побежал дальше.

– Это она будто бы вороная, папаша! – прокричал мальчик, указывая на сестру.

Между тем в другой комнате кузина сидела подле больной и искусно веденным разговором старалась приготовить ее к мысли о смерти. Доктор у другого окна мешал питье.

Больная, в белом капоте, вся обложенная подушками, сидела на постели и молча смотрела на кузину.

– Ах, мой друг, – сказала она, неожиданно перебивая ее, – не приготавливайте меня. Не считайте меня за дитя. Я христианка. Я всё знаю. Я знаю, что мне жить недолго, я знаю, что ежели бы муж мой раньше послушал меня, я бы была в Италии и, может быть, даже наверно, была бы здорова. Это все ему говорили. Но что ж делать, видно Богу было так угодно. На всех нас много грехов, я знаю это; но надеюсь на милость Бога, всем простится, должно быть, всем простится. Я стараюсь понять себя. И на мне было много грехов, мой друг. Но зато сколько я выстрадала. Я старалась сносить с терпеньем свои страданья…

– Так позвать батюшку, мой друг? вам будет еще легче, причастившись, – сказала кузина.

Больная нагнула голову в знак согласья.

– Боже! прости меня грешную, – прошептала она.

Кузина вышла и мигнула батюшке.

– Это ангел! – сказала она мужу с слезами на глазах. Муж заплакал, священник прошел в дверь, старушка всё еще была без памяти, и в первой комнате стало совершенно тихо. Через пять минут священник вышел из двери и, сняв эпитрахиль, оправил волосы.

– Слава Богу, оне спокойнее теперь, – сказал он, – желают вас видеть.

Кузина и муж вышли. Больная тихо плакала, глядя на образ.

– Поздравляю тебя, мой друг, – сказал муж.

– Благодарствуй! Как мне теперь хорошо стало, какую непонятную сладость я испытываю, – говорила больная, – и легкая улыбка играла на ее тонких губах. – Как Бог милостив! Не правда ли, Он милостив и всемогущ? – И она снова с жадной мольбой смотрела полными слез глазами на образ.

Потом вдруг как будто что-то вспомнилось ей. Она знаками подозвала к себе мужа.

– Ты никогда не хочешь сделать, что я прошу, – сказала она слабым и недовольным голосом.

Муж, вытянув шею, покорно слушал ее.

– Что, мой друг?

– Сколько раз я говорила, что эти доктора ничего не знают, есть простые лекарки, они вылечивают… Вот батюшка говорил… мещанин… Пошли.

– За кем, мой друг?

– Боже мой! ничего не хочет понимать!.. – И больная сморщилась и закрыла глаза.

Доктор, подойдя к ней, взял ее за руку. Пульс заметно бился слабее и слабее. Он мигнул мужу. Больная заметила этот жест и испуганно оглянулась. Кузина отвернулась и заплакала.

– Не плачь, не мучь себя и меня, – говорила больная, – это отнимает у меня последнее спокойствие.

– Ты ангел! – сказала кузина, целуя ее руку.

– Нет, сюда поцелуй, только мертвых целуют в руку. Боже мой! Боже мой!

В тот же вечер больная уже была тело, и тело в гробу стояло в зале большого дома. В большой комнате с затворенными дверями сидел один дьячок и в нос, мерным голосом, читал

песни Давида. Яркий восковой свет с высоких серебряных подсвечников падал на бледный лоб усопшей, на тяжелые восковые руки и окаменелые складки покрова, страшно поднимающегося на коленах и пальцах ног. Дьячок, не понимая своих слов, мерно читал, и в тихой комнате странно звучали и замирали слова. Изредка из дальней комнаты долетали звуки детских голосов и их топота.

«Сокроешь лицо Твое – смущаются, – гласил псалтырь, – возьмешь от них дух – умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух Твой – созидаются и обновляют лицо земли. Да будет Господу слава во веки».

Лицо усопшей было строго, спокойно и величаво. Ни в чистом холодном лбе, ни в твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была внимание. Но понимала ли она хоть теперь великие слова эти?

IV.

Через месяц над могилой усопшей воздвиглась каменная часовня. Над могилой ямщика всё еще не было камня, и только светло-зеленая трава пробивала над бугорком, служившим единственным признаком прошедшего существования человека.

– А грех тебе будет, Серега, – говорила раз кухарка на станции, – коли ты Хведору камня не купишь. То говорил: зима, зима, а нынче что ж слова не держишь? Ведь при мне было. Он уж приходил к тебе раз просить; не купишь, еще раз придет, душить станет.

– Да что, я разве отрекаюсь, – отвечал Серега, – я камень куплю, как сказал, куплю, в полтора целковых куплю. Я не забыл, да ведь привезть надо. Как случай в город будет, так и куплю.

– Ты бы хошь крест поставил, вот что, – отозвался старый ямщик, – а то впрямь дурно. Сапоги-то носишь.

– Где его возьмешь крест-то? из полена не вытешешь?

– Что говоришь-то? Из полена не вытешешь, возьми топор да в рощу пораньше сходи, вот и вытешешь. Ясенку ли, что ли, срубишь. Вот и голубец будет. А то поди еще объездчика пой водкой. За всякой дрянью поить не наготовишься. Вон я намедни вагу сломал, новую вырубил важную, никто слова не сказал.

Ранним утром, чуть зорька, Серега взял топор и пошел в рощу.

На всем лежал холодный матовый покров еще падавшей, не освещенной солнцем росы. Восток незаметно яснел, отражая свой слабый свет на подернутом тонкими тучами своде неба. Ни одна травка внизу, ни один лист на верхней ветви дерева не шевелились. Только изредка слышавшиеся звуки крыльев в чаще дерева или шелеста по земле нарушали тишину леса. Вдруг странный, чуждый природе звук разнесся и замер на опушке леса. Но снова послышался звук и равномерно стал повторяться внизу около ствола одного из неподвижных деревьев. Одна из макуш необычайно затрепетала, сочные листья ее зашептали что-то, и малиновка, сидевшая на одной из ветвей ее, со свистом перепорхнула два раза и, подергивая хвостиком, села на другое дерево.

Топор низом звучал глуше и глуше, сочные белые щепки летели на росистую траву, и легкий треск послышался из-за ударов. Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колебаясь на своем корне. На мгновенье всё затихло, но снова погнулось дерево, снова послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнулось макушей на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Ветка, которую она зацепила своими крыльями, покачалась несколько времени и замерла, как и другие, со всеми своими листьями. Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями.

Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по земле и небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачные побелевшие тучки, спеша, разбегались по синевшему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое, сочные листья радостно и спокойно шептались в вершинах, и ветви живых дерев медленно, величаво зашевелились над мертвым, поникшим деревом.

–

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Мы носили траур по матери, которая умерла осенью, и жили всю зиму в деревне, одни с Катей и Соней.

Катя была старый друг дома, гувернантка, вынянчившая всех нас, и которую я помнила и любила с тех пор, как себя помнила. Соня была моя меньшая сестра. Мы проводили мрачную и грустную зиму в нашем старом покровском доме. Погода была холодная, ветреная, так что сугробы намело выше окон; окна почти всегда были замерзлы и тусклы, и почти целую зиму мы никуда не ходили и не ездили. Редко кто приезжал к нам; да кто и приезжал, не прибавлял веселья и радости в нашем доме. У всех были печальные лица, все говорили тихо, как будто боясь разбудить кого-то, не смеялись, вздыхали и часто плакали, глядя на меня и в особенности на маленькую Соню в черном платьице. В доме еще как будто чувствовалась смерть; печаль и ужас смерти стояли в воздухе. Комната мамаши была заперта, и мне становилось жутко, и что-то тянуло меня заглянуть в эту холодную и пустую комнату, когда я проходила спать мимо нее.

Мне было тогда семнадцать лет, и в самый год своей смерти мамаша хотела переехать в город, чтобы вывозить меня. Потеря матери была для меня сильным горем, но должна признаться, что из-за этого горя чувствовалось и то, что я молода, хороша, как все мне говорили, а вот вторую зиму даром, в уединении, убиваю в деревне. Перед концом зимы это чувство тоски одиночества и просто скуки увеличилось до такой степени, что я не выходила из комнаты, не открывала фортепьяно и не брала книги в руки. Когда Катя уговаривала меня заняться тем или другим, я отвечала: не хочется, не могу, а в душе мне говорилось: зачем? Зачем что-нибудь делать, когда так даром пропадает мое лучшее время? Зачем? А на *«зачем»* не было другого ответа, как слезы.

Мне говорили, что я похудела и подурнела в это время, но это даже не занимало меня. Зачем? для кого? Мне казалось, что вся моя жизнь так и должна пройти в этой одинокой глуши и беспомощной тоске, из которой я сама, одна, не имела силы и даже желанья выдти. Катя под конец зимы стала бояться за меня и решилась, во что бы то ни стало, везти меня за границу. Но для этого нужны были деньги, а мы почти не знали, чтó у нас осталось после матери, и с каждым днем ждали опекуна, который должен был приехать и разобрать наши дела.

В марте приехал опекун.

– Ну слава Богу! – сказала мне раз Катя, когда я как тень, без дела, без мысли, без желаний, ходила из угла в угол, – Сергей Михайлыч приехал, присылал спросить о нас и хотел быть к обеду. Ты встряхнись, моя Машечка, – прибавила она, – а то что он о тебе подумает? Он так вас любил всех.

Сергей Михайлыч был близкий сосед наш и друг покойного отца, хотя и гораздо моложе его. Кроме того, что его приезд изменял наши планы и давал возможность уехать из деревни, я с детства привыкла любить и уважать его, и Катя, советуя мне встряхнуться, угадала, что изо всех знакомых мне бы больнее всего было перед Сергеем Михайлычем показаться в невыгодном свете. Кроме того что я, как и все в доме, начиная от Кати и Сони, его крестницы, до последнего кучера, любили его по привычке, он для меня имел особое значение по одному слову, сказанному при мне мамашей. Она сказала, что такого мужа желала бы для меня. Тогда мне это показалось удивительно и даже неприятно; герой мой был совсем другой. Герой мой

был тонкий, сухощавый, бледный и печальный. Сергей же Михайлыч был человек уже немолодой, высокий, плотный и, как мне казалось, всегда веселый; но, несмотря на то, эти слова мамаши запали мне в воображение, и еще шесть лет тому назад, когда мне было одиннадцать лет, и он говорил мне *ты*, играл со мной и прозвал меня *девочка-фиялка*, я не без страха иногда спрашивала себя, что я буду делать, ежели он вдруг захочет жениться на мне?

Перед обедом, к которому Катя прибавила пирожное крем и соус из шпината, Сергей Михайлыч приехал. Я видела в окно, как он подъезжал к дому в маленьких санках, но, как только он заехал за угол, я поспешила в гостиную и хотела притвориться, что совсем не ожидала его. Но, заслышав в передней стук ног, его громкий голос и шаги Кати, я не утерпела и сама пошла ему навстречу. Он, держа Катю за руку, громко говорил и улыбался. Увидев меня, он остановился и несколько времени смотрел на меня, не кланяясь. Мне стало неловко, и я почувствовала, что покраснела.

– Ах! неужели это вы? – сказал он с своею решительною и простою манерой, разводя руками и подходя ко мне. – Можно ли так перемениться! как вы выросли! Вот-те и фиялка! Вы целой розан стали.

Он взял своею большою рукой меня за руку, и пожал так крепко, честно, только что не больно. Я думала, что он поцелует мою руку, и нагнулась было к нему, но он еще раз пожал мне руку и прямо в глаза посмотрел своим твердым и веселым взглядом.

Я шесть лет не видала его. Он много переменился; постарел, почернел и оброс бакенбардами, что очень не шло к нему; но те же были простые приемы, открытое, честное, с крупными чертами лицо, умные блестящие глаза и ласковая, как будто детская улыбка.

Через пять минут он перестал быть гостем, а сделался своим человеком для всех нас, даже для людей, которые, видно было по их услужливости, особенно радовались его приезду.

Он вел себя совсем не так, как соседи, приезжавшие после кончины матушки и считавшие нужным молчать и плакать, сидя у нас; он, напротив, был разговорчив, весел и ни слова не говорил о матушке, так что сначала это равнодушие мне показалось странно и даже неприлично со стороны такого близкого человека. Но потом я поняла, что это было не равнодушие, а искренность, и была благодарна за нее.

Вечером Катя села разливать чай на старое место в гостиной, как это бывало при мамаше; мы с Соней сели около нее; старый Григорий принес ему еще бывшую папашину отыскавшуюся трубку, и он, как и в старину, стал ходить взад и вперед по комнате.

– Сколько страшных перемен в этом доме, как подумаешь! – сказал он, останавливаясь.

– Да, – сказала Катя со вздохом и, прикрыв самовар крышечкой, посмотрела на него, уж готовая расплакаться.

– Вы, я думаю, помните вашего отца? – обратился он ко мне.

– Мало, – отвечала я.

– А как бы вам теперь хорошо было бы с ним! – проговорил он, тихо и задумчиво глядя на мою голову выше моих глаз. – Я очень любил вашего отца! – прибавил он еще тише, и мне показалось, что глаза его стали блестящее.

– А тут ее Бог взял! – проговорила Катя и тотчас же положила салфетку на чайник, достала платок и заплакала.

– Да, страшные перемены в этом доме, – повторил он, отвернувшись. – Соня, покажи игрушки, – прибавил он через несколько времени и вышел в залу. Полными слез глазами я посмотрела на Катю, когда он вышел.

– Это такой славный друг! – сказала она.

И действительно, как-то тепло и хорошо стало мне от сочувствия этого чужого и хорошего человека.

Из гостиной слышался писк Сони и его возня с нею. Я выслала ему чай; и слышно было, как он сел за фортепьяно и Сониными ручонками стал бить по клавишам.

– Марья Александровна! – послышался его голос. – Подите сюда, сыграйте что-нибудь.

Мне приятно было, что он так просто и дружески-повелительно обращается ко мне; я встала и подошла к нему.

– Вот это сыграйте, – сказал он, раскрывая тетрадь Бетговена на адажио сонаты quasi una fantasia.[20] – Посмотрим, как-то вы играете, – прибавил он и отошел с стаканом в угол залы.

Почему-то я почувствовала, что с ним мне невозможно отказываться и делать предисловия, что я дурно играю; я покорно села за клавикорды и начала играть, как умела, хотя и боялась суда, зная, что он понимает и любит музыку. Адажио было в тоне того чувства воспоминания, которое было вызвано разговором за чаем, и я сыграла, кажется, порядочно. Но скерцо он мне не дал играть. «Нет, это вы нехорошо играете, – сказал он, подходя ко мне. – это оставьте, а первое недурно. Вы, кажется, понимаете музыку». Эта умеренная похвала так обрадовала меня, что я даже покраснела. Мне так ново и приятно было, что он, друг и равный моего отца, говорил со мной один на один серьезно, а уже не как с ребенком, как прежде. Катя пошла на верх укладывать Соню, и мы вдвоем остались в зале.

Он рассказывал мне про моего отца, про то, как он сошелся с ним, как они весело жили когда-то, когда еще я сидела за книгами и игрушками; и отец мой в его рассказах в первый раз представлялся мне простым и милым человеком, каким я не знала его до сих пор. Он расспрашивал меня тоже про то, что я люблю, что читаю, что намерена делать, и давал советы. Он был теперь для меня не шутник и весельчак, дразнивший меня и делавший игрушки, а человек серьезный, простой и любящий, к которому я чувствовала невольное уважение и симпатию. Мне было легко, приятно, и вместе с тем я чувствовала невольную напряженность, говоря с ним. Я боялась за каждое свое слово; мне так хотелось самой заслужить его любовь, которая уж была приобретена мною только за то, что я была дочь моего отца.

Уложив Соню, Катя присоединилась к нам и нажаловалась ему на мою апатию, про которую я ничего не сказала.

– Самого-то главного она и не рассказала мне, – сказал он, улыбаясь и укоризненно качая на меня головой.

– Что ж рассказывать! – сказала я: – это очень скучно, да и пройдет. (Мне действительно казалось теперь, что не только пройдет моя тоска, но что она уже прошла, и что ее никогда не было.)

– Это нехорошо не уметь переносить одиночества, – сказал он: – неужели вы барышня?

– Разумеется, барышня, – отвечала я, смеясь.

– Нет, дурная барышня, которая только жива, пока на нее любуются, а как только одна осталась, так и опустилась, и ничто ей не мило; всё только для показу, а для себя ничего.

– Хорошего вы мнения обо мне, – сказала я, чтобы сказать что-нибудь.

– Нет! – проговорил он, помолчав немного: – не даром вы похожи на вашего отца. В вас *есть*, – и его добрый, внимательный взгляд снова польстил мне и радостно смутил меня.

Только теперь я заметила из-за его, на первое впечатление, веселого лица этот ему одному принадлежащий взгляд, сначала ясный, а потом всё более и более внимательный и несколько грустный.

– Вам не должно и нельзя скучать, – сказала он: – у вас есть музыка, которую вы понимаете, книги, ученье, у вас целая жизнь впереди, к которой теперь только и можно готовиться, чтобы потом не жалеть. Через год уж поздно будет.

Он говорил со мной как отец или дядя, и я чувствовала, что он беспрестанно удерживается, чтобы быть наравне со мною. Мне было и обидно, что он считает меня ниже себя, и приятно, что для одной меня он считает нужным стараться быть другим.

Остальной вечер он о делах говорил с Катей.

---

[20] [в форме фантазии.]

– Ну, прощайте, любезные друзья, – сказал он, вставая и подходя ко мне и взяв меня за руку.

– Когда же увидимся опять? – спросила Катя.

– Весной, – отвечал он, продолжая держать меня за руку: – теперь поеду в Даниловку (наша другая деревня); узнаю там, устрою, что могу, заеду в Москву уж по своим делам, а лето будем видеться.

– Ну что ж это вы так надолго? – сказала я ужасно грустно; и действительно, я надеялась уже видеть его каждый день, и мне так вдруг жалко стало и страшно, что опять вернется моя тоска. Должно быть, это выразилось в моем взгляде и тоне.

– Да; побольше занимайтесь, не хандрите, – сказал он, как мне показалось, слишком холодно-простым тоном. – А весною я вас проэкзаменую, – прибавил он, выпуская мою руку и не глядя на меня.

В передней, где мы стояли, провожая его, он заторопился, надевая шубу, и опять обошел меня взглядом. «Напрасно он старается! – подумала я. – Неужели он думает, что мне уж так приятно, чтоб он смотрел на меня? Он хороший человек, очень хороший… но и только.»

Однако в этот вечер мы с Катей долго не засыпали и всё говорили, не о нем, а о том, как проведем нынешнее лето, где и как будем жить зиму. Страшный вопрос: зачем? уже не представлялся мне. Мне казалось очень просто и ясно, что жить надо для того, чтобы быть счастливою, и в будущем представлялось много счастия. Как будто вдруг наш старый, мрачный покровский дом наполнился жизнью и светом.

II.

Между тем пришла весна. Прежняя моя тоска прошла и заменилась весеннею мечтательною тоскою непонятных надежд и желаний. Хотя я жила не так, как в начале зимы, а занималась и Соней, и музыкой, и чтением, я часто уходила в сад и долго, долго бродила одна по аллеям или сидела на скамейке, Бог знает о чем думая, чего желая и надеясь. Иногда и целые ночи, особенно месячные, я просиживала до утра у окна своей комнаты, иногда в одной кофточке, потихоньку от Кати, выходила в сад и по росе бегала до пруда, и один раз вышла даже в поле и одна ночью обошла весь сад кругом.

Теперь мне трудно вспомнить и понять те мечты, которые тогда наполняли мое воображение. Даже когда я вспомню, мне не верится, чтобы точно это были мои мечты. Так они были странны и далеки от жизни.

В конце мая Сергей Михайлыч, как и обещал, вернулся из своей поездки.

В первый раз он приехал вечером, когда мы совсем не ожидали его. Мы сидели на террасе и собирались пить чай. Сад уже был весь в зелени, в заросших клумбах уже поселились соловьи на все Петровки. Кудрявые кусты сирени кое-где как будто посыпаны были сверху чем-то белым и лиловым. Это цветы готовились распускаться. Листва березовой аллеи была вся прозрачна на заходящем солнце. На террасе была свежая тень. Сильная вечерняя роса должна была лечь на траву. На дворе за садом слышались последние звуки дня, шум пригнанного стада; дурачок Никон ездил с бочкой перед террасой по дорожке, и холодная струя воды из лейки кругами чернила вскопанную землю около стволов георгин и подпорок. У нас на террасе, на белой скатерти, блестел и кипел светло-вычищенный самовар, стояли сливки, кренделька, печенья. Катя пухлыми руками домовито перемывала чашки. Я, не дожидаясь чая и проголодавшись после купанья, ела хлеб с густыми свежими сливками. На мне была холстинковая блуза с открытыми рукавами, и голова была повязана платком по мокрым волосам. Катя первая, еще через окно, увидала его.

– А! Сергей Михайлыч! – проговорила она, – а мы только что про вас говорили.

Я встала и хотела уйдти, чтобы переодеться, но он застал меня в то время, как я была уже в дверях.

– Ну, что за церемонии в деревне, – сказал он, глядя на мою голову в платке и улыбаясь, – ведь вам не совестно Григория, а я, право, для вас Григорий. – Но именно теперь мне показалось, что он смотрит на меня совсем не так, как мог смотреть Григорий, и мне стало неловко.

– Я сейчас приду, – сказала я, уходя от него.

– Чем же это дурно! – прокричал он мне вслед, – точно молодайка крестьянская.

«Как он странно посмотрел на меня, – думала я, торопливо переодеваясь наверху. – Ну, слава Богу, что он приехал, веселей будет!» И посмотревшись в зеркало, весело сбежала вниз по лестнице и, не скрывая того, что торопилась, запыхавшись вошла на террасу. Он сидел за столом и рассказывал Кате про наши дела. Взглянув на меня, он улыбнулся и продолжал говорить. Дела наши, по его словам, были в отличном положении. Теперь нам надо было только лето пробыть в деревне, а потом ехать или в Петербург для воспитания Сони, или за границу.

– Да вот ежели бы вы с нами за границу поехали, – сказала Катя, – а то мы одни как в лесу там будем.

– Ах! как бы я с вами вокруг света поехал, – сказал он полушутя, полусерьезно.

– Так что ж, – сказала я, – поедемте вокруг света.

Он улыбнулся и покачал головой.

– А матушка? А дела? – сказал он. – Ну да не в том дело. Расскажите-ка, как вы провели это время? Неужели опять хандрили?

Когда я ему рассказала, что без него занималась и не скучала, и Катя подтвердила мои слова, он похвалил меня и словами и взглядом обласкал, как ребенка, как будто имел на то право. Мне казалось необходимо подробно и особенно искренно сообщать ему всё, что я делала хорошего, и признаваться, как на исповеди, во всем, чем он мог быть недоволен. Вечер был так хорош, что чай унесли, а мы остались на террасе, и разговор был так занимателен для меня, что я и не заметила, как понемногу затихли вокруг нас людские звуки. Отовсюду сильнее запахло цветами, обильная роса облила траву, соловей защелкал недалеко в кусте сирени и затих, услыхав наши голоса; звездное небо как будто опустилось над нами.

Я заметила, что уже смерклось, только потому, что летучая мышь вдруг беззвучно влетела под парусину террасы и затрепыхалась около моего белого платка. Я прижалась к стене и хотела уже вскрикнуть, но мышь так же беззвучно и быстро вынырнула из-под навеса и скрылась в полутьме сада.

– Как я люблю ваше Покровское, – сказал он, прерывая разговор. – Так бы всю жизнь и сидел тут на террасе.

– Ну что ж, и сидите, – сказала Катя.

– Да, сидите, – проговорил он, – жизнь не сидит.

– Что вы не женитесь? – сказала Катя. – Вы бы отличный муж были.

– Оттого, что я люблю сидеть, – засмеялся он. – Нет, Катерина Карловна, нам с вами уж не жениться. На меня уж давно все перестали смотреть, как на человека, которого женить можно. А я сам и подавно, и с тех пор мне так хорошо стало, право.

Мне показалось, что он как-то неестественно-увлекательно говорит это.

– Вот хорошо! тридцать шесть лет, уж и отжил, – сказала Катя.

– Да еще как отжил, – продолжал он, – только сидеть и хочется. А чтоб жениться, надо другое. Вот спросите-ка у нее, – прибавил он, головой указывая на меня. – Вот этих женить надо. А мы с вами будем на них радоваться.

В тоне его была затаенная грусть и напряженность, не укрывшаяся от меня. Он помолчал немного; ни я, ни Катя ничего не сказали.

– Ну, представьте себе, – продолжал он, повернувшись на стуле, – ежели бы я вдруг женился, каким-нибудь несчастным случаем, на семнадцатилетней девочке, хоть на Маш…

на Марье Александровне. Это прекрасный пример, я очень рад, что это так выходит… и это самый лучший пример.

Я засмеялась и никак не понимала, чему он так рад, и что такое так выходит…

– Ну, скажите по правде, руку на сердце, – сказал он, шутливо обращаясь ко мне: – разве не было бы для вас несчастье соединить свою жизнь с человеком старым, отжившим, который только сидеть хочет, тогда как у вас там Бог знает что бродит, чего хочется.

Мне неловко стало, я молчала, не зная, чтó ответить.

– Ведь я не делаю вам предложенья, – сказал он, смеясь, – но по правде, скажите, ведь не о таком муже вы мечтаете, когда по вечерам одни гуляете по аллее; и ведь это было бы несчастье?

– Не несчастье… – начала я.

– Ну, а нехорошо, – докончил он.

– Да, но ведь я могу ошиба....

Но опять он перебил меня.

– Ну вот видите, и она совершенно права, и я благодарен ей за искренность и очень рад, что у нас был этот разговор. Да мало этого, для меня бы это было величайшее несчастие, – прибавил он.

– Какой вы чудак, ничего не переменились, – сказала Катя и вышла с террасы, чтобы велеть накрывать ужин.

Мы оба затихли после ухода Кати, и вокруг нас всё было тихо. Только соловей уже не по-вечернему, отрывисто и нерешительно, а по-ночному, неторопливо, спокойно, заливался на весь сад, и другой снизу от оврага, в первый раз нынешний вечер, издалека откликнулся ему. Ближайший замолк, как будто прислушался на минуту, и еще резче и напряженнее залился пересыпчатою звонкою трелью. И царственно-спокойно раздавались эти голоса в ихнем чуждом для нас ночном мире. Садовник прошел спать в оранжерею, шаги его в толстых сапогах, всё удаляясь, прозвучали по дорожке. Кто-то пронзительно свистнул два раза под горой, и всё опять затихло. Чуть слышно заколебался лист, полохнулось полотно террасы, и, колеблясь в воздухе, донеслось что-то пахучее на террасу и разлилось по ней. Мне неловко было молчать после того, что было сказано, но что сказать, я не знала. Я посмотрела на него. Блестящие глаза в полутьме оглянулись на меня.

– Отлично жить на свете! – проговорил он.

Я вздохнула отчего-то.

– Что?

– Отлично жить на свете! – повторила я.

И опять мы замолчали, и мне опять стало неловко. Мне всё приходило в голову, что я огорчила его, согласившись с ним, что он стар, и хотела утешить его, но не знала, как сделать это.

– Однако прощайте, – сказал он, вставая, – матушка ждет меня к ужину. Я почти не видал ее нынче.

– А я хотела сыграть вам новую сонату, – сказала я.

– В другой раз, – сказал он холодно, как мне показалось.

– Прощайте.

Мне еще больше показалось теперь, что я огорчила его, и стало жалко. Мы с Катей проводили его до крыльца и постояли на дворе, глядя по дороге, по которой он скрылся. Когда затих уже топот его лошади, я пошла кругом на террасу и опять стала смотреть в сад, и в росистом тумане, в котором стояли ночные звуки, долго еще видела и слышала всё то, что хотела видеть и слышать.

Он приехал в другой, в третий раз, и неловкость, происшедшая от странного разговора, бывшего между нами, совершенно исчезла и больше не возобновлялась. В продолжение всего лета он раза два-три в неделю приезжал к нам; и я привыкла к нему так, что, когда он долго не

приезжал, мне казалось неловко жить одной, и я сердилась на него и находила, что он дурно поступает, оставляя меня. Он обращался со мной, как с молодым любимым товарищем, расспрашивал меня, вызывал на самую задушевную откровенность, давал советы, поощрял, иногда бранил и останавливал. Но, несмотря на всё его старанье постоянно быть наравне со мною, я чувствовала, что за тем, чтò я понимала в нем, оставался еще целый чужой мир, в который он не считал нужным впускать меня, и это-то сильнее всего поддерживало во мне уважение и притягивало к нему. Я знала от Кати и от соседей, что, кроме забот о старой матери, с которою он жил, кроме своего хозяйства и нашего опекунства, у него были какие-то дворянские дела, за которые ему делали большие неприятности; но как он смотрел на всё это, какие были его убеждения, планы, надежды, я никогда ничего не могла узнать от него. Как только я наводила разговор на его дела, он морщился своим особенным манером, как будто говоря: «полноте, пожалуйста, что вам до этого», и переводил разговор на другое. Сначала это оскорбляло меня, но потом я так привыкла к тому, что мы всегда говорили только о вещах, касающихся меня, что уже находила это естественным.

Что также сначала не нравилось мне, а потом, напротив, сделалось приятно, было его совершенное равнодушие и как бы презрение к моей наружности. Он никогда ни взглядом, ни словом не намекал мне на то, что я хороша; а напротив, морщился и смеялся, когда при нем называли меня хорошенькою. Он даже любил находить во мне наружные недостатки и дразнил меня ими. Модные платья и прически, в которые Катя любила наряжать меня по торжественным дням, вызывали только его насмешки, огорчавшие добрую Катю и сначала сбивавшие меня с толку. Катя, решившая в своем уме, что я ему нравлюсь, никак не могла понять, как не любить, чтобы нравящаяся женщина выказывалась в самом выгодном свете. Я же скоро поняла, чего ему было надо. Ему хотелось верить, что во мне нет кокетства. И когда я поняла это, во мне действительно не осталось и тени кокетства нарядов, причесок, движений; но зато явилось, белыми нитками шитое, кокетство простоты, в то время как я еще не могла быть проста. Я знала, что он любит меня, – как ребенка, или как женщину, я еще не спрашивала себя; я дорожила этою любовью и, чувствуя, что он считает меня самою лучшею девушкою в мире, я не могла не желать, чтоб этот обман оставался в нем. И я невольно обманывала его. Но, обманывая его, и сама становилась лучше. Я чувствовала, как лучше и достойнее мне было выказывать перед ним лучшие стороны своей души, чем тела. Мои волосы, руки, лицо, привычки, какие бы они ни были, хорошие или дурные, мне казалось, он сразу оценил и знал так, что я ничего, кроме желания обмана, не могла прибавить к своей наружности. Души же моей он не знал; потому что любил ее, потому что в то самое время она росла и развивалась, и тут-то я могла обманывать и обманывала его. И как легко мне стало с ним, когда я ясно поняла это! Эти беспричинные смущения, стесненность движений совершенно исчезли во мне. Я чувствовала, что спереди ли, сбоку ли, сидя или стоя он видит меня, с волосами кверху или книзу, он знал всю меня и, мне казалось, был доволен мною, какою я была. Я думаю, что ежели бы он, против своих привычек, как другие, вдруг сказал мне, что у меня прекрасное лицо, я бы даже нисколько не была рада. Но зато как отрадно и светло на душе становилось мне, когда он после какого-нибудь моего слова, пристально поглядев на меня, говорил тронутым голосом, которому старался дать шутливый тон:

– Да, да, в вас *есть*. Вы славная девушка, это я должен сказать вам.

И ведь за что я получала тогда такие награды, наполнявшие мое сердце гордостью и весельем? За то, что я говорила, что сочувствую любви старого Григорья к своей внучке, или за то, что до слез трогалась прочитанным стихотвореньем или романом, или за то, что предпочитала Моцарта Шульгофу. И удивительно, мне подумалось, каким необыкновенным чутьем угадывала я тогда всё то, что хорошо и что надо бы любить; хотя я тогда еще решительно не знала, чтò хорошо и чтò надо любить. Большая часть моих прежних привычек и вкусов не нравились ему, и стоило движеньем брови, взглядом показать, что ему не нравится то, что я хочу сказать,

сделать свою особенную, жалкую, чуть-чуть презрительную мину, как мне уже казалось, что я не люблю того, что любила прежде. Бывало, он только хочет посоветовать мне что-нибудь, а уж мне кажется, что я знаю, что̀ он скажет. Он спросит меня, глядя мне в глаза, и взгляд его вытягивает из меня ту мысль, какую ему хочется. Все мои тогдашние мысли, все тогдашние чувства были не мои, а его мысли и чувства, которые вдруг сделались моими, перешли в мою жизнь и осветили ее. Совершенно незаметно для себя, я на всё стала смотреть другими глазами: и на Катю, и на наших людей, и на Соню, и на себя, и на свои занятия. Книги, которые прежде я читывала только для того, чтобы убивать скуку, сделались вдруг для меня одним из лучших удовольствий в жизни; и всё только оттого, что мы поговорили с ним о книгах, читали с ним вместе, и он привозил мне их. Прежде занятия с Соней, уроки ей были для меня тяжелою обязанностью, которую я усиливалась исполнять только по сознанию долга; он посидел за уроком, и следить за успехами Сони сделалось для меня радостью. Выучить целую музыкальную пьесу прежде казалось мне невозможным; а теперь, зная, что он будет слушать и похвалит, может быть, я по сорока раз сряду проигрывала один пассаж, так что бедная Катя затыкала уши ватой, а мне всё не было скучно. Те же старые сонаты как-то совсем иначе фразировались теперь и выходили совсем иначе и гораздо лучше. Даже Катя, которую я знала и любила как себя, и та изменилась в моих глазах. Теперь только я поняла, что она вовсе не была обязана быть матерью, другом, рабой, какой она была для нас. Я поняла всё самоотвержение и преданность этого любящего созданья, поняла всё, чем я обязана ей; и еще больше стала любить ее. Он же научил меня смотреть на наших людей, крестьян, дворовых, девушек совсем иначе, чем прежде. Смешно сказать, а до семнадцати лет я прожила между этими людьми более чужая для них, чем для людей, которых никогда не видала; ни разу не подумала, что эти люди так же любят, желают и сожалеют, как и я. Наш сад, наши рощи, наши поля, которые я так давно знала, вдруг сделались новыми и прекрасными для меня. Не даром он говорил, что в жизни есть только одно несомненное счастье – жить для другого. Мне тогда это странно казалось, я не понимала этого; но это убеждение, помимо мысли, уже приходило мне в сердце. Он открыл мне целую жизнь радостей в настоящем, не изменив ничего в моей жизни, ничего не прибавив, кроме себя, к каждому впечатлению. Всё то же с детства безмолвно было вокруг меня, а стоило ему только придти, чтобы всё то же заговорило и наперерыв запросилось в душу, наполняя ее счастием.

Часто в это лето я приходила наверх, в свою комнату, ложилась на постель, и вместо прежней весенней тоски желаний и надежд в будущем тревога счастия в настоящем обхватывала меня. Я не могла засыпать, вставала, садилась на постель к Кате и говорила ей, что я совершенно счастлива, чего, как теперь я вспоминаю, совсем не нужно было говорить ей: она сама могла видеть это. Но она говорила мне, что и ей ничего не нужно, и что она тоже очень счастлива, и целовала меня. Я верила ей, мне казалось так необходимо и справедливо, чтобы все были счастливы. Но Катя могла тоже думать о сне и даже, притворяясь сердитою, прогоняла меня, бывало, с своей постели и засыпала; а я долго еще перебирала всё то, чем я так счастлива. Иногда я вставала и молилась в другой раз, своими словами молилась, чтобы благодарить Бога за всё то счастье, которое Он дал мне.

И в комнатке было тихо; только сонно и ровно дышала Катя, часы тикали подле нее, и я поворачивалась и шептала слова или крестилась и целовала крест на шее. Двери были закрыты, ставешки были в окнах, какая-нибудь муха или комар, колеблясь, жужжали на одном месте. И мне хотелось никогда не выходить из этой комнатки, не хотелось, чтобы приходило утро, не хотелось, чтобы разлетелась эта моя душевная атмосфера, окружавшая меня. Мне казалось, что мои мечты, мысли и молитвы – живые существа, тут во мраке живущие со мной, летающие около моей постели, стоящие надо мной. И каждая мысль была его мысль, и каждое чувство – его чувство. Я тогда еще не знала, что это любовь, я думала, что это так всегда может быть, что так даром дается это чувство.

III.

Один день во время уборки хлеба мы с Катей и Соней после обеда пошли в сад на нашу любимую скамейку в тени лип над оврагом, за которым открывался вид леса и поля. Сергей Михайлыч уже дня три не был у нас, и в этот день мы ожидали его, тем более, что наш приказчик сказал, что он обещал приехать на поле. Часу во втором мы видели, как он верхом проехал на ржаное поле. Катя велела принесть персиков и вишен, которые он очень любил, с улыбкой взглянув на меня, прилегла на скамейку и задремала. Я оторвала кривую, плоскую ветку липы с сочными листьями и сочною корой, обмочившею мне руку, и, обмахивая Катю, продолжала читать, беспрестанно отрываясь и глядя на полевую дорогу, по которой он должен был приехать. Соня у корня старой липы строила беседку для кукол. День был жаркий, безветренный, парило, тучи сростались и чернели, и с утра еще собиралась гроза. Я была взволнована, как всегда перед грозой. Но после полудня тучи стали разбираться по краям, солнце выплыло на чистое небо, и только на одном краю погромыхивало, и по тяжелой туче, стоявшей над горизонтом и сливавшейся с пылью на полях, изредка до земли прорезались бледные зигзаги молнии. Ясно было, что на нынешний день разойдется, у нас по крайней мере. По видневшейся местами дороге за садом, не прерываясь, то медленно тянулись высокие скрипящие воза с снопами, то быстро, навстречу им, постукивали пустые телеги, дрожали ноги и развевались рубахи. Густая пыль не уносилась и не опускалась, а стояла за плетнем между прозрачною листвой деревьев сада. Подальше, на гумне, слышались те же голоса, тот же скрып колес, и те же желтые снопы, медленно продвигавшиеся мимо забора, там летали по воздуху, и на моих глазах росли овальные дома, выделялись их острые крыши, и фигуры мужиков копошились на них. Впереди, на пыльном поле, тоже двигались телеги, и те же виднелись желтые снопы, и также звуки телег, голосов и песен доносились издали. С одного края всё открытее и открытее становилось жнивье с полосами полынью поросшей межи. Поправее, внизу, по некрасиво спутанному, скошенному полю виднелись яркие одежды вязавших баб, нагибающихся, размахивающих руками, и спутанное поле очищалось, и красивые снопы часто расставлялись по нем. Как будто вдруг на моих глазах из лета сделалась осень. Пыль и зной стояли везде, исключая нашего любимого местечка в саду. Со всех сторон в этой пыли и зное на горячем солнце говорил, шумел и двигался трудовой народ.

А Катя так сладко похрапывала, под белым батистовым платочком на нашей прохладной скамейке, вишни так сочно-глянцовито чернели на тарелке, платья наши были так свежи и чисты, вода в кружке так радужно-светло играла на солнце, и мне так было хорошо. «Что же делать? – думала я, – чем же я виновата, что я счастлива? Но как поделиться счастьем? как и кому отдать всю себя и всё свое счастие?…»

Солнце уже зашло за макушки березовой аллеи, пыль укладывалась в поле, даль виднелась явственнее и светлее в боковом освещении, тучи совсем разошлись, на гумне из-за деревьев видны были три новые крыши скирд, и мужики сошли с них; телеги с громкими криками проскакали, видно, в последний раз; бабы с граблями на плечах и свяслами на кушаках с громкою песнью прошли домой, а Сергей Михайлыч всё не приезжал, несмотря на то, что я давно видела, как он съехал под гору. Вдруг по аллее, с той стороны, с которой я вовсе не ожидала его, показалась его фигура (он обошел оврагом). С веселым, сияющим лицом и сняв шляпу, он скорыми шагами шел ко мне. Увидав, что Катя спит, он закусил губу, закрыл глаза и пошел на цыпочках; я сейчас заметила, что он находился в том особенном настроении беспричинной веселости, которое я ужасно любила в нем, и которое мы называли диким восторгом. Он был точно школьник, вырвавшийся от ученья; всё существо его, от лица и до ног, дышало довольством, счастием и детскою резвостию.

– Ну, здравствуйте, молодая фиялка, как вы? хорошо? – сказал он шопотом, подходя ко мне и пожимая мне руку… А я отлично, – отвечал он на мой вопрос, – мне нынче тринадцать лет, хочется в лошадки играть и по деревьям лазить.

– В диком восторге? – сказала я, глядя на его смеющиеся глаза и чувствуя, что этот *дикий восторг* сообщался мне.

– Да, – отвечал он, подмигивая одним глазом и удерживая улыбку. – Только за что же Катерину Карловну по носу бить?

Я и не заметила, глядя на него и продолжая махать веткой, как я сбила платок с Кати и гладила ее по лицу листьями. Я засмеялась.

– А она скажет, что не спала, – проговорила я шопотом, будто бы для того, чтобы не разбудить Катю; но совсем не затем: мне просто приятно было шопотом говорить с ним.

Он зашевелил губами, передразнивая меня, будто я говорила уже так тихо, что ничего нельзя было слышать. Увидев тарелку с вишнями, он как будто украдкой схватил ее, пошел к Соне под липу и сел на ее куклы. Соня рассердилась сначала, но он скоро помирился с ней, устроив игру, в которой он с ней на перегонки должен был съедать вишни.

– Хотите, я велю еще принести, – сказала я, – или пойдемте сами.

Он взял тарелку, посадил на нее кукол, и мы втроем пошли к сараю. Соня, смеясь, бежала за нами, дергая его за пальто, чтоб он отдал кукол. Он отдал их и серьезно обратился ко мне.

– Ну, как же вы не фиялка, – сказал он мне всё еще тихо, хотя некого уже было бояться разбудить: – как только подошел к вам после всей этой пыли, жару, трудов, так и запахло фиялкой. И не душистою фиялкой, а знаете, этою первою, темненькою, которая пахнет снежком талым и травою весеннею.

– Ну, а что, хорошо всё идет по хозяйству? – спросила я его, чтобы скрыть радостное смущение, которое произвели во мне его слова.

– Отлично! этот народ везде отличный. Чем больше его знаешь, тем больше любишь.

– Да, – сказала я, – нынче перед вами я смотрела из саду на работы, и так мне вдруг совестно стало, что они трудятся, а мне так хорошо, что…

– Не кокетничайте этим, мой друг, – перебил он меня, вдруг серьезно, но ласково взглянув мне в глаза: – это дело свято. Избави вас Бог щеголять этим.

– Да я *вам* только говорю это.

– Ну да, я знаю. Ну, как же вишни?

Сарай был заперт, и садовников никого не было (он их всех усылал на работы). Соня побежала за ключом, но он, не дожидаясь ее, взлез на угол, поднял сетку и спрыгнул на другую сторону.

– Хотите? – послышался мне оттуда его голос: – давайте тарелку.

– Нет, я сама хочу рвать, я пойду за ключом, – сказала я, – Соня не найдет…

Но в то же время мне захотелось посмотреть, что он там делает, как смотрит, как движется, полагая, что его никто не видит. Да просто мне в это время ни на минуту не хотелось терять его из виду. Я на цыпочках по крапиве обежала сарай с другой стороны, где было ниже, и, встав на пустую кадку, так что стена мне приходилась ниже груди, перегнулась в сарай. Я окинула глазами внутренность сарая с его старыми изогнутыми деревьями и с зубчатыми широкими листьями, из-за которых тяжело и прямо висели черные сочные ягоды, и, подсунув голову под сетку, из-под корявого сука старой вишни увидала Сергея Михайлыча. Он, верно, думал, что я ушла, что никто его не видит. Сняв шляпу и закрыв глаза, он сидел на развилине старой вишни и старательно скатывал в шарик кусок вишневого клею. Вдруг он пожал плечами, открыл глаза и, проговорив что-то, улыбнулся. Так не похоже на него было это слово и эта улыбка, что мне совестно стало за то, что я подсматриваю его. Мне показалось, что слово это было: Маша! «Не может быть», думала я. – Милая Маша! – повторил он уже тише и еще нежнее. Но я уже явственно слышала эти два слова. Сердце забилось у меня так сильно, и такая

волнующая, как будто запрещенная радость вдруг обхватила меня, что я ухватилась руками за стену, чтобы не упасть и не выдать себя. Он услыхал мое движение, испуганно оглянулся и, вдруг опустив глаза, покраснел, побагровел, как ребенок. Он хотел сказать мне что-то, но не мог, и еще, и еще так и вспыхивало его лицо. Однако он улыбнулся, глядя на меня. Я улыбнулась тоже. Всё лицо его просияло радостью. Это был уже не старый дядя, ласкающий и поучающий меня, это был равный мне человек, который любил и боялся меня, и которого я боялась и любила. Мы ничего не говорили и только глядели друг на друга. Но вдруг он нахмурился, улыбка и блеск в глазах его исчезли, и он холодно, опять отечески обратился ко мне, как будто мы делали что-нибудь дурное, и как будто он опомнился и мне советовал опомниться.

– Однако слезайте, ушибетесь, – сказал он. – Да поправьте волосы, посмотрите, на что вы похожи.

«Зачем он притворяется? зачем хочет мне делать больно?» с досадой подумала я. И в ту же минуту мне пришло непреодолимое желание еще раз смутить его и испытать на нем мою силу.

– Нет, я хочу сама рвать, – сказала я и, схватившись руками за ближайший сук, ногами вскочила на стену. Он не успел поддержать меня, как я уж соскочила в сарай на землю.

– Какие вы глупости делаете! – проговорил он, снова краснея и под видом досады стараясь скрыть свое смущение: – ведь вы могли ушибиться. И как вы выйдете отсюда?

Он был смущен еще больше, чем прежде, но теперь это смущение уже не обрадовало, а испугало меня. Оно сообщилось мне, я покраснела и, избегая его взгляда и не зная, что̀ говорить, стала рвать ягоды, которых класть мне было некуда. Я упрекала себя, я раскаивалась, я боялась, и мне казалось, что я навеки погубила себя в его глазах этим поступком. Мы оба молчали, и обоим было тяжело. Соня, прибежавшая с ключом, вывела нас из этого тяжелого положения. Долго после этого мы ничего не говорили друг с другом, и оба обращались к Соне. Когда мы вернулись к Кате, которая уверяла нас, что не спала, а всё слышала, я успокоилась, и он снова старался попасть в свой покровительственный отеческий тон, но тон этот уже не удавался ему и не обманывал меня. Мне живо вспомнился теперь разговор, бывший несколько дней тому назад между нами.

Катя говорила о том, как легче мужчине любить и выражать любовь, чем женщине.

– Мужчина может сказать, что он любит, а женщина – нет, – говорила она.

– А мне кажется, что и мужчина не должен и не может говорить, что он любит, – сказал он.

– Отчего? – спросила я.

– Оттого, что всегда это будет ложь. Что такое за открытие, что человек любит? Как будто, как только он это скажет, что-то защелкнется, хлоп – любит. Как будто, как только он произнесет это слово, что-то должно произойдти необыкновенное, знамения какие-нибудь, из всех пушек сразу выпалят. Мне кажется, – продолжал он, – что люди, которые торжественно произносят эти слова: «я вас люблю», или себя обманывают, или, что еще хуже, обманывают других.

– Так как же узнает женщина, что ее любят, когда ей не скажут этого? – спросила Катя.

– Этого я не знаю, – отвечал он: – у каждого человека есть свои слова. А есть чувство, так оно выразится. Когда я читаю романы, мне всегда представляется, какое должно быть озадаченное лицо у поручика Стрельского или у Альфреда, когда он скажет: «я люблю тебя, Элеонора!» и думает, что вдруг произойдет необыкновенное; и ничего не происходит ни у ней, ни у него, те же самые глаза и нос, и всё то же самое.

Я тогда уже в этой шутке чувствовала что-то серьезное, относящееся ко мне, но Катя не позволяла легко обращаться с героями романов.

– Вечно парадоксы, – сказала она. – Ну, скажите по правде, разве вы сами никогда не говорили женщине, что любите ее?

– Никогда не говорил и на колено на одно не становился, – отвечал он, смеясь, – и не буду.

«Да, ему не нужно говорить мне, что он меня любит, – думала я теперь, живо вспоминая этот разговор. – Он любит меня, я это знаю. И всё старание его казаться равнодушным не разуверит меня».

Весь этот вечер он мало говорил со мною, но в каждом слове его к Кате, к Соне, в каждом движении и взгляде его я видела любовь и не сомневалась в ней. Мне только досадно и жалко за него было, зачем он находит нужным еще таиться и притворяться холодным, когда всё уже так ясно, и когда так легко и просто можно бы было быть так невозможно счастливым. Но меня, как преступление, мучило то, что я спрыгнула к нему в сарай. Мне всё казалось, что он перестанет уважать меня за это и сердит на меня.

После чаю я пошла к фортепияно, и он пошел за мною.

– Сыграйте что-нибудь, давно я вас не слыхал, – сказал он, догоняя меня в гостиной.

– Я и хотела… Сергей Михайлыч! – сказала я, вдруг глядя ему прямо в глаза. – Вы не сердитесь на меня?

– За что? – спросил он.

– Что я вас не послушала после обеда, – сказала я, краснея.

Он понял меня, покачал головою и усмехнулся. Взгляд его говорил, что следовало бы побранить, но что он не чувствует в себе силы на это.

– Ничего не было, мы опять друзья, – сказала я, садясь за фортепияно.

– Еще бы! – сказал он.

В большой высокой зале было только две свечи на фортепияно, остальное пространство было полутемно. В отворенные окна глядела светлая летняя ночь. Всё было тихо, только Катины шаги с перемежечкой поскрипывали в темной гостиной, и его лошадь, привязанная под окном, фыркала и била копытом по лопуху. Он сидел сзади меня, так что мне его не видно было; но везде в полутьме этой комнаты, в звуках, во мне самой я чувствовала его присутствие. Каждый взгляд, каждое движение его, которых я не видала, отзывались в моем сердце. Я играла сонату-фантазию Моцарта, которую он привез мне, и которую я при нем и для него выучила. Я вовсе не думала о том, что̀ играю, но, кажется, играла хорошо, и мне казалось, что ему нравится. Я чувствовала то наслаждение, которое он испытывал, и, не глядя на него, чувствовала взгляд, который сзади был устремлен на меня. Совершенно невольно, продолжая бессознательно шевелить пальцами, я оглянулась на него. Голова его отделялась на светлевшем фоне ночи. Он сам сидел, облокотившись головою на руки, и пристально смотрел на меня блестящими глазами. Я улыбнулась, увидев этот взгляд, и перестала играть. Он улыбнулся тоже и укоризненно покачал головою на ноты, чтоб я продолжала. Когда я кончила, месяц посветлел, поднялся высоко, и в комнату уже, кроме слабого света свеч, входил из окон другой серебристый свет, падавший на пол. Катя сказала, что ни на что не похоже, как я остановилась на лучшем месте, и что я дурно играла; но он сказал, что, напротив, я никогда так хорошо не играла, как нынче, и стал ходить по комнатам, через залу в темную гостиную и опять в залу, всякий раз оглядываясь на меня и улыбаясь. И я улыбалась, мне даже смеяться хотелось без всякой причины, так я была рада чему-то, нынче только, сейчас случившемуся. Как только он скрывался в дверь, я обнимала Катю, с которою мы стояли у фортепияно, и начинала целовать ее в любимое мое местечко, в пухлую шею под подбородок; как только он возвращался, я делала как будто серьезное лицо и насилу удерживалась от смеха.

– Что с нею сделалось нынче? – говорила ему Катя.

Но он не отвечал и только посмеивался на меня. Он знал, что̀ со мною сделалось.

– Посмотрите, что за ночь! – сказал он из гостиной, останавливаясь перед открытою в сад балконною дверью…

Мы подошли к нему, и точно, это была такая ночь, какой уж я никогда не видала после. Полный месяц стоял над домом за нами, так что его не видно было, и половина тени крыши,

столбов и полотна террасы наискоски en raccourci[21] лежала на песчаной дорожке и газонном круге. Остальное всё было светло и облито серебром росы и месячного света. Широкая цветочная дорожка, по которой с одного края косо ложились тени георгин и подпорок, вся светлая и холодная, блестя неровным щебнем, уходила в тумане и в даль. Из-за деревьев виднелась светлая крыша оранжереи, и из-под оврага поднимался растущий туман. Уже несколько оголенные кусты сирени все до сучьев были светлы. Все увлаженные росой цветы можно было отличать один от другого. В аллеях тень и свет сливались так, что аллеи казались не деревьями и дорожками, а прозрачными, колыхающимися и дрожащими домами. Направо в тени дома всё было черно, безразлично и страшно. Но зато еще светлее выходила из этого мрака причудливо-раскидистая макушка тополя, которая почему-то странно остановилась тут недалеко от дома, наверху в ярком свете, а не улетела куда-то, туда далеко, в уходящее синеватое небо.

– Пойдемте ходить, – сказала я.

Катя согласилась, но сказала, чтоб я надела калоши.

– Не надо, Катя, – сказала я, – вот Сергей Михайлыч даст мне руку.

Как будто это могло помешать мне промочить ноги. Но тогда это всем нам троим было понятно и ничуть не странно. Он никогда не подавал мне руки, но теперь я сама взяла ее, и он не нашел этого странным. Мы втроем сошли с террасы. Весь этот мир, это небо, этот сад, этот воздух были не те, которые я знала.

Когда я смотрела вперед по аллее, по которой мы шли, мне всё казалось, что туда дальше нельзя было идти, что там кончился мир возможного, что всё это навсегда должно быть заковано в своей красоте. Но мы подвигались, и волшебная стена красоты раздвигалась, впускала нас, и там тоже, казалось, был наш знакомый сад, деревья, дорожки, сухие листья. И мы точно ходили по дорожкам, наступали на круги света и тени, и точно сухой лист шуршал под ногою, и свежая ветка задевала меня по лицу. И это точно был он, который, ровно и тихо ступая подле меня, бережно нес мою руку, и это точно была Катя, которая, поскрипывая, шла рядом с нами. И, должно быть, это был месяц на небе, который светил на нас сквозь неподвижные ветви…

Но с каждым шагом сзади нас и спереди снова замыкалась волшебная стена, и я переставала верить в то, что можно еще идти дальше, переставала верить во всё, что было.

– Ах! лягушка! – проговорила Катя.

«Кто и зачем это говорит?» подумала я. Но потом я вспомнила, что это Катя, что она боится лягушек, и я посмотрела под ноги. Маленькая лягушонка прыгнула и замерла передо мной, и от нее маленькая тень виднелась на светлой глине дорожки.

– А вы не боитесь? – сказал он.

Я оглянулась на него. Одной липы в аллее недоставало в том месте, где мы проходили, мне ясно было видно его лицо. Оно было так прекрасно и счастливо…

Он сказал: «вы не боитесь?» а я слышала, что он говорил: «люблю тебя, милая девушка!» – Люблю! люблю! – твердил его взгляд, его рука; и свет, и тень, и воздух, и всё твердило то же самое.

Мы обошли весь сад. Катя ходила рядом с нами своими маленькими шажками и тяжело дышала от усталости. Она сказала, что время вернуться, и мне жалко, жалко стало ее, бедняжку. «Зачем она не чувствует того же, что мы? – думала я. – Зачем не все молоды, не все счастливы, как эта ночь и как мы с ним?»

Мы вернулись домой, но он еще долго не уезжал, несмотря на то, что прокричали петухи, что все в доме спали, и лошадь его всё чаще и чаще била копытом по лопуху и фыркала под окном. Катя не напоминала нам, что поздно, и мы, разговаривая о самых пустых вещах, просидели, сами не зная того, до третьего часа утра. Уж кричали третьи петухи, и заря начала заниматься, когда он уехал. Он простился, как обыкновенно, ничего не сказал особенного; но

[21] [в раккурсе]

я знала, что с нынешнего дня он мой, и я уже не потеряю его. Как только я призналась себе, что люблю его, я всё рассказала и Кате. Она была рада и тронута тем, что я ей рассказала, но бедняжка могла заснуть в эту ночь, а я долго, еще долго ходила по террасе, сходила в сад и, припоминая каждое слово, каждое движение, прошла по тем аллеям, по которым мы прошли с ним. Я не спала всю эту ночь и в первый раз в жизни видела восход солнца и раннее утро. И ни такой ночи, ни такого утра я уже никогда не видала после. «Только зачем он не скажет мне просто, что любит меня? – думала я. – Зачем он выдумывает какие-то трудности, называет себя стариком, когда всё так просто и прекрасно? Зачем он теряет золотое время, которое, может быть, уже никогда не возвратится? Пускай он скажет: люблю, словами скажет: люблю, пускай рукой возьмет мою руку, пригнет к ней голову и скажет: люблю. Пускай покраснеет и опустит глаза передо мной, и я тогда всё скажу ему. И не скажу, а обниму, прижмусь к нему и заплачу. Но что ежели я ошибаюсь, и ежели он не любит меня?» вдруг пришло мне в голову.

Я испугалась своего чувства, Бог знает, куда оно могло повести меня, и его и мое смущение в сарае, когда я спрыгнула к нему, вспомнились мне, и мне стало тяжело, тяжело на сердце. Слезы полились из глаз, я стала молиться. И мне пришла странная, успокоившая меня мысль и надежда. Я решила говеть с нынешнего дня, причаститься в день моего рождения и в этот самый день сделаться его невестою.

Зачем? почему? как это должно случиться? я ничего не знала, но я с той минуты верила и знала, что это так будет. Уже совсем рассвело, и народ стал подыматься, когда я вернулась в свою комнату.

IV.

Был успенский пост, и потому никого в доме не удивило мое намерение – говеть в это время.

Во всю эту неделю он ни разу не приезжал к нам, и я не только не удивлялась, не тревожилась и не сердилась на него, но, напротив, была рада, что он не ездит, и ждала его только к дню моего рождения. В продолжение этой недели я всякий день вставала рано и, покуда мне закладывали лошадь, одна, гуляя по саду, перебирала в уме грехи прошлого дня и обдумывала то, что мне нужно было делать нынче, чтобы быть довольною своим днем и не согрешить ни разу. Тогда мне казалось так легко быть совершенно безгрешною. Казалось, стоило только немножко постараться. Подъезжали лошади, я с Катей или с девушкой садилась в линейку, и мы ехали за три версты в церковь. Входя в церковь, я всякий раз вспоминала, что молятся за всех, «со страхом Божиим входящих», и старалась именно с этим чувством всходить на две поросшие травой ступени паперти. В церкви бывало в это время не больше человек десяти говевших крестьянок и дворовых; и я с старательным смирением старалась отвечать на их поклоны и сама, что мне казалось подвигом, ходила к свечному ящику брать свечи у старого старосты солдата и ставила их. Сквозь царские двери виднелся покров алтаря, вышитый мамашей, над иконостасом стояли два деревянные ангела с звездами, казавшиеся мне такими большими, когда я была маленькая, и голубок с желтым сиянием, тогда занимавший меня. Из-за клироса виднелась измятая купель, в которой столько раз я крестила детей наших дворовых, и в которой и меня крестили. Старый священник выходил в ризе, сделанной из покрова гроба моего отца, и служил тем самым голосом, которым с тех самых пор, как помню себя, служилась церковная служба в нашем доме: и крестины Сони, и панихиды отца, и похороны матери. И тот же дребезжащий голос дьячка раздавался на клиросе, и та же старушка, которую я помню всегда в церкви, при каждой службе, согнувшись, стояла у стены и плачущими глазами смотрела на икону в клиросе и прижимала сложенные персты к полинялому платку, и беззубым ртом шептала что-то. И всё это уже не любопытно, не по одним воспоминаниям близко мне было, – всё это было теперь велико и свято в моих глазах и казалось мне полным глубокого

значения. Я вслушивалась в каждое слово читаемой молитвы, чувством старалась отвечать на него и, ежели не понимала, то мысленно просила Бога просветить меня или придумывала на место нерасслышанной свою молитву. Когда читались молитвы раскаяния, я вспоминала свое прошедшее, и это детское невинное прошедшее казалось мне так черно в сравнении с светлым состоянием моей души, что я плакала и ужасалась над собой; но вместе с тем чувствовала, что всё это простится, и что ежели бы и еще больше грехов было на мне, то еще и еще слаще бы было для меня раскаяние. Когда священник в конце службы говорил: «благословение Господне на вас», мне казалось, что я испытывала мгновенно сообщающееся мне физическое чувство благосостояния. Как будто какие-то свет и теплота вдруг входили мне в сердце. Служба кончалась, батюшка выходил ко мне и спрашивал, не нужно ли и когда приехать к нам служить всенощную; но я трогательно благодарила его за то, что он хотел, как я думала, для меня сделать, и говорила, что я сама приду или приеду.

– Сами потрудиться хотите? – говаривал он.

И я не знала, чтò отвечать, чтобы не согрешить против гордости.

От обедни я всегда отпускала лошадей, ежели была без Кати, возвращалась одна пешком, низко, со смирением кланяясь всем встречавшимся мне и стараясь найдти случай помочь, посоветовать, пожертвовать собой для кого-нибудь, пособить поднять воз, покачать ребенка, дать дорогу и загрязниться. Один раз вечером я слышала, что приказчик, докладывая Кате, сказал, что Семен, мужик, приходил просить тесину на гроб дочери и денег рубль на поминки, и что он дал ему. – Разве они так бедны? – спросила я. – Очень бедны, сударыня, без соли сидят, – отвечал приказчик. Что-то защемило мне в сердце, и вместе с тем я как будто обрадовалась, услыхав это. Обманув Катю, что я пойду гулять, я побежала наверх, достала все свои деньги (их было очень мало, но всё, что у меня было) и, перекрестившись, пошла одна через террасу и сад на деревню к избе Семена. Она была с края деревни, и я, никем невидимая, подошла к окну, положила на окно деньги и стукнула в него. Кто-то вышел из избы, скрыпнул дверью и окликнул меня; я, дрожа и холодея от страха, как преступница, прибежала домой. Катя спросила меня, где я была? что со мною? но я не поняла даже того, что она мне говорила, и не ответила ей. Всё так ничтожно и мелко вдруг показалось мне. Я заперлась в своей комнате и долго ходила одна взад и вперед, не в состоянии ничего делать, думать, не в состоянии дать себе отчета в своем чувстве. Я думала и о радости всего семейства, о словах, которыми они назовут того, кто положил деньги, и мне жалко становилось, что я не сама отдала их. Я думала и о том, что бы сказал Сергей Михайлыч, узнав этот поступок, и радовалась тому, что никто никогда не узнает его. И такая радость была во мне, и так дурны казались все и я сама, и так кротко я смотрела на себя и на всех, что мысль о смерти, как мечта о счастьи, приходила мне. Я улыбалась и молилась, и плакала, и всех на свете и себя так страстно, горячо любила в эту минуту. Между службами я читала Евангелие, и всё понятнее и понятнее мне становилась эта книга, и трогательнее и проще история этой божественной жизни, и ужаснее и непроницаемее те глубины чувства и мысли, которые я находила в его учении. Но зато как ясно и просто мне казалось всё, когда я, вставая от этой книги, опять вглядывалась и вдумывалась в жизнь, окружавшую меня. Казалось, так трудно жить нехорошо и так просто всех любить и быть любимою. Все так добры и кротки были со мной, даже Соня, которой я продолжала давать уроки, была совсем другая, старалась понимать, угождать и не огорчать меня. Какою я была, такими и все были со мною. Перебирая тогда своих врагов, у которых мне надо было просить прощения перед исповедью, я вспомнила вне нашего дома только одну барышню, соседку, над которою я посмеялась год тому назад при гостях, и которая за это перестала к нам ездить. Я написала к ней письмо, признавая свою вину и прося ее прощения. Она отвечала мне письмом, в котором сама просила прощения и прощала меня. Я плакала от радости, читая эти простые строки, в которых тогда мне виделось такое глубокое и трогательное чувство. Няня расплакалась, когда я просила ее прощения. «За что они все так добры ко мне? чем я заслужила такую любовь?»

спрашивала я себя. И я невольно вспоминала Сергея Михайлыча и подолгу думала о нем. Я не могла делать иначе и даже не считала это грехом. Но я думала теперь о нем совсем не так, как в ту ночь, когда в первый раз узнала, что люблю его, я думала о нем как о себе, невольно присоединяя его к каждой мысли о своем будущем. Подавляющее влияние, которое я испытывала в его присутствии, совершенно исчезло в моем воображении. Я чувствовала себя теперь равною ему и с высоты духовного настроения, в котором находилась, совершенно понимала его. Мне теперь ясно было в нем то, что прежде мне казалось странным. Только теперь я понимала, почему он говорил, что счастие только в том, чтобы жить для другого, и я теперь совершенно была согласна с ним. Мне казалось, что мы вдвоем будем так бесконечно и спокойно счастливы. И мне представлялись не поездки за границу, не свет, не блеск, а совсем другая тихая семейная жизнь в деревне, с вечным самопожертвованием, с вечною любовью друг ко другу и с вечным сознанием во всем кроткого и помогающего Провидения.

Я причащалась, как и предполагала, в день моего рождения. В груди у меня было такое полное счастие, когда я возвращалась в этот день из церкви, что я боялась жизни, боялась всякого впечатления, всего того, что могло нарушить это счастие. Но только что мы вышли из линейки на крыльцо, как по мосту загремел знакомый кабриолет, и я увидала Сергея Михайлыча. Он поздравил меня, и мы вместе вошли в гостиную. Никогда с тех пор, как я его знала, я не была так спокойна и самостоятельна с ним, как в это утро. Я чувствовала, что во мне был целый новый мир, которого он не понимал, и который был выше его. Я не чувствовала с ним ни малейшего смущения. Он понимал, должно быть, отчего это происходило, и был особенно нежно кроток и набожно уважителен со мной. Я подошла было к фортепьяно, но он запер его и спрятал ключ в карман.

– Не портите своего настроения, – сказал он: – у вас теперь в душе такая музыка, которая лучше всякой на свете.

Я благодарна была ему за это, и вместе с тем мне было немного неприятно, что он так слишком легко и ясно понимал всё, что тайно для всех должно было быть в моей душе. За обедом он сказал, что приехал поздравить меня и вместе проститься, потому что завтра едет в Москву. Говоря это, он смотрел на Катю; но потом мельком взглянул на меня, и я видела, как он боялся, что заметит волнение на моем лице. Но я не удивилась, не встревожилась, даже не спросила, надолго ли? Я знала, что он это скажет, и знала, что он не уедет. Как я это знала? Я теперь никак не могу объяснить себе; но в этот памятный день мне казалось, что я всё знала, чтò было и чтò будет. Я была как в счастливом сне, когда всё, что ни случится, кажется, что уже было, и всё это я давно знаю, и всё это еще будет, и я знаю, что это будет.

Он хотел ехать сейчас после обеда, но Катя, уставшая от обедни, ушла полежать, и он должен был подождать, пока она проснется, чтобы проститься с ней. В зале было солнце, мы вышли на террасу. Только что мы сели, как я совершенно спокойно начала говорить то, что должно было решить участь моей любви. И начала говорить ни раньше, ни позже, а в ту самую минуту, как мы сели, и ничего еще не было сказано, не было еще никакого тона и характера разговора, который бы мог помешать тому, что я хотела сказать. Я сама не понимаю, откуда брались у меня такое спокойствие, решимость и точность в выражениях. Как будто не я, а что-то такое независимо от моей воли говорило во мне. Он сидел против меня, облокотившись на перилы, и, притянув к себе ветку сирени, обрывал с нее листья. Когда я начала говорить, он отпустил ветку и головой оперся на руку. Это могло быть положение человека совершенно спокойного или очень взволнованного.

– Зачем вы едете? – спросила я значительно, с расстановкой и прямо глядя на него.

Он не вдруг ответил.

– Дела! – проговорил он, опуская глаза.

Я поняла, как трудно ему было лгать передо мной и на вопрос, сделанный так искренно.

– Послушайте, – сказала я, – вы знаете, какой день нынче для меня. По многому этот день очень важен. Ежели я вас спрашиваю, то не для того, чтобы показать участие (вы знаете, что я привыкла к вам и люблю вас), я спрашиваю потому, что мне нужно знать. Зачем вы едете?

– Очень трудно мне вам сказать правду, зачем я еду, – сказал он. – В эту неделю я много думал о вас и о себе и решил, что мне надо ехать. Вы понимаете, зачем? и ежели любите меня, не будете больше спрашивать. – Он потер лоб рукою и закрыл ею глаза. – Это мне тяжело… А вам понятно.

Сердце начало сильно биться у меня.

– Я не могу понять, – сказала я, – *не могу*, а *вы* скажите мне, ради Бога, ради нынешнего дня скажите мне, я всё могу спокойно слышать, – сказала я.

Он переменил положенье, взглянул на меня и снова притянул ветку.

– Впрочем, – сказал он, помолчав немного и голосом, который напрасно хотел казаться твердым, – хоть и глупо и невозможно рассказывать словами, хоть мне и тяжело, я постараюсь объяснить вам, – добавил он, морщась как будто от физической боли.

– Ну! – сказала я.

– Представьте себе, что был один господин, А положим, – сказал он, – старый и отживший, и одна госпожа Б, молодая, счастливая, не видавшая еще ни людей, ни жизни. По разным семейным отношениям он полюбил ее, как дочь, и не боялся полюбить иначе.

Он замолчал, но я не прерывала его.

– Но он забыл, что Б так молода, что жизнь для нее еще игрушка, – продолжал он вдруг скоро и решительно и не глядя на меня, – и что ее легко полюбить иначе, и что ей это весело будет. И он ошибся и вдруг почувствовал, что другое чувство, тяжелое как раскаянье, пробирается в его душу, и испугался. Испугался, что расстроятся их прежние дружеские отношения, и решился уехать прежде, чем расстроятся эти отношения. – Говоря это, он опять, как будто небрежно, стал потирать глаза рукою и закрыл их.

– Отчего ж он боялся полюбить иначе? – чуть слышно сказала я, сдерживая свое волнение, и голос мой был ровен; но ему он, верно, показался шутливым. Он отвечал как будто оскорбленным тоном.

– Вы молоды, – сказал он, – я не молод. Вам играть хочется, а мне другого нужно. Играйте, только не со мной, а то я поверю, и мне нехорошо будет, и вам станет совестно. Это А сказал, – прибавил он, – ну, да это всё вздор, но вы понимаете, зачем я еду. И не будемте больше говорить об этом. Пожалуйста!

– Нет! нет! будем говорить! – сказала я, и слезы задрожали у меня в голосе. – Он любил ее или нет?

Он не отвечал.

– А ежели не любил, так зачем он играл с ней, как с ребенком? – проговорила я.

– Да, да, А виноват был, – отвечал он, торопливо перебивая меня, – но всё было кончено, и они расстались… друзьями.

– Но это ужасно! и разве нет другого конца, – едва проговорила я и испугалась того, что сказала.

– Да, есть, – сказал он, открывая взволнованное лицо и глядя прямо на меня. – Есть два различные конца. Только ради Бога не перебивайте и спокойно поймите меня. Одни говорят, – начал он, вставая и улыбаясь болезненною, тяжелою улыбкой, – одни говорят, что А сошел с ума, безумно полюбил Б и сказал ей это… А она только засмеялась. Для нее это были шутки, а для него дело целой жизни.

Я вздрогнула и хотела перебить его, сказать, чтоб он не смел говорить за меня, но он, удерживая меня, положил свою руку на мою.

– Постойте, – сказал он дрожащим голосом, – другие говорят, будто она сжалилась над ним, вообразила себе, бедняжка, не видавшая людей, что она точно может любить его, и согла-

силась быть его женой. И он, сумасшедший, поверил, поверил, что вся жизнь его начнется снова, но она сама увидала, что обманула его, и что он обманул ее… Не будемте больше говорить про это, – заключил он, видимо не в силах говорить далее, и молча стал ходить против меня.

Он сказал: «не будем говорить», а я видела, что он всеми силами души ждал моего слова. Я хотела говорить, но не могла, что-то жало мне в груди. Я взглянула на него, он был бледен, и нижняя губа его дрожала. Мне стало жалко его. Я сделала усилие и вдруг, разорвав силу молчания, сковывавшую меня, заговорила голосом тихим, внутренним, который, я боялась, оборвется каждую секунду.

– А третий конец, – сказала я и остановилась, но он молчал, – а третий конец, что он не любил, а сделал ей больно, больно и думал, что прав, уехал и еще гордился чем-то. Вам, а не мне, вам шутки, я с первого дня полюбила, полюбила вас, – повторила я, и на этом слове «полюбила» голос мой невольно из тихого внутреннего перешел в дикий вскрик, испугавший меня самою.

Он бледный стоял против меня, губа его тряслась сильнее и сильнее, и две слезы выступили на щеки.

– Это дурно! – почти прокричала я, чувствуя, что задыхаюсь от злых невыплаканных слез. – За что? – проговорила я и встала, чтобы уйти от него.

Но он не пустил меня. Голова его лежала на моих коленях, губы его целовали мои еще дрожавшие руки, и его слезы мочили их.

– Боже мой, ежели бы я знал, – проговорил он.

– За что? За что? – всё еще твердила я, а в душе у меня было счастье, навеки ушедшее, не возвратившееся счастье.

Через пять минут Соня бежала наверх к Кате и на весь дом кричала, что Маша хочет жениться на Сергее Михайловиче.

V.

Не было причин откладывать нашу свадьбу, и ни я, ни он не желали этого. Правда, Катя хотела было ехать в Москву и покупать и заказывать приданое, и его мать требовала было, чтоб он, прежде чем жениться, обзавелся новою каретой, мебелью и оклеил бы дом новыми обоями, но мы вдвоем настояли на том, чтобы сделать всё это после, ежели уже это так необходимо, а венчаться две недели после моего рождения, тихо, без приданого, без гостей, без шаферов, ужинов, шампанского и всех этих условных принадлежностей женитьбы. Он рассказывал мне, как его мать была недовольна тем, что свадьба должна была сделаться без музыки, без гор сундуков и без переделки заново всего дома, не так, как ее свадьба, стоившая тридцать тысяч, и как она серьезно и тайно от него, перебирая в кладовой сундуки, совещалась с экономкой Марьюшкой о каких-то необходимейших для нашего счастья коврах, гардинах и подносах. С моей стороны Катя делала то же с няней Кузьминишной. И об этом с ней нельзя было говорить шутя. Она твердо была убеждена, что мы, говоря между собой о нашем будущем, только нежничаем, делаем пустяки, как и свойственно людям в таком положении; но что существенное-то наше будущее счастье будет зависеть только от правильной кройки и шитья сорочек и подрубки скатертей и салфеток. Между Покровским и Никольским каждый день по нескольку раз сообщались тайные известия о том, чтò где заготавливалось, и хотя наружно между Катей и его матерью казались самые нежные отношения, между ними чувствовалась уже несколько враждебная, но тончайшая дипломатия. Татьяна Семеновна, его мать, с которою я теперь познакомилась ближе, была чопорная, строгая хозяйка дома и старого века барыня. Он любил ее не только как сын по долгу, но как человек по чувству, считая ее самою лучшею, самою умною, доброю и любящею женщиной в мире. Татьяна Семеновна всегда была добра к нам и ко мне

особенно и рада была, что ее сын женится, но когда я как невеста была у нее, мне показалось, что она хотела дать почувствовать мне, что, как партия для ее сына, я могла бы быть и лучше, и что не мешало бы мне всегда помнить это. И я совершенно понимала ее и была согласна с ней.

Эти две последние недели мы виделись каждый день. Он приезжал к обеду и просиживал до полночи. Но, несмотря на то, что он говорил – и я знала, что говорил правду – что без меня он не живет, он никогда не проводил целого дня со мной и старался продолжать заниматься своими делами. Внешние отношения наши до самой свадьбы оставались те же, как и прежде, мы продолжали говорить друг другу *вы*, он не целовал даже моей руки и не только не искал, но даже избегал случаев оставаться наедине со мною. Как будто он боялся отдаться слишком большой, вредной нежности, которая была в нем. Не знаю, он или я изменились, но теперь я чувствовала себя совершенно равною ему, не находила в нем больше прежде не нравившегося мне притворства простоты и часто с наслаждением видела перед собой, вместо внушающего уважение и страх мужчины, кроткого и потерянного от счастья ребенка. Так только-то и было в нем! – часто думала я, – он точно такой же человек, как и я, не больше. Теперь мне казалось, что он весь передо мной, и что я вполне узнала его. И всё, что я узнавала, было так просто и так согласно со мной. Даже его планы о том, как мы будем жить вместе, были те же мои планы, только яснее и лучше обозначавшиеся в его словах.

Погода эти дни была дурная, и большую часть времени мы проводили в комнатах. Самые лучшие задушевные беседы происходили в углу между фортепияно и окошком. На черном окне близко отражался огонь свеч, по глянцовитому стеклу изредка ударяли и текли капли. По крыше стучало, в луже шлепала вода под жолобом, из окна тянуло сыростью. И как-то еще светлее, теплее и радостнее казалось в нашем углу.

– А знаете, я давно хотел вам сказать одну вещь, – сказал он раз, когда мы поздно одни засиделись в этом углу. – Я, покуда вы играли, всё думал об этом.

– Ничего не говорите, я всё знаю, – сказала я.

Он улыбнулся.

– Да, правда, не будем говорить.

– Нет скажите, что? – спросила я.

– А вот что. Помните, когда я вам рассказывал историю про А и Б?

– Еще бы не помнить эту глупую историю. Хорошо, что так кончилось…

– Да, еще бы немного, и всё мое счастье погибло бы от меня самого. Вы спасли меня. Но главное, что я всё лгал тогда, и мне совестно, я хочу досказать теперь.

– Ах, пожалуйста, не надо.

– Не бойтесь, – сказал он, улыбаясь. – Мне только оправдаться надо. Когда я начал говорить, я хотел рассуждать.

– Зачем рассуждать! – сказала я, – никогда не надо.

– Да, я рассуждал плохо. После всех моих разочарований, ошибок в жизни, когда я нынче приехал в деревню, я так себе сказал решительно, что любовь для меня кончена, что остаются для меня только обязанности доживанья, что я долго не отдавал себе отчета в том, что такое мое чувство к вам и к чему оно может повести меня. Я надеялся и не надеялся, то мне казалось, что вы кокетничаете, то верилось, и сам не знал, чтò я буду делать. Но после этого вечера, помните, когда мы ночью ходили по саду, я испугался, мое теперешнее счастье показалось мне слишком велико и невозможно. Ну, что бы было, ежели бы я позволил себе надеяться, и напрасно? Но, разумеется, я думал только о себе; потому что я гадкий эгоист.

Он помолчал, глядя на меня.

– Однако ведь и не совсем вздор я говорил тогда. Ведь можно и должно было мне бояться. Я так много беру от вас и так мало могу дать. Вы еще дитя, вы бутон, который еще будет распускаться, вы в первый раз любите, а я…

– Да, скажите мне по правде, – сказала я, но вдруг мне страшно стало за его ответ. – Нет, не надо, – прибавила я.

– Любил ли я прежде? да? – сказал он, тотчас угадав мою мысль. – Это я могу сказать вам. Нет, не любил. Никогда ничего похожего на это чувство… – Но вдруг как будто какое-то тяжелое воспоминание мелькнуло в его воображении. – Нет, и тут мне нужно ваше сердце, чтоб иметь право любить вас, – сказал он грустно. – Так разве не нужно было задуматься, прежде чем сказать, что я люблю вас? Что я вам даю? Любовь – правда.

– Разве это мало? – сказала я, глядя ему в глаза.

– Мало, мой друг, для вас мало, – продолжал он. – У вас красота и молодость! Я часто теперь не сплю по ночам от счастья и всё думаю о том, как мы будем жить вместе. Я прожил много, и мне кажется, что нашел то, что нужно для счастья. Тихая уединенная жизнь в нашей деревенской глуши, с возможностью делать добро людям, которым так легко делать добро, к которому они не привыкли, потом труд, труд, который, кажется, что приносит пользу, потом отдых, природа, книга, музыка, любовь к близкому человеку, вот мое счастье, выше которого я не мечтал. А тут, сверх всего этого, такой друг, как вы, семья может быть, и всё, что только может желать человек.

– Да, – сказала я.

– Для меня, который прожил молодость, да, но не для вас, – продолжал он. – Вы еще не жили, вы еще в другом, может быть, захотите искать счастья и, может быть, в другом найдете его. Вам кажется теперь, что это счастье, оттого, что вы меня любите.

– Нет, я всегда только желала и любила эту тихую семейную жизнь, – сказала я. – И вы только говорите то самое, что я думала.

Он улыбнулся.

– Это только вам кажется, мой друг. А вам мало этого. У вас красота и молодость, – повторил он задумчиво.

Но я рассердилась за то, что он не верил мне и как будто попрекал моею красотой и молодостью.

– Так за что же вы любите меня? – сказала я сердито: – за молодость или за меня самою?

– Не знаю, но люблю, – отвечал он, глядя на меня своим внимательным, притягивающим взглядом.

Я ничего не отвечала и невольно смотрела ему в глаза. Вдруг что-то странное случилось со мной; сначала я перестала видеть окружающее, потом лицо его исчезло передо мной, только одни его глаза блестели, казалось, против самых моих глаз; потом мне показалось, что глаза эти во мне, всё помутилось, я ничего не видала и должна была зажмуриться, чтоб оторваться от чувства наслаждения и страха, которые производил во мне этот взгляд…

Накануне дня, назначенного для свадьбы, перед вечером погода разгулялась. И после дождей, начавшихся летом, прояснился первый холодный и блестящий осенний вечер. Всё было мокро, холодно, светло, и в саду в первый раз замечался осенний простор, пестрота и оголенность. На небе было ясно, холодно и бледно. Я пошла спать, счастливая от мысли, что завтра, в день нашей свадьбы, будет хорошая погода.

В этот день я проснулась с солнцем, и мысль, что уже нынче… как будто испугала и удивила меня. Я вышла в сад. Солнце только что взошло и блестело раздробленно сквозь облетевшие желтеющие липы аллеи. Дорожка была устлана шуршавшими листьями. Сморщенные яркие кисти рябины краснелись на ветках с убитыми морозом редкими, покоробившимися листьями, георгины сморщились и почернели. Мороз в первый раз серебром лежал на бледной зелени травы и на поломанных лопухах около дома. На ясном, холодном небе не было и не могло быть ни одного облака.

«Неужели нынче? – спрашивала я себя, не веря своему счастию. – Неужели завтра уже я проснусь не здесь, а в чужом никольском доме с колоннами? Неужели больше не буду ожидать

и встречать его и по вечерам и ночам говорить о нем с Катей? Не буду с ним сидеть у фортепияно в покровской зале? Не буду провожать и бояться за него в темные ночи?» Но я вспомнила, что вчера он сказал, что приезжает в последний раз, и Катя заставляла меня примеривать подвенечное платье и сказала: к завтраму; и я верила на мгновенье и снова сомневалась. «Неужели с нынешнего же дня буду жить там с свекровью, без Надежи, без старика Григория, без Кати? Не буду целовать на ночь няню и слышать, как она по старой привычке, перекрестив меня, скажет: покойной ночи, барышня? Не буду учить Соню и играть с нею и через стену стучать к ней утром и слышать ее звонкий хохот? Неужели нынче я сделаюсь чужою для себя самой, и новая жизнь осуществления моих надежд и желаний открывается передо мною? Неужели навсегда эта новая жизнь?» Я с нетерпением ждала его, мне тяжело было одной с этими мыслями. Он приехал рано, и только с ним я вполне поверила тому, что нынче буду его женою, и мысль эта перестала быть для меня страшною.

Перед обедом мы ходили в нашу церковь служить панихиду по отце.

«Ежели бы он был жив теперь!» думала я, когда мы возвращались домой, и я молча опиралась на руку человека, бывшего лучшим другом того, о ком я думала. Во время молитвы, припадая головою к холодному камню пола часовни, я так живо воображала моего отца, так верила в то, что его душа понимает меня и благословляет мой выбор, что и теперь мне казалось, что душа его тут летает над нами, и что я чувствую на себе его благословение. И воспоминания, и надежды, и счастие, и печаль сливались во мне в одно торжественное и приятное чувство, к которому шли этот неподвижный, свежий воздух, тишина, оголенность полей и бледное небо, с которого на всё падали блестящие, но бессильные лучи, пытавшиеся жечь мне щеку. Мне казалось, что тот, с кем я шла, понимал и разделял мое чувство. Он шел тихо и молча, и в его лице, на которое я взглядывала изредка, выражалась та же важная не то печаль, не то радость, которые были и в природе, и в моем сердце.

Вдруг он обернулся ко мне, я видела, что он хотел сказать что-то. «Что ежели он заговорит не про то, про что я думаю?» пришло мне в голову. Но он заговорил про отца, даже не называя его.

– А один раз он шутя сказал мне: «женись на моей Маше!» – сказал он.

– Как бы он был счастлив теперь! – сказала я. крепче прижимая к себе руку, которая несла мою.

– Да, вы еще были дитя, – продолжал он, глядя в мои глаза, – я целовал тогда эти глаза и любил их только за то, что они на него похожи, и не думал, что они будут за себя так дороги мне. Я звал вас Машею тогда.

– Говорите мне «ты», – сказала я.

– Я только что хотел сказать тебе «ты», – проговорил он, – только теперь мне кажется, что ты совсем моя, – и спокойный, счастливый, притягивающий взгляд остановился на мне.

И мы все шли тихо по полевой, непроторенной дорожке через стоптанное, сбитое жнивье; и только шаги и голоса наши были нам слышны. С одной стороны через овраг до далекой оголенной рощи тянулось буроватое жнивье, по которому в стороне от нас мужик с сохою беззвучно прокладывал всё шире и шире черную полосу. Рассыпанный под горою табун казался близко. С другой стороны и впереди до сада и нашего дома, видневшегося из-за него, чернело и кое-где полосами уже зеленело озимое оттаявшее поле. На всем блестело нежаркое солнце, на всем лежали длинные, волокнистые паутины. Они летали в воздухе вокруг нас и ложились на обсыхающее от мороза жнивье, попадали нам в глаза, на волосы, на платья. Когда мы говорили, голоса наши звучали и останавливались над нами в неподвижном воздухе, как будто мы одни только и были посреди всего мира и одни под этим голубым сводом, на котором, вспыхивая и дрожа, играло нежаркое солнце.

Мне тоже хотелось назвать его *ты*, но совестно было.

– Зачем ты идешь так скоро? – сказала я скороговоркою и почти шопотом и невольно покраснела.

Он пошел тише и еще ласкательнее, еще веселее и счастливее смотрел на меня.

Когда мы вернулись домой, уже там была его мать и гости, без которых мы не могли обойтись, и я до самого того времени, как мы из церкви сели в карету, чтоб ехать в Никольское, не была наедине с ним.

Церковь была почти пуста, я видела одним глазом только его мать, прямо стоявшую на коврике у клироса, Катю в чепце с лиловыми лентами и слезами на щеках и двух-трех дворовых, любопытно глядевших на меня. На него я не смотрела, но чувствовала тут подле себя его присутствие. Я вслушивалась в слова молитв, повторяла их, но в душе ничего не отзывалось. Я не могла молиться и тупо смотрела на иконы, на свечи, на вышитый крест ризы на спине священника, на иконостас, на окно церкви и ничего не понимала. Я только чувствовала, что что-то необычайное совершается надо мною. Когда священник с крестом обернулся к нам, поздравил и сказал, что он крестил меня, и вот Бог привел и венчать, Катя и его мать поцеловали нас, и послышался голос Григория, зовущего карету, я удивилась и испугалась, что всё кончено уже, а ничего необыкновенного, соответствующего совершившемуся надо мною таинству, не сделалось в моей душе. Мы поцеловались с ним, и этот поцелуй был такой странный, чуждый нашему чувству. «И только-то», подумала я. Мы вышли на паперть, звук колес густо раздался под сводом церкви, свежим воздухом пахнуло в лицо, он надел шляпу и за руку подсадил меня в карету. Из окна кареты я увидела морозный с кругом месяц. Он сел рядом со мною и затворил за собою дверцу. Что-то кольнуло меня в сердце. Как будто оскорбительна мне показалась уверенность, с которою он это сделал. Катин голос прокричал, чтобы я закрыла голову, колеса застучали по камню, потом по мягкой дороге, и мы поехали. Я, прижавшись к углу, смотрела в окно на далекие светлые поля и на дорогу, убегающую в холодном блеске месяца. И не глядя на него, чувствовала его тут рядом со мною. «Что ж, и только-то дала мне эта минута, от которой я ждала так много?» подумала я, и мне всё как будто унизительно и оскорбительно казалось сидеть одной так близко с ним. Я обернулась к нему с намерением сказать ему что-нибудь. Но слова не говорились, как будто уже не было во мне прежнего чувства нежности, а чувства оскорбления и страха заменили его.

– Я до этой минуты всё не верил, что это может быть, – тихо ответил он на мой взгляд.

– Да, но мне страшно почему-то, – сказала я.

– Меня страшно, мой друг? – сказал он, взяв мою руку и опуская к ней голову.

Моя рука безжизненно лежала в его руке, и в сердце становилось больно от холода.

– Да, – прошептала я.

Но тут же сердце вдруг забилось сильнее, рука задрожала и сжала его руку, мне стало жарко, глаза в полутьме искали его взгляда, и я вдруг почувствовала, что не боюсь его, что страх этот – любовь, новая и еще нежнейшая и сильнейшая любовь, чем прежде. Я почувствовала, что я вся его, и что я счастлива его властью надо мною.

–

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

VI.

Дни, недели, два месяца уединенной деревенской жизни прошли незаметно, как казалось тогда; а между тем на целую жизнь достало бы чувств, волнений и счастия этих двух месяцев. Мои и его мечты о том, как устроится наша деревенская жизнь, сбылись совершенно не так, как мы ожидали. Но жизнь наша была не хуже наших мечтаний. Не было этого строгого труда,

исполнения долга самопожертвования и жизни для другого, что я воображала себе, когда была невестой; было, напротив, одно себялюбивое чувство любви друг к другу, желание быть любимым, беспричинное, постоянное веселье и забвение всего на свете. Правда, он иногда уходил заниматься чем-то в своем кабинете, иногда по делам ездил в город и ходил по хозяйству; но я видела, какого труда ему стоило отрываться от меня. И сам он потом признавался, как всё на свете, где меня не было, казалось ему таким вздором, что он не мог понять, как можно заниматься им. Для меня было то же самое. Я читала, занималась и музыкой, и мамашей, и школой; но всё это только потому, что каждое из этих занятий было связано с ним и заслуживало его одобрение; но как только мысль о нем не примешивалась к какому-нибудь делу, руки опускались у меня, и мне так забавно казалось подумать, что есть на свете что-нибудь, кроме его. Может быть, это было нехорошее себялюбивое чувство; но чувство это давало мне счастие и высоко поднимало меня над всем миром. Только он один существовал для меня на свете, а его я считала самым прекрасным, непогрешимым человеком в мире; поэтому я и не могла жить ни для чего другого, как для него, как для того, чтобы быть в его глазах тем, чем он считал меня. А он считал меня первою и прекраснейшею женщиной в мире, одаренною всеми возможными добродетелями; и я старалась быть этою женщиной в глазах первого и лучшего человека во всем мире.

Один раз он вошел ко мне в комнату в то время, как я молилась Богу. Я оглянулась на него и продолжала молиться. Он сел у стола, чтобы не мешать мне, и раскрыл книгу. Но мне показалось, что он смотрит на меня, и я оглянулась. Он улыбнулся, я рассмеялась и не могла молиться.

– А ты молился уже? – спросила я.

– Да. Да ты продолжай, я уйду.

– Да ты молишься, надеюсь?

Он, не отвечая, хотел уйти, но я остановила его.

– Душа моя, пожалуйста, для меня, прочти со мною молитвы.

Он стал рядом со мною и, неловко опустив руки, с серьезным лицом, запинаясь, стал читать. Изредка он оборачивался ко мне, искал одобрения и помощи на моем лице.

Когда он кончил, я засмеялась и обняла его.

– Всё ты, всё ты! Точно мне опять десять лет становится, – сказал он, краснея и целуя мои руки.

Наш дом был один из старых деревенских домов, в которых, уважая и любя одно другое, прожило несколько родственных поколений. Ото всего пахло хорошими честными семейными воспоминаниями, которые вдруг, как только я вошла в этот дом, сделались как будто и моими воспоминаниями. Убранство и порядок дома велись Татьяною Семеновной по-старинному. Нельзя сказать, чтобы всё было изящно и красиво; но от прислуги до мебели и кушаньев всего было много, всё было опрятно, прочно, акуратно и внушало уважение. В гостиной симметрично стояла мебель, висели портреты, и на полу расстилались домашние ковры и полосушки. В диванной находились старый рояль, шифоньерки двух различных фасонов, диваны и столики с латунью и инкрустациями. В моем кабинете, убранном старанием Татьяны Семеновны, стояла самая лучшая мебель различных веков и фасонов и между прочим старое трюмо, на которое я сначала никак не могла смотреть без застенчивости, но которое впоследствии, как старый друг, сделалось мне дорого. Татьяны Семеновны не слышно было, но всё в доме шло как заведенные часы, хотя людей было много лишних. Но все эти люди, носившие мягкие без каблуков сапоги (Татьяна Семеновна считала скрип подошв и топот каблуков самою неприятною вещью на свете), все эти люди казались горды своим званием, трепетали перед старою барыней, на нас с мужем смотрели с покровительственною лаской и, казалось, с особенным удовольствием делали свое дело. Каждую субботу регулярно в доме мылись полы и выбивались ковры, каждое первое число служились молебны с водосвятием, каждое тезоименитство Татьяны Семеновны,

ее сына (и мое – в первый раз в эту осень) задавались пиры на весь околоток. И всё это неизменно делалось еще с тех пор, как помнила себя Татьяна Семеновна. Муж не вмешивался в домоводство и только занимался полевым хозяйством и крестьянами, и занимался много. Он вставал даже и зимою очень рано, так что, проснувшись, я уже не заставала его. Он возвращался обыкновенно к чаю, который мы пили одни, и почти всегда в эту пору, после хлопот и неприятностей по хозяйству, находился в том особенном веселом расположении духа, которое мы называли *диким восторгом*. Часто я требовала, чтоб он рассказал мне, что делал утром, и он рассказывал мне такие вздоры, что мы помирали со смеху; иногда я требовала серьезного рассказа, и он, удерживая улыбку, рассказывал. Я глядела на его глаза, на его движущиеся губы и ничего не понимала, только радовалась, что вижу его и слышу его голос.

«Ну что же я сказал? повтори», спрашивал он. Но я ничего не могла повторить. Так смешно было, что *он мне* рассказывает не про себя и про меня, а про что-то другое. Точно не всё равно, что бы там ни делалось. Только гораздо после я стала немного понимать и интересоваться его заботами. Татьяна Семеновна не выходила до обеда, пила чай одна и только через послов здоровалась с нами. В нашем особом, сумасбродно счастливом мирке так странно звучал голос из ее другого, степенного, порядочного уголка, что часто я не выдерживала и только хохотала в ответ горничной, которая, сложив руку на руку, мерно докладывала, что Татьяна Семеновна приказали узнать, как почивали после вчерашнего гулянья, а про себя приказали доложить, что у них всю ночь бочок болел, и глупая собака на деревне лаяла, мешала почивать. «А еще приказали спросить, как понравилось нынешнее печенье, и просили заметить, что не Тарас нынче пек, а для пробы, в первый раз, Николаша, и очень дескать недурно, крендельки особенно, а сухари пережарил». До обеда мы были мало вместе. Я играла, читала одна, ом писал, уходил еще; но к обеду, в четыре часа, мы сходились в гостиной, мамаша выплывала из своей комнаты, и являлись бедные дворянки, странницы, которых всегда человека два-три жило в доме. Регулярно каждый день муж по старой привычке подавал к обеду руку матери; но она требовала, чтоб он подавал мне другую, и регулярно каждый день мы теснились и путались в дверях. За обедом председательствовала матушка же, и разговор велся прилично-рассудительный и несколько торжественный. Наши простые слова с мужем приятно разрушали торжественность этих обеденных заседаний. Между сыном и матерью иногда завязывались споры и насмешки друг над другом; я особенно любила эти споры и насмешки, потому что в них-то сильнее всего выражалась нежная и твердая любовь, которая связывала их. После обеда maman садилась в гостиную на большое кресло и растирала табак или разрезывала листы новополученных книг, а мы читали вслух или уходили в диванную к клавикордам. Мы много вместе читали это время, но музыка была нашим любимейшим и лучшим наслаждением, всякий раз вызывая новые струны в наших сердцах и как будто снова открывая нам друг друга. Когда я играла его любимые вещи, он садился на дальний диван, где мне почти не видно было его, и из стыдливости чувства старался скрывать впечатление, которое производила на него музыка; но часто, когда он не ожидал этого, я вставала от фортепиян, подходила к нему и старалась застать на его лице следы волнения, неестественный блеск и влажность в глазах, которые он напрасно старался скрыть от меня. Мамаше часто хотелось посмотреть на нас в диванной, но, верно, она боялась стеснить нас, и иногда, будто не глядя на нас, она проходила через диванную с мнимо-серьезным и равнодушным лицом; но я знала, что ей не зачем было ходить к себе и так скоро возвращаться. Вечерний чай разливала я в большой гостиной, и опять все домашние собирались к столу. Это торжественное заседание при зерцале самовара и раздача стаканов и чашек долгое время смущали меня. Мне всё казалось, что я недостойна еще этой чести, слишком молода и легкомысленна, чтобы повертывать кран такого большого самовара, чтобы ставить стакан на поднос Никите и приговаривать: «Петру Ивановичу, Марье Миничне», спрашивать: «сладко ли?» и оставлять куски сахара няне и заслуженным людям. «Славно, славно, – часто приговаривал муж, – точно большая», и это еще больше смущало меня.

После чая maman раскладывала пасьянс или слушала гаданье Марьи Миничны; потом целовала и крестила нас обоих, и мы уходили к себе. Большею частию, однако, мы просиживали вдвоем за полночь, и это было самое лучшее и приятное время. Он рассказывал мне про свое прошедшее, мы делали планы, философствовали иногда и старались говорить всё потихоньку, чтобы нас не услыхали наверху и не донесли бы Татьяне Семеновне, которая требовала, чтобы мы ложились рано. Иногда мы, проголодавшись, потихоньку шли в буфет, доставали холодный ужин через протекцию Никиты и съедали его при одной свече в моем кабинете. Мы жили с ним точно чужие в этом большом старом доме, в котором над всем стоял строгий дух старины и Татьяны Семеновны. Не только она, но люди, старые девушки, мебель, картины внушали мне уважение, некоторый страх и сознание того, что мы с ним здесь немножко не на своем месте, и что нам надо жить здесь очень осторожно и внимательно. Как я вспоминаю теперь, то вижу, что многое – и этот связывающий неизменный порядок, и эта бездна праздных и любопытных людей в нашем доме – было неудобно и тяжело; но тогда самая эта стесненность еще более оживляла нашу любовь. Не только я, но и он не показывал вида, что ему что-нибудь не нравится. Напротив, он даже как будто прятался сам от того, что было дурно. Маменькин лакей Дмитрий Сидоров, большой охотник до трубки, регулярно каждый день после обеда, когда мы бывали в диванной, ходил в мужнин кабинет брать его табак из ящика; и надо было видеть, с каким веселым страхом Сергей Михайлыч на цыпочках подходил ко мне и, грозя пальцем и подмигивая, показывал на Дмитрия Сидоровича, который никак не предполагал, что его видят. И когда Дмитрий Сидоров уходил, не заметив нас, от радости, что всё кончилось благополучно, как и при всяком другом случае, муж говорил, что я прелесть, и целовал меня. Иногда это спокойствие, всепрощение и как будто равнодушие ко всему не нравилось мне, я не замечала того, что во мне было то же самое, и считала это слабостью. «Точно ребенок, который не смеет показать свою волю!» думала я.

– Ах, мой друг, – отвечал он мне, когда я раз сказала ему, что меня удивляет его слабость, – разве можно быть чем-нибудь недовольну, когда так счастлив, как я? Легче самому уступать, чем гнуть других, в этом я давно убедился; и нет того положения, в котором бы нельзя было быть счастливым. А нам так хорошо! Я не могу сердиться; для меня теперь нет дурного, есть только жалкое и забавное. А главное – le mieux est l'ennemi du bien.[22] Поверишь ли, когда я слышу колокольчик, письмо получаю, просто когда проснусь, мне страшно становится. Страшно, что жить надо, что изменится что-нибудь; а лучше теперешнего быть не может.

Я верила, но не понимала его. Мне было хорошо, но казалось, что всё это так, а не иначе должно быть и всегда со всеми бывает, а что есть там, где-то, еще другое, хотя не большее, но другое счастие.

Так прошло два месяца, пришла зима с своими холодами и метелями, и я, несмотря на то, что он был со мной, начинала чувствовать себя одинокою, начинала чувствовать, что жизнь повторяется, а нет ни во мне, ни в нем ничего нового, а что, напротив, мы как будто возвращаемся к старому. Он начал заниматься делами без меня больше, чем прежде, и опять мне стало казаться, что есть у него в душе какой-то особый мир, в который он не хочет впускать меня. Его всегдашнее спокойствие раздражало меня. Я любила его не меньше, чем прежде, и не меньше, чем прежде, была счастлива его любовью; но любовь моя остановилась и не росла больше, а кроме любви, какое-то новое беспокойное чувство начинало закрадываться в мою душу. Мне мало было любить после того, как я испытала счастье полюбить его. Мне хотелось движения, а не спокойного течения жизни. Мне хотелось волнений, опасностей и самопожертвования для чувства. Во мне был избыток силы, не находивший места в нашей тихой жизни. На меня находили порывы тоски, которую я, как что-то дурное, старалась скрывать от него, и порывы неистовой нежности и веселости, пугавшие его. Он еще прежде меня заметил мое

[22] [лучшее – враг хорошего.]

состояние и предложил ехать в город; но я просила его не ездить и не изменять нашего образа жизни, не нарушать нашего счастия. И точно, я была счастлива; но меня мучило то, что счастие это не стоило мне никакого труда, никакой жертвы, когда силы труда и жертвы томили меня. Я любила его и видела, что я всё дли него; но мне хотелось, чтобы видели все нашу любовь, чтобы мешали мне любить, и я всё-таки любила бы его. Мой ум и даже чувство были заняты, но было другое чувство молодости, потребности движения, не находившее удовлетворения в нашей тихой жизни. Зачем он мне сказал, что мы можем ехать в город, когда только я захочу этого? Не скажи он мне этого, может быть, я поняла бы, что томившее меня чувство есть вредный вздор, вина моя, что та жертва, которую я искала, была тут передо мной, в подавлении этого чувства. Мысль, что я могу спастись от тоски, только переехав в город, невольно приходила мне в голову; и вместе с тем оторвать его от всего, что он любил, для себя мне было совестно и жалко. А время уходило, снег заносил больше и больше стены дома, и мы всё были одни и одни, и всё те же были мы друг перед другом; а там где-то в блеске, в шуме волновались, страдали и радовались толпы людей, не думая о нас и о нашем уходившем существовании. Хуже всего для меня было то, что я чувствовала, как с каждым днем привычки жизни заковывали нашу жизнь в одну определенную форму, как чувство наше становилось несвободно, а подчинялось ровному, бесстрастному течению времени. Утром мы бывали веселы; в обед почтительны, вечером нежны. «Добро!.. – говорила я себе, – это хорошо делать добро и жить честно, как он говорит; но это мы успеем еще, а есть что-то, на что у меня только теперь есть силы». Мне не того нужно было, мне нужна была борьба; мне нужно было, чтобы чувство руководило нами в жизни, а не жизнь руководила чувством. Мне хотелось подойдти с ним вместе к пропасти и сказать: вот шаг, я брошусь туда, вот движение, и я погибла, – и чтоб он, бледнея на краю пропасти, взял меня в свои сильные руки, подержал бы над ней, так что у меня бы в сердце захолонуло, и унес бы куда хочет.

Это состояние подействовало даже на мое здоровье, и нервы начинали у меня расстраиваться. Одно утро мне было хуже обыкновенного; он вернулся из конторы не в духе, что редко бывало с ним. Я тотчас заметила это и спросила, что с ним? но он не хотел сказать мне, говоря, что не стоит того. Как я после узнала, исправник призывал наших мужиков и, по нерасположению к мужу, требовал от них незаконного и угрожал им. Муж не мог еще переварить всего этого так, чтобы всё было только смешно и жалко, был раздражен и оттого не хотел говорить со мною. Но мне показалось, что он не хотел говорить со мною оттого, что считал меня ребенком, который не может понять того, что его занимает. Я отвернулась от него, замолчала и велела попросить к чаю Марью Миничну, которая гостила у нас. После чаю, который я кончила особенно скоро, я увела Марью Миничну в диванную и стала громко говорить с нею о каком-то вздоре, который для меня был вовсе незанимателен. Он ходил по комнате, изредка взглядывая на нас. Эти взгляды почему-то теперь так действовали на меня, что мне всё больше и больше хотелось говорить и даже смеяться; мне казалось смешно всё, что я сама говорила, и всё, что говорила Марья Минична. Ничего не сказав мне, он ушел совсем в свой кабинет и затворил за собою дверь. Как только его не слышно стало, вся моя веселость вдруг исчезла, так что Марья Минична удивилась и стала спрашивать, что со мною. Я, не отвечая ей, села на диван, и мне захотелось плакать. «И что он это передумывает? – думала я. – Какой-нибудь вздор, который ему кажется важен, а попробуй сказать мне, я покажу ему, что всё пустяки. Нет, ему нужно думать, что я не пойму, нужно унижать меня своим величавым спокойствием и всегда быть правым со мною. Зато и я права, когда мне скучно, пусто, когда я хочу жить, двигаться, – думала я, – а не стоять на одном месте и чувствовать, как время идет через меня. Я хочу идти вперед и с каждым днем, с каждым часом хочу нового, а он хочет остановиться и меня остановить с собой. А как бы ему легко было! Для этого не нужно ему везти меня в город, для этого нужно только быть таким, как я, не ломать себя, не удерживаться, а жить просто. Это самое он советует мне, а сам он не прост. Вот что!»

Я чувствовала, что слезы подступают мне к сердцу, и что я раздражена на него. Я испугалась этого раздражения и пошла к нему. Он сидел в кабинете и писал. Услышав мои шаги, он оглянулся на мгновение равнодушно, спокойно и продолжал писать. Этот взгляд мне не понравился; вместо того, чтобы подойдти к нему, я стала к столу, у которого он писал, и, раскрыв книгу, стала смотреть в нее. Он еще раз оторвался и поглядел на меня.

– Маша! ты не в духе? – сказал он.

Я ответила холодным взглядом, который говорил: «нечего спрашивать! что за любезности?» Он покачал головой и робко, нежно улыбнулся, но в первый раз еще моя улыбка не ответила на его улыбку.

– Что у тебя было нынче? – спросила я: – отчего ты не сказал мне?

– Пустяки! маленькая неприятность, – отвечал он. – Однако теперь я могу рассказать тебе. Два мужика отправились в город…

Но я не дала ему досказать.

– Отчего ты не рассказал мне тогда еще, когда за чаем я спрашивала?

– Я бы тебе сказал глупость, я был сердит тогда.

– Тогда-то мне и нужно было.

– Зачем?

– Отчего ты думаешь, что я никогда ни в чем не могу помочь тебе?

– Как думаю? – сказал он, бросая перо. – Я думаю, что без тебя я жить не могу. Во всем, во всем не только ты мне помогаешь, но ты всё делаешь. Вот хватилась! – засмеялся он. – Тобой я живу только. Мне кажется всё хорошо только оттого, что ты тут, что тебя надо…

– Да, это я знаю, я милый ребенок, которого надо успокоивать, – сказала я таким тоном, что он удивленно, как будто в первый раз что увидел, посмотрел на меня. – Я не хочу спокойствия, довольно его в тебе, очень довольно, – прибавила я.

– Ну, вот видишь ли, в чем дело, – начал он торопливо, перебивая меня, видимо боясь дать мне всё выговорить: – как бы ты рассудила его?

– Теперь не хочу, – отвечала я. Хотя мне и хотелось слушать его, но мне так приятно было разрушить его спокойствие. – Я не хочу играть в жизнь, я хочу жить, – сказала я, – так же, как и ты.

На лице его, на котором всё так быстро и живо отражалось, выразилась боль и усиленное внимание.

– Я хочу жить с тобой ровно, с тобой…

Но я не могла договорить: такая грусть, глубокая грусть выразилась на его лице. Он помолчал немного.

– Да чем же неровно ты живешь со мной? – сказал он: – тем, что я, а не ты, вожусь с исправником и пьяными мужиками…

– Да не в одном этом, – сказала я.

– Ради Бога пойми меня, мой друг, – продолжал он, – я знаю, что от тревог нам бывает всегда больно, я жил и узнал это. Я тебя люблю и следовательно не могу не желать избавить тебя от тревог. В этом моя жизнь, в любви к тебе: стало быть, и мне не мешай жить.

– Ты всегда прав! – сказала я, не глядя на него.

Мне было досадно, что опять у него в душе всё ясно и покойно, когда во мне была досада и чувство, похожее на раскаяние.

– Маша! Что с тобой? – сказал он. – Речь не о том, я ли прав или ты права, а совсем о другом: что у тебя против меня? Не вдруг говори, подумай и скажи мне всё, что ты думаешь. Ты недовольна мной, и ты, верно, права, но дай мне понять, в чем я виноват.

Но как я могла сказать ему мою душу? То, что он так сразу понял меня, что опять я была ребенок перед ним, что ничего я не могла сделать, чего бы он не понимал и не предвидел, еще больше взволновало меня.

– Ничего я не имею против тебя, – сказала я. – Просто мне скучно и хочется, чтобы не было скучно. Но ты говоришь, что так надо, и опять ты прав!

Я сказала это и взглянула на него. Я достигла своей цели, спокойствие его исчезло, испуг и боль были на его лице.

– Маша, – заговорил он тихим, взволнованным голосом. – Это не шутки то, что мы делаем теперь. Теперь решается наша судьба. Я прошу тебя ничего не отвечать мне и выслушать. За что ты хочешь мучить меня?

Но я перебила его.

– Я знаю, ты будешь прав. Не говори лучше, ты прав, – сказала я холодно, как будто не я, а какой-то злой дух говорил во мне.

– Если бы ты знала, чтò ты делаешь! – сказал он дрожащим голосом.

Я заплакала, и мне стало легче. Он сидел подле меня и молчал. Мне было и жалко его, и совестно за себя, и досадно за то, что я сделала. Я не глядела на него. Мне казалось, что он должен или строго, или недоумевающе смотреть на меня в эту минуту. Я оглянулась: кроткий, нежный взгляд, как бы просящий прощения, был устремлен на меня. Я взяла его за руку и сказала:

– Прости меня! Я сама не знаю, чтò я говорила.

– Да; но я знаю, чтò ты говорила, и ты правду говорила.

– Что? – спросила я.

– Что нам надо в Петербург ехать, – сказал он. – Нам тут теперь делать нечего.

– Как хочешь, – сказала я.

Он обнял меня и поцеловал.

– Ты прости меня, – сказал он. – Я виноват перед тобою.

В этот вечер я долго играла ему, а он ходил по комнате и шептал что-то. Он имел привычку шептать, и я часто спрашивала у него, что он шепчет, и он всегда, подумав, отвечал мне именно то, что он шептал: большею частию стихи и иногда ужасный вздор, но такой вздор, по которому я знала настроение его души.

– Что ты нынче шепчешь? – спросила я.

Он остановился, подумал и, улыбнувшись, отвечал два стиха Лермонтова:

.....А он безумный просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

«Нет, он больше, чем человек; он всё знает! – подумала я: – как не любить его!»

Я встала, взяла его за руку и вместе с ним начала ходить, стараясь попадать ногу в ногу.

– Да? – спросил он улыбаясь, глядя на меня.

– Да, – сказала я шопотом; и какое-то веселое расположение духа охватило нас обоих, глаза наши смеялись, и мы шаги делали всё больше и больше, и всё больше и больше становились на цыпочки. И тем же шагом, к великому негодованию Григория и удивлению мамаши, которая раскладывала пасьянс в гостиной, отправились через все комнаты в столовую, а там остановились, посмотрели друг на друга и расхохотались.

Через две недели, перед праздником, мы были в Петербурге.

VII.

Наша поездка в Петербург, неделя в Москве, его, мои родные, устройство на новой квартире, дорога, новые города, лица, – всё это прошло как сон. Всё это было так разнообразно, ново, весело, всё это так тепло и ярко освещено было его присутствием, его любовью, что тихое деревенское житье показалось мне чем-то давнишним и ничтожным. К великому удив-

лению моему, вместо светской гордости и холодности, которую я ожидала найдти в людях, все встречали меня так неподдельно-ласково и радостно (не только родные, но и незнакомые), что, казалось, они все только обо мне и думали, только меня ожидали, чтоб им самим было хорошо. Тоже неожиданно для меня и в кругу светском и казавшемся мне самым лучшим; у мужа открылось много знакомых, о которых он никогда не говорил мне; и часто мне странно и неприятно было слышать от него строгие суждения о некоторых из этих людей, казавшихся мне такими добрыми. Я не могла понять, зачем он так сухо обращался с ними и старался избегать многих знакомств, казавшихся мне лестными. Мне казалось, чем больше знаешь добрых людей, тем лучше, а все были добрые.

– Вот видишь ли, как мы устроимся, – говорил он перед отъездом из деревни: – мы здесь маленькие Крезы, а там мы будем очень небогаты, а потому нам надо жить в городе только до Святой и не ездить в свет, иначе запутаемся; да и для тебя я не хотел бы....

– Зачем свет? – отвечала я: – только посмотрим театры, родных, послушаем оперу и хорошую музыку и еще раньше Святой вернемся в деревню.

Но как только мы приехали в Петербург, планы эти были забыты. Я очутилась вдруг в таком новом счастливом мире, так много радостей охватило меня, такие новые интересы явились передо мной, что я сразу, хотя и бессознательно, отреклась от всего своего прошедшего и всех планов этого прошедшего. «То было всё так, шутки; еще не начиналось; а вот она настоящая жизнь! Да еще что будет?» думала я. Беспокойство и начало тоски, тревожившие меня в деревне, вдруг, как волшебством, совершенно исчезли. Любовь к мужу сделалась спокойнее, и мне здесь никогда не приходила мысль о том, не меньше ли он любит меня? Да я и не могла сомневаться в его любви, всякая моя мысль была тотчас понята, чувство разделено, желание исполнено им. Спокойствие его исчезло здесь или не раздражало меня более. Притом я чувствовала, что он, кроме своей прежней любви ко мне, здесь еще и любуется мной. Часто после визита, нового знакомства или вечера у нас, где я, внутренно дрожа от страха ошибиться, исполняла должность хозяйки дома, он говаривал: «Ай да девочка! славно! не робей. Право, хорошо!» И я бывала очень рада. Скоро после нашего приезда он писал письмо к матери, и когда позвал меня приписать от себя, то не хотел дать прочесть, что написано было, вследствие чего я, разумеется, потребовала и прочла. «Вы не узнаете Маши, – писал он, – и я сам не узнаю ее. Откуда берется эта милая, грациозная самоуверенность, *афабельность*, даже светский ум и любезность. И всё это просто, мило, добродушно. Все от нее в восторге, да я и сам не налюбуюсь на нее, и ежели бы можно было, полюбил бы еще больше».

«А! так вот я какая!» подумала я. И так мне весело и хорошо стало, показалось даже, что я еще больше люблю его. Мой успех у всех наших знакомых был совершенно неожиданный для меня. Со всех сторон мне говорили, что я там особенно понравилась дядюшке, тут тетушка без ума от меня, тот говорит мне, что мне нет подобных женщин в Петербурге, та уверяет меня, что мне стоит захотеть, чтобы быть самою *изысканною* женщиной общества. Особенно кузина мужа, княгиня Д., немолодая светская женщина, внезапно влюбившаяся в меня, более всех говорила мне лестные вещи, кружившие мне голову. Когда в первый раз кузина пригласила меня ехать на бал и просила об этом мужа, он обратился ко мне и, чуть заметно, хитро улыбаясь, спросил: хочу ли я ехать? Я кивнула головою в знак согласия и почувствовала, что покраснела.

– Точно преступница признается, чего ей хочется, – сказал он, добродушно смеясь.

– Да ведь ты говорил, что нам нельзя ездить в свет, да и ты не любишь, – отвечала я, улыбаясь и умоляющим взглядом глядя на него.

– Ежели очень хочется, то поедем, – сказал он.

– Право, лучше не надо.

– Хочется? очень? – снова спросил он.

Я не отвечала.

– Свет еще небольшое горе, – продолжал он, – а светские неосуществленные желания – это и дурно, и некрасиво. Непременно надо ехать, и поедем, – решительно заключил он.

– Правду тебе сказать, – сказала я, – мне ничего в мире так не хотелось, как этого бала.

Мы поехали, и удовольствие, испытанное много, превзошло все мои ожидания. На бале еще больше, чем прежде, мне казалось, что я центр, около которого всё движется, что для меня только освещена эта большая зала, играет музыка и собралась эта толпа людей, восхищающихся мною. Все, начиная от парикмахера и горничной и до танцоров и стариков, проходивших через залу, казалось, говорили мне или давали чувствовать, что они любят меня. Общее суждение, составившееся обо мне на этом бале и переданное мне кузиной, состояло в том, что я совсем непохожа на других женщин, что во мне есть что-то особенное, деревенское, простое и прелестное. Этот успех так польстил мне, что я откровенно сказала мужу, как бы я желала в нынешнем году съездить еще на два, на три бала, «и с тем, чтобы хорошенько насытиться ими», прибавила я, покривив душою.

Муж охотно согласился и первое время ездил со мною с видимым удовольствием, радуясь моим успехам и, казалось, совершенно забыв или отрекшись от того, что говорил прежде.

Впоследствии он, видимо, стал скучать и тяготиться жизнью, которую мы вели. Но мне было не до того; ежели я и замечала иногда его внимательно-серьезный взгляд, вопросительно устремленный на меня, я не понимала его значения. Я так была отуманена этою, внезапно возбужденною, как мне казалось, любовью ко мне во всех посторонних, этим воздухом изящества, удовольствий и новизны, которым я дышала здесь в первый раз, так вдруг исчезло здесь его, подавлявшее меня, моральное влияние, так приятно мне было в этом мире не только сравняться с ним, но стать выше его, и за то любить его еще больше и самостоятельнее, чем прежде, что я не могла понять, чтò неприятного он мог видеть для меня в светской жизни. Я испытывала новое для себя чувство гордости и самодовольства, когда, входя на бал, все глаза обращались на меня, а он, как будто совестясь признаваться перед толпою в обладании мною, спешил оставить меня и терялся в черной толпе фраков. «Постой! – часто думала я, отыскивая глазами в конце залы его незамеченную, иногда скучающую фигуру, – постой! – думала я, – приедем домой, и ты поймешь и увидишь, для кого я старалась быть хороша и блестяща, и чтò я люблю из всего того, что окружает меня нынешний вечер». Мне самой искренно казалось, что успехи мои радовали меня только для него, только для того, чтобы быть в состоянии жертвовать ему ими. Одно, чем могла быть вредна для меня светская жизнь, думала я, была возможность увлечения одним из людей, встречаемых мною в свете, и ревность моего мужа; но он так верил в меня, казался так спокоен и равнодушен, и все эти молодые люди казались мне так ничтожны в сравнении с ним, что и единственная, по моим понятиям, опасность света не казалась страшна мне. Но, несмотря на то, внимание многих людей в свете доставляло мне удовольствие, льстило самолюбию, заставляло думать, что есть некоторая заслуга в моей любви к мужу, и делало мое обращение с ним самоувереннее и как будто небрежнее.

– А я видела, как ты что-то очень оживленно разговаривал с Н. Н., – однажды возвращаясь с бала, сказала я, грозя ему пальцем и называя одну из известных дам Петербурга, с которою он действительно говорил в этот вечер. Я сказала это, чтобы расшевелить его; он был особенно молчалив и скучен.

– Ах, зачем так говорить? И говоришь ты, Маша! – пропустил он сквозь зубы и морщась как будто от физической боли. – Как это нейдет тебе и мне! Оставь это другим; эти ложные отношения могут испортить наши настоящие, а я еще надеюсь, что настоящие вернутся.

Мне стало стыдно, и я замолчала.

– Вернутся, Маша? Как тебе кажется? – спросил он.

– Они никогда не портились и не испортятся, – сказала я, и тогда мне точно так казалось.

– Дай-то Бог, – проговорил он, – а то пора бы нам в деревню.

Но это только один раз сказал он мне, остальное же время мне казалось, что ему было так же хорошо, как и мне, а мне было так радостно и весело. Если же ему и скучно иногда, – утешала я себя, – то и я поскучала для него в деревне; если же и изменились несколько наши отношения, то всё это снова вернется, как только мы летом останемся одни с Татьяной Семеновной в нашем Никольском доме.

Так незаметно для меня прошла зима, и мы, против наших планов, даже Святую провели в Петербурге. На Фоминой, когда мы уже собирались ехать, всё было уложено, и муж, делавший уже покупки подарков, вещей, цветов для деревенской жизни, был в особенно нежном и веселом расположении духа, кузина неожиданно приехала к нам и стала просить остаться до субботы, с тем чтоб ехать на раут к графине Р. Она говорила, что графиня Р. очень звала меня, что бывший тогда в Петербурге принц М. еще с прошлого бала желал познакомиться со мной, только для этого и ехал на раут и говорил, что я самая хорошенькая женщина в России. Весь город должен был быть там, и, одним словом, ни на что бы не было похоже, ежели я бы не поехала.

Муж был на другом конце гостиной, разговаривая с кем-то.

– Так что ж, едете, Мари? – сказала кузина.

– Мы послезавтра хотели ехать в деревню, – нерешительно отвечала я, взглянув на мужа. Глаза наши встретились, он торопливо отвернулся.

– Я уговорю его остаться, – сказала кузина, – и мы едем в субботу кружить головы. Да?

– Это бы расстроило наши планы, а мы уложились, – отвечала я, начиная сдаваться.

– Да ей бы лучше нынче вечером съездить на поклон принцу, – с другого конца комнаты сказал муж раздраженно-сдержанным тоном, которого я еще не слыхала от него.

– Ах! он ревнует, вот в первый раз вижу, – засмеялась кузина. – Да ведь не для принца, Сергей Михайлович, а для всех нас я уговариваю ее. Как графиня Р. просила ее приехать!

– Это от нее зависит, – холодно проговорил муж и вышел.

Я видела, что он был взволнован больше, чем обыкновенно; это меня мучило, и я ничего не обещала кузине. Только что она уехала, я пошла к мужу. Он задумчиво ходил взад и вперед и не видал и не слыхал, как я на цыпочках вошла в комнату.

«Ему уж представляется милый Никольский дом, – думала я, глядя на него, – и утренний кофе в светлой гостиной, и его поля, мужики, и вечера в диванной, и ночные таинственные ужины. – Нет! – решила я сама с собой, – все балы на свете и лесть всех принцев на свете отдам я за его радостное смущение, за его тихую ласку». Я хотела сказать ему, что не поеду на раут и не хочу, когда он вдруг оглянулся и, увидав меня, нахмурился и изменил кротко-задумчивое выражение своего лица. Опять проницательность, мудрость и покровительственное спокойствие выразились в его взгляде. Он не хотел, чтоб я видела его простым человеком; ему нужно было полубогом на пьедестале всегда стоять передо мной.

– Что ты, мой друг? – спросил он, небрежно и спокойно оборачиваясь ко мне.

Я не отвечала. Мне было досадно, что он прячется от меня, не хочет оставаться тем, каким я любила его.

– Ты хочешь ехать в субботу на раут? – спросил он.

– Хотела, – отвечала я, – но тебе это не нравится. Да и всё уложено, – прибавила я.

Никогда он так холодно не смотрел на меня, никогда так холодно не говорил со мной.

– Я не уеду до вторника и велю разложить вещи, – проговорил он, – поэтому можешь ехать, коли тебе хочется. Сделай милость, поезжай. Я не уеду.

Как и всегда, когда он бывал взволнован, он неровно стал ходить по комнате и не глядел на меня.

– Я решительно тебя не понимаю, – сказала я, стоя на месте и глазами следя за ним, – ты говоришь, что ты всегда так спокоен (он никогда не говорил этого). Отчего ты так странно

говоришь со мной? Я для тебя готова пожертвовать этим удовольствием, а ты как-то иронически, как ты никогда не говорил со мной, требуешь, чтоб я ехала.

– Ну что ж! Ты *жертвуешь* (он особенно ударил на это слово), и я жертвую, чего же лучше. Борьба великодушия. Какого же еще семейного счастия?

В первый раз еще я слышала от него такие ожесточенно-насмешливые слова. И насмешка его не пристыдила, а оскорбила меня, и ожесточение не испугало меня, а сообщилось мне. Он ли, всегда боявшийся фразы в наших отношениях, всегда искренний и простой, говорил это? И за что? За то, что точно я хотела пожертвовать ему удовольствием, в котором не могла видеть ничего дурного, и за то, что за минуту перед этим я так понимала и любила его. Роли наши переменились, он – избегал прямых и простых слов, а я искала их.

– Ты очень переменился, – сказала я, вздохнув. – Чем я провинилась перед тобой? Не раут, а что-то другое старое есть у тебя на сердце против меня. Зачем неискренность? Не сам ли ты так боялся ее прежде. Говори прямо, что̀ ты имеешь против меня? – «Что-то он скажет», думала я, с самодовольством вспоминая, что нечем ему было упрекнуть меня за всю эту зиму.

Я вышла на середину комнаты, так что он должен был близко пройти мимо меня, и смотрела на него. «Он подойдет, обнимет меня, и всё будет кончено», пришло мне в голову, и даже жалко стало, что не придется доказать ему, как он неправ. Но он остановился на конце комнаты и поглядел на меня.

– Ты всё не понимаешь? – сказал он.

– Нет.

– Ну так я скажу тебе. Мне мерзко, в первый раз мерзко, то, что я чувствую и что не могу не чувствовать. – Он остановился, видимо испугавшись грубого звука своего голоса.

– Да что ж? – со слезами негодования в глазах спросила я.

– Мерзко, что принц нашел тебя хорошенькою, и что ты из-за этого бежишь ему навстречу, забывая и мужа, и себя, и достоинство женщины, и не хочешь понять того, что̀ должен за тебя чувствовать твой муж, ежели в тебе самой нет чувства достоинства; напротив, ты приходишь говорить мужу, что ты *жертвуешь*, то есть «показаться его высочеству для меня большое счастье, но я *жертвую* им».

Чем дальше он говорил, тем больше разгорался от звуков собственного голоса, и голос этот звучал ядовито, жестко и грубо. Я никогда не видала и не ожидала видеть его таким; кровь прилила мне к сердцу, я боялась, но вместе с тем чувство незаслуженного стыда и оскорбленного самолюбия волновало меня, и мне хотелось отомстить ему.

– Я давно ожидала этого, – сказала я, – говори, говори.

– Не знаю, чего ты ожидала, – продолжал он, – я мог ожидать всего худшего, видя тебя каждый день в этой грязи, праздности, роскоши глупого общества; и дождался… Дождался того, что мне нынче стыдно и больно стало, как никогда; больно за себя, когда твой друг своими грязными руками залез мне в сердце и стал говорить о ревности, моей ревности, к кому же? к человеку, которого ни я, ни ты не знаем. А ты, как нарочно, хочешь не понимать меня и хочешь жертвовать мне, чем же?.. Стыдно за тебя, за твое унижение стыдно!.. Жертва! – повторил он.

«А! так вот она власть мужа, – подумала я. – Оскорблять и унижать женщину, которая ни в чем не виновата. Вот в чем права мужа, но я не подчинюсь им».

– Нет, я ничем не жертвую тебе, – проговорила я, чувствуя, как неестественно расширяются мои ноздри, и кровь оставляет лицо. – Я поеду в субботу на раут, и непременно поеду.

– И дай Бог тебе много удовольствия, только между нами всё кончено! – прокричал он в порыве уже несдержанного бешенства. – Но больше уже ты не будешь мучить меня. Я был дурак, что… – снова начал он, но губы у него затряслись, и он с видимым усилием удержался, чтобы не договорить того, что начал.

Я боялась и ненавидела его в эту минуту. Я хотела сказать ему многое и отомстить за все оскорбления; но ежели бы я открыла рот, я бы заплакала и уронила бы себя перед ним. Я молча вышла из комнаты. Но только что я перестала слышать его шаги, как вдруг ужаснулась перед тем, что мы сделали. Мне стало страшно, что точно навеки разорвется эта связь, составлявшая всё мое счастие, и я хотела вернуться. «Но достаточно ли он успокоился, чтобы понять меня, когда я молча протяну ему руку и посмотрю на него? – подумала я. – Поймет ли он мое великодушие? Что ежели он назовет притворством мое горе? Или с сознанием правоты и с гордым спокойствием примет мое раскаяние и простит меня? И за что, за что он, которого я так любила, так жестоко оскорбил меня?..»

Я пошла не к нему, а в свою комнату, где долго сидела одна и плакала, с ужасом вспоминая каждое слово бывшего между нами разговора, заменяя эти слова другими, прибавляя другие, добрые слова и снова с ужасом и чувством оскорбления вспоминая то, что было. Когда я вечером вышла к чаю и при С., который был у нас, встретилась с мужем, я почувствовала, что с нынешнего дня целая бездна открылась между нами. С. спросил меня, когда мы едем? Я не успела ответить.

– Во вторник, – отвечал муж: – мы еще едем на раут к графине Р. Ведь ты едешь? – обратился он ко мне.

Я испугалась звука этого простого голоса и робко оглянулась на мужа. Глаза его смотрели прямо на меня, взгляд их был зол и насмешлив, голос был ровен и холоден.

– Да, – отвечала я.

Вечером, когда мы остались одни, он подошел ко мне и протянул руку.

– Забудь, пожалуйста, что я наговорил тебе, – сказал он.

Я взяла его руку, дрожащая улыбка была у меня на лице, и слезы готовы были потечь из глаз, но он отнял руку и, как будто боясь чувствительной сцены, сел на кресло довольно далеко от меня. «Неужели он всё считает себя правым?» подумала я, и готовое объяснение и просьба не ехать на раут остановились на языке.

– Надо написать матушке, что мы отложили отъезд, – сказал он, – а то она будет беспокоиться.

– А когда ты думаешь ехать? – спросила я.

– Во вторник, после раута, – отвечал он.

– Надеюсь, что это не для меня, – сказала я, глядя ему в глаза, но глаза только смотрели, а ничего не говорили мне, как будто чем-то заволочены они были от меня. Лицо его вдруг мне показалось старо и неприятно.

Мы поехали на раут, и между нами, казалось, установились опять хорошие дружелюбные отношения; но отношения эти были совсем другие, чем прежде.

На рауте я сидела между дамами, когда принц подошел ко мне, так что я должна была встать, чтобы говорить с ним. Вставая, я невольно отыскала глазами мужа и видела, что он с другого конца залы смотрел на меня и отвернулся. Мне вдруг так стало стыдно и больно, что я болезненно смутилась и покраснела лицом и шеей под взглядом принца. Но я должна была стоять и слушать, что он говорил мне, сверху оглядывая меня. Разговор наш был не долог, ему негде было сесть подле меня, и он, верно, почувствовал, что мне очень неловко с ним. Разговор был о прошлом бале, о том, где я живу лето, и т. д. Отходя от меня, он изъявил желание познакомиться с моим мужем, и я видела, как они сошлись и говорили на другом конце залы. Принц, верно, что-нибудь сказал обо мне, потому что в середине разговора он, улыбаясь, оглянулся в нашу сторону.

Муж вдруг вспыхнул, низко поклонился и первый отошел от принца. Я тоже покраснела, мне стыдно стало за то понятие, которое должен был получить принц обо мне и особенно о муже. Мне показалось, что все заметили мою неловкую застенчивость в то время, как я говорила с принцем, заметили его странный поступок; Бог знает, как они могли объяснить это;

уж и не знают ли они нашего разговора с мужем? Кузина довезла меня домой, и дорогой мы разговорились с ней о муже. Я не утерпела и рассказала ей всё, что было между нами по случаю этого несчастного раута. Она успокоивала меня, говоря, что это ничего незначащая, очень обыкновенная размолвка, которая не оставит никаких следов; объяснила мне с своей точки зрения характер мужа, нашла, что он очень несообщителен и горд стал; я согласилась с ней, и мне показалось, что и спокойнее и лучше сама теперь стала понимать его.

Но потом, когда мы остались вдвоем с мужем, этот суд о нем, как преступление, лежал у меня на совести, и я почувствовала, что еще больше сделалась пропасть, теперь отделявшая нас друг от друга.

VIII.

С этого дня совершенно изменилась наша жизнь и наши отношения. Нам уже не так хорошо было наедине, как прежде. Были вопросы, которые мы обходили, и при третьем лице нам легче говорилось, чем с глазу на глаз. Как только речь заходила о жизни в деревне или о бале, у нас как будто мальчики бегали в глазах, и неловко было смотреть друг на друга. Как будто мы оба чувствовали, в каком месте была пропасть, отделявшая нас, и боялись подходить к ней. Я была убеждена, что он горд и вспыльчив, и надо быть осторожнее, чтобы не задевать его слабости. Он был уверен, что я не могу жить без света, что деревня не по мне, и что надо покоряться этому несчастному вкусу. И мы оба избегали прямых разговоров об этих предметах, и оба ложно судили друг друга. Мы уже давно перестали быть друг для друга совершеннейшими людьми в мире, а делали сравнения с другими и втайне судили один другого. Я сделалась нездорова перед отъездом, и вместо деревни мы переехали на дачу, откуда муж один поехал к матери. Когда он уезжал, я уже достаточно оправилась, чтоб ехать с ним, но он уговаривал меня остаться, как будто боясь за мое здоровье. Я чувствовала, что он боялся не за мое здоровье, а за то, что нам нехорошо будет в деревне; я не очень настаивала и осталась. Без него мне было пусто, одиноко, но когда он приехал, я увидала, что и он уже не прибавлял к моей жизни того, что прибавлял прежде. Прежние наши отношения, когда, бывало, всякая непереданная ему мысль, впечатление, как преступление, тяготили меня, когда всякий его поступок, слово казались мне образцом совершенства, когда нам от радости смеяться чему-то хотелось, глядя друг на друга, эти отношения так незаметно перешли в другие, что мы и не хватились, как их не стало. У каждого из нас явились свои отдельные интересы, заботы, которые мы уже не пытались сделать общими. Нас даже перестало смущать то, что у каждого есть свой отдельный, чуждый для другого мир. Мы привыкли к этой мысли, и через год мальчики даже перестали бегать в глазах, когда мы смотрели друг на друга. Исчезли совершенно его припадки веселия со мной, ребячество, исчезло его всепрощение и равнодушие ко всему, прежде возмущавшие меня, не стало больше этого глубокого взгляда, который прежде смущал и радовал меня, не стало молитв, восторгов вместе, мы даже не часто виделись, он был постоянно в разъездах и не боялся, не жалел оставлять меня одну; я была постоянно в свете, где мне не нужно было его.

Сцен и размолвок больше не бывало между нами, я старалась угодить ему, он исполнял все мои желания, и мы будто любили друг друга.

Когда мы оставались одни, что случалось редко, я не испытывала с ним ни радости, ни волнения, ни замешательства, как будто я сама с собой оставалась. Я знала очень хорошо, что это был муж мой, не какой-нибудь новый, неизвестный человек, а хороший человек, – муж мой, которого я знала, как самое себя. Я была уверена, что знала всё, что̀ он сделает, что̀ скажет, как посмотрит; и ежели он делал или смотрел не так, как я ожидала, то мне уже казалось, что это он ошибся. Я ничего не ждала от него. Одним словом, это был мой муж и больше ничего. Мне казалось, что это так и должно быть, что не бывает других и между нами даже не было никогда других отношений. Когда он уезжал, особенно первое время, мне станови-

лось одиноко, страшно, я без него чувствовала сильнее значение для меня его опоры; когда он приезжал, я бросалась ему на шею от радости, хотя через два часа совершенно забывала эту радость, и нечего мне было говорить с ним. Только в минуты тихой, умеренной нежности, которые бывали между нами, мне казалось, что что-то не то, что что-то больно мне в сердце, и в его глазах, мне казалось, я читала то же. Мне чувствовалась эта граница нежности, за которую теперь он как будто не хотел, а я не могла переходить. Иногда мне это грустно было, но некогда было задумываться над чем бы то ни было, и я старалась забыть эту грусть неясно чувствуемой перемены в развлечениях, которые постоянно готовы были мне. Светская жизнь, сначала отуманившая меня блеском и лестью самолюбию, скоро завладела вполне моими наклонностями, вошла в привычки, наложила на меня свои оковы и заняла в душе всё то место, которое было готово для чувства. Я никогда уже не оставалась одна сама с собой и боялась вдумываться в свое положение. Всё время мое от позднего утра и до поздней ночи было занято и принадлежало не мне, даже ежели бы я не выезжала. Мне это было уже не весело и не скучно, а казалось, что так, а не иначе всегда должно было быть.

Так прошло три года, во время которых отношения наши оставались те же, как будто остановились, застыли и не могли сделаться ни хуже, ни лучше. В эти три года в нашей семейной жизни случились два важные события, но оба не изменили моей жизни. Это были рождение моего первого ребенка и смерть Татьяны Семеновны. Первое время материнское чувство с такою силой охватило меня и такой неожиданный восторг произвело во мне, что я думала, новая жизнь начнется для меня; но через два месяца, когда я снова стала выезжать, чувство это, уменьшаясь и уменьшаясь, перешло в привычку и холодное исполнение долга. Муж, напротив, со времени рождения нашего первого сына, стал прежним, кротким, спокойным домоседом и прежнюю свою нежность и веселье перенес на ребенка. Часто, когда я в бальном платье входила в детскую, чтобы на ночь перекрестить ребенка, и заставала мужа в детской, я замечала как бы укоризненный и строго внимательный взгляд его, устремленный на меня, и мне становилось совестно. Я вдруг ужасалась своего равнодушия к ребенку и спрашивала себя: «Неужели я хуже других женщин? Но что ж делать? – думала я, – я люблю сына, но не могу же сидеть с ним целые дни, мне скучно; а притворяться я ни за что не стану». Смерть его матери была для него большим горем; ему тяжело было, как он говорил, после нее жить в Никольском, а хотя мне и жалко было ее, и я сочувствовала горю мужа, мне было теперь приятнее и спокойнее в деревне. Все эти три года мы провели большею частью в городе, в деревню я ездила только раз на два месяца, и на третий год мы поехали за границу.

Мы проживали лето на водах.

Мне было тогда двадцать один год, состояние наше, я думала, было в цветущем положении, от семейной жизни я не требовала ничего сверх того, что она мне давала; все, кого я знала, мне казалось, любили меня; здоровье мое было хорошо, туалеты мои были лучшие на водах, я знала, что я была хороша, погода была прекрасна, какая-то атмосфера красоты и изящества окружала меня, и мне было очень весело. Я не так была весела, как бывала в Никольском, когда я чувствовала, что я счастлива сама в себе, что я счастлива потому, что заслужила это счастье, что счастье мое велико, но должно быть еще больше, что всё хочется еще и еще счастья. Тогда было другое; но и в это лето мне было хорошо. Мне ничего не хотелось, я ничего не надеялась, ничего не боялась, и жизнь моя, казалось мне, была полна, и на совести, казалось, было покойно. Из числа всей молодежи этого сезона не было ни одного человека, которого бы я чем-нибудь отличала от других или даже от старого князя К., нашего посланника, который ухаживал за мной. Один был молодой, другой старый, один белокурый Англичанин, другой Француз с бородкой, все они мне были равны, но все они были мне необходимы. Это были всё одинаково безразличные лица, составлявшие радостную атмосферу жизни, окружавшую меня. Один только из них, итальянский маркиз Д., больше других обратил мое внимание своею смелостью в выражении восхищения передо мною. Он не пропускал никакого случая быть со мною, тан-

цовать, ездить верхом, быть в казино и т. д., и говорить мне, что я хороша. Несколько раз я из окон видела его около нашего дома, и часто неприятный пристальный взгляд его блестящих глаз заставлял меня краснеть и оглядываться. Он был молод, хорош собой, элегантен и, главное, улыбкой и выражением лба похож на моего мужа, хотя и гораздо лучше его. Он поражал меня этим сходством, хотя в общем, в губах, во взгляде, в длинном подбородке, вместо прелести выражения доброты и идеального спокойствия моего мужа, у него было что-то грубое, животное. Я полагала тогда, что он страстно любит меня, и с гордым соболезнованием иногда думала о нем. Я иногда хотела успокоить его, перевести его в тон полудружеской тихой доверенности, но он резко отклонял от себя эти попытки и продолжал неприятно смущать меня своею невыражавшеюся, но всякую минуту готовою выразиться страстью. Хотя и не признаваясь себе, я боялась этого человека и против воли часто думала о нем. Муж мой был знаком с ним и еще больше, чем с другими нашими знакомыми, для которых он был только муж своей жены, держал себя холодно и высокомерно. К концу сезона я заболела и две недели не выходила из дома. Когда я в первый раз после болезни вышла вечером на музыку, я узнала, что без меня приехала давно ожидаемая и известная своею красотой леди С. Около меня составился круг, меня встретили радостно, но еще лучше круг составлен был около приезжей львицы. Все вокруг меня говорили только про нее и ее красоту. Мне показали ее, и действительно, она была прелестна, но меня неприятно поразило самодовольство ее лица, и я сказала это. Мне этот день показалось скучно всё, что прежде было так весело. На другой день леди С. устроила поездку в замок, от которой я отказалась. Почти никто не остался со мной, и всё окончательно переменилось в моих глазах. Всё и все мне показались глупы и скучны, мне хотелось плакать, скорей кончить курс и ехать назад в Россию. В душе у меня было какое-то нехорошее чувство, но я еще себе не признавалась в нем. Я сказалась слабою и перестала показываться в большом обществе, только утром выходила изредка одна пить воды или с Л. М., русскою знакомой, ездила в окрестности. Мужа не было в это время; он поехал на несколько дней в Гейдельберг, ожидая конца моего курса, чтоб ехать в Россию, и изредка приезжал ко мне.

Однажды леди С. увлекла всё общество на охоту, а мы с Л. М. после обеда поехали в замок. Покуда мы шагом въезжали в коляске по извилистому шоссе между вековыми каштанами, сквозь которые дальше и дальше открывались эти хорошенькие элегантные баденские окрестности, освещенные заходящими лучами солнца, мы разговорились серьезно, как мы не говорили никогда. Л. М., которую уже я давно знала, в первый раз представилась мне теперь хорошею, умною женщиною, с которою можно говорить всё и с которою приятно быть другом. Мы говорили про семью, детей, про пустоту здешней жизни, нам захотелось в Россию, в деревню, и как-то грустно и хорошо стало. Под влиянием этого же серьезного чувства мы вошли в замок. В стенах было тенисто, свежо, вверху по развалинам играло солнце, слышны были чьи-то шаги и голоса. Из двери, как в раме, виднелась эта прелестная, но холодная для нас, Русских, баденская картина. Мы сели отдохнуть и молча смотрели на заходящее солнце. Голоса послышались явственнее, и мне показалось, что назвали мою фамилию. Я стала прислушиваться и невольно расслышала каждое слово. Голоса были знакомые; это был маркиз Д. и Француз, его приятель, которого я тоже знала. Они говорили про меня и про леди С. Француз сравнивал меня и ее и разбирал красоту той и другой. Он не говорил ничего оскорбительного, но у меня кровь прилила к сердцу, когда я расслышала его слова. Он подробно объяснял, чтò было хорошего во мне и чтò хорошего в леди С. У меня уж был ребенок, а леди С. было девятнадцать лет, у меня коса была лучше, но зато у леди стан был грациознее, леди большая дама, тогда как «ваша, сказал он, так себе, одна из этих маленьких русских княгинь, которые так часто начинают появляться здесь». Он заключил тем, что я прекрасно делаю, не пытаясь бороться с леди С., и что я окончательно похоронена в Бадене.

– Мне ее жаль.

– Ежели только она не захочет утешиться с вами, – прибавил он с веселым и жестоким смехом.

– Ежели она уедет, я поеду за ней, – грубо проговорил голос с итальянским акцентом.

– Счастливый смертный! он еще может любить! – засмеялся Француз.

– Любить! – сказал голос и помолчал. – Я не могу не любить! без этого нет жизни. – Делать роман из жизни одно, что есть хорошего. И мой роман никогда не останавливается в середине, и этот я доведу до конца.

– Bonne chance, mon ami,[23] – проговорил Француз.

Дальше уже мы не слыхали, потому что они зашли за угол, и мы с другой стороны услыхали их шаги. Они сходили с лестницы и через несколько минут вышли из боковой двери и весьма удивились, увидав нас. Я покраснела, когда маркиз Д. подошел ко мне, и мне страшно стало, когда, выходя из замка, он подал мне руку. Я не могла отказаться, и мы сзади Л. М., которая шла с его другом, пошли к коляске. Я была оскорблена тем, чтò сказал про меня Француз, хотя втайне сознавала, что он только назвал то, что я сама чувствовала; но слова маркиза удивили и возмутили меня своею грубостью. Меня мучила мысль, что я слышала его слова, и, несмотря на то, он не боится меня. Мне гадко было чувствовать его так близко от себя; и, не глядя на него, не отвечая ему и стараясь держать руку так, чтобы не слыхать его, я торопливо шла за Л. М. и Французом. Маркиз говорил что-то о прекрасном виде, о неожиданном счастии встретить меня и еще что-то, но я не слушала его. Я думала в это время о муже, о сыне, о России; чего-то мне совестно было, чего-то жалко, чего-то хотелось, и я торопилась скорей домой, в свою одинокую комнату в Hôtel de Bade, чтобы на просторе обдумать всё то, что только сейчас поднялось у меня в душе. Но Л. М. шла тихо, до коляски было еще далеко, и мой кавалер, мне показалось, упорно уменьшал шаг, как будто пытаясь останавливать меня. «Не может быть!» подумала я и решительно пошла скорее. Но положительно он удерживал меня и даже прижимал мою руку. Л. М. завернула за угол дороги, и мы были совершенно одни. Мне стало страшно.

– Извините, – сказала я холодно и хотела высвободить руку, но кружево рукава зацепилось за его пуговицу. Он, пригнувшись ко мне грудью, стал отстегивать его, и его пальцы без перчатки тронули мою руку. Какое-то новое мне чувство не то ужаса, не то удовольствия морозом пробежало по моей спине. Я взглянула на него с тем, чтобы холодным взглядом выразить всё презрение, которое я к нему чувствую; но взгляд мой выразил не то, он выразил испуг и волнение. Его горящие, влажные глаза, подле самого моего лица, страстно смотрели на меня, на мою шею, на мою грудь, его обе руки перебирали мою руку выше кисти, его открытые губы говорили что-то, говорили, что он меня любит, что я всё для него, и губы эти приближались ко мне, и руки крепче сжимали мои и жгли меня. Огонь пробегал по моим жилам, в глазах темнело, я дрожала, и слова, которыми я хотела остановить его, пересыхали в моем горле. Вдруг я почувствовала поцелуй на своей щеке и, вся дрожа и холодея, остановилась и смотрела на него. Не в силах ни говорить, ни двигаться, я, ужасаясь, ожидала и желала чего-то. Всё это продолжалось одно мгновение. Но это мгновение было ужасно! Я так видела его всего в это мгновение. Так понятно мне было его лицо: этот видневшийся из-под соломенной шляпы крутой низкий лоб, похожий на лоб моего мужа, этот красивый прямой нос с раздутыми ноздрями, эти длинные остро-припомаженные усы и бородка, эти гладко выбритые щеки и загорелая шея. Я ненавидела, я боялась его, такой чужой он был мне; но в эту минуту так сильно отзывались во мне волнение и страсть этого ненавистного, чужого человека! Так непреодолимо хотелось мне отдаться поцелуям этого грубого и красивого рта, объятиям этих белых рук с тонкими жилами и с перстнями на пальцах. Так тянуло меня броситься очертя голову в открывшуюся вдруг, притягивающую бездну запрещенных наслаждений…

[23] [– Желаю успеха, друг мой,]

«Я так несчастна, – думала я, – пускай же еще больше и больше несчастий собирается на мою голову».

Он обнял меня одною рукою и наклонился к моему лицу. «Пускай, пускай еще и еще накопляется стыд и грех на мою голову».

– Je vous aime,[24] – прошептал он голосом, который был так похож на голос моего мужа. Мой муж и ребенок вспомнились мне, как давно бывшие дорогие существа, с которыми у меня всё кончено. Но вдруг в это время из-за поворота послышался голос Л. М., которая звала меня. Я опомнилась, вырвала свою руку и, не глядя на него, почти побежала за Л. М. Мы сели в коляску, и я тут только взглянула на него. Он снял шляпу и спросил что-то, улыбаясь. Он не понимал того невыразимого отвращения, которое я испытывала к нему в эту минуту.

Жизнь моя показалась мне так несчастна, будущее так безнадежно, прошедшее так черно! Л. М. говорила со мной, но я не понимала ее слов. Мне казалось, что она говорит со мной только из жалости, чтобы скрыть презрение, которое я возбуждаю в ней. Во всяком слове, во всяком взгляде мне чудилось это презрение и оскорбительная жалость. Поцелуй стыдом жег мне щеку, и мысль о муже и ребенке была мне невыносима. Оставшись одна в своей комнате, я надеялась обдумать свое положение, но мне страшно было одной. Я не допила чаю, который мне подали, и, сама не зная зачем, с горячечной поспешностью стала тотчас же собираться с вечерним поездом в Гейдельберг к мужу.

Когда мы сели с девушкой в пустой вагон, машина тронулась, и свежий воздух пахнул на меня в окно, я стала опоминаться и яснее представлять себе свое прошедшее и будущее. Вся моя замужняя жизнь со дня переезда нашего в Петербург вдруг представилась мне в новом свете и укором легла мне на совесть. Я в первый раз живо вспомнила наше первое время в деревне, наши планы, в первый раз мне пришел в голову вопрос: какие же были его радости во всё это время? И я почувствовала себя виноватою перед ним. «Но зачем он не остановил меня, зачем лицемерил передо мной, зачем избегал объяснений, зачем оскорбил? – спрашивала я себя. – Зачем не употребил свою власть любви надо мной? Или он не любил меня?» Но как бы он ни был виноват, поцелуй чужого человека вот тут стоял на моей щеке, и я чувствовала его. Чем ближе и ближе я подъезжала к Гейдельбергу, тем яснее воображала мужа и тем страшнее мне становилось предстоящее свидание. «Я всё, всё скажу ему, всё выплачу перед ним слезами раскаяния, – думала я, – и он простит меня». Но я сама не знала, чтò такое «всё» я скажу ему, и сама не верила, что он простит меня.

Но только что я вошла в комнату к мужу и увидела его спокойное, хотя и удивленное лицо, я почувствовала, что мне нечего было говорить ему, не в чем признаваться и не в чем просить его прощения. Невысказанное горе и раскаяние должны были оставаться во мне.

– Как это ты вздумала? – сказал он: – а я завтра хотел к тебе ехать. – Но, всмотревшись ближе в мое лицо, он как будто испугался. – Что ты? что с тобой? – проговорил он.

– Ничего, – отвечала я, едва удерживаясь от слез. – Я совсем приехала. Поедем хоть завтра домой в Россию.

Он довольно долго молча и внимательно посмотрел на меня.

– Да расскажи же, что с тобой случилось? – сказал он.

Я невольно покраснела и опустила глаза. В глазах его блеснуло чувство оскорбления и гнева. Я испугалась мыслей, которые могли придти ему, и с силой притворства, которой я сама не ожидала в себе, я сказала:

– Ничего не случилось, просто скучно и грустно стало одной, и я много думала о нашей жизни и о тебе. Уж так давно я виновата перед тобой! За что ты ездишь со мной туда, куда тебе не хочется? Давно уж я виновата перед тобой, – повторила я, и опять слезы мне навернулись на глаза. – Поедем в деревню и навсегда.

---

[24] [– Я люблю вас,]

– Ах! мой друг, уволь от чувствительных сцен, – сказал он холодно: – что ты в деревню хочешь, это прекрасно, потому что и денег у нас мало; а что навсегда, то это мечта. Я знаю, что ты не уживешься. А вот чаю напейся, это лучше будет, – заключил он вставая, чтобы позвонить человека.

Мне представлялось всё, что он мог думать обо мне, и я оскорбилась теми страшными мыслями, которые приписывала ему, встретив неверный и как будто пристыженный взгляд, устремленный на меня. Нет! он не хочет и не может понять меня! Я сказала, что пойду посмотреть ребенка, и вышла от него. Мне хотелось быть одной и плакать, плакать, плакать…

IX.

Давно нетопленный пустой никольский дом снова ожил, но не ожило то, что жило в нем. Мамаши уже не было, и мы одни были друг против друга. Но теперь нам не только не нужно было одиночество, оно уже стесняло нас. Зима прошла тем хуже для меня, что я была больна и оправилась только после родов второго моего сына. Отношения наши с мужем продолжали быть тоже холодно-дружелюбные, как и во время нашей городской жизни, но в деревне каждая половица, каждая стена, диван напоминали мне то, чем он был для меня, и то, что я утратила. Как будто непрощенная обида была между нами, как будто он наказывал меня за что-то и делал вид, что сам того не замечает. Просить прощения было не за что, просить помилования не отчего: он наказывал меня только тем, что не отдавал мне всего себя, всей своей души, как прежде; но и никому и ничему он не отдавал ее, как будто у него ее уже не было. Иногда мне приходило в голову, что он притворяется только таким, чтобы мучить меня, а что в нем еще живо прежнее чувство, и я старалась вызвать его. Но он всякий раз как будто избегал откровенности, как будто подозревал меня в притворстве и боялся, как смешного, всякой чувствительности. Взгляд и тон его говорили: всё знаю, всё знаю, нечего говорить, всё, что ты хочешь сказать, и то знаю. Знаю и то, что ты скажешь одно, а сделаешь другое. Сначала я оскорблялась этим страхом перед откровенностью, но потом привыкла к мысли о том, что это не неоткровенность, а отсутствие потребности в откровенности. У меня язык не повернулся бы теперь вдруг сказать ему, что я люблю его, или попросить его прочесть молитвы со мной, или позвать его слушать, как я играю. Между нами чувствовались уже известные условия приличия. Мы жили каждый порознь. Он со своими занятиями, в которых мне не нужно было и не хотелось теперь участвовать, я с своею праздностью, которая не оскорбляла и не печалила его, как прежде. Дети еще были слишком малы и не могли еще соединять нас.

Но пришла весна, Катя с Соней приехали на лето в деревню, дом наш в Никольском стали перестраивать, мы переехали в Покровское. Тот же был старый Покровский дом с своею террасой, с сдвижным столом и фортепьяно в светлой зале и моею бывшею комнатой с белыми занавесками и моими, как будто забытыми там, девичьими мечтами. В этой комнатке были две кроватки, одна бывшая моя, в которой я по вечерам крестила раскидавшегося пухлого Кокошу, а другая маленькая, в которой из пеленок выглядывало личико Вани. Перекрестив их, я часто останавливалась посередине тихой комнатки, и вдруг изо всех углов, от стен, от занавесок поднимались старые, забытые молодые видения. Начинали петь старые голоса девические песни. И где эти видения? где эти милые, сладкие песни? Сбылось всё то, чего я едва смела надеяться. Неясные, сливающиеся мечты стали действительностью; а действительность стала тяжелою, трудною и безрадостною жизнию. А всё то же: тот же сад виден в окно, та же площадка, та же дорожка, та же скамейка вон там над оврагом, те же соловьиные песни несутся от пруда, те же сирени во всем цвету, и тот же месяц стоит над домом; а всё так страшно, так невозможно изменилось! Так холодно всё то, что могло быть так дорого и близко! Так же, как и в старину, мы тихо вдвоем, сидя в гостиной, говорим с Катей, и говорим о нем. Но Катя сморщилась, пожелтела, глаза ее не блестят радостью и надеждой, а выражают сочувствующую

грусть и сожаление. Мы не восхищаемся им по-старому, мы судим его, мы не удивляемся, зачем и за что мы так счастливы, и не по-старому всему свету хотим рассказать то, что мы думаем; мы, как заговорщицы, шепчем друг с другом и сотый раз спрашиваем друг друга, зачем всё так грустно переменилось? И он всё тот же, только глубже морщина между его бровей, больше седых волос в его висках, но глубокий внимательный взгляд постоянно заволочен от меня тучей. Всё та же и я, но нет во мне ни любви, ни желания любви. Нет потребности труда, нет довольства собой. И так далеки и невозможны мне кажутся прежние религиозные восторги и прежняя любовь к нему, прежняя полнота жизни. Я не поняла бы теперь того, что прежде мне казалось так ясно и справедливо: счастие жить для другого. Зачем для другого? когда и для себя жить не хочется?

Я совершенно бросила музыку с тех самых пор, как переехала в Петербург; но теперь старое фортепияно, старые ноты снова приохотили меня.

Один день мне нездоровилось, я осталась одна дома; Катя и Соня поехали с ним вместе в Никольское смотреть новую постройку. Чайный стол был накрыт, я сошла вниз и, ожидая их, села за фортепияно. Я открыла сонату quasi una fantasia[25] и стала играть ее. Никого не видно и не слышно было, окна были открыты в сад; и знакомые, грустно торжественные звуки раздавались в комнате. Я кончила первую часть и совершенно бессознательно, по старой привычке, оглянулась в тот угол, в котором он сиживал, бывало, слушая меня. Но его не было; стул, давно не сдвинутый, стоял в своем углу; а в окно виднелся куст сирени на светлом закате, и свежесть вечера вливалась в открытые окна. Я облокотилась на фортепияно обеими руками, закрыла ими лицо и задумалась. Я долго сидела так, с болью вспоминая старое, невозвратимое и робко придумывая новое. Но впереди как будто уже ничего не было, как будто я ничего не желала и не надеялась. «Неужели я отжила!» подумала я, с ужасом приподняла голову и, чтобы забыть и не думать, опять стала играть, и всё то же andante. «Боже мой! – подумала я, – прости меня, ежели я виновата, или возврати мне всё, что было так прекрасно в моей душе, или научи, что мне делать? как мне жить теперь?» Шум колес послышался по траве, и перед крыльцом, и на террасе послышались осторожные знакомые шаги и затихли. Но уже не прежнее чувство отозвалось на звук этих знакомых шагов. Когда я окончила, шаги послышались за мною, и рука легла на мое плечо.

– Какая ты умница, что сыграла эту сонату, – сказал он.

Я молчала.

– Ты не пила чай?

Я отрицательно покачала головой и не оглядывалась на него, чтобы не выдать следов волнения, оставшихся на моем лице.

– Они сейчас приедут; лошадь зашалила, и они сошли пешком от большой дороги, – сказал он.

– Подождем их, – сказала я и вышла на террасу, надеясь, что и он пойдет за мною; но он спросил про детей и пошел к ним. Опять его присутствие, его простой, добрый голос разуверил меня в том, что что-то утрачено мною. Чего же еще желать? Он добр, кроток, он хороший муж, хороший отец, я сама не знаю, чего еще недостает мне. Я вышла на балкон и села под полотно террасы на ту самую скамейку, на которой я сидела в день нашего объяснения. Уж солнце зашло, начинало смеркаться, и весенняя темная тучка висела над домом и садом, только из-за деревьев виднелся чистый край неба с потухавшею зарей и только что вспыхнувшею вечернею звездочкой. Надо всем стояла тень легкой тучки, и всё ждало тихого весеннего дождика. Ветер замер, ни один лист, ни одна травка не шевелилась, запах сирени и черемухи так сильно, как будто весь воздух цвел, стоял в саду и на террасе и наплывами то вдруг ослабевал, то усиливался, так что хотелось закрыть глаза и ничего не видеть, не слышать, кроме этого

[25] [в форме фантазии]

сладкого запаха. Георгины и кусты розанов еще без цвета, неподвижно вытянувшись на своей вскопанной черной рабатке, как будто медленно росли вверх по своим белым обструганным подставкам; лягушки изо всех сил, как будто напоследках перед дождем, который их загонит в воду, дружно и пронзительно трещали из-под оврага. Один какой-то тонкий непрерывный водяной звук стоял над этим криком. Соловьи перекликались вперемежку, и слышно было, как тревожно перелетали с места на место. Опять нынешнюю весну один соловей пытался поселиться в кусте под окном, и, когда я вышла, слышала, как он переместился за аллею и оттуда щелкнул один раз и затих, тоже ожидая.

Напрасно я себя успокаивала: я и ждала и жалела чего-то.

Он вернулся сверху и сел подле меня.

– Кажется, помочит наших, – сказал он.

– Да, – проговорила я, и мы оба долго молчали.

А туча без ветра всё опускалась ниже и ниже; всё становилось тише, пахучее и неподвижнее, и вдруг капля упала и как будто подпрыгнула на парусинном навесе террасы, другая разбилась на щебне дорожки; по лопуху шлепнуло, и закапал крупный, свежий, усиливающийся дождик. Соловьи и лягушки совсем затихли, только тонкий водяной звук, хотя и казался дальше из-за дождя, но всё стоял в воздухе, и какая-то птица, должно быть забившись в сухие листья недалеко от террасы, равномерно выводила свои две однообразные ноты. Он встал и хотел уйдти.

– Куда ты? – спросила я, удерживая его. – Здесь так хорошо.

– Послать зонтик и калоши надо, – отвечал он.

– Не нужно, сейчас пройдет.

Он согласился со мной, и мы вместе остались у перил террасы. Я оперлась рукою на склизкую мокрую перекладину и выставила голову. Свежий дождик неровно кропил мне волосы и шею. Тучка, светлея и редея, проливалась над нами; ровный звук дождя заменился редкими каплями, падавшими сверху и с листьев. Опять внизу затрещали лягушки, опять встрепенулись соловьи и из мокрых кустов стали отзываться то с той, то с другой стороны. Всё просветлело перед нами.

– Как хорошо! – проговорил он, присаживаясь на перила и рукой проводя по моим мокрым волосам.

Эта простая ласка, как упрек, подействовала на меня, мне захотелось плакать.

– И чего еще нужно человеку? – сказал он. – Я теперь так доволен, что мне ничего не нужно, совершенно счастлив!

«Не так ты говорил мне когда-то про свое счастье, – подумала я. – Как ни велико оно было, ты говорил, что всё еще и еще чего-то хотелось тебе. А теперь ты спокоен и доволен, когда у меня в душе как будто невысказанное раскаяние и невыплаканные слезы».

– И мне хорошо, – сказала я, – но грустно именно оттого, что всё так хорошо передо мной. Во мне так несвязно, неполно, всё хочется чего-то; а тут так прекрасно и спокойно. Неужели и у тебя не примешивается какая-то тоска к наслаждению природой, как будто хочется чего-то невозможного, и жаль чего-то прошедшего.

Он принял руку с моей головы и помолчал немного.

– Да, прежде и со мной это бывало, особенно весной, – сказал он, как будто припоминая. – И я тоже ночи просиживал, желая и надеясь, и хорошие ночи!.. Но тогда всё было впереди, а теперь всё сзади; теперь с меня довольно того, что есть, и мне славно, – заключил он так уверенно небрежно, что, как мне ни больно было слышать это, мне поверилось, что он говорит правду.

– И ничего тебе не хочется? – спросила я.

– Ничего невозможного, – отвечал он, угадывая мое чувство. – Ты вот мочишь голову, – прибавил он, как ребенка лаская меня, еще раз проводя рукой по моим волосам, – ты завиду-

ешь и листьям, и траве за то, что их мочит дождик, тебе бы хотелось быть и травой, и листьями, и дождиком. А я только радуюсь на них, как на всё на свете, чтò хорошо, молодо и счастливо.

– И не жаль тебе ничего прошлого? – продолжала я спрашивать, чувствуя, что всё тяжелее и тяжелее становится у меня на сердце.

Он задумался и опять замолчал. Я видела, что он хотел ответить совершенно искренно.

– Нет! – отвечал он коротко.

– Неправда! неправда! – заговорила я, оборачиваясь к нему и глядя в его глаза. – Ты не жалеешь прошлого?

– Нет! – повторил он еще раз, – я благодарен за него, но не жалею прошлого.

– Но разве ты не желал бы воротить его? – сказала я.

Он отвернулся и стал смотреть в сад.

– Не желаю, как не желаю того, чтоб у меня выросли крылья, – сказал он. – Нельзя!

– И не поправляешь ты прошедшего? не упрекаешь себя или меня?

– Никогда! Всё было к лучшему!

– Послушай! – сказала я, дотрогиваясь до его руки, чтоб он оглянулся на меня. – Послушай, отчего ты никогда не сказал мне, что ты хочешь, чтобы я жила именно так, как ты хотел, зачем ты давал мне волю, которою я не умела пользоваться, зачем ты перестал учить меня? Ежели бы ты хотел, ежели бы ты иначе вел меня, ничего, ничего бы не было, – сказала я голосом, в котором сильней и сильней выражалась холодная досада и упрек, а не прежняя любовь.

– Чего бы не было? – сказал он удивленно, оборачиваясь ко мне: – и так ничего нет. Всё хорошо. Очень хорошо, – прибавил он, улыбаясь.

«Неужели он не понимает, или, еще хуже, не хочет понимать?» – подумала я, и слезы выступили мне на глаза.

– Не было бы того, что, ничем не виноватая перед тобой, я наказана твоим равнодушием, презрением даже, – вдруг высказалась я. – Не было бы того, что без всякой моей вины ты вдруг отнял у меня всё, что мне было дорого.

– Что ты, душа моя! – сказал он, как бы не понимая того, что я говорила.

– Нет, дай мне договорить… Ты отнял от меня свое доверие, любовь, уважение даже; потому что я не поверю, что ты меня любишь теперь, после того, что было прежде. Нет, мне надо сразу высказать всё, что давно мучит меня, – опять перебила я его. – Разве я виновата в том, что не знала жизни, а ты меня оставил одну отыскивать… Разве я виновата, что теперь, когда я сама поняла то, что нужно, когда я, скоро год, бьюсь, чтобы вернуться к тебе, ты отталкиваешь меня, как будто не понимая, чего я хочу, и всё так, что ни в чем нельзя упрекнуть тебя, а что я и виновата, и несчастна! Да, ты хочешь опять выбросить меня в ту жизнь, которая могла сделать и мое и твое несчастье.

– Да чем же я показал тебе это? – с искренним испугом и удивлением спросил он.

– Не ты ли еще вчера говорил, да и беспрестанно говоришь, что я не уживу здесь, и что нам опять на зиму надо ехать в Петербург, который ненавистен мне? – продолжала я. – Чем бы поддержать меня, ты избегаешь всякой откровенности, всякого искреннего, нежного слова со мной. И потом, когда я паду совсем, ты будешь упрекать меня и радоваться на мое падение.

– Постой, постой, – сказал он строго и холодно, – это нехорошо, чтò ты говоришь теперь. Это только доказывает, что ты дурно расположена против меня, что ты не…

– Что я не люблю тебя? говори! говори! – досказала я, и слезы полились у меня из глаз. Я села на скамейку и закрыла платком лицо.

«Вот как он понял меня!» думала я, стараясь удерживать рыдания, давившие меня. «Кончена, кончена наша прежняя любовь», говорил какой-то голос в моем сердце. Он не подошел ко мне, не утешил меня. Он был оскорблен тем, что я сказала. Голос его был спокоен и сух.

– Не знаю, в чем ты упрекаешь меня, – начал он, – ежели в том, что я уже не так любил тебя, как прежде…

– Любил! – проговорила я в платок, и горькие слезы еще обильнее полились на него.

– То в этом виновато время и мы сами. В каждой поре есть своя любовь… – Он помолчал. – И сказать тебе всю правду? ежели уже ты хочешь откровенности. Как в тот год, когда я только узнал тебя, я ночи проводил без сна, думая о тебе, и делал сам свою любовь, и любовь эта росла и росла в моем сердце, так точно и в Петербурге, и за границей, я не спал ужасные ночи и разламывал, разрушал эту любовь, которая мучила меня. Я не разрушил ее, а разрушил только то, что мучило меня, успокоился и всё-таки люблю, но другою любовью.

– Да, ты называешь это любовью, а это мука, – проговорила я. – Зачем ты мне позволил жить в свете, ежели он так вреден тебе казался, что ты меня разлюбил за него?

– Не свет, мой друг, – сказал он.

– Зачем не употребил ты свою власть, – продолжала я, – не связал, не убил меня? Мне бы лучше было теперь, чем лишиться всего, что составляло мое счастье, мне бы хорошо, не стыдно было.

Я опять зарыдала и закрыла лицо.

В это время Катя с Соней, веселые и мокрые, с громким говором и смехом вошли на террасу; но, увидав нас, затихли и тотчас же вышли.

Мы долго молчали, когда они ушли; я выплакала свои слезы, и мне стало легче. Я взглянула на него. Он сидел, облокотив голову на руки, и хотел что-то сказать в ответ на мой взгляд, но только тяжело вздохнул и опять облокотился.

Я подошла к нему и отвела его руку. Взгляд его задумчиво обратился на меня.

– Да, – заговорил он, как будто продолжая свои мысли. – Всем нам, а особенно вам, женщинам, надо прожить самим весь вздор жизни, для того чтобы вернуться к самой жизни; а другому верить нельзя. Ты еще далеко не прожила тогда этот прелестный и милый вздор, на который я любовался в тебе; и я оставлял тебя выживать его и чувствовал, что не имел права стеснять тебя, хотя для меня уже давно прошло время.

– Зачем же ты проживал со мною и давал мне проживать этот вздор, ежели ты любишь меня? – сказала я.

– Затем, что ты и хотела бы, но не могла бы поверить мне; ты сама должна была узнать, и узнала.

– Ты рассуждал, ты рассуждал много, – сказала я. – Ты мало любил.

Мы опять помолчали.

– Это жестоко, что ты сейчас сказала, но это правда, – проговорил он, вдруг приподнимаясь и начиная ходить по террасе, – да, это правда. Я виноват был! – прибавил он, останавливаясь против меня. – Или я не должен был вовсе позволить себе любить тебя, или любить проще, да.

– Забудем всё, – сказала я робко.

– Нет, что прошло, то уж не воротится, никогда не воротишь, – и голос его смягчился, когда он говорил это.

– Всё вернулось уже, – сказала я, на плечо кладя ему руку.

Он отвел мою руку и пожал ее.

– Нет, я не правду говорил, что не жалею прошлого; нет, я жалею, я плачу о той прошедшей любви, которой уж нет и не может быть больше. Кто виноват в этом? не знаю. Осталась любовь, но не та, осталось ее место, но она вся выболела, нет уж в ней силы и сочности, остались воспоминания и благодарность: но…

– Не говори так… – перебила я. – Опять пусть будет всё, как прежде… Ведь может быть? да? – спросила я, глядя в его глаза. Но глаза его были ясны, спокойны и не глубоко смотрели в мои.

В то время как я говорила, я чувствовала уже, что невозможно то, чего я желала и о чем просила его. Он улыбнулся спокойною, кроткою, как мне показалось, старческою улыбкой.

– Как еще ты молода, а как я стар, – сказал он. – Во мне уже нет того, чего ты ищешь; зачем обманывать себя? – прибавил он, продолжая так же улыбаться.

Я молча стала подле него, и на душе у меня становилось спокойнее.

– Не будем стараться повторять жизнь, – продолжал он, – не будем лгать сами перед собою. А что нет старых тревог и волнений, и слава Богу! Нам нечего искать и волноваться. Мы уж нашли, и на нашу долю выпало довольно счастия. Теперь нам уж нужно стираться и давать дорогу вот кому, – сказал он, указывая на кормилицу, которая с Ваней подошла и остановилась у дверей террасы. – Так-то, милый друг, – заключил он, пригибая к себе мою голову и целуя ее. Не любовник, а старый друг целовал меня.

А из саду всё сильней и слаще поднималась пахучая свежесть ночи, всё торжественнее становились звуки и тишина, и на небе чаще зажигались звезды. Я посмотрела на него, и мне вдруг стало легко на душе; как будто отняли у меня тот больной нравственный нерв, который заставлял страдать меня. Я вдруг ясно и спокойно поняла, что чувство того времени невозвратимо прошло, как и самое время, и что возвратить его теперь не только невозможно, но тяжело и стеснительно бы было. Да и полно, так ли хорошо было это время, которое казалось мне таким счастливым? И так давно, давно уже всё это было!..

– Однако пора чай пить! – сказал он, и мы вместе с ним пошли в гостиную. В дверях мне опять встретилась кормилица с Ваней. Я взяла на руки ребенка, закрыла его оголившиеся красные ножонки, прижала его к себе и, чуть прикасаясь губами, поцеловала его. Он как во сне зашевелил ручонкою с растопыренными сморщенными пальцами и открыл мутные глазенки, как будто отыскивая или вспоминая что-то; вдруг эти глазенки остановились на мне, искра мысли блеснула в них, пухлые оттопыренные губки стали собираться и открылись в улыбку. «Мой, мой, мой!» – подумала я, с счастливым напряжением во всех членах прижимая его к груди и с трудом удерживаясь от того, чтобы не сделать ему больно. И я стала целовать его холодные ножонки, животик и руки и чуть обросшую волосами головку. Муж подошел ко мне, я быстро закрыла лицо ребенка и опять открыла его.

– Иван Сергеевич! – проговорил муж, пальцем трогая его под подбородочек. Но я опять быстро закрыла Ивана Сергеевича. Никто, кроме меня, не должен был долго смотреть на него. Я взглянула на мужа, глаза его смеялись, глядя в мои, и мне в первый раз после долгого времени легко и радостно было смотреть в них.

С этого дня кончился мой роман с мужем; старое чувство стало дорогим, невозвратимым воспоминанием, а новое чувство любви к детям и к отцу моих детей положило начало другой, но уже совершенно иначе счастливой жизни, которую я еще не прожила в настоящую минуту…

–

ВАРИАНТЫ ИЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ РЕДАКЦИЙ

АЛЬБЕРТ.

*№ 1 (I ред.).

Онъ думаетъ, вѣрно, что я только притворяюсь поэтомъ,[26] потому что нѣтъ у меня другой дорожки. А может быть, думаетъ, что я теперь сочиняю что-нибудь, и что ему придется рассказывать через нѣсколько лѣтъ, что онъ ѣхалъ съ Крапивинымъ послѣ ужина отъ Дюса, и что именно тутъ-то Крапивинъ сочинилъ свою извѣстную пьесу «Хоть сумракъ дней…» также какъ про Пушкина рассказывалъ недавно Алфонсовъ. Будетъ разсказывать, что онъ былъ такъ простъ, веселъ и вдругъ.... а может быть, и точно теперь вдругъ придетъ удивительная пьеса. Онъ попробовалъ продолжать, но далѣе 3-х словъ: хоть сумракъ дней, которыя Богъ[27] знаетъ зачѣмъ пришли ему въ голову, ничего не выходило. – Ничего, утѣшалъ онъ себя, это придетъ завтра, я чувствую какую-то тоску ужъ нѣсколько дней – это вѣрный признакъ. (Онъ забывалъ, что эту тоску, будто бы предшественницу вдохновенія, онъ чувствовалъ ужъ давно, почти съ тѣхъ пор какъ выступилъ на поэтическое поприще).[28]

** № 2 (III ред.).

Но о чемъ и зачѣмъ плакалъ тотъ, который лежалъ на диванѣ? Вотъ о чемъ и зачѣем онъ плакалъ. Ему теперь было 35 лѣтъ, онъ былъ очень богатъ и ему давно ужъ всегда и вездѣ было скучно. Быть скучающим человѣкомъ сдѣлалось даже какъ бы его общественнымъ положеніемъ. И всегда особенно было ему скучно и вмѣстѣ грустно тамъ, гдѣ надо было веселиться. Кромѣ того у него была плѣшивая голова, и волосы продолжали лѣзть, ревматизмы въ ногахъ и гиморой въ поясницѣ. Каждымъ днемъ своимъ отъ утра до вечера онъ былъ недоволенъ, какъ будто раскаянье мучало его, и не только онъ, несмотря на доброе сердце, не могъ любить кого-нибудь, онъ самъ себѣ былъ невыносимо противенъ. А было время, когда онъ былъ молодъ, хорошъ собой, когда он любилъ и другихъ и отъ себя ждалъ чего-то необыкновенно прекраснаго. Первые звуки Меланхоліи,[29] но какому-то странному сцѣпленію впечатлѣній, живо перенесли его къ тому славному старому времени. —

Вдругъ передъ нимъ явилась старая зала, съ досчатымъ поломъ, въ которой еще[30] дѣтьми они бѣгали вокругъ стола, но въ которой столъ этотъ теперь раздѣленъ на двѣ половинки и придвинутъ къ стѣнкѣ. Въ залѣ теперь блеститъ 8 свѣчей, играютъ 4 Еврея, и деревенской свадебной балъ кипитъ во всемъ разгарѣ. Вотъ старушка мать въ праздничномъ чепцѣ, улыбаясь и по-старушечьи пошевеливая губами,[31] радуется на красавицу дочь молодую и на молодца сына; вотъ красавица молодая, счастливая сестра, вотъ они всѣ простые друзья и сосѣди; вотъ и горничныя, подгорничныя и мальчишки, толпящіеся въ дверяхъ и любующіеся на молодого

---

[26] *Зачеркнуто:* мнѣ не могу такъ веселиться какъ онъ.

[27] *На полях, против места, начинающегося со слов:* Богъ знаетъ зачѣмъ пришли *кончая:* выступиль на поэтическое поприще). *написано:* у него все есть и нѣтъ поэзіи.

[28] *На полях, против места, начинающегося со слов:* Богъ знаетъ зачѣмъ пришли *кончая:* выступиль на поэтическое поприще). *написано:* у него все есть и нѣтъ поэзіи.

[29] *В подлиннике:* меланхоліи

[30] *В подлиннике три последних слова по ошибке зачеркнуты*

[31] *Зачеркнуто:* по своей привычкѣ

барина. Да, былъ молодецъ, красавчикъ, весельчакъ, кровь съ молокомъ, и радовались на него, и онъ съ возбужденіемъ и счастіемъ чувствовалъ это. А вотъ и барышня и изъ всѣхъ барышень, она, Лизанька Тухмачева, въ розовомъ платьицѣ съ оборками. Чудное платьице! хорошо и холстинковое дикинькое, въ которомъ она по утрамъ; но это лучше, вопервыхъ, потому что оно на ней, и вовторыхъ, потому что открываетъ ея чудную съ жолобкомъ сзади шею и пушистыя, непривычныя къ обнаженію руки. Она не переставая почти безпрестанно улыбается, почти смѣется; но какой радостью и ясностью сіяетъ эта розовая улыбка на ея раскраснѣвшимся, вспотѣвшемъ личикѣ. Блестятъ бѣлые зубы, блестятъ глаза, блестятъ розы щекъ, блестятъ волоса, блеститъ бѣлизна шеи, блеститъ вся Лизанька ослѣпительнымъ блескомъ. Да, она вспотѣла, и какъ прелестно вспотѣла! <какъ потѣютъ только деревенскія барышни; отъ нея дышитъ силой и здоровьемъ.> Коротенькія вьющіяся волосики на вискахъ и подъ тяжелой косой лоснятся и липнутъ, на пурпурныхъ щекахъ выступаютъ прозрачныя капли, около нея тепло, жарко, страстно. Онъ ужъ разъ дватцать танцовалъ съ ней вальсъ и все мало, все еще и еще, вѣчно, вѣчно чего-то отъ нея хочется невозможнаго. Вотъ онъ сдѣлалъ шагъ отъ двери, и ужъ она улыбается, блеститъ на него горячими глазками, она знаетъ, что онъ идетъ опять обнять ее молодой и сильный станъ и опять понесется съ ней по доскамъ залы. А звуки вальса такъ и льются, переливаются, такъ и кипятятъ молодую кровь и нагоняютъ какую[-то] сладостную тревожную грусть и жаръ въ молодое сердце. – И какъ ей не знать, что онъ идетъ къ ней, тутъ хоть и 10 барышень, и 10 кавалеровъ и другіе еще есть, но вѣдь это все вздоръ, всѣ знаютъ, что тутъ только одна красавица Лизанька и одинъ молодецъ – онъ. Никого больше нѣтъ, кромѣ его и Лизаньки, другіе только такъ, притворяются, что есть. – Одна есть *моя* моя Лизанька! и потому моя моя Лизанька, что я весь ее, что со слезами счастія готовъ[32] сію же минуту умереть, принять истязанія за нее, за Лизаньку. Вотъ я подхожу къ ней, а первая скрипка жидъ выводитъ съ чувствомъ, подмывательно выводитъ тонкія нотки вальса, а матушка и другіе, всѣ, всѣ смотрятъ и думаютъ: вотъ парочка, такой нѣтъ другой во всемъ свѣтѣ, и они думаютъ правду; я подхожу къ ней, она ужъ встала, оправила платьице; что тамъ таится подъ этимъ платьицемъ, я ничего не знаю и не хочу знать, можетъ быть ноги, а можетъ быть ничего нѣтъ. Она подняла ручку, около локотка образовалась ямочка, и пухлая твердая ручка легла мнѣ на сильное плечо. Я дышу тѣмъ горячимъ воздухомъ, который окружаетъ ее, тамъ гдѣ-то подъ платьемъ ея ножки зашевелились, и все полетѣло; вотъ жиды, вотъ матушка, вотъ сестра съ женихомъ улыбаются, а вотъ ея глаза, посмотрѣли на меня, не посмотрѣли, а что-то сдѣлалось со мной и съ нею. Вотъ они. Сдѣлалось что-то чудесное, въ этомъ взглядѣ, сдѣлалось то, чего я не смѣлъ желать и желалъ <и я знаю, что это есть. Я бы хотѣлъ ревновать ее и ревную ее воображаемо, тогда еще> всѣми силами души. Ножки летятъ, ноги летятъ, рука, грудь, гдѣ она, гдѣ я? никто этаго не знаетъ. Мы летимъ, летимъ, что-то блеститъ, что-то двигается, что-то звучитъ, но я ничего не знаю и не хочу знать. – Но вотъ звучитъ ея голосъ, но я и того не слышу и не хочу слышать, и не голосъ, а шопотъ; она жметъ меня за руку, чтобы я опомнился, и повторяетъ: – Давайте прямо въ гостиную, говоритъ она, радостно улыбаясь. И чему она всегда улыбалась? Я понималъ однако тогда, чему она улыбалась. Нельзя было не улыбаться. Силы утрояются, удесятеряются въ ногахъ – всякая жилка дрожитъ отъ безполезнаго напряженія, несемся, несемся кажется прямо на притолку, на горничныхъ, но ничуть не бывало, и гор[ничныхъ] и притолки мы не цѣпляя [?] проскакиваемъ въ гостиную. Звуки скрыпокъ чуть слышны, тихо, одна свѣча нагорѣла, стулья стоятъ, и я въ гостиной..... и она въ гостиной.

Мы останавливаемся, она смѣется, и грудь ея высоко поднимается отъ счастливаго вздоха. Глаза на мгновенье отрываются отъ моихъ, мои тоже смотрятъ внизъ и снова смотрятъ на нее. – Ея глаза говорятъ: Ну! Мои глаза говорятъ:[33] Я? Неужели, это ужъ слишкомъ много, и

---

[32] *Зачеркнуто:* чтобъ она истязала меня, била до крови, сдирала кожу,

[33] *Зачеркнуто:* О!

въ то время какъ глаза, не теряя другъ друга, все болѣе и болѣе сближаются, такъ что странно становится, уста сливаются съ устами и руки невольно жмутъ другъ друга. Въ это время Осипъ серьезно проходитъ черезъ гостиную будто для того, чтобы снять съ нагорѣвшей свѣчи. Да что Осипъ? Она, смѣясь глазами, глядитъ на меня и идетъ въ диванную, я, <будто спокойно> напѣвая тройку удалую, иду въ залу. Отирая шолковымъ платкомъ потъ съ краснаго лица и откидывая назадъ, я знаю, густые и прекрасные волосы, я протискиваюсь черезъ горничныхъ въ залу. Матреша тутъ, и даже на самой дорогѣ, хорошенькое личико вызывающе смотритъ на меня, она улыбается; но я гордо прохожу мимо, и жестоко вопросительно смотрю на нее. «Не хочу понимать» и не дотрогиваюсь до нее. Лизанька возвращается и еще веселѣй смотритъ на меня, и я тоже. Стыдиться? Чего? Мы гордимся, мы ничего лучше, никто въ мірѣ ничего лучше, прелестнѣе не могъ сдѣлать. Можетъ быть Осипъ разскажетъ Агафьѣ Михайловнѣ, а А. М. матушкѣ, и матушка по секрету составитъ совѣщаніе съ сосѣдями, и они будутъ ахать и заботиться, какъ скрыть. Да что онѣ? Да ихъ нѣту. Лизанька, вотъ она Лизанька, душка, персикъ, вонъ она, глазки, губки, зубки, которые я слышалъ и чувствовалъ нынче же вечеромъ. Я еще и еще иду танцовать съ ней. Нѣтъ для меня кромѣ нея никого и ничего на свѣтѣ. Но я вышелъ на крыльцо освѣжиться и, проходя назадъ, нечаянно встрѣтилъ Матрешу. Какія тоже у нея прелести! Я постоялъ съ ней на крыльцѣ, держась за ручку двери, поговорилъ шопотомъ и потомъ постучалъ ногами, чтобъ думали въ передней, что я только что пришелъ и не останавливался. Матреша погрозилась, засмѣялась и убѣжала, а я опять вошелъ въ залу. – Боже, какъ мнѣ было хорошо, весело, какъ я былъ счастливъ, какъ я былъ забавенъ, какъ я былъ силенъ, какъ я былъ уменъ, какъ я былъ блаженно глупъ. <Всѣ на меня смотрятъ, всѣ на меня радуются. Да больше имъ и дѣлать нечего.> Я перевернулся колесомъ, я будущаго зятя на рукахъ понесъ къ ужину, я перепрыгнулъ[34] черезъ весь столъ, я показывалъ свою силу. И всѣ смотрѣли и радовались и главное, я самъ, не переставая, радовался на себя. Въ этотъ вечеръ я могъ сдѣлать все, что бы не захотѣлъ. Ежели бы я только попробовалъ, я бы въ этотъ вечеръ по потолку пошелъ бы, какъ по полу. Помню, зазвѣнѣли бубенчики, Лизанькѣ съ матерью подали дрожечки. – Какъ я чудесно огорчился! Какъ я рѣшилъ: они не поѣдутъ, и они не поѣхали. – Мамаша, просите, – сказалъ я. Старушка побѣжала, хитро улыбаясь просила ихъ, и они остались. И гдѣ теперь эта прелестная старушка? Они остались, но зачѣмъ-то пошли спать наверхъ, когда я находилъ, что спать совсѣмъ никогда не надобно. Они пошли спать, а я, разгоряченный, облитый потомъ, снялъ галсту[хъ] и пошелъ ходить по морозной травѣ по двору, глядя на ея окна; и все думалъ, что бы мнѣ теперь еще сдѣлать: пойти купаться или поѣхать верхомъ 20 верстъ до города и назадъ – или лечь тутъ спать на морозѣ и потомъ сказать, что я это для нея сдѣлалъ. Помню, караульщикъ тоже ходилъ по двору. Какъ я вдругъ сильно полюбилъ караульщика; онъ нашъ добрый мужичокъ, надо ему дать что-нибудь, сказалъ я самъ себѣ и пошелъ говорить съ нимъ; глупо, но прелестно я разговаривалъ съ нимъ. И [?] Лизанька, и ночь, и я – все блаженство этаго [?] выражалось въ его добромъ бородатомъ лицѣ.

Вотъ что напомнили звуки музыки тому, кто лежалъ на [ди]ванѣ, и отъ этаго онъ плакалъ. Онъ плакалъ не отъ того, что прошло то время, которое онъ могъ бы лучше употребить. Ежели бы ему дали назадъ это время, онъ не брался лучше употребить его, а плакалъ отъ того, что прошло, прошло это время и никогда, никогда не воротится. Воспоминаніе о этомъ вечерѣ съ мельчайшими подробностями мелькнуло въ его головѣ, можетъ быть, по тому, что звукъ скрыпки Альберта похожъ былъ на звукъ первой скрыпки Жида, игравшаго на свадебной вечеринкѣ, можетъ быть и потому, что то время было время красоты и силы, и[35] звуки Альберта были всѣ красота и сила. Дальше скрыпка Альберта говорила все одно и одно, она говорила: прошло, прошло это время, никогда не воротится; плачь, плачь о немъ, выплачь всѣ слезы,

[34] *В подлиннике:* перепригнулъ

[35] *Можно прочесть:* а

умри въ слезахъ объ этомъ времени, это все таки одно лучшее счастье, которое осталось тебѣ на этомъ свѣтѣ. И онъ плакалъ и наслаждался.

* № 3 (III ред.).

– Разскажите пожалуйста, господинъ Албертъ, – сказалъ Делесовъ улыбаясь, – какъ это вы ночевали въ театрѣ, вотъ, я думаю, были поэтическія, гофманскія ночи.

– Ахъ, что говорить! – отвѣчалъ Албертъ. – Я и хуже ночевалъ, и въ конюшняхъ, и просто на улицѣ ночевалъ..... О! много я перенесъ въ своей жизни! Но это все вздоръ, когда здѣсь есть надежда и счастіе, – прибавилъ онъ, указывая на сердце. – Да, надежда и счастіе.

– Вы были влюблены? – спросилъ Делесовъ. —

Албертъ задумался на нѣсколько секундъ, потомъ лицо его озарилось внутренней улыбкой блаженнаго воспоминанія. Онъ нагнулся къ Делесову, внимательно посмотрѣлъ ему въ самые глаза и проговорилъ шопотомъ: – Да, я люблю. Да, люблю! – вскрикнулъ онъ. —

– Вы мнѣ понравились, очень понравились, я вижу въ васъ брата. Я вамъ все скажу. Я люблю NN, – и онъ назвалъ ту особу, про которую разсказывалъ Делесову музыкантъ на вечерѣ. – И я счастливъ, мнѣ нужно ее видѣть, и я счастливъ. Ее нѣтъ здѣсь теперь, но все равно, я[36] знаю, что я буду ее видѣть, и я вижу, вижу ее, всегда вижу, она будетъ знать меня, она будетъ моя, не тутъ, но это все равно.

– Постойте, постойте, – заговорилъ онъ, одной рукой дотрогиваясь до Делесова, а другой доставая что-то изъ кармана. —

– Вотъ оно! – сказалъ онъ, вынимая изъ кармана старую запачканную бумагу, въ которой было завернуто что-то. – Это она держала въ рукѣ, – сказалъ онъ, подавая свернутую театральную афишу. – Да. А это прочтите, – прибавилъ онъ, подавая запачканный пожелтѣвшій исписанный листъ почтовой бумаги. Уголъ листа былъ оторванъ, но Албертъ, приставляя уголъ, держалъ листъ такъ, что Делесовъ могъ прочесть все, что было написано. Онъ не хотѣлъ отдать Делесову въ руки драгоцѣнный листъ, а держалъ его самъ дрожащими руками.[37] <такъ что онъ могъ читать, и съ блаженнѣйшей улыбкой слѣдитъ за глазами Делесова, читавшаго слѣдующія строки.

Ваше..... (Тутъ былъ титулъ особы). Ты думала,[38] что не знала[39] меня: но ты[40] любила и будешь[41] любить вѣчно меня однаго. Я умеръ, и понялъ, что ты моя, а я твой. Прощай, не вѣрь несчастьямъ этой жизни, вѣрь объятіямъ вѣчнымъ, которыя тамъ ожидаютъ тебя. Твой Албертъ и здѣсь и тамъ будетъ ждать и любить одну тебя. Твой Албертъ.>

– Я хотѣлъ послать ей это письмо еще сначала; но я думаю, лучше передать ей, когда я умру.

Делесовъ прочелъ сумашедшее нѣмецкое любовное посланіе. Въ заглавіи были полное имя и титулъ особы. Въ письмѣ соединялась чрезвычайная почтительность съ нѣжностью счастливаго любовника. Упоминались обстоятельства, которыя не могли быть. Делесовъ почти съ ужасомъ посмотрѣлъ на счастливое лицо своего собесѣдника, который, осторожно уложивъ письмо, снова спряталъ его въ карманъ.

– Она получитъ это, – сказалъ онъ шопотомъ.

---

[36] *Зачеркнуто:* сви[жусь]

[37] *Точка переделана из запятой.*

[38] *Переделано из:* Вы думали.

[39] а *переделано из:* и

[40] *Переделано из:* вы

[41] *В подлиннике:* любили и будете

* № 4 (III ред.).

Но Албертъ еще не думалъ спать въ это время, хотя онъ съ девяти часовъ уже заперся въ своей комнатѣ. Онъ взадъ впередъ ходилъ по комнатѣ, разговаривая самъ съ собою, ударяя себя по головѣ, останавливаясь, разводя руками, и только тогда[42] замиралъ и бросался на диванъ, когда слышались шаги въ сосѣдней комнатѣ.

Этотъ человѣкъ перестрадалъ въ эти три дня больше, чѣмъ во всю свою жизнь. Тотъ свой внутренній благоустроенный міръ, котораго не допускалъ Делесовъ, былъ у Альберта и даже этотъ міръ былъ любезенъ ему такъ, какъ малому числу людей. Теперь же этотъ міръ былъ разрушенъ, на мѣсто его стала[43] ужасная дѣйствительность, <или скорѣе то, что нѣкоторые люди называютъ дѣйствительностью, но то, что было пошлой мечтой для Альберта>. Уже давно онъ отвергъ отъ себя эту мечту, давно уже устроилъ свой особенный міръ, въ которомъ онъ жилъ всегда съ любовью, всегда съ увлеченіемъ, всегда съ славой, всегда преклоненный передъ красотою. Гдѣ бы онъ ни былъ, съ кѣмъ бы ни былъ, всѣхъ онъ любилъ, всѣхъ радовалъ. Пускай подъ вліяніемъ вина, но огонь безплотной страсти къ прекрасному, ни на минуту не угасая, горѣлъ въ немъ, такъ что всякая минута его была ему драгоцѣнна. Мечты, невозможные мечты съ ясностью и силой дѣйствительности, всегда тревожно радуя его, толпились въ воображеніи. Вся жизнь съ ея трезвой неуступчивой дѣйствительностью была закрыта отъ него, только радость, восторгъ, любовь и веселье вѣчно окружали его. И вдругъ насильно, желая будто бы добра ему, его вырвали изъ его міра, гдѣ онъ великъ и счастливъ, и перенесли въ тотъ, гдѣ онъ самъ чувствуетъ себя дурнымъ и ничтожнымъ. Все забытое, занесенное восторгами, прошедшее вдругъ возстаетъ передъ нимъ. Прежде ежели случайно онъ и вспоминалъ, что онъ оборванъ, что онъ нищій, что онъ бралъ и не отдавалъ деньги, кралъ, какъ это они называютъ, ему это только странно и смѣшно было. Зачѣмъ ему думать объ этомъ, когда онъ счастливъ <и счастливъ счастьемъ другихъ, онъ всѣхъ любитъ, готовъ все отдать для каждаго, и потомъ самъ Богъ устами красоты призываетъ его>. Теперь же самъ на себя онъ ужъ смотрѣлъ невольно глазами другихъ, и Боже! какое ему ужасное представилось зрѣлище, – нищій, воръ, пьяница, развратный, отовсюду выгнанный, всѣми брошенный, всѣми презираемый. Все это вмѣсто пожинающаго славу, счастливаго, геніальнаго художника. Выдти изъ этаго положенія по дорогѣ дѣйствительности, какъ ему предлагалъ Делесовъ, опять служить, работать, платить, брать деньги, считать, покупать, ѣздить въ гости,[44] – онъ не могъ этаго сдѣлать, деньги, начальники, товарищи – это было для него пучина, непонятная пучина дѣйствительности. Нетолько выходить изъ этаго положенія, онъ не признавалъ себя въ немъ.

За что оскорблять меня, исправлять какъ дурнаго? думалъ онъ. Чѣмъ я дуренъ? Я никому зла не дѣлалъ. За что же? Онъ невольно чувствовалъ злобу на Делесова и говорилъ себѣ: за что, Богъ съ нимъ. Но потомъ опять приходилъ ему взглядъ общій людской на себя, и онъ мучался, мучался, усиленно стараясь унизить себя въ собственныхъ глазахъ. И все мысль, что одно вино и съ разу перенесетъ его сейчасъ опять на тотъ апогей счастія и величія, на которомъ онъ былъ, заставляла его желать однаго, вина и свободы. Въ эту 3-ю ночь онъ долго одинъ мучался, ходя въ своей комнатѣ. Онъ плакать хотѣлъ, но не могъ, тогда какъ звукъ [*2 неразобр.*], но когда всѣ улеглись, онъ инстинктивно пошелъ искать вина. Опять буфетъ запертъ, прошелъ на кухню и тамъ нашелъ цѣлый графинъ водки. Онъ выпилъ, выпилъ еще и началъ опоминаться. Весь вздоръ заботъ понемногу слеталъ съ его души, онъ вернулся въ комнату, легъ на постель.

---

[42] *На полях, против места, начинающегося словами:* и только тогда кончая: на мѣсто его стала *написано:* Удивляется нелѣпости его холодной безлюбовной жизни.

[43] *На полях, против места, начинающегося словами:* и только тогда *кончая:* на мѣсто его стала *написано:* Удивляется нелѣпости его холодной безлюбовной жизни.

[44] *Запятая переделана из вопросительного знака.*

Мечты, его любимыя мечты о жизни въ Италіи съ девицей Малеръ ясно пришли ему въ голову, онъ почувствовалъ себя счастливымъ. – Сыграй что нибудь, Францъ, – сказала ему она, и онъ, вспомнивъ, что скрыпка спрятана въ чуланѣ, пошелъ туда и, забывъ выдти оттуда, сталъ играть мотивъ, вдругъ пришедшій ему въ голову.

Въ серединѣ ночи, еще во снѣ, Делесовъ услыхалъ надъ головой музыку. Сначала музыка эта составляла понятное явленіе сна; но понемногу пробуждаясь, всѣ прочія видѣнія сна изчезли, осталась темная комната, кровать, столикъ, полусвѣтъ окна и надъ головой страстные звуки какого-то незнакомаго ему мотива. Звуки эти доставляли ему такое наслажденіе, что довольно долго онъ только слушалъ ихъ и не отдавалъ себѣ отчета въ томъ, что это такое было. —

Догадавшись наконецъ, что это былъ Албертъ, онъ потихоньку всталъ и крадучись пошелъ по направленію звуковъ. Они привели его къ двери чулана. Приложивъ ухо къ двери, съ замирающимъ дыханіемъ и дрожа отъ холода, но не замѣчая того, Делесовъ долго стоялъ и слушалъ. Это дѣйствительно былъ Албертъ; хотя мотивъ былъ совершенно новый, Делесовъ узналъ эту нѣжную и страстную игру, притомъ слышалъ тяжелое его дыханье, изрѣдка радостный смѣхъ и странныя нѣмецкія несвязныя восклицанія. – Превосходно! Прелестно! Вы геній! Ахъ Боже мой, я ничего подобнаго не слыхалъ! – говорилъ самъ себѣ Албертъ и радостно чуть слышно смеялся.....

8.

[45] На другой день,[46] вообще на четвертый пребыванія Алберта у Делесова, они обѣдали вмѣстѣ дома. Албертъ былъ также изнуренъ, блѣденъ и слабъ. Онъ ничего не ѣлъ и, берясь за стаканъ, въ который Делесовъ налівалъ ему вино, робко взглядывалъ на хозяина. Онъ, казалось, хотѣлъ говорить, но не могъ. Начавши рѣчь, онъ вдругъ останавливался.

– А я нынче ѣду въ Донъ-Жуанъ, – сказалъ Делесовъ, – поѣдемте право.

Албертъ ничего но отвѣчалъ, а только изподлобья взглянулъ на Делесова.

– Право поѣдемте.

Албертъ взялъ бутылку вина, налилъ себѣ полный стаканъ и вдругъ, рѣшительно стукнувъ по столу, сказалъ: ѣдемте! Все остальное время до театра онъ молчалъ и, какъ казалось Делесову, насмѣшливо, изрѣдка поглядывалъ на него. Передъ театромъ онъ попросилъ еще выпить, потому что иначе, говорилъ онъ, музыка слишкомъ сильно на него подѣйствуетъ. Въ каретѣ однако онъ держалъ себя смирно; только изрѣдка Делесовъ замѣчалъ, что онъ вздыхалъ, пощелкивалъ языкомъ, производилъ губами звукъ человѣка, сбирающагося говорить, но не произнесъ ни однаго слова. Входя въ театръ, онъ видимо такъ заробѣлъ (несмотря на то, что по стараніямъ Захара онъ былъ весьма прилично одѣтъ въ барское платье), онъ такъ заробѣлъ, что Делесовъ долженъ былъ почти за руку ввести его. Это состояніе болѣзненнаго испуга продолжалось до того времени, пока не заиграли увертюру. Тутъ онъ весь переродился, лицо его сдѣлалось все вниманіе и радость. Онъ подпрыгивалъ на своемъ стулѣ, улыбался, слезы текли по его щекамъ, и никого для него не существовало. Въ антрактъ снова на него находила робость, онъ испуганно оглядывался, опускалъ глаза и не выходилъ никуда съ тѣмъ, чтобы не встрѣтить кого-нибудь знакомыхъ. Во второмъ и слѣдующемъ актѣ было тоже, Албертъ блѣдный сидѣлъ подлѣ Делесова и плакалъ и таялъ отъ счастія. И страданія и радость такъ и отпечатывались на его лицѣ. Къ концу послѣдняго акта онъ такъ ослабѣлъ, что насилу могъ

---

[45] *На полях, против места, начинающегося со слов:* На другой день*кончая:* взглянулъ на Делесова. *написано:* Д пріѣзжаетъ веселый, даетъ выпить и везетъ.

[46] *На полях, против места, начинающегося со слов:* На другой день*кончая:* взглянулъ на Делесова. *написано:* Д пріѣзжаетъ веселый, даетъ выпить и везетъ.

сидѣть на стулѣ и только болѣзненно улыбался. Делесовъ нѣсколько разъ долженъ былъ подталкивать за руку, чтобы вывести изъ партера, когда все кончилось. —

Садясь въ карету, Делесовъ пропустилъ впередъ Альберта, но Альбертъ, какъ бы изъ учтивости, отказывался. Делесовъ вспрыгнулъ въ карету и далъ мѣсто; вдругъ Альбертъ изчезъ куда-то. Онъ выглянулъ въ дверцу: черная худая фигура Альберта рысью бѣжала по подъѣзду и скрылась за угломъ театра. – Альбертъ, Альбертъ! – закричалъ онъ, но Альбертъ не оглядываясь бѣжалъ ужъ по темному переулку.

– Нѣтъ, онъ рѣшительно сумашедшій! – подумалъ Делесовъ.

Несмотря на всѣ розыски, Альбертъ нигдѣ не нашелся. Захаръ пожалѣлъ очень о Нѣмцѣ и о своемъ пальто, и Делесовъ, возвратившись къ своей прежней жизни, нѣсколько дней чувствовалъ какую-то пустоту и недовольство; но скоро впечатлѣніе Альберта совершенно изчезло, и осталось холодное воспоминаніе.

9.

Прошло болѣе мѣсяца; наступали красные весенніе дни, на улицахъ снѣгъ счищали, въ полдень было ясно, не холодно и весело. —

Делесовъ выхлопоталъ себѣ пашпортъ за границу и съ первымъ пароходомъ сбирался ѣхать. Въ одинъ изъ такихъ красныхъ, но еще холодныхъ весеннихъ дней онъ въ 12-томъ часу утра вышелъ на улицу. Дѣла его устроились хорошо, денегъ было достаточно, желудокъ въ исправности, апетитъ хорошій, солнце свѣтило ярко, платье, сапоги и чистая рубашка ловко, легко, пріятно сидѣли на тѣлѣ, всѣ хорошія воспоминанія и счастливые планы сами собой лѣзли въ голову. – Онъ испытывалъ холодное самодовольство человѣка, удобно и изящно устроившаго свою жизнь. – Онъ сбирался сдѣлать нѣсколько прощальныхъ визитовъ, выбралъ получше извощика и поѣхалъ. И въ саняхъ было славно, высоко и покойно сидѣть, народъ все попадался такой красивой и веселой, знакомые кланялись особенно привѣтливо и радостно.

– Право, отлично можно жить, – подумалъ онъ, – только бы не дѣлать глупостей.

Выѣзжая изъ Гороховой, на правомъ тротуарѣ онъ замѣтилъ совсѣмъ не веселую и не красивую фигуру, которая показалась ему знакома. Худая фигура съ согнутой спиной въ одномъ каричневомъ пальто и измятой шляпѣ шла впереди его.

– Неужели это Альбертъ? Онъ, онъ! дѣйствительно это онъ.

Альбертъ, засунувъ руки въ штаны подъ пальто, надвинувъ вылѣзлую съ широкими полями шляпу на нечесанные засоренные волосы, на согнутыхъ ногахъ, торопливо и робко оглядываясь, шибко пробирался около самой стѣнки.

Делесовъ соскочилъ съ саней и побѣжалъ вслѣдъ за нимъ. Тутъ только онъ замѣтилъ, что два мальчишки, что-то говоря ему, бѣжали за Албертомъ, и что на противуположной сторонѣ улицы извощики смѣялись, глядя на убѣгающаго и оглядывающагося Нѣмца. Еще не успѣлъ Делесовъ догнать его, какъ вдругъ Альбертъ ускорилъ шаги и, отчаянно оглянувшись, повернулъ и скрылся въ отворенные ворота. <Делесову невольно вспомнилась травленая собака.>

– Вотъ такъ нарядный Нѣмецъ, – проговорилъ одинъ извощикъ, возвращаясь къ своимъ санямъ. —

– Принцъ! Принцъ! купи пряниковъ! – кричали мальчишки, остановившись у воротъ. Делесовъ тоже остановился и, вѣроятно, не увидалъ бы больше Альберта, ежели бы на серединѣ двора не остановила его кухарка. Альбертъ благодарно пожималъ за локоть улыбавшуюся кухарку и что-то живо бормоталъ ей.

– Здорово, Альбертъ! – сказалъ дворникъ, несшій дрова на лѣстницу и остановившійся на минуту: – что давно ночевать не приходилъ?

Альбертъ улыбнулся и дружелюбно закивалъ головой и дворнику.

Делесовъ незамѣченный подошелъ къ нему сзади.

– Здраствуйте, Господинъ Албертъ, – сказалъ онъ по-нѣмецки.

Албертъ оглянулся съ радостной и покорной улыбкой на лицѣ, но увидавъ красивое новое платье и наружность, казавшуюся ему незнакомой, онъ испугался и, что-то несвязно пробормотавъ, хотѣлъ уйти. Лицо Алберта было еще болѣе болѣзненно и изнуренно, чѣмъ мѣсяцъ тому назадъ, онъ видимо давно ничего не ѣлъ и не пилъ, платье оборванно, движенья слабы. Онъ вынулъ изъ кармановъ руки, они были сизо-красны – и обѣими приподнялъ шляпу, съ недоумѣніемъ и робостью вглядываясь въ лицо Делесова.

– Я тутъ къ знакомымъ обѣдать иду, это ничего, – сказалъ онъ по-нѣмецки.

– Вы меня не узнали, а помните, съ мѣсяцъ тому назадъ вы пробыли у меня три дня. Какъ я радъ, что встрѣтилъ васъ опять, – говорилъ Делесовъ. <и думалъ самъ съ собой: не позвать-ли его обѣдать? Нет, рѣшительно невозможно, онъ такъ грязенъ!> – Что вы никогда не зайдете ко мнѣ? вотъ бы нынче вечеромъ.

Албертъ рѣшительно не узнавалъ его.

– Я обѣдать сюда иду. А вы гдѣ живете?

Делесовъ назвалъ ему свою квартиру и снова напомнилъ себя.

– Ахъ да! – засмѣялся Албертъ, – помню, помню. <А что Захаръ здоровъ?> а скрипка есть у васъ и выпить <будетъ?> я хотѣлъ бы.

– Все будетъ, только приходите нынче вечеромъ, и выпьемъ, и повеселимся, не забудьте. —

– Хорошо, хорошо, я вамъ буду играть, а то у меня скрыпки нѣтъ, ничего нѣтъ, платья нѣтъ, квартиры нѣтъ, скверная жизнь! Скверная жизнь, – повторилъ онъ нѣсколько разъ и пошелъ въ глубину двора.

Онъ прошелъ нѣсколько шаговъ и оглянувшись снова повторилъ: скрыпки нѣтъ, ничего нѣтъ. Скверная жизнь, скверная жизнь!

Делесовъ проводилъ его глазами до черныхъ закопченныхъ дверей, въ которыхъ онъ скрылся, продолжая повторять: скверная жизнь! скверная жизнь!

– Надо было ему дать что-нибудь, – сказалъ онъ самъ себѣ.

– Ну все равно, вечеромъ дамъ.

Въ 7 часовъ въ этотъ день Делесовъ былъ дома, ожидая музыканта и гостей, которыхъ онъ пригласилъ нынче вечеромъ посмотрѣть и послушать удивительное геніальное и погибшее существо. – Въ числѣ гостей былъ и сынъ министра, участвовавшій въ первомъ вечерѣ у Анны Ивановны, и извѣстный знатокъ музыки Аленинъ, который на приглашеніе Делесова замѣтилъ, что странно бы было, чтобы былъ въ Петербургѣ талантъ, котораго бы онъ не зналъ, модный пьянистъ французъ и старый пріятель Делесова, <бездарный> художникъ Бирюзовской, чудакъ, умная пылкая голова, энтузіастъ и большой спорщикъ.

Захаръ былъ посланъ за ужиномъ. – Делесовъ одинъ сидѣлъ дома, когда у двери раздался слабый звонокъ. Действительно это былъ Албертъ, какъ предполагалъ Делесовъ; но въ такомъ виде, что не было надежды услыхать его игру нынче вечеромъ. Онъ былъ растрепанъ, испачканъ, глаза были совершенно мутны, и когда Делесовъ отворилъ дверь, онъ уже успелъ заснуть, облокотившись на притолку. Стукъ отворяемыхъ дверей разбудилъ его, онъ шатаясь, бормоча что-то, ввалился въ гостиную, упалъ на диванъ и заснулъ.

– Вот-те и музыкальный вечеръ, – подумалъ Делесовъ.

10.

Часа черезъ два стали пріѣзжать гости, Албертъ все спалъ.

– Ну, что ваше необыкновенное созданіе? – сказалъ сынъ министра, входя въ комнату съ французомъ Пишо.

– Несчастье! ужасно пьянъ и спитъ, – отвѣчалъ Делесовъ.

– Ничего, отпоимъ его содовой водой.

– Славное лицо! – сказалъ Французъ, сверху глядя на спящаго немца.

Пріехалъ и Аленинъ, извѣстный знатокъ и петербургской авторитетъ въ музыке.

– Такъ это-то геніальное существо, – сказалъ онъ, – посмотримъ.

Художникъ долго серьезно посмотрѣлъ на Альберта и, ничего не сказавъ, съ недовольнымъ видомъ отошелъ отъ него.

Пишо сѣлъ за фортепьяно и изящно и просто сыгралъ нѣсколько ноктюрновъ Chopin, остальные господа разговаривали между собой о вседневныхъ вопросахъ. – Албертъ изредка поворачивался и на мгновеніе открывалъ глаза. Несколько разъ пробовали будить его, но онъ не выказывалъ ни малѣйшаго признака жизни.

– А ведь онъ не спитъ, – шопотомъ сказалъ сынъ министра, уловивъ бѣглый взглядъ, который Албертъ, открывъ глаза, бросилъ на нихъ. – Онъ долженъ быть плутъ, – прибавилъ онъ.

– Этаго я не знаю, – разсудительно замѣтилъ Аленинъ, – только по опытности моей съ такого рода господами скажу вамъ, что часто подъ видомъ страстнаго артиста скрываются величайшіе мерзавцы.

Разговоръ снова отошелъ отъ Альберта, и прошло съ полчаса. Вдругъ Албертъ потянулся, всѣ оглянулись на него. Албертъ, открывъ глаза, смотрѣлъ вверхъ, и на лицѣ его сіяла счастливая самодовольная улыбка человѣка, находящагося въ совершенномъ согласіи со всѣмъ свѣтомъ и съ своей совѣстью. Увидавъ новыя лица, онъ привсталъ и поклонился. Хозяинъ дома познакомилъ его со всѣми и предложилъ содовой воды. Албертъ выпилъ, но не могъ еще твердо стоять на ногахъ.

– Не хотите ли поѣсть чего-нибудь?

Онъ задумался.

– Ахъ да. Я бы съѣлъ кусочекъ чего-нибудь. Я давно ничего не ѣлъ; а потомъ будемъ музицировать.

Аленинъ подошелъ къ музыканту и, устремивъ на него строгой холодный взглядъ, сталъ его спрашивать.

– Что, вы имѣете какую-нибудь службу? – спросилъ онъ.

– Нѣтъ, ни… нѣтъ, – испуганно отвѣчалъ Албертъ.

– А вы были, кажется, прежде въ театрѣ, мнѣ говорилъ Делесовъ.

– Да… нѣтъ… теперь не хожу.

– Я былъ вчера въ Травьатѣ, – сказалъ Аленинъ, обращаясь болѣе къ Делесову, чѣмъ къ Альберту, – Бозіо была очень хороша; а нынче ужъ для васъ Вильгельма Теля пропустилъ.

– О, Вильгельмъ Тель! Божественный Россини! – съ энтузіазмомъ воскликнулъ Албертъ.

– Вы любите Россини?

– О, Россини! одинъ живущій теперь геній! – закричалъ онъ, размахивая руками.

– Вы Беріо слыхали когда-нибудь? – продолжалъ какъ ученика допрашивать его Аленинъ.

– Я учился и жилъ у него 3 года. Это царь искуства.

– А N. N. знаете? – спросилъ Аленинъ, назвавъ скрыпача средней руки: – какъ вы его находите?

– Большой, большой артистъ и человѣкъ прекрасный.

– А вы вѣрно знаете нашу 1-ю скрипку, – онъ назвалъ того самаго музыканта, который на музыкальномъ вечерѣ разсказывалъ Делесову исторію Альберта.

– Какже не знать, отличный талантъ, чистая нѣжная игра, мы часто прежде играли вмѣстѣ. О, много, много есть большихъ талантовъ. У всѣхъ есть прекрасное. Другіе не отдаютъ справедливости; какже это можно, каждый что-нибудь да новое положилъ въ свое искуство.

– Отчего, – продолжалъ Аленинъ, – у васъ такой славный талантъ, какъ говорятъ, а вы нигдѣ не служите?

Албертъ испуганно оглянулся на всю публику, смотрѣвшую на него въ это время.

– Я – я… не могу, – забормоталъ онъ и вдругъ, какъ будто оживши, сдѣлалъ усиліе над собой и привсталъ, ухватившись обѣими руками за притолку. – Давайте музицировать, – сказалъ онъ и свойственнымъ ему пошлымъ костлявымъ движеніемъ руки откинувъ волосы, отошелъ на другой уголъ комнаты, гдѣ была скрипка.

– Не хотите ли поѣсть прежде? – спросилъ Делесовъ.

– Нѣтъ, нѣтъ, прежде играть, играть, – восторженно говорить Албертъ, – только выпить бы чего-нибудь.

– Я по одному тому, какъ онъ берется за скрипку, вижу, что это не большой артистъ, – сказалъ Алениновъ.

– Ужъ этаго я не знаю, – сказалъ сынъ министра, – только что онъ вонючъ и грязенъ, это положительно.

– Какъ онъ слабъ, насилу держится, – сказалъ кто-то.

– Можно ли упасть до такой степени, – сказалъ Французъ, отходя отъ фортепьяно, къ которому съ скрыпкой подошелъ Албертъ.

– Давайте! кто будетъ акомпанировать? – спросилъ Албертъ.

Несмотря на то, что Пишо видимо не хотѣлъ играть вмѣстѣ съ Албертомъ и тѣмъ становиться съ нимъ на одну доску, хозяинъ дома и гости упросили его сѣсть за фортепьяно. Французъ неохотно исполнилъ ихъ просьбу.

– Carnaval de Venise,[47] хотите? – сказалъ Албертъ, размахивая скрыпкой. La majeur.[48]

– Ну кончено! – сказалъ Алениновъ. – Carnaval de Venise, эту пошлость, значитъ, что дрянь. Да и играетъ плохо, – прибавилъ онъ, послушавъ внимательно нѣсколько времени.

– Вѣдь онъ способенъ по пустякамъ восторгаться; я его давно знаю, – замѣтилъ сынъ министра, подмигивая на Делесова.

Делесову самому начинало казаться, что точно не было ничего хорошаго въ игрѣ Албертa. – Пишо между тѣмъ, акомпанируя, оглядывался на Делесова и подмигивалъ съ видомъ ироническаго одобренія. Только художникъ, жадно вглядывавшійся въ все болѣе и болѣе оживляющееся лицо Албертa, и Захаръ, высовывавшій изъ-за двери свое добродушное лицо, были довольны игрой Албертa. Пишо, хотя невольно вытягивался, смотря на скрипача, закатывалъ глаза и улыбался, находилъ время оглядываться на хозяина съ шутливымъ одобреніемъ. Остальные гости подъ вліяніемъ Аленина, начавшаго слушать съ предубѣжденіемъ, оставались строги и холодны. Совершенно лишенный эстетическаго чувства сынъ министра покачивалъ головой съ выраженіемъ, говорившимъ: не то, не то, и иронически поглядывал на Делесова.

Однако Албертъ былъ недоволенъ своей игрой.

– Нѣтъ, я не могу нынче играть, – сказалъ онъ, кладя скрипку.

Делесовъ повелъ его въ другую комнату и предложил поѣсть.

– Я голоденъ, – сказалъ Албертъ, – отъ этаго не могу играть. Можно этаго съѣсть? – спрашивалъ онъ съ дѣтскимъ выраженіемъ указывая то на то, то на другое блюдо, и, получая позволенье, съ жадностью ѣлъ то то, то другое. Пишо въ это время, сидя за фортепьяно, игралъ одну изъ мазурокъ Chopin.

– Ахъ, прелестно! прелестно! – закричалъ Албертъ и, не проглотивъ куска, побѣжалъ слушать. – Прелестно, прелестно! – твердилъ онъ, улыбаясь, встряхивая волосами и подпрыгивая. Онъ взялъ скрипку и сталъ акомпанировать. —

Алениновъ между тѣмъ подозвалъ къ себѣ Делесова. —

---

[47] [Венецианский карнавал,]

[48] [Ля-мажор.]

– Ну, батюшка, хорошъ вашъ геній. Этакихъ геніевъ какъ собакъ. Гадкій фарсёръ, ни знанія, ни таланта, ничего!

– Да я сейчасъ замѣтилъ, что онъ шутъ, – сказалъ сынъ министра.

Делесову было совѣстно; но онъ не могъ не согласиться съ такимъ авторитетомъ, какъ Аленинъ.

– Ну, все таки талантъ? – сказалъ онъ.

– Никакого! Еще можетъ быть, что онъ бы могъ играть путно 2-ю скрипку въ квартетахъ, ежели бы былъ порядочный человѣкъ и занимался бы; а теперь онъ и этаго не можетъ. Вѣдь я не мало возился съ артистами. Ихъ есть цѣлая порода, нечесанныхъ, какъ я называю. Эти господа воображаютъ, что надо не бриться, не мыться, не чесаться и не учиться, чтобы быть артистами. И еще быть подленькими, – прибавилъ онъ.

Всѣ засмѣялись. —

Делесову было совѣстно, но онъ признавалъ совершенно свою ошибку.

– А онъ меня совсѣмъ надулъ, – сказалъ онъ. – Правда, правда ваша.

Пишо въ это время, совершенно забывъ свою гордость моднаго пьяниста, принесъ на фортепьяно бутылку вина и вдвоемъ съ Албертомъ пилъ, говорилъ и игралъ, не обращая никакого вниманія. Художникъ блестящими глазами, не отрываясь, смотрѣлъ на Альберта и восхищался.

11.

– И страшно, и больно смотрѣть на него, – сказалъ онъ, подходя къ группѣ, въ которой говорилъ Аленинъ. —

– А ты все считаешь его за генія, – сказалъ Делесовъ, – спроси-ка у Михаилъ Андрѣича.

Художникъ злобно вопросительно посмотрѣлъ на Аленина.

– Чтожъ, у каждаго можетъ быть свое мнѣніе, – отвѣчалъ Аленинъ, – мое мнѣніе, и мнѣніе основанное на маленькой опытности, слѣдующее: такихъ господъ надо въ исправительные дома сажать, или заставлять улицы мести, а не восхищаться ими. —

– Отчего жъ вы такъ на него изволите гнѣваться? – язвительно спросилъ художникъ.

– А отъ того, что эти-то господа язва для серьезнаго искуства. —

Художникъ вдругъ разгорячился.

– Вы говорите: язва, – заговорилъ онъ, – да вы понимаете ли, что онъ такое?

– Я вижу, что есть, а не то, что бы вамъ, можетъ быть, хотѣлось видѣть.

– Да, это спившійся, негодный, грязный нѣмецъ, неправда-ли? – отвѣчалъ художникъ, указывая въ дверь на Альберта, который въ это время, дрожа всѣмъ тѣломъ и тая отъ наслажденія, игралъ какой-то мотивъ. – Нѣтъ. Это не пьяный нѣмецъ, а это падшій геній стоитъ передъ вами, падшій не за себя, а за насъ, за[49] самое дорогое для человѣчества дѣло, за поэзію! Это человѣкъ, сгорѣвшій отъ того священнаго огня, которому мы всѣ служимъ, который мы любимъ больше всего на свѣтѣ. Огонь счастія поэзіи! Онъ жжетъ другихъ, этотъ огонь, такъ трудно тому, кто носитъ его въ себѣ, не сгорѣть самому. И онъ сгорѣлъ весь; потому что огня въ немъ было много и что служилъ онъ ему честно. Мы не сгоримъ, не бось. Намъ и Богомъ не дано этаго огня, да и заглушаемъ мы всякой житейской мерзостью, корыстью, себялюбіемъ ту крошечную искру, которая и была въ насъ.

А онъ сгорѣлъ весь, какъ соломенка, за то онъ великъ.

– Да чѣмъ же великъ? – сказалъ спокойно Аленинъ, какъ бы не замѣчая горячности своего собесѣдника. – Какую же онъ пользу сдѣлалъ обществу этимъ огнемъ, какъ вы выражаетесь?

---

[49] *Зачеркнуто:* весь міръ Божій. *Зачеркнуто надписанное над:* міръ Божій – родъ человѣческой.

– Пользу обществу? Вотъ они, ваши[50] сужденія. Онъ и знать не хочетъ вашего общества и вашей пользы и всѣхъ этихъ пустяковъ. Онъ дѣлаетъ то, что ему свыше положено дѣлать, и онъ великъ; потому что тотъ, кто сдѣлалъ то, что Богъ приказалъ, тотъ принесетъ пользу, не такую близорукую пользу, которую вы понимаете, а такую пользу, что не пройдетъ онъ даромъ въ жизни, какъ мы всѣ; а сгоритъ самъ и зажжетъ другихъ…

– Ну ужъ это я не знаю, что тутъ хорошаго въ этихъ пожарахъ поэтическихъ, особенно ежели они ведутъ въ кабакъ и въ распутной домъ, – сказалъ Аленинъ, улыбаясь. – Не желаю я никому такого огня. —

– Нѣтъ, неправда! – озлобленно продолжалъ художникъ. – Вы сію минуту отдали бы все, что у васъ есть, за его огонь; да онъ не возьметъ ни вашихъ душъ, ни денегъ, ни чиновъ, ничего въ мірѣ не возьметъ, чтобъ разстаться съ нимъ, хоть на одно мгновенье, потому что изъ всѣхъ насъ онъ одинъ истинно счастливъ!

Въ это время Албертъ, льстиво улыбаясь, нетвердыми шагами вошелъ въ комнату, видимо желая сказать что-то. Замѣтивъ разгоряченное лицо и жестъ художника и замѣшательство хозяина, онъ пріостановился и, решительно не понимая ни слова из того, что говорили, сталъ покорно, одобрительно и нѣсколько глупо улыбаться.

– Да, – продолжалъ художникъ, горячась болѣе и болѣе, – вы можете приводить его къ себѣ, смотрѣть на него какъ на рѣдкость, давать ему деньги, благодѣтельствовать, однимъ словомъ унижать, какъ хотите, а все таки онъ былъ и есть и будетъ неизмѣримо выше всѣхъ насъ. Мы рабы, а онъ Царь. Онъ одинъ свободенъ и счастливь, потому что одинъ слушаетъ только голосъ Бога, который постоянно призываетъ его на служеніе красоты – однаго несомнѣннаго блага въ мірѣ. Онъ льститъ и унижается передъ нами; но это потому, что онъ неизмѣримо выше насъ. – Лесть и униженіе для него одинъ выходъ изъ той путаницы жизни, которой онъ знать не хочетъ. Онъ унижается и льститъ, какъ тотъ, который говоритъ: бей меня, только выслушай. Ему нужно вдохновенье, и гдѣ бы онъ ни черпалъ его – оно есть у него. Ему нужны рабы, и они есть у него – мы его рабы. Мало того, что онъ счастливъ, онъ одинъ добръ истинно. Онъ всѣхъ одинаково любитъ, или одинаково презираетъ – что все равно, а служитъ только тому, что вложено въ него свыше. А мы что? Мы не только другихъ не любимъ, а кто изъ насъ не дуракъ, такъ тотъ и себя не любитъ. Я самъ себѣ гадокъ и ты тоже, и всѣ мы! Кто изъ насъ знаетъ, чтò должно? Никто. А онъ знаетъ и не сомнѣвается, – говорилъ художникъ, горячась все больше и больше.

Албертъ не спускалъ съ него глазъ и счастливо улыбался.

– Не могу понять, почему тотъ артистъ, который воняетъ, лучше того, который не воняетъ, – холодно сказалъ Аленинъ и отвернулся.

– Не лучше, а достоинъ любви, высокаго сожалѣнія и почтенія. Искуство – высочайшее проявленіе могущества въ человѣкѣ. Оно – не игрушка, не средство для денегъ и репутаціи, оно дается избраннымъ. Оно поднимаетъ избранника на такую непривычную человѣку высоту, на которой голова кружится и трудно удержаться здравымъ. Искуство есть слѣдствіе неестественнаго напряженія порывовъ, борьбы. Борьба съ Богомъ, вотъ что такое искуство – да. Одинъ офицеръ говорилъ мнѣ, что нѣтъ Севастопольскихъ героевъ, потому что всѣ герои лежатъ тамъ на кладбищѣ. И тутъ, и въ искуствѣ есть на одно[го] уцѣлѣвшаго сотни гибнущихъ героевъ, и судьба ихъ та же. – Вотъ они, эти погибшіе герои! отдавшіеся всѣ своему служенію. Вотъ онъ! Такъ не клеветать его, не сомнѣваться въ немъ, не давать ему милостыню, а любить его и плакать надъ нимъ надо! Вы не сопьетесь, небось, вы книжку объ искуствѣ напишете и камергеромъ будете, – заключилъ онъ, обращаясь снова къ Аленину.

– Зачѣмъ же личности, – остановилъ его Делесовъ, какъ хозяинъ дома, незнавшій, какъ замять этотъ разговоръ.

---

[50] *Зачеркнуто:* фразы.

– Да, презирайте его, унижайте, – продолжалъ художникъ дрожащимъ отъ волненія голосомъ, – вотъ онъ оборванный, пьяный, голодный; а изъ всѣхъ насъ онъ лучшій, онъ любимъ, онъ любитъ, онъ отдался не себѣ, отъ этаго онъ и сумашедшій. Да.

Албертъ съ невыразимымъ блаженствомъ слушалъ художника, хотя совсѣмъ не понималъ его рѣчь. Слезы вдругъ хлынули въ глаза художнику, онъ подавилъ рыданье и отвернулся.

– Вы славный человѣкъ! – сказалъ вдругъ Албертъ и неожиданно поцѣловалъ художника въ щеку.

– Убирайтесь! Я видѣть его не могу, – проговорилъ художникъ и торопливо вышелъ въ другую комнату.

12.

Между гостями произошло смятеніе. Почтенный гость Аленинъ былъ обиженъ и старался скрыть это. Хозяинъ дома не зналъ, что дѣлать. – Въ первую минуту слова Нехлюдова тронули его; но скоро онъ вспомнилъ свою обязанность хозяина дома и, проклиная и Албертa, и Нехлюдова съ его запальчивостью, подсѣлъ къ почтенному гостю и повелъ разговоръ о общихъ знакомыхъ; но Аленинъ не слушалъ его и, не дождавшись ужина, взялъ шапку и поднялся. Несмотря на уговариванья Делесова, онъ весьма холодно пожалъ ему руку, особенно учтиво, проходя гостиную, включилъ въ одинъ поклонъ Албертa и Нехлюдова и вышелъ. Остальные гости, посидѣвъ немного, тоже скоро разъѣхались. Албертъ, надѣвъ свою альмавиву, поплелся за ними. Делесовъ и не подумалъ его удерживать, такъ его занимала и мучала непріятность Нехлюдова съ Аленинымъ, происшедшая у него въ домѣ.

Оставшись одинъ, онъ долго ходилъ по комнатѣ, досадуя на Нехлюдова. Было множество мелкихъ соображеній, по которымъ это дѣло было ему крайне непріятно. И знакомства Аленина, и толки, и положеніе въ свѣтѣ, притомъ онъ сѣдой, имѣетъ такую извѣстность, сдѣлалъ мнѣ особую честь, исключеніе, пріѣхавъ ко мнѣ, и вдругъ такая исторія. Да просто нехорошо! Впрочемъ Нехлюдовъ хорошо говорилъ, думалъ онъ. Да зачѣмъ же грубо-то, вотъ что. Всѣ эти господа такіе. И снова онъ повторялъ въ памяти споръ Аленина съ Нехлюдовым и воображалъ, какъ бы это вовсе не могло случиться и какъ бы онъ могъ противудѣйствовать этому, сказав то-то и то-то и получивъ въ отвѣтъ то-то и то-то. – Потомъ онъ сталъ думать о томъ, какъ замять это дѣло, и послѣ долгихъ соображеній рѣшилъ завтра ѣхать къ одной дамѣ, которая очень дружна съ Аленинымъ, а потомъ нѣсколько разъ сряду быть на его музыкальномъ вечерѣ. —

– Гдѣ-то нашъ Нѣмецъ ночевать будетъ? – сказалъ Захаръ, раздѣвая барина: – даже жаль стало, какъ всѣ господа сѣли по каретамъ, а онъ по морозцу въ своей епанчѣ пѣшечкомъ поплелся.

– А холодно на дворѣ? – спросилъ Делесовъ. Ему завтра надо было много ѣздить.

– Страшный морозъ, Дмитрій Иванычъ. – Скоро еще дровъ купить надо....

Албертъ въ это время, спрятавъ голову въ плечи, бѣжалъ по направленію къ Аннѣ Ивановнѣ, гдѣ онъ надѣялся переночевать нынче.

– Очень, очень хорошо говорилъ, – разсуждалъ онъ самъ съ собою. – Обо мнѣ говорилъ, я понялъ, сейчасъ понялъ. – Горячій молодой человѣкъ и аристократъ, это видно. Я, когда мы выходили, поцѣловалъ его. Онъ очень, очень мнѣ понравился. Да и хозяинъ славный, славный, угостилъ, такъ что даже совсѣмъ не холодно. Хорошо, что онъ меня не удерживалъ. Я ужъ не могу, только ему непріятно бы было, – разсуждалъ онъ, все ускоряя и ускоряя шагъ и засунувъ руки въ карманы, локтями закутывая свой плащъ. – Теперь Анна Ивановна, вѣрно есть гости, опять я поиграю имъ, танцовать будемъ, будемъ веселиться!....

Съ такими мыслями онъ добѣжалъ до Анны Ивановны, калитка была отперта, нѣсколько саней стояло около нея, и изъ сѣней падалъ свѣтъ на снѣгъ двора. – Такъ и есть, еще есть гости, – подумалъ онъ и постучался. Лицо Анны Ивановны высунулось изъ-за рѣшетки.

– А – это вы, Албертъ!

– Я, моя прелестница, – отвѣчалъ онъ, улыбаясь.

– Колосовъ тутъ, идите! – отвѣчала Анна Ивановна, съ озабоченнымъ видомъ оглядываясь назадъ и не отвѣчая на улыбку Альберта. Колосовъ былъ извѣстный петербургской богачъ. Албертъ понялъ, что нельзя, пожалъ плечами и еще разъ улыбнулся.

– Ну до другаго раза, – сказалъ онъ, – прощайте.

– Жалко, что нельзя пустить, онъ не любитъ постороннихъ, – сказала Анна Ивановна, – гдѣ же вы переночуете?

[51] – О, у меня мѣстъ много, прощайте, – и Албертъ пошелъ назадъ.

– Куда? – представилось ему. – Э! все равно, только бы спать поскорѣе, къ дворнику на Гороховую. Маршъ, – и онъ побѣжалъ туда.

Дворникъ, завернувшись въ тулупъ, спалъ на лавкѣ у воротъ. – Албертъ постоялъ, радуясь, посмотрѣлъ на него, какъ онъ славно спитъ, и, не рѣшившись будить, проскользнулъ въ калитку. Тамъ онъ въ темнотѣ, какъ домашній человѣкъ, взялъ на право, съ трудомъ отворилъ закостенѣлыми пальцами дверь и скрылся въ темной конюшни. Онъ зналъ, что одно стойло пустое, прошелъ туда и легъ, отдуваясь. Въ навозномъ пару было почти тепло. Онъ завернулся съ головой въ плащъ и сказалъ себѣ: – Теперь славно! Спать! – Но какъ и у всѣхъ, прежде чѣмъ заснуть, въ головѣ его стали появляться воспоминанія о прошедшемъ, мечты о будущемъ и еще Богъ знаетъ какіе отрывки жизни, перебивающіе однѣ другія. —

– Ого-го! Какъ онъ поклонился, – думалъ онъ объ Аленинѣ, – строго и величественно. Это хорошо. Я это люблю. Они думаютъ, что я не замѣчаю; нѣтъ, я все замѣчаю. Что ежели бы мнѣ когда-нибудь встрѣтиться съ какимъ нибудь принцомъ инкогнито, я бы узналъ его, я бы умѣлъ съ нимъ обойтись, я бы ему такъ сказалъ: Милостивой Государь, я люблю людей царской крови, пьемъ за ихъ здоровье. А потомъ еще и еще и игралъ бы ему. А онъ бы сказалъ: люблю артистовъ, вотъ вамъ 2 миліона съ половиной. О, какъ бы я умѣлъ поступить съ ними. Меньше я не взялъ бы. Я бы купилъ виллу въ Италіи. – Тутъ ему представилась декорація петербургской оперы, представлявшей виллу ночью. – Луна бы была и море. Я сижу на берегу съ Еленой Миллеръ, и дѣти тутъ бѣгаютъ. Нѣтъ, не надо дѣтей? Зачѣмъ дѣти матери? У всѣхъ насъ одинъ отецъ – Богъ. Ну, и сидѣлъ бы я съ ней, держалъ бы ее за руку и цѣловалъ и потомъ запѣлъ бы. – Тутъ въ головѣ его запѣла серенада Донъ-Жуана. – Она бы упала мнѣ на грудь и заплакала. Но вдругъ страшный акордъ и двѣ расходящіяся хроматическія гаммы, впадающія въ еще болѣе страшный акордъ. Буря, бѣгутъ въ красныхъ плащахъ вооруженные люди отнять ее. Нѣтъ! Я говорю ей: спи спокойно. Я! И все пройдетъ, и поетъ мягкая, легкая, веселая мелодія, ее подхватываютъ хоромъ дѣвицы въ бѣленькихъ юбочкахъ съ голубыми лентами и большими косами, а мы ходимъ, и мелодія все поетъ и поетъ, расходится шире и шире. – Въ сараѣ слышался звукъ катящихся экипажей, и изъ этаго звука въ головѣ его составлялись мелодіи одна прелестнѣе другой, которыя пѣли то голоса, то хоры, то скрыпки, то весь оркестръ. Мелодія принимала все болѣе и болѣе строгой характеръ и перешла наконецъ въ мужской стройный и медленный надгробный хоръ.

– Смерть! – подумалъ онъ: – идетъ, подвигается тихими, мѣрными шагами и все, все блѣднѣетъ, всѣ радости изчезаютъ и въ замѣнъ мелкихъ многихъ радостей открывается что-то одно цѣлое, блестящее и громадное.

– Туда, туда. Скорѣе надо. Сколько тутъ нужно помнить, дѣлать, сколько нужно знать вещей, а я ничего не знаю. И чтожъ, хоть я и счастливъ? Меня любятъ, я люблю, никто мнѣ не вредитъ, я никому не врежу, но туда, туда. Нѣтъ и не можетъ быть здѣсь того счастья, которое я могу перенести и которое я знаю, нѣтъ этаго счастія ни у кого. А немножко меньше, немножко

---

[51] *На полях, против места, начинающегося со слов:* О, у меня мѣстъ много, *кончая:* проскользнулъ въ калитку. *написано:* черезъ мостъ, ночь!

больше, развѣ не все равно. Все на такое короткое время. Не то что-то на этомъ свѣтѣ, не то, совсѣмъ не то, что надо. Вотъ тамъ, въ Италіи, на берегу моря, гдѣ апельсины и гдѣ она моя и я наслаждаюсь ею. Будетъ это время, даже оно теперь начинаетъ быть, я чувствую. Идетъ, идетъ что-то, ужъ близко. Смерть, можетъ быть… тѣмъ лучше. Иди! Вотъ она! – Больше онъ ничего не думалъ и не чувствовалъ. Это была не смерть, а сладкой спокойный сонъ, который далъ ему на время лучшее благо міра – полное забвенье.[52]

Гр. Л. Н. Толстой.
5 Октября
Ясная Поляна.
–

[52] *Зачеркнуто:* уничтоженіе сознанья.

ТРИ СМЕРТИ.

* № 1

Федька былъ боленъ 3-й мѣсяцъ, – нутренность, какъ онъ говорилъ. Въ чемъ состояла эта болѣзнь, не знали ни его братъ, ни племянникъ, ни фельшеръ, которому показывали больнаго, ни самъ больной. Впрочемъ больной и не желалъ знать этаго. Онъ зналъ и говорилъ, что смерть его пришла и ничего больше. <Недавно еще онъ былъ мужикъ сильный, веселый, ѣздилъ на курьерскихъ, пѣвалъ пѣсни и любилъ выпить. Теперь второй мѣсяцъ онъ не слѣзалъ съ печи, изрѣдка стоналъ, просилъ испить и твердилъ несвязныя молитвы.> – Третьяго дня его причащали.

* № 2

Мужъ сидѣлъ одинъ въ своей комнатѣ и молчалъ, кузина сидѣла подлѣ него и молчала. Они искали и не находили, что бы сказать другъ другу, а чувствовали потребность сказать что нибудь. Одна свѣчка горѣла.

– Извините меня, мой другъ, – сказала кузина, – когда она еще была здорова (кузина вздохнула, мужъ тоже: онъ началъ обдумывать новый образъ жизни безъ жены, и ему помѣшали), вамъ тяжело, но что жъ дѣлать? Она говорила, что желала бы покоиться съ матерью въ Щербинкахъ. Не отвезете ли вы ее, исполните ея послѣднее желанье. Расходы, разумѣется, не остановятъ васъ въ такомъ важномъ дѣлѣ.

– Отчего она сказала: послѣднее желанье, когда сама говоритъ, что давнишнее, и, вѣрно, сама выдумала, – подумалъ мужъ. – Расходы однако будутъ не очень большіе, рублей 200, – еще подумалъ онъ.

– Ахъ мой другъ, я счастливъ сдѣлать все, что могу, для ея памяти, – сказалъ онъ, – только, право, я не могу самъ ничѣмъ этимъ распорядиться. Я такъ разстроенъ.

– Ахъ, это понятно, мой другъ.

* № 3

Надъ могилой госпожи стоитъ кирпичная часовня, и священникъ въ ризѣ кадитъ тамъ и поетъ тамъ вѣчную память раби Бож[ьей]. Надъ могилой дяди Хведора растетъ густая трава изъ-подъ камня и, кажется, хотѣла сдвинуть. Такая же трава растетъ около часовни, и та, и другая каждый годъ засыхаетъ, засыпается снѣгомъ и обновляется, каждый день всходитъ солнце и свѣтитъ <на могилу> и на часовню, и на камень дяди Хведора. И никто не знаетъ, что сдѣлалось съ Ширкин[ской] госпожой и съ д[ядей] Ѳ[едоромъ]. <Одинъ разъ жена дяди Хведора пришла съѣсть лепешку на его могилѣ, и лепешка была вкусна, и крохи падали на густую темно зеленую росистую траву, и солнце свѣтило ярко, и колоколъ гудѣлъ громко, и народъ шелъ изъ церкви весело, и Богъ [не] нарадовался, глядя на міръ свой, а подь землей Богъ знаетъ что оставалось отъ дяди Хведора>.[53]

–

[53] *Над словами:* землей Богъ знаетъ *зачеркнуто:* никто не думалъ тамъ. *Над словом:* отъ *зачеркнуто:* подъ землей.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ.

* № 1 (I ред.).

Разъ я встала раньше обыкновеннаго, мартовское солнышко свѣтило ярко сквозь бѣлыя занавѣски моей комнатки, и мнѣ стало отчего-то повеселѣе. Мнѣ даже стыдно стало своей апатіи, я помолилась Богу, какъ давно не молилась, одѣлась въ любимое свое счастливое сѣренькое платье, <посмотрѣлась въ зеркало> и пошла внизъ совсѣмъ другимъ человѣкомъ, чѣмъ наканунѣ. Внизу въ гостиной за самоваромъ мнѣ показалось еще свѣтлѣе и радостнѣе. Я растормошила Машу, защекотала Соню, задала ей урокъ, собрала свои давно нетроганные бумаги, <записала свой дневникъ, проиграла всѣ этюды>, разыграла новую сонату и потащила всѣхъ гулять до большой дороги. На дворѣ такъ и пахло весной, и весну же мы принесли домой на своихъ платьяхъ и лицахъ.

– Слышала: Сережа пріѣхалъ! – прокричала мнѣ Маша: – присылалъ спросить о насъ и хотѣлъ пріѣхать обѣдать.

– Такъ и есть, – подумала я, – нынче веселый день.

Мнѣ нужно было нынче новое лицо, а Сережа былъ и новое лицо, и человѣкъ, котораго я привыкла любить <и уважать, какъ отца или дядю>. Сережа былъ именно тотъ опекунъ, котораго мы ждали. Онъ былъ близкой сосѣдъ нашъ и другъ покойнаго отца, хотя и гораздо моложе его. Какъ встарину папа звалъ его Сережей, такъ онъ и остался для насъ Сережей, когда мы говорили про него. Всѣ въ домѣ отъ няни до Сони обожали его. Соня родилась при немъ и была его крестницей; меня же онъ засталъ 8-лѣтней дѣвочкой, цѣловалъ, дразнилъ и называлъ *ты*, <Лизанька и фіялочка. Онъ находилъ, что я похожа лицомъ на фіалку.> Только 3 года тому назадъ онъ, заѣхавъ къ намъ ужъ послѣ отца, поцѣловалъ у меня руку и сталъ говорить вы.

* № 2 (I ред.)

Я до тѣхъ поръ смотрѣла по дорогѣ, пока не только скрылась его фигура, но и затихъ топотъ его лошади, потомъ побѣжала на верхъ и опять стала смотрѣть въ окно и въ росистомъ туманѣ видѣла все, что хотѣла видѣть. <Мы не спали съ Машей до трехъ часовъ утра и все говорили о немъ. Она тоже страстно любила его и говорила, что нѣтъ подобнаго ему человѣка на свѣтѣ. Отлично жить на свѣтѣ! Да, тогда отлично было жить на свѣтѣ....> Онъ пріѣхалъ на другой день, на третій день, и когда онъ день не пріѣзжалъ, то я чувствовала, что жизнь моя какъ будто останавливалась, и я находила, что онъ дурно поступает со мною. Наши отношенья продолжали быть тѣ же, почти родственныя; онъ распрашивалъ меня, я какъ будто исповедывалась ему, почему-то чувствуя необходимость во всемъ съ трудомъ искренно признаваться ему. Большая часть моихъ вкусовъ и привычекъ не нравились ему. <Я любила сосѣдей, наряды, свѣтъ, котораго не видала, любила изящество, внѣшность, аристократизмъ, онъ презиралъ все это.> Онъ видѣлъ въ нихъ зачатки барышни. – И стоило ему показать движеньемъ брови, взглядомъ, что ему не нравится то, что я говорю, сдѣлать свою особенную, жалкую, чуть-чуть презрительную мину, какъ мнѣ казалось, что я уже не люблю того, что я любила. Когда онъ говорилъ, говорилъ, какъ онъ умѣлъ говорить, – увлекательно, просто и горячо, мнѣ казалось, что я знала прежде все то, что онъ скажетъ. Только послѣ <передумывая> я замѣчала на себѣ, какую перемѣну во всей моей жизни производили его слова. Я удивлялась, отчего вдругъ въ эти три мѣсяца я <перестала любить, что любила, начинала любить новое> и на Машу, на нашихъ людей, на Соню и на все стала смотрѣть другими глазами. – Прежде книги, которыя я читала, были для меня такъ, препровожденіемъ времени, средствомъ убивать скуку, съ нимъ же, когда

мы читали вмѣстѣ, или онъ говорилъ, чтобъ я прочла то-то и то-то, я стала понимать, что это одно изъ лучшихъ наслажденій. Прежде Соня, уроки ей было для меня тяжелой обязанностью, онъ посидѣлъ разъ со мной за урокомъ, и уроки сдѣлались для меня радостью. Учить <хорошо, основательно> музыкальныя пьесы было прежде для меня рѣшительно невозможно; но когда я знала, что онъ будетъ слышать ихъ и радоваться и похвалитъ, можетъ быть, что съ нимъ рѣдко случалось, я играла по 40 разъ сряду одинъ пассажъ, и Маша выходила изъ себя, а мнѣ все не скучно было. Я сама удивлялась, какъ совсѣмъ <иначе, лучше я стала фразировать> другою становилась теперь та музыка, которую я играла прежде. Маша стала для меня другимъ человѣкомъ. Я только теперь стала понимать, какое прекрасное, любящее и преданное это было созданье, и какъ оно могло бы быть совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ оно было для насъ. Онъ же научилъ меня смотрѣть на нашихъ людей, на дѣвушекъ, на мужиковъ, на дворовыхъ, какъ на людей, хорошихъ или дурныхъ, счастливыхъ или несчастныхъ самихъ для себя, не по одному тому, какъ они нужны или полезны для насъ. Смѣшно сказать, а прежде эти люди, и хорошіе люди, среди которыхъ я жила, были больше чужіе для меня, чѣмъ люди, которыхъ я никогда не видела. Да и не одно это; онъ открылъ для меня цѣлую жизнь счастья, не измѣнивъ моей жизни и ничего не прибавивъ кромѣ себя къ каждому впечатлѣнію. И все это онъ открывал мнѣ, нетолько не поучая меня, но, я замѣчала, постоянно сдерживая себя и, казалось, невольно. Все то же года было вокругъ меня, и я ничего не замѣчала, а только стоило ему придти, что[бы] все это вокругъ меня заговорило и наперерывъ запросилось въ душу, наполняя ее счастіемъ.

[54] Часто въ это лѣто я приходила на верхъ въ свою комнату, ложилась на постель противъ Маши, и какая-то тревога счастья обхватывала меня. Я не могла засыпать, перебиралась къ бѣдной Машѣ, обнимала, цѣловала ее толстую, пухлую шею и говорила ей, что я совершенно счастлива. И она, бедняжка, тоже увѣряла, что она совершенно счастлива, и въ глазахъ ея, глядѣвшихъ на меня, мнѣ казалось, что точно свѣтилось счастье. Потомъ она притворялась сердитой, прогоняла меня и засыпала, а я до зари сидѣла на постелѣ и переби[ра]ла все то, чѣмъ я такъ счастлива. И не было конца причінамъ счастья, и къ каждому изъ моихъ счастій примѣшивался онъ или его слово, или его мысль. Иногда я вставала и молилась. Молилась такъ, какъ ужъ больше никогда не молилась. И въ комнаткѣ было тихо, только Маша дышала, и я поворачивалась; и двери и занавѣски были закрыты, и мнѣ не хотѣлось выходить изъ этой комнатки, не хотѣлось, чтобы приходило утро, не хотѣлось, чтобы разлетѣлась эта моя душевная атмосфера, окружавшая меня. – Мнѣ казалось, что мои мечты и мысли и молитвы – живыя существа, тутъ во мракѣ живущія со мной, стоящія надо мной, летающія около моей постели. И каждая мысль была не моя, а его мысль, и каждая мечта была мечта о немъ, и въ каждомъ воспоминаніи, въ воспоминаніи того даже времени, когда я его не знала, – былъ онъ, и молитва была за него и съ нимъ. <Онъ наяву, и въ мечтаніяхъ, и во снѣ, онъ всегда былъ со мною>. Однако я еще сама себѣ не признавалась въ любви къ нему. Ежели бы ясно поняла, что я чувствую, я бы сказала это Машѣ, а тогда я ей еще ничего не говорила. Я тогда еще боялась признаться себѣ въ своемъ чувствѣ. Я была горда. И женской инстинктъ мнѣ говорилъ, что ежели бы я ясно сказала себѣ, что люблю его, я бы спросила себя, любитъ ли онъ меня, и должна была бы отвѣтить: нѣтъ. Я смутно предчувствовала это и потому боялась разогнать волшебный туманъ, окружавшій меня. Притомъ мнѣ такъ было хорошо, что я боялась всякой перемѣны. Онъ всегда обращался со мной, какъ съ ребенкомъ. Хотя и старался скрывать, но я всегда чувствовала, что за тѣмъ, что я понимаю, въ немъ остается еще цѣлый міръ, чужой для меня, въ который онъ не считаетъ нужнымъ впускать меня. Никогда почти я не могла замѣтить въ немъ смущенья или волненья при встрѣчахъ и разговорахъ со мной, которые бывали иногда такъ искренни и странны. Главное-жъ – онъ никогда не говорилъ со мной про себя. <Онъ былъ предводитель нашего уѣзда и> Я знала по деревенскимъ слухамъ, что кромѣ своего хозяй-

[54] *Абзац редактора.*

ства и нашего опекунства онъ занятъ какими-то дворянскими дѣлами, за которыя ему дѣлаютъ непріятности. Но всякой разъ, какъ я наводила разговоръ на эти занятія, онъ морщился своимъ особеннымъ манеромъ, какъ будто говорилъ: «полноте, пожалуйста, <болтать вздоръ и> притворяться, что вамъ можетъ быть это интересно», и переводилъ разговоръ на другой предметъ.

[55]Потомъ, что тоже сначало обманывало меня, онъ какъ будто не любилъ или презиралъ мою красоту. – Онъ никогда не намекалъ на нее и морщился, когда при немъ называли меня хорошенькой. Напротивъ, всѣ недостатки мои онъ ясно видѣлъ и любилъ ими какъ будто дразнить меня. <Родинку на щекѣ онъ называлъ мушищей и увѣрялъ, что усы мнѣ скоро придется брить съ мыломъ. Красивые туалеты или куафюры новыя, которыя мнѣ шли, казалось, возбуждали въ немъ отвращенье.> Одинъ разъ въ свои имянины я ждала его и надѣла новое яркоголубое платье, очень открытое на груди, <и красныя ленты> и перемѣнила прическу, зачесала волосы къ верху, что очень шло ко мнѣ, какъ говорили Маша и дѣвушки. Когда онъ вошелъ и удивленно посмотрѣлъ на меня, я оробѣла, покраснѣла и умоляющимъ взглядомъ спрашивала его мнѣнья о себѣ въ новомъ нарядѣ. Должно быть, въ моихъ глазахъ онъ прочелъ другое. Онъ сдѣлалъ свою недовольную мину и холодно посмотрѣлъ на меня. Когда теперь я вспоминаю это, мнѣ ясно, почему ему непріятно было. Деревенская безвкусная, безтактная барышня, которая начинаетъ нравиться, воображаетъ себя красавицей и побѣдительницей и для 2[хъ] сосѣдокъ и стараго друга дома нескладно убралась всѣми своими нарядами и выставила свои прелести. Весь этотъ день онъ жестоко мучалъ меня за мое голубое [платье] и новую прическу. Онъ былъ офиціально холоденъ со мной, насмѣшливъ и ни на одинъ волосокъ не былъ со мной иначе, чѣмъ съ другими. Въ цѣлый день я не могла вызвать отъ него ни однаго дружескаго, интимнаго слова или взгляда. Вечеромъ, когда всѣ уѣхали, я сказала Машѣ, что платье мнѣ жметъ, и ушла на верхъ. Я сбросила противное платье, надѣла лиловую кофточку, которую онъ называлъ семейно-покровской кофточкой, и, уничтоживъ съ трудомъ сдѣланную утромъ прическу, зачесала волоса гладко за уши и сошла внизъ.

– А! Лизавета Александровна! здраствуйте, – сказалъ онъ, увидавъ меня, и все лицо его отъ бороды до лба просіяло той милой, дружески-спокойной улыбкой. – Наконецъ-то удалось увидать васъ. Такъ-то лучше.

– Развѣ вы не любите ея новую прическу? – спросила Маша. – А я нахожу, что къ ней очень идетъ.

– А я ненавижу всякое фр, фр, фр! – сказалъ онъ. – Зачѣмъ? Эти барышни, что были здесь, теперь возненавидѣли ее за это сизое платье <я и поговорить не смѣлъ цѣлый день>, и самой ей неловко было, да и не красиво. То ли дѣло – такъ опять запахло фіялкой и Александръ Иванычемъ и всѣмъ хорошимъ. —

Я только улыбалась и молчала. Маша видѣла, что я нравлюсь ему, и рѣшительно не понимала, что это значило. Какъ не любить, чтобы женщина, которую любишь, выказывалась въ самомъ выгодномъ свѣтѣ? А я уже понимала, чего ему надо. Ему нужно было вѣрить, что во мнѣ нѣтъ кокетства, чтобы <сильнѣе> любить меня, и когда я поняла это, во мнѣ и тѣни не осталось кокетства нарядовъ, причесокъ, движеній. Правда, явилось тогда во мнѣ бѣлыми нитками шитое кокетство – простота, тогда, когда еще не могло быть простоты. И онъ вѣрилъ, что во мнѣ не было кокетства, а были простота и воспріимчивость, которыхъ ему хотѣлось во мнѣ. <Какъ часто въ это время я видѣла, какъ онъ приходилъ въ восторгъ отъ своихъ собственныхъ мыслей, которыя я ему высказывала по своему, какъ онъ наивно радовался на самаго себя, видя, воображая, что радуется на меня. Однако> Женщина не можетъ перестать быть кокеткой, когда ее любятъ, не можетъ не желать поддерживать обмана, состоящаго въ томъ убѣжденіи, что она лучшая женщина въ мірѣ, и я невольно обманывала его. Но и въ этомъ какъ онъ высоко поднялъ меня отъ того, что я была прежде. Какъ легче мнѣ было и достойнѣе – я чувствовала

[55] *Абзац редактора.*

– выказывать лучшія стороны своей души, чѣмъ тѣла. Мои волосы, руки, мои привычки, какія бы онѣ не были, хорошія или дурныя, мнѣ казалось, что онъ всѣ зналъ и сразу оцѣнилъ своимъ проницательнымъ взглядомъ, такъ что я ничего кромѣ желанія обмана, ломанья не могла прибавить къ своей красотѣ, душу же мою онъ не зналъ, потому что онъ любилъ ее, потому что въ то самое время она росла и развивалась, и тутъ-то я могла и обманывала его. Притомъ какъ мнѣ легко стало, когда я ясно поняла это. Эти смущенье, стѣсненность движеній совсѣмъ изчезли во мнѣ, какъ и въ немъ. Я чувствовала, что спереди ли, съ боку, сидя или ходя онъ видѣлъ меня, съ волосами кверху или книзу, – онъ зналъ всю меня <(и мнѣ чуялось, любилъ меня какой я была) я не могла ни на одинъ волосъ крѣпче привязать его. Но за то> Я даже не знаю, была ли бы рада, ежели бы онъ вдругъ сказалъ мнѣ, что у меня глаза стали лучше. Зато какъ отрадно и свѣтло на душѣ становилось мнѣ, когда пристально вглядываясь въ меня и какъ будто вытягивая глазами изъ меня ту мысль, которую ему хотѣлось, онъ вдругъ, выслушавъ меня, говаривалъ тронутымъ голосомъ, которому онъ старался дать шутливый тонъ: – Да, да, въ васъ есть. Вы отличная дѣвушка, это я долженъ вамъ сказать. Вы интересная дѣвушка, не interessante, а интересная, [такъ] что мнѣ хотѣлось бы узнать конецъ отличной вещи, которую я въ васъ читаю.

И вѣдь за что я получала тогда такія награды, обхватывавшія всю мою душу счастіемъ? За то, что я говорила, какъ трогательна любовь старика Григорья къ своей внучкѣ, что какъ онъ по своему хорошо любитъ ее, и что я прежде этаго не понимала. Или за то, что мнѣ совѣстно бываетъ отчего-то гуляя проходить мимо крестьянокъ, когда они работаютъ, и хотѣлось бы подойти къ ихъ люлькамъ, но не смѣю. Или что Бетховен поднимаетъ меня на свѣтлую высоту, что летаешь съ нимъ, какъ во снѣ на крыльяхъ. Или за то, что слезы у меня навернутся, читая «Для береговъ отчизны дальней». И все это, какъ теперь вспомню, не мои чувства, а его, которыя смутно лепетали мои дѣтскія уста. И удивительно мнѣ подумать, какимъ необыкновеннымъ чутьемъ угадывала я тогда все то, что надо было любить, и что только гораздо послѣ онъ открылъ мнѣ и заставилъ полюбить.

* № 3 (I ред.).

Но хотя я не смѣла признаться себѣ, что люблю, я уже ловила во всемъ признаковъ его любви ко мнѣ. Его къ концу лѣта больше и больше сдержанное обращеніе со мной, его частыя посѣщенія несмотря на дѣла, его счастливый видъ у насъ наводили меня на эту догадку. Но чуть-чуть я взглядомъ, словомъ показывала свою радость и надежду, онъ спѣшилъ холодно-покровительственнымъ тономъ, иногда больно и грубо разбить эту надежду. Но я еще сильнѣе надѣялась, чувствуя, что онъ боится меня. – Къ концу лѣта онъ сталъ рѣже ѣздить, но на мое счастье нашъ прикащикъ заболѣлъ во время самой уборки хлѣба, и онъ долженъ былъ пріѣзжать на наше поле и не могъ не заѣзжать къ намъ.

* № 4 (I ред.).

– Какже, неужели вы никогда не говорили: – Я васъ люблю, – спросила я смѣясь.

– Не говорилъ и не буду говорить навѣрное, и на колѣно одно не становился и не буду, – отвѣчалъ онъ. <А черезъ недѣлю онъ мнѣ говорилъ эти слова и говорилъ невольно, изъ всей души, и были знаменья, и слова эти были эпохой въ нашей жизни. И въ словахъ этихъ было все лучшее счастье и моей, и его жизни. Ему, казалось, былъ непріятенъ разговоръ на эту тему, онъ подозвалъ Соню и сталъ ей разсказывать сказку.

– Да вы хорошенькую разскажите, чтобы и нам слушать можно было, – сказала Маша.

– Хорошо, постараюсь.

– Исторію разскажи, – сказала Соня, – чтобъ похоже было.

– Хорошо, самую похожую. Я вамъ исторію разскажу, и онъ взглянулъ на меня. Я усѣлась подлѣ него и стала слушать. Соня сѣла къ нему на колѣни. Онъ обращался къ ней и не смотрѣлъ уже на меня. Вотъ что онъ разсказалъ.

– Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ жила была одна принцесса.[56]

– Какъ ее звали? – спросила Соня.

– Звали ее..... Никитой.

Соня захохотала.

– Только у барышни Никиты не было ни отца, ни матери.

– Какъ у насъ, – сказала Соня.

– Да ты не перебивай. Была только у нея волшебница, которая очень полюбила ее. Волшебница разъ пришла къ ней ночью и сказала: – Ты хорошая принцесса, я тебя люблю и хочу дать счастье. Чего ты, говоритъ, хочешь? – А Никита не знала, чего она[57] хочетъ, и говоритъ: – Я не знаю. – А ежели не знаешь, такъ вотъ тебѣ два пузырька,[58] въ нихъ самое лучшее счастье. – Что же, говоритъ, съ ними дѣлать? – А вотъ что. Носи ты всегда эти пузырьки при себе, подлѣ сердца, и когда тебѣ захочется счастья, возьми голубенькой пузырекъ, выпей сама, а красненькой дай выпить какому нибудь человеку, который бы былъ не много старше тебя, и будешь счастлива.

– Отчего? – спросила Соня.

– Оттого, что будешь всю [жизнь] любить другъ друга съ этимъ человѣкомъ.

– И вкусно это, что въ пузырькѣ[59] было? – спросила Соня.

– Вотъ увидишь. Только вотъ что, – говоритъ волшебница, – ежели ты не сразу выпьешь свой пузырекъ и тому человѣку не весь отдашь, то вмѣсто счастья будетъ тебѣ несчастье и тѣмъ, кому ты будешь давать пить, и еще говоритъ, ежели ты перепутаешь и сама будешь пить изъ красненькаго, тоже будетъ тебѣ несчастье. А ежели прольешь, разобьешь или понемногу раздашь изъ пузырьковъ эту воду, то ужъ другихъ тебѣ не будетъ. – Ну хорошо. Только у принцесы былъ одинъ пріятель, тоже Принцъ,[60] который часто къ ней ѣздилъ въ гости и очень любилъ ее.

– Она съ нимъ и выпьетъ? – спросила Соня.

– Нѣтъ, съ нимъ нельзя, потому что онъ былъ старый, его нельзя было любить, а волшебница сказала, чтобы съ ровесникомъ выпить, котораго можно любить. Только старый Принцъ, когда узналъ про пузырекъ,[61] очень обрадовался за Принцесу и сталъ учить ее, какъ принять эту воду и какъ угостить ей кого нибудь. Но принцеса отвѣдала немножко своей водицы, изъ голубенькой, и, чтобъ попробовать и посмѣяться, подлила потихоньку въ супъ, из красненькой, старому принцу. Принцъ былъ уже старый хрѣнъ.

– Хрѣнъ! – засмѣялась Соня.

– Да, старый хрѣнъ, и ему случалось пивать этой воды, онъ зналъ ее вкусъ, и она уже мало дѣйствовала на него. Но это ему было ужасно пріятно. Онъ зналъ, что вредно, а съѣлъ целую тарелку супу. Однако ему стало немного больно.

– Животъ заболѣлъ?

– Да, а главное – ему жалко стало Принцесу, что она такъ, изъ любопытства, потеряетъ свое счастье. Онъ не сталъ больше ѣсть супу и говоритъ ей: вѣдь я знаю, что̀ вы сдѣлали, вы мнѣ подлили волшебной водицы, а помните, что вамъ сказала волшебница, – чтобъ пить и давать пить всю разомъ; а то будетъ худо. Вамъ худо, а не мнѣ, я уже привыкъ и мнѣ не почемъ,

---

[56] *Переделано из:* барышня.

[57] *В подлиннике:* онъ.

[58] *Вписано между строк и тоже вычеркнуто:* Вотъ тебѣ скляночка. Вотъ тебѣ пузырекъ.

[59] *Переделано из:* пузырькахъ.

[60] *Зачеркнуто:* Вавило

[61] *Переделано из:* пузырьки

а вы растратите даромъ, жалѣть будете, потомъ не воротите. А поѣзжайте-ка лучше въ другое государство и сыщите себѣ хорошаго принца и все ему дайте выпить, тогда я опять буду у васъ супъ ѣсть, а то ни чаю, ни супу, ни воды, ни вишень отъ васъ ѣсть не стану. – Всталъ и уѣхалъ.>

* № 5 (I ред.).

– Какже, неужели вы никогда не говорили: – Я васъ люблю, – спросила я смѣясь.

– Не говорилъ и не буду говорить навѣрное и на колѣно одно не становился и не буду, – отвѣчалъ онъ.

– Какіе вы пустяки говорите, – сказала я рѣшительно.

– Вотъ те на, – проговорилъ онъ.

Мы съ Машей засмѣялись.

– А знаете, что я нынче замѣтила, сказала я: – Вы ужасно ненатуральны. Вы самыя простыя вещи хотите сдѣлать еще проще и отъ этаго запутываете ихъ.

– Вотъ воспитанница какъ своего учителя учитъ! – сказала Маша.

– И я знаю отчего, – сказалъ онъ.

– Отчего?

– Знаю.

– Ну разскажите.

– Вѣдь это не легко, – сказалъ онъ, не глядя на меня.

– Ну дайте понять, я, право, ничего не понимаю.

– Хорошо, постараюсь. – Онъ задумался. – Я вамъ исторію разскажу, – и онъ взглянулъ на меня.

– Разскажи, разскажи исторію, – сказала Соня и сѣла къ нему на колѣни. Онъ обращался къ ней и не смотрѣлъ на меня.

– Ну, какъ бы вамъ это разсказать, – началъ онъ. – Есть такое царство, въ которомъ всѣ дѣвочки родятся заряженныя разнымъ вздоромъ – плясками, тряпками, романами и главное кокет<ствомъ и всякой дрянью>. И въ царствѣ этомъ такъ устроено, что дѣвочки эти не могутъ быть счастливы до тѣхъ поръ, пока они не выпляшутъ весь зарядъ пляски, не выносятъ всѣ тряпки и, главное, не выкокетничаютъ все кокетство.

– Что такое кокетство? – спросила Соня.

– А ты у Лизы спроси, – отвѣчалъ онъ.

– Вздоръ, ничего, – сказала я. – Ну....

– Только въ этомъ царствѣ, – продолжалъ онъ, – была такая дѣвочка, славная дѣвочка, очень заряженная всѣми этими штуками, и у нея былъ другъ одинъ – такъ, старичокъ, учитель, который каждый день ходилъ къ ней и старался потихоньку разряжать ее, чтобы ей легче было. Только разъ пришелъ этотъ учитель, хотѣлъ посидѣть съ ней, учить ее, а она какъ обернется къ нему, какъ выстрѣлитъ въ него, такъ что ему и больно немножко сдѣлалось, а главное онъ испугался, чтобъ она себѣ вреда не сдѣлала. Онъ и говоритъ: – Зачѣмъ вы въ меня стрѣляете, я вѣдь съ вами не воюю, вы стрѣляйте въ другихъ, а то ужъ я лучше уѣду отъ васъ. – А она такъ разсердилась, что стрѣляетъ себѣ и ничего слышать не хочетъ и все думаетъ, что это очень просто, и что напрасно старичокъ ее учитъ. Стрѣлять хочется, ну и стрѣляй. Старичокъ подумалъ, подумалъ да взялъ и уѣхалъ отъ нее. – Дай, говоритъ, вамъ Богъ счастья, а ужъ я вамъ не товарищъ, коли вы такъ хотите со мной обращаться.

Голосъ его немного дрожалъ, когда онъ кончилъ, и все время онъ избѣгалъ моего взгляда.

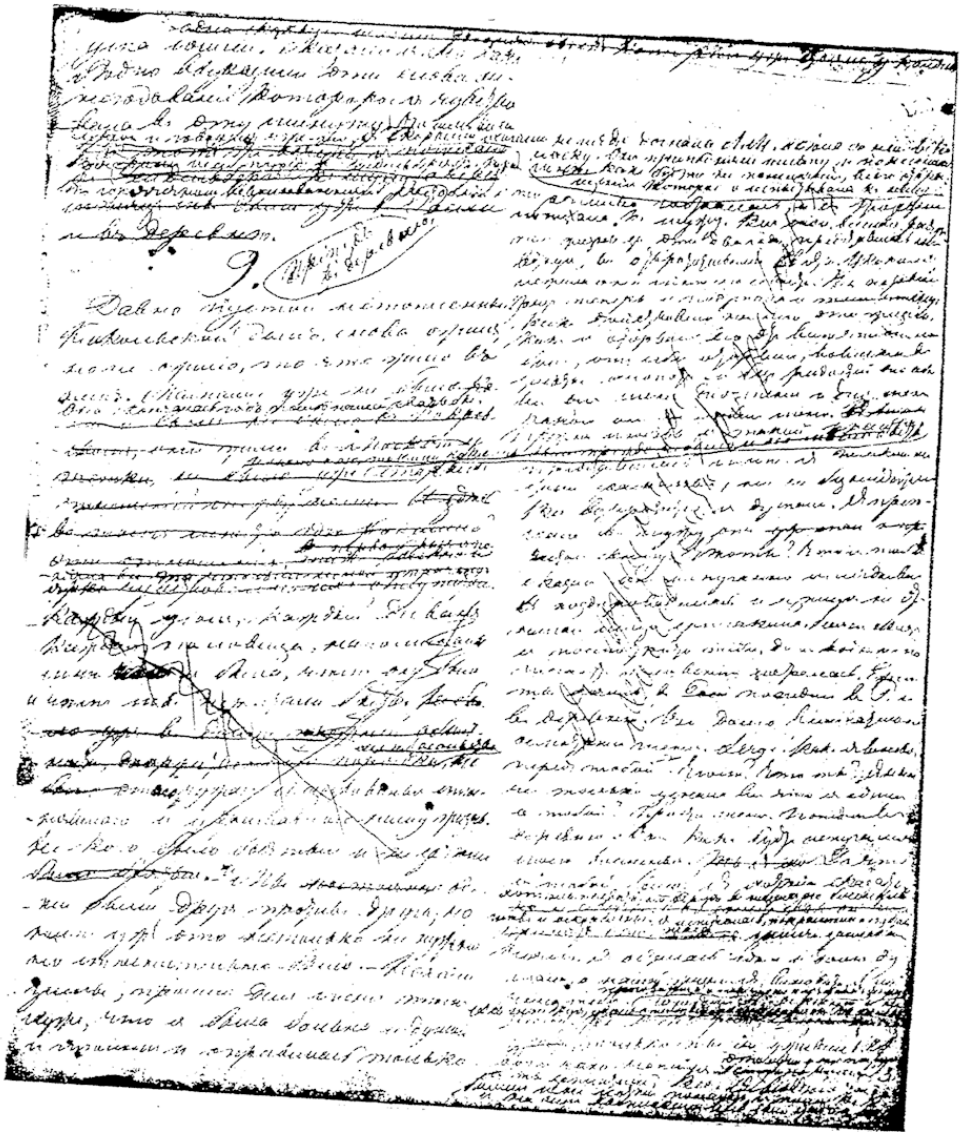
– И вся? – спросила Соня.

– Вся.

– Ну, это не хороша. А что же дѣвочка? – сказала она.

– Послѣ разскажу, когда увижу, – сказалъ онъ и всталъ.

Онъ смущенно улыбался и взглянулъ на меня, какъ будто ему совѣстно было за то, что онъ сказалъ. Я ничего не могла говорить и чувствовала, что неестественный румянецъ стоитъ на моихъ щекахъ. Мне страшно и больно, и досадно на него было. Тысячи мыслей кружились въ моей головѣ, мнѣ хотѣлось и по своему закончить сказку, хотѣлось сказать ему, что онъ видитъ то, чего нѣтъ, и все ищетъ трудностей, гдѣ все ясно и легко, но что-то сковывало мой языкъ, и я только смотрѣла на него. Онъ подалъ мнѣ руку и хотѣлъ уйти.



53-й лист рукописи второй редакции „Семейного счастья“.
Размер подлинника.

Я крѣпко сжала его руку и страннымъ шопотомъ, который удивилъ меня самое, спросила, когда онъ будетъ…

* № 6 (I ред.).

Былъ успенскій постъ, и я въ то же утро, къ удивленію Маши, объявила, что буду говѣть, и поѣхала въ Церковь. Онъ ни разу не пріѣзжалъ во всю эту недѣлю, и я не тревожилась, даже не жалѣла и спокойно ждала его къ дню моего рожденья. <Никогда ни прежде, ни послѣ, я не говѣла такъ искренно и добросовѣстно.> Я говѣла для своей души <для Бога>, но отчего

не признаться – и, надѣюсь, Богъ проститъ меня – я говѣла тоже для него, для того чтобы снять съ себя всѣ старые грѣхи, все то, что я дѣлала дурнаго до него, и явиться ему раскаявшейся, спокойной и чистой и достойной его. Въ сравненіи съ свѣтлымъ состояніемъ моей[62] души какъ черно мнѣ казалось тогда мое дѣтское невинное прошедшее. Часто въ эту недѣлю я думала о немъ, но совсѣмъ не такъ, какъ думала въ ночь, когда узнала про его любовь. Я не желала, не боялась его какъ пре[жде], я была убѣждена, что онъ мой, и думала о немъ, какъ о себѣ, невольно примѣшивая мысль о немъ къ каждой мечтѣ, къ каждой надеждѣ. Подавляющее вліяніе, которое я испытывала въ его присутствіе, изчезало совершенно въ моемъ воображеніи, когда его не было. Я не только чувствовала себя равной ему, но съ высоты того духовнаго настроенія, въ которомъ я находилась эту недѣлю, я даже спокойно судила и жалѣла его. Судила за его непростоту и жалѣла за его притворныя,[63] какъ мнѣ казалось, спокойствіе и холодность.

* № 7 (1 ред.).

<Вотъ какъ я думала тогда о нашей будущей жизни. —

Мы женимся въ деревнѣ, пріѣдутъ его и мои родные, привезутъ музыку из города; дней 5, 6, недѣлю мы повеселимся, потомъ съ нимъ и съ Машей поѣдемъ къ нему въ его хорошенькой домикъ, который будетъ такой свѣженькой, веселинькой, съ коврами, гардинами и колонками. Онъ введетъ меня въ мой кабинетъ, убранный, какъ игрушечка, и спроситъ:

– Что, не скучно тебѣ будетъ тутъ со мной, моя фіалочка?

И мы одни будемъ въ комнатѣ. Я обхвачу его руками, я встормошу его волосы.

– Ежели бы тебя не было, мнѣ бы было хорошо, а съ тобой мнѣ вездѣ скучно, – скажу я.

И онъ улыбнется своей улыбкой и уйдетъ, чтобы мнѣ не скучно было съ нимъ и чтобы я не путала его волосы, и я побѣгу за нимъ черезъ весь домъ и въ садъ, и въ рощу, и нигдѣ не уйти ему отъ меня. Онъ кончитъ свои дѣла поскорѣе. Я ему помогу ихъ кончить, и къ зимѣ мы поѣдемъ за границу, и дорогой будемъ одни съ нимъ, только двое сидѣть в каретѣ, и въ Римѣ и въ Парижѣ только одни, двое будемъ ходить и ѣздить между толпой, которая будетъ любоваться нами. Такой сильный, мужеств[енный] человѣкъ и стройная, милая и мило одѣтая женщина. И вездѣ будутъ радоваться моей красотѣ и говорить, что счастье съ такой женой, съ хорошенькой женой, за которой многимъ бы хотѣлось поволочиться, ежели бы не видно было, что его однаго она любила и всегда любить будетъ. И ежели будутъ у него заботы, онъ придетъ и раскажетъ ихъ женѣ, и жена обниметъ его, поцѣлуетъ добрые глаза, и заботы пройдутъ, и сядетъ жена за фортепьяно и съиграетъ ему то, что онъ любитъ, и онъ потихоньку подкрадется и въ шею поцѣлуетъ ее. Одна Маша будетъ съ нами вездѣ, и его сестра будетъ моимъ другомъ. И много новыхъ знакомствъ и друзей у меня будетъ. И все, что онъ будетъ любить, буду любить и я. И ничего для меня не будетъ скрыто въ его жизни. Потомъ мнѣ приходило въ голову, что кто-нибудь влюбится въ меня, скажетъ мнѣ, что я хороша или что-нибудь такое, и эта мысль больше всего радовала меня. Я приду, скажу ему:

– Serge! знаешь, чтò мнѣ сказали?

Онъ разведетъ руками и скажетъ:

– Боже мой! какая прелесть!

А я притворюсь, что сержусь, что мой мужъ такъ холодно принимаетъ такое извѣстіе. И ежели онъ заболѣетъ, какъ дни и ночи я буду просиживать у его постели, и онъ будетъ ловить и жать мою руку, поправляющую подушку, и слабыми глазами благодарно смотрѣть на меня, и какъ онъ будетъ грустенъ и озабоченъ, и я все раздѣлю съ нимъ и утѣшу его! и какъ я на цыпочкахъ буду подходить къ его двери и смотрѣть, что дѣлаетъ мужъ мой. Да, онъ мужъ мой. Мой

---

[62] *В подлиннике:* моимъ

[63] *Переделано из:* притворную

мужъ… «Подите спросите у мужа. Я съ мужемъ пріѣду къ тебѣ… Мужъ не любитъ этаго». Кто лучшій и добрѣйшій и прекраснѣйшій человѣкъ на свѣтѣ? Это все мужъ мой, мой мужъ. – Одна эта мысль и слово доставляли мнѣ странное, невыразимое удовольствіе. Потомъ я думала, какъ мы опять вернемся въ деревню, опять милый домикъ, тишина, и мы одни другъ съ другомъ, и опять любовь, опять счастье. Опять у него какія-то дѣла, заботы и ангелъ, который облегчаетъ всѣ эти заботы и даетъ счастье. О дѣтяхъ я не думала, и, по правдѣ сказать, мысль эта портила созданный мною мірокъ, и я отгоняла ее.>

* № 8 (I ред.)

Перваго Сентября батюшка пріѣхалъ по обыкновенію въ домъ служить молебенъ съ водосвятіемъ. Погода наконецъ разгулялась и была прекрасная въ первый разъ свѣжая, осѣнняя. Все было мокро, пестро и солнечно блестяще. – Одинъ изъ тѣхъ первыхъ осѣннихъ дней, когда послѣ дождей и холодовъ вдругъ разгуляется, и на холодномъ свѣтѣ солнца въ первый раз видишь уже не лѣто, а замѣчаешь осѣннюю желтизну, оголенность и свинцовую блѣдность неба. – Онъ предоставилъ мнѣ назначить день сватьбы, объ одномъ прося только, чтобы не было никого гостей, не было вуаля невѣсты, флеръ доранжа и шаферовъ и шампанскаго. Машу это сердило; по его выраженью, ей хотѣлось бы натыкать мнѣ цвѣтовъ въ помаженную голову, шептать въ церкви, чтобъ не мяли вѣнцомъ прическу, и съ большимъ вкусомъ плакать, глядя на вуаль и бѣлое платье. Ей было точно досадно; но я понимала его. Мы не назначили день сватьбы, чтобъ никто не пріѣхалъ, и я, которой онъ поручилъ это, обѣщала объявить этотъ день наканунѣ. По правдѣ сказать, я ожидала только хорошей погоды, и поэтому, какъ только барометръ поднялся, и перваго Сентября открылось все небо, я рѣшила, что ежели онъ согласенъ, то мы завтра же будемъ вѣнчаться. Онъ смутился, покраснѣлъ и какъ-то офиціяльно, чтобъ скрыть свою радость, поцѣловалъ мою руку. Когда я ему объявила это, мнѣ смѣшно стало. Мы объявили Батюшкѣ о нашемъ желаньи, и старикъ поздравилъ насъ и въ сотый разъ разсказалъ ему, что онъ вѣнчалъ моего отца, крестилъ меня, и вотъ Богъ привелъ вѣнчать и дочку. Священникъ приготовился ужъ было служить, столъ былъ накрытъ, суповая чаша, стеклянные подсвѣчники съ восковыми свѣчами, кадило, крестъ съ мощами, все было на мѣстѣ. Маша попросила подождать, побѣжала къ себѣ наверхъ. Черезъ нѣсколько минутъ она принесла новый образъ Угодника Сергія въ серебряной ризѣ, которой она заказывала въ Москвѣ, чтобъ благословить меня, и только что получила. И я, и онъ – мы давно знали про этотъ образъ, но желанье ея благословить меня въ день сватьбы образомъ Ангела моего мужа, къ которому я имѣла большую вѣру, должно было быть тайной и сюрпризомъ для меня. И мы будто бы ничего не знали, не знали, какъ она сбила послѣднюю копейку на этотъ образъ, какъ посылала мѣрку, какъ получила ящикъ и совѣщалась съ нянюшкой, мы, стоя въ залѣ и дожидаясь службы, даже не замѣтили, какъ толстая, кругленькая Маша легкими шагами сбѣжала съ лестницы и, не глядя на насъ, прошла залу и поставила образъ на столѣ, такъ чтобы онъ не катился, шепнула батюшкѣ: – и Угоднику Сергѣю – и, строго взглянувъ на насъ, прошла къ своему уголку у двери, гдѣ и стала, слегка пошевеливъ губами и сложивъ руки.

– Благословенъ Богъ нашъ! – провозгласилъ давно знакомый голосъ Священника, и я перекрестилась и взглянула на будущаго мужа. Въ глазахъ его была нѣжность и умиленіе, но на губахъ его какъ будто готова была улыбка, которая не понравилась мне. Какъ будто онъ только за меня и за Машу умилялся и радовался, а не за себя. Я долго, пристально посмотрѣла на него. Онъ понялъ меня, отвернулся и перекрестился. Я изрѣдка взглядывала на него. Онъ стоялъ, нагнувъ голову и <молился, я чувствовала это> въ глазахъ его, которые я такъ знала, было искреннее <глубокое> чувство. Отходя отъ креста и обтирая платкомъ мокрые, окропленные глаза, я подошла къ нему и взяла его за руку.

– Я вами довольна, мой другъ, – сказала я.

Онъ вынулъ платокъ и отеръ имъ мои мокрые волосы.

– Вамъ, все вамъ я обязанъ <въ лучшемъ>. Вы мой ангелъ хранитель.

– Не говорите такъ, – сказала я, съ нимъ вмѣстѣ направляясь къ двери и чувствуя, что у насъ завяжется разговоръ, для котораго намъ нужно быть однимъ. – Это не хорошо, я грѣшница, такая же, какъ и всѣ. Иногда я замѣчала въ васъ то, что меня мучало. Вы какъ бы это только понимаете, а не чувствуете всего этаго. Я давно хотѣла сказать вамъ.

– Ахъ, мой другъ, не говорите про то, что было, какимъ я былъ, теперь берите меня, какимъ я есть, я вашъ, я вами думаю, я вами люблю. <Теперь съ вами молюсь и вѣрю и буду молиться.> Я чувствую, что мнѣ нельзя жить теперь безъ васъ <и безъ молитвы.> Я чувствую, какъ съ каждымъ днемъ таитъ мое сердце, и все прекрасное становится близко ему. Мнѣ опять 16 лѣтъ становится.

– И оставайтесь такъ всегда, увидите, какъ вамъ хорошо будетъ, – сказала я.

– Какъ мнѣ ужъ теперь хорошо, мой ангелъ!

И онъ смотрѣлъ мнѣ въ глаза, и все глубже, глубже проникалъ его счастливый, довольный взглядъ.

* № 9 (II ред.).

Домъ нашъ былъ одинъ изъ старыхъ барскихъ домовъ, въ которыхъ со дня ихъ основанія ничего не измѣнялось изъ стараго порядка, а только въ томъ же порядкѣ прибавлялось новое вмѣстѣ съ измѣнявшимися поколѣніями и потребностями. Все отзывалось воспоминаніями о немъ, о его дѣтствѣ, о его матери, отцѣ, дѣдѣ. <Кабинетъ его былъ кабинетъ его отца и дѣда, еще дѣдовская, кожанная мебель съ гвоздиками стояла въ немъ и висѣли портреты его отца, дѣда и прадѣда и охотничьи гравюры, привезенныя дѣдомъ изъ Англіи и отцомъ его обдѣланныя въ рамки. Шкапы съ книгами въ библіотекѣ рядомъ были наполнены – одинъ философскими энциклопедическими книгами дѣда въ кожанныхъ переплетахъ съ золотыми обрѣзами, другой непереплетенными и неразрѣзанными историческими книгами отца и третій его книгами. Въ гостиной постарому стояла симетрично дѣдовская мебель и висѣли два въ золотыхъ рамахъ зеркала, картина снятія съ креста, всѣми принимаемая за Тицьяна, и два портрета бабушекъ>. Отцомъ его старая мебель была <отполирована за ново> и обита штофомъ, и картина снятія со креста и коверъ во всю комнату, теперь ужъ старой, были прибавлены къ украшенію гостиной. Татьяна Семеновна, уже вдовой, украсила гостиную перегородкой съ плющемъ и надѣла чехлы на мебель и протянула полосушки черезъ коверъ. Точно такія же прибавленія и украшенія замѣтны были и во всѣхъ другихъ комнатахъ, особенно на половинѣ и въ комнатѣ Татьяны Семеновны. Тамъ было столько диванновъ, диванчиковъ, ширмовъ, ширмочекъ, шифоньерокъ, шкапчиковъ, столовъ, столиковъ, часиковъ, вещицъ, все разныхъ временъ и цвѣтовъ и фасоновъ, дѣдовскихъ и нынѣшнихъ, что все это на первое впечатлѣніе поражало своей пестротой и разнородностью и загроможденностью, но потомъ все это очень пріятно соединялось въ одинъ общій характеръ домовитости и уютности, который особенно понятенъ былъ, когда среди всего этаго въ своемъ волтеровскомъ креслѣ сидѣла сама Татьяна Семеновна. Посуда, кухня, экипажи, старая прислуга, столъ – все было въ томъ же изобильномъ старинномъ и фамильномъ характерѣ. Всего было много, все было не ново, но прочно, опрятно и по старинному красиво. Отъ всего, начиная отъ тяжелыхъ мѣдныхъ подсвѣчниковъ, изображающихъ толстаго амура, дувшаго вверхъ, отъ тяжелаго трюмо съ рѣзными полками, до кіе[в]скихъ соусниковъ и старыхъ лакеевъ Татьяны Семеновны и особеннаго никольскаго манера дѣлать кашку, – отъ всего пахло хорошими старыми семейными воспоминаніями. Всѣ эти воспоминанія тотчасъ же сроднились со мною. Мнѣ казалось, что я сама помнила, какъ умиралъ его отецъ такъ [*3 неразобр.*] на большомъ кожаномъ диванѣ, какъ самъ Сережа, бывшій ребенкомъ самымъ прекраснымъ, живымъ и милымъ, въ мірѣ[?], разбился головой объ уголъ, сбѣгая съ лѣстницы,

какъ изъ дѣтской въ первый разъ перевели внизъ къ гувернеру этаго самаго кроткаго ребенка въ мірѣ, и какъ онъ спрыгнулъ въ окно изъ залы, и его посадили въ этотъ самый чуланъ подъ лѣстницей, и какъ онъ, лучшій сынъ въ мірѣ, въ растопель въ первый разъ пріѣхалъ большимъ послѣ университета. Вся эта старина, отъ разсказовъ его матери, няни и его самаго, ожила въ моихъ глазахъ и слилась съ воспоминаніями о немъ въ то время, когда я не знала его.

* № 10 (II ред.).

Все время мое отъ поздняго утра и до поздней ночи принадлежало не мнѣ и было занято, даже ежели бы я и не выѣзжала. Мнѣ это было уже не весело и не скучно, а казалось, что такъ, а не иначе должно быть. Такъ было и въ то время, когда я надѣялась быть матерью. Внимательность и уваженіе ко мнѣ мужа какъ будто еще увеличились въ это время, но часто мнѣ больно и неловко было замѣчать, что какъ будто не одна я, были причины этой внимательности.

Часто, сама размышляя о новомъ предстоящемъ мнѣ чувствѣ, я становилась недовольна вѣчной разсѣянностью и пустыми заботами, поглощавшими меня, и мнѣ казалось, что вотъ стоитъ мнѣ сдѣлаться матерью, и я само собой брошу всѣ старыя привычки и вкусы и начну новую жизнь. Я ждала и перерожденья, и счастія отъ материнской любви. Мнѣ казалось, что новое чувство безъ всякаго подготовленья съ моей стороны, противъ моей воли, схватитъ меня и увлечетъ за собой въ другой счастливый міръ. Но Богъ знаетъ отчего это случилось? отъ того ли, что я хуже другихъ женщинъ, отъ того ли, что я находилась въ дурныхъ условіяхъ, или это общая участь всѣхъ насъ, женщинъ, только первое и сильнѣйшее чувство, которое мнѣ доставилъ мой ребенокъ, было горькое оскорбительное чувство разочарованія, <смѣшанное съ гордостью, сожалѣніемъ и сознаніемъ необходимости нѣкоторой притворно-офиціяльной нѣжности.> Сгорая отъ нетерпѣнія узнать это сильнѣйшее новое чувство, обѣщавшее мнѣ столько радостей, я въ первый разъ ожидала своего ребенка. Ребенка принесли, я увидала маленькое, красное, кричащее созданьице, упиравшееся мнѣ въ лицо пухлыми ручонками. Сердце упало во мнѣ. Я взяла его на руки и стала цѣловать, но то, что я чувствовала, было такъ мало въ сравненіи съ тѣмъ, что я хотѣла чувствовать, что мнѣ показалось, что я ничего не чувствую. Я хотѣла отдать ребенка, но тутъ были няня, кормилица съ нѣжно улыбающимися лицами, вызывающими мою нѣжность, тутъ были его глаза, какъ-то вопросительно глядѣвшіе то на меня, то на Кокошу, и мнѣ стало ужасно больно и страшно.

– Вотъ они всѣ ждутъ отъ меня чего-то, – думала я, – ждутъ эти добродушныя женщины, ждетъ и онъ, а во мнѣ нѣтъ ничего, – какъ мнѣ казалось. Но я еще разъ прижала къ себѣ ребенка, и слезы выступили мнѣ на глаза. – Неужели я хуже всѣхъ другихъ женщинъ? – спрашивала я себя. И страшное сомнѣніе въ самой себѣ проникло мнѣ въ душу. Но этотъ страхъ, эти сомнѣнья продолжались недолго. Съ помощью вѣчнаго разсѣянья, частью притворяясь, частью признаваясь себѣ и другимъ въ своей холодности къ ребенку и полагая, что это такъ и должно быть, я примирилась съ своимъ положеньемъ и стала вести старую жизнь.

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ (1856—1859)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

* I.
[НАЧАЛО ФАНТАСТИЧЕСКОГО РАССКАЗА.]

Въ Іюлѣ мѣсяцѣ 1855 года, въ самое жаркое время Крымской кампаніи,[64] Маіоръ Вереинъ ѣхалъ ночью одинъ верхомъ по дорогѣ, ведущей отъ Белбекской мельницы къ Инкерманской позиціи. – Онъ ѣздилъ на полковой праздникъ къ командиру гусарскаго полка и теперь возвращался къ себѣ въ лагерь. Часовъ съ двухъ въ этотъ день пошелъ рѣденькой дождикъ изъ желтоватой прозрачной тучи, составлявшей край большой черной грозовой тучи, и казалось долженъ былъ пройти скоро, но вмѣсто того дождикъ все усиливался и продолжалъ итти теперь во второмъ часу ночи, то мелкій, какъ сквозь сито, то какъ будто съ какихъ то невидимыхъ деревьевъ сыпались сверху съ вѣтромъ крупныя тяжелыя косыя капли. На сѣверо-востокѣ однако туча уже рѣзкой черной чертой поднялась надъ свѣтло-прозрачнымъ горизонтомъ,[65] на которомъ поднимался вывернутый въ другую сторону, убывающій золотистый мѣсяцъ. На югѣ, – впереди по дорогѣ, по которой ѣхалъ Маіоръ, часто загорались на черномъ небѣ красноватыя молніи и слышался гулъ выстрѣловъ въ Севастополѣ.[66]

Завернувшись въ отежелѣвшую и провонявшую мыломъ отъ мокроты солдатскую шинель, маіоръ сгорбившись сидѣлъ на тепло-сыромъ сѣдлѣ и безпрестанно поталкивалъ мокрыми склизкими каблуками въ животъ уставшей большой гнѣдой кавалерійской лошади. Старая лошадь, подкидывая задней ногой, въ которой у нее былъ шпатъ, пошлепывала по лужамъ дороги, болтала отвислой губой,[67] изрѣдка при видѣ куста или рытвины поднимала одно ухо и сторонилась и безпрестанно кряхтѣла какъ то съ визгомъ, какъ будто натуживаясь изо всѣхъ силъ. – Маіоръ[68] много выпилъ на праздникѣ, голова у него не кружилась, но отяжелѣла и глаза слипались. Изрѣдка только онъ открывалъ ихъ, взглядывалъ на вытянутую шею и мокрую гриву лошади, на бѣлую полосу дороги, блестящую рябыми лужами, которая однообразно измѣняясь въ одинаковомъ разстояніи бѣлѣла передъ нимъ, и повторялъ фразу: хорошо у бабушки на свѣтѣ жить, – которая Богъ знаетъ почему уже давно пришла ему въ голову, и которую онъ безъ всякой мысли умственно повторилъ уже разъ триста, и снова закрывалъ глаза и задремывалъ.[69]

Маіоръ Вереинъ былъ человѣкъ лѣтъ 35-ти, очень высокой ростомъ, съ длинными ногами, широкимъ тазомъ и сутуловатой и угловатой спиной. Круглые каріе глаза, выгнутой широкой носъ средь худаго желтоватаго лица и очень длинные чернѣющія къ скуламъ бакенбарды зачесанные внизъ, давали ему выраженіе изнуренія, доброты[70] и общаго всѣмъ старымъ военнымъ спокойно-мужественнаго равнодушія. Вглядѣвшись ближе въ его совсѣмъ круглые

---

[64] *Зачеркнуто:* Поручикъ

[65] *В подлиннике:* прозрачномъ горизонтѣ

[66] *По тексту рукописи наискось написано (карандашом):* Изъ Севас храбр честол

[67] *Зачеркнуто:* притворялась, что закусы[ваетъ] покусывала удила

[68] *Зачеркнуто:* дремалъ

[69] *По тексту рукописи наискось написано:* Адъютантъ хорошъ собой. Шубинъ отличился. Ну что же

[70] *Зачеркнуто:* и мечтательности

глаза, зрачки которыхъ далеко не доходили до краевъ векъ, въ нихъ замѣтно было кромѣ того выраженіе сильной мечтательности или постояннаго увлеченія одной идеей. – Вереинъ уже лѣтъ 17 служилъ въ военной службѣ и все въ томъ же драгунскомъ полку. Товарищи и начальники говорили про него: «офицеръ примѣрный, службу знаетъ, какъ самъ уставъ, хозяинъ отличный, эскадронъ у него въ порядкѣ какъ ни у кого, съ людьми строгъ, правда, но иначе нельзя. Строгъ, но справедливъ, за то и любятъ его. Кромѣ того человѣкъ образованный, говоритъ по французски, по немѣцки, кажется, и по итальянски. Живетъ прилично. Какъ слѣдуетъ быть эскадронному командиру». – Вереинъ дѣйствительно былъ таковъ, какъ описывали его товарищи и главное то, что это знаніе службы и служебныхъ отношеній какъ то само собой, безъ труда съ его стороны, далось ему.[71] – Онъ сначала страстно любилъ службу, [но] охота мало по мало пропадала, осталась одна привычка, и теперь уже давно ему все казалось, что напрасно онъ на нее посвятилъ лучшіе годы и силы молодости, которые бы онъ могъ употребить лучше. Несмотря на то, ежели бы у него спросили, какъ бы онъ желалъ устроить свою жизнь, онъ бы не умѣлъ отвѣтить. Уже 17 лѣтъ весь міръ, исключая своего военнаго круга, былъ закрытъ для него. Всѣ интересы, нетолько общечеловѣческіе, но личные людей невоенныхъ были непонятны для него. Развѣ изрѣдка, читая газеты или слушая разговоры, онъ любилъ заставить себя подумать о какомъ нибудь случайно представившемся ему вопросѣ: то о устройствѣ свеклосахарныхъ заводовъ, то о китайскихъ инсургентахъ, то о новооткрытомъ минералѣ. – Всѣ воспоминанія его были только военныя, набравшіяся за эти 17 лѣтъ службы. Воспоминанія эти были: время юнкерства, дежурство на конюшнѣ, ссоры фелдвебелей, лихіе успѣхи въ верховой ѣздѣ, кутежи съ товарищами,[72] потомъ счастливая эпоха производства, поѣздки къ помѣщикамъ и снова кутежи и манежъ; потомъ отличіе и усердіе въ службѣ и надежда на эскадронъ и наконецъ осуществленіе этой надежды. Воспоминанія предшествовавшія службѣ, его жизнь въ богатой деревнѣ отца, ласки матери, игры съ братомъ, какъ то непріятно дѣйствовали на него, и онъ безсознательно отгонялъ ихъ. Перебирать эти полковыя воспоминанія, которыя какъ ни кажутся ничтожными, для него были полны значенія и жизни, составляло главное занятіе Вереина.[73] Онъ часто по цѣлымъ днямъ просиживалъ съ трубкой въ зубахъ на одномъ мѣстѣ, перебиралъ свои воспоминанія,[74] внутренно тоскуя и досадуя на кого-то за то, что воспоминанія эти были такъ пошлы и пусты.[75]

Въ эти времена хандры онъ бывалъ особенно холодно строгъ съ людьми, ежели случались какіе нибудь дѣла по эскадрону. – Походъ въ Крымъ расшевелилъ его. Ему представились тотчасъ же двѣ стороны этаго обстоятельства. 1) Въ походѣ содержаніе значительно больше; 2) могутъ убить или искалѣчить. И вслѣдствіи 2-го разсужденія ему пришла мысль выйти въ отставку и жениться. Долго и много онъ размышлялъ объ этомъ дѣлѣ и рѣшилъ, что прежде надо сдѣлать кампанію, а потомъ выйти въ отставку [и] жениться.[76] Съ этаго времени къ воспоминаніямъ его присоединилась мечта о семейномъ счастіи, которую онъ ласкалъ и лелѣялъ съ необычайною нѣжностью. Все время свободное отъ службы въ Крыму, онъ сидѣлъ одинъ у себя въ палаткѣ, съ мрачнѣйшей физіономіей курилъ трубку, смотрѣлъ въ одно мѣсто и рисовалъ себѣ одну за другою картины семейнаго счастья: – жена въ бѣломъ капотѣ, дѣти прыгаютъ передъ балкономъ и рвутъ цвѣточки для папаши; и онъ вставалъ изрѣдка,[77] улыбался и въ волненіи выходилъ изъ палатки на коновязь, – и бѣда была солдату, у котораго на лошади

---

[71] *По тексту рукописи наискось написано:* Что то грызло его, какой то червь. Воспоминанія Московскія; рѣдко одна дѣвушка, которую онъ любилъ, потому что случайно сошелся [?] Имѣнье продалъ. Талантъ музыкальн[ый]

[72] *Зачеркнуто:* въ жидовской корчмѣ

[73] *Зачеркнуто:* Товарищи говорили, что онъ хандрилъ

[74] *Зачеркнуто:* и злился.

[75] *По тексту рукописи наискось написано:* Общество надоѣло, все знаешь

[76] *Слово:* жениться *зачеркнуто и восстановлено.*

[77] *Зачеркнуто:* сладк[о]

находились подсѣды или плоть, или бока впалые.[78] Полкъ, въ которомъ онъ служилъ, не принималъ участія въ военныхъ дѣйствіяхъ, во все время кампаніи, слухи доходившіе изъ Севастополя были часто ложны, да и по правдѣ сказать, онъ вовсе не интересовался ими. – Что наша возьметъ, онъ твердо былъ увѣренъ въ этомъ, а война выражалась для него тѣмъ, что стояли дивизіи лагеремъ, кормились по справкамъ и получали раціоны. – Сегодня утромъ онъ поѣхалъ къ полковому командиру только потому, что его затащили товарищи, но пріѣхавъ туда, онъ не раскаивался. Праздникъ былъ блестящій. Гостей почетныхъ и изъ Главнаго Штаба много, обѣдъ и вина отличныя.

Хозяинъ былъ Генералъ, гусаръ стараго времени, и давно знакомъ съ Вереинымъ.[79] Онъ принялъ его хорошо, посадилъ[80] на верхнемъ концѣ стола между адъютантомъ Главнок[омандующаго] и Ф. А. Во все время обѣда пѣли пѣсенники, на другомъ концѣ стола корнеты и поручики, сначала робко смотрѣвшіе на верхній конецъ – оживились и говорили громко. Крымское вино и портеръ замѣнились шампанскимъ. Адъютантъ спорилъ, что онъ выпьетъ больше всѣхъ. В[ереинъ] сталъ пить съ нимъ и выпилъ пропасть. За бланманже закурили сигарки, и разговоръ о Севастополѣ и ошибкахъ начальства замѣнился разговоромъ о женщинахъ, лошадяхъ, не потому, чтобъ находили его веселѣй, но такъ, по привычкѣ, будто такъ надобно.[81] Притворялись, что интересны дѣла военныя и справки, хотя всякой зналъ, сколько получаетъ дохода К. И.; теперь притворялись, что весело пить и говорить объ лошадяхъ.

Вереинъ никогда не думалъ, что притворяются, но онъ ужъ такъ привыкъ къ этому, что зналъ впередъ все, что будетъ: какъ сниметъ сюртукъ одинъ, потомъ другой, какъ пойдутъ къ пѣсенникамъ, какъ будутъ пѣть гусарскія пѣсни, какъ Р. Вал. будетъ махать руками, какъ будутъ пить за здоровье полка, за здоровье гостей почетныхъ, за защитниковъ Севастополя, а потомъ такъ будутъ пить за шуточныя здоровья, какъ подойдутъ къ пѣсенникамъ, какъ гусары будутъ комедію ломать. И пить ему не хотѣлось, но ужъ такъ вино на столѣ, будто весело, и другимъ бы было непріятно. Другіе думали то же самое. Особенно такъ думалъ адъютантъ, но надо mettre другихъ en train,[82] и пошелъ плясать. Генералъ притворился, что радъ и смѣется, несмотря на то, что съ секунду въ глазахъ его при этомъ выразился испугъ, что это неприлично и не удержать ли его. Потомъ адъютантъ сказалъ Маіору, что онъ перепилъ его. Маіоръ сдѣлалъ, какъ будто, это ему непріятно, и выпилъ цѣлый стаканъ. Стаканъ этотъ былъ лишній. Голова у него закружилась, а тутъ адъютантъ потащилъ его плясать. Генералъ истинно устыдился; но онъ, злобно стиснувъ зубы на свою глупость, прошелъ таки казачка. Длинныя ноги зацепились одна за другую, и онъ упалъ. Онъ сдѣлалъ ужасную гримасу, будто смѣется, бакенбарды мокрыя какъ то жалобно отвисли, онъ всталъ и пошелъ прочь отъ палатокъ въ садъ. Въ саду надъ канавкой онъ остановился, уперся головой объ дубъ и долго силой воли не могъ остановить круженья головы. Вода текла, камары по ней, трава, на которую онъ вдругъ открылъ глаза. Вдругъ ему вспомнилось дѣтство, семейство отца и старуха бабка. Онъ легъ головой на траву и мгновенно заснулъ.[83] Проснувшись, онъ нашелъ въ палаткахъ игру. Пропонтировалъ 100 р. и, притворяясь, что ему все равно, съ мрачнымъ лицомъ пошелъ ужинать. Опять невольно всѣ притворились, что празднуютъ что-то: Полкъ кавалеріи, духъ, и онъ выпилъ много, но нестолько. Почетных гостей не было, ужинъ былъ проще.[84] Онъ пропонти-

---

[78] *По тексту рукописи наискось написано:* Онъ былъ набоженъ и суевѣренъ

[79] *В подлиннике:* Вереиномъ

[80] *Зачеркнуто:* рядомъ съ собой

[81] *По тексту рукописи наискось написано:* Онъ георгіевской Кавалеръ храбръ и скоро пошелъ, но тутъ былъ еще храбрѣй

[82] [расшевелить, пустить в ход,]

[83] *По тексту рукописи наискось написано:* Воспоминаніе о свиданіи, когда она замужемъ. *Несколько ниже:* Убьютъ опять, вотъ и всё

[84] *Зачеркнуто:* Въ 12 часовъ онъ

ровалъ еще 150, которыхъ у него не было, и поѣхалъ домой.[85] Дорогой опять привычная грусть начала сосать его. Какой то непонятный вопросъ – зачѣмъ? безпрестанно представлялся ему, и ему было все грустнѣе и грустнѣе, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ вспоминалъ, что говорилъ про справки и говоритъ: хорошо [у] бабушки, и дремля твердилъ это теперь. Шинель становилась сырѣй и сырѣй, лужи больше и больше. Но вотъ кусты, кажется эти.[86] Да, надо завтра взять деньги изъ ящика, отдать, этаго каналью фуражира выпороть, что сѣно купилъ по 80, а у Генерала по 60. Пріѣду домой – небось палатка насквозь промокла, и постель мокра, а Николаевъ пьянъ навѣрно, – и онъ снова закрылъ глаза. Сказано, что если вѣруешь, то горы подвигнешь. Господи, подумалъ онъ, дай мнѣ семейную тихую жизнь, выведи меня отсюда.

[87]Онъ посмотрѣлъ кругомъ, мѣсяцъ совсѣмъ уже выплылъ, но его перерѣзала тонкая черная тучка. Темная полоса тучи такъ же[88] рѣзко отдѣлялась отъ горизонта. Мелкій дождь сыпалъ сверху изъ сплошнаго сѣраго неба. Направо ровная даль, налѣво огни Севастополя. Дорога бѣлѣла рѣзче, извиваясь между чернымъ кустарникомъ, изрѣдка узкими тропинками огибая его. Такъ вотъ, за этими кустами, полверсты небольше будетъ, подумалъ онъ, снова закрывая глаза. Онъ совершенно забылся минуты на двѣ. Когда онъ открылъ глаза, дождикъ переставалъ, едва сыпался, когда приносило его вѣтромъ изъ дальней тучи; было свѣтлѣй, тѣже кусты виднѣлись съ обѣихъ сторонъ дороги, но кусты эти были выше и чаще, точно аллея. Чѣмъ больше онъ вглядывался, тѣмъ болѣе измѣнялись они; онъ поглядѣлъ на право: кусты мѣшались съ высокими деревьями, которыхъ, онъ твердо зналъ, небыло въ этомъ мѣстѣ. За деревьями между ними блестѣла вода, двигаясь между корней, которые сами бѣжали, одинъ застилая другой. Онъ сталъ вглядываться: это похоже было на садъ. – Онъ оглянулся на лѣво, гдѣ не смотря чувствовалъ свѣтъ и принималъ его за огни выстрѣловъ Севастополя. Эти дальніе огоньки не мелькали, а стояли на мѣстѣ ровнымъ четвероугольникомъ. Не было сомнѣнья, это домъ съ освѣщенными окнами. Куда я заѣхалъ? Однако онъ толкнулъ впередъ лошадь. Вотъ и въѣздъ въ аллею, по которой лошадь пошла сама какъ домой веселой иноходью. Онъ посмотрѣлъ на лошадь, – и лошадь была другая, вороная, съ толстой шеей и острыми ушами и длинной гривой. Въ ней чувствительна была сила и игривость, она бойко раскачива[ясь] потопывала по лужамъ и подкидывала спиной и подергивала поводья, поворачивая голову, то направо, то налѣво.[89]

Едва она подъѣхала къ крыльцу, какъ въ темное окно высунулась сзади освѣщенная женская фигура и по лѣстницѣ послышался топотъ. Вышелъ старикъ дядька его и взялъ лошадь.

– [*1 неразобр.*] промокнуть П. Н. – сказалъ онъ. Какая то собачонка съ визгомъ стала вертѣться вокругъ лошади.

– Нехорошо, Петръ Николаичь, – сказала женская фигура, – не слушаться жену: я говорила, что будетъ дождикъ. – Вереинъ тотчас узналъ голосъ М. Н., онъ понялъ, что она жена его, но странно, удивился очень мало. Онъ почувствовалъ себя дома и уже давно. Что-то прилило къ сердцу – счастіе. Онъ вошелъ на лъстницу. Все это было ему ново, но знакомо, ужасно знакомо и мило. Этотъ ларь, ручка двери и т. д. Онъ даже вспомнилъ, что уѣзжая изъ дома почти поссорился съ женой за то, что она не хотѣла отнять отъ груди младшаго ребенка, дѣвочку, которой былъ ужъ 2-й годъ. – Она упрекнула его въ своеволіи, а онъ посмѣялся довольно зло надъ нѣжностью, которую будто она афектировала. – Онъ вошелъ на лѣстницу. – Все было какъ слѣдуетъ.[90] Жена встрѣтила его. Она много похудѣла, лицо было прозрачно, руки ужасно худы, но та же милая добродушно веселая улыбка, волосы ея были зачесаны назадъ, на ней

---

[85] *Зачеркнуто:* Покуда я разсказывалъ его характеръ и проведенный день, онъ уже подъѣз[жалъ]

[86] *По тексту рукописи наискось написано:* Картина Крымска[я]

[87] *Зачеркнуто:* Черезъ минуты 2 онъ открылъ глаза. Картина

[88] *В подлиннике:* также

[89] *По тексту рукописи наискось написано:* Мокрые листы [*1 неразобр.*] облипали его. *Несколько ниже:* Узнаетъ продан. имѣнье

[90] *Зачеркнуто:* Пахло

было пестрое голубаго цвѣта платье. – Я тебя послушала, мой другъ, – сказала она, цѣлуя его въ щеку, – я отняла Машу. – Ахъ напрасно, – сказалъ онъ недовольно, – а я хотѣлъ сказать, что я вралъ утромъ, виноватъ. – Она улыбнулась. – Хочешь чаю, мы пили, но самоваръ ждетъ тебя. – Они вошли въ гостиную, на диванѣ за картами сидела старушка мать Вереина, которая умерла тому назадъ лѣтъ 8 и теперь постарѣла очень. У окна сидѣлъ старшій братъ. Онъ читалъ вслухъ, подлѣ него стоялъ кудрявый мальчишка,

* II.
ОТРЫВОК ДНЕВНИКА 1857 ГОДА.
[Путевые записки по Швейцарии.]

15/27 Мая. Нынче утромъ уѣзжали мои соотечественники и сожители въ Кларанскомъ пансіонѣ Кетерера. Я давно уже сбирался идти пѣшкомъ по Швейцаріи, и кромѣ того мнѣ слишкомъ бы грустно было оставаться одному въ этомъ миломъ Кларанѣ, въ которомъ я нашелъ такихъ дорогихъ друзей; я рѣшился пуститься въ путь нынче же, проводивъ ихъ.

Съ утра въ 3-хъ нашихъ квартирахъ происходила возня укладки. – Впрочемъ, наши хозяева поняли насъ русскихъ и, несмотря на то, что мы всѣ хвастались другъ передъ другомъ своей практичностью, укладывали за насъ трудолюбивые муравьи Кетереры.

Долго я пытался достигнуть акуратности нѣмецкой, но теперь ужъ махнулъ рукой, утѣшая себя тѣмъ, что ежели у меня и пропадаютъ и пачкаются и мнутся вещи больше, чѣмъ у Прускаго Генерала, который укладывался два дня не переставая, за то ужъ и никому такъ равнодушно не обойтись безъ пропащей вещи и не носить испачканнаго или измятаго платья. Это тоже русская практичность въ своемъ родѣ.

Въ 8 часовъ мы всѣ въ послѣдній разъ сошлись за Кетереровскимъ чаемъ, въ маленькомъ salon[91], съ ситцевыми гардинками и портретами Наполеона въ Берлинѣ и Фридриха съ кривымъ носомъ. Всѣ были такіе же чистенькіе, общительные, жизнерадостные, какъ и каждый день въ продолженіи 2-хъ мѣсяцевъ. —

Въ концѣ чая въ salon вошла наша соотечественница, съ своими дѣтьми. Она искала квартеру. – Старшему 11-ти лѣтнему мальчику ея ужасно хотѣлось идти въ горы, а такъ какъ мнѣ всегда казалось, что ходить по Швейцаріи съ очень молодымъ мальчикомъ, для котораго «еще новы всѣ впечатлѣнья бытія», должно быть вдвое пріятнѣе, я предложилъ матери отпустить его со мной. Мать согласилась, и мальчикъ рысью, раскраснѣвшись и отъ радости задирая ноги чуть не выше головы, побѣжалъ укладываться. —

Въ 10 часовъ мы всѣ были въ извѣстномъ положеніи укладывающихся людей, т. е. ходили безъ всякаго дѣла кругомъ комнаты и растерянными глазами оглядывали лежащіе на полу чемоданы и стѣны комнатъ, все что-то вспоминая. Въ это время пріѣхали изъ Montreux русскіе барышни съ только что пріѣхавшей изъ Россіи матерью и еще съ какимъ то господиномъ, тоже русскимъ; потомъ пріѣхали русскіе изъ Basset, тоже нынче уѣзжающіе. Благодарный Кетереръ за подарки, которые сдѣлалъ ему нашъ кружокъ, приготовилъ завтракъ. Не было одной комнаты свободной, вездѣ чемоданы, отворенныя двери, всѣ комнаты сдѣлались ничьи. Гости переходили изъ одной въ другую. Было одно время, что какъ будто никто не зналъ, кто у кого и зачѣмъ, и кто куда ѣдетъ, и съ кѣмъ прощаться. Я зналъ только то, что разстраивается нашъ мирный милый кружокъ, въ которомъ я не видалъ, какъ прожилъ 2 мѣсяца, и эти 2 мѣсяца, я чувствовалъ, останутся навсегда дорогимъ воспоминаніемъ моему сердцу. Это чувствовали, кажется, и всѣ.

[91] [салоне,]

Въ 12 часовъ всѣ тронулись провожать первыхъ отъѣжающихъ, мужа съ женой П[ущиныхъ]. Я надѣлъ свой ранецъ, взялъ въ руки Alpenstock,[92] подарокъ прусскаго 95[93] лѣтняго Генерала, и всѣ тронулись пѣшкомъ до парохода. Насъ было человѣкъ 10; правда, что большая часть изъ этихъ людей были рѣдко встрѣчающіеся превосходные люди, особенно женщины, но на всемъ нашемъ обществѣ въ это утро лежала одинаковая общая всѣмъ печать какого-то трогательнаго чувства благодушія, простоты и любовности (какъ ни странно это выраженіе), я чувствовалъ, что всѣ были настроены на одинъ тонъ; это доказывали и ровныя, мягкія походки, и нѣжно искательные звуки голосовъ, и слова тихой пріязни, которыя слышались со всѣхъ сторонъ. – Удивительно спокойно гармоническое и христіанское вліяніе здѣшней природы. —

Погода была ясная, голубой, ярко-синій Леманъ, съ бѣлыми и черными точками парусовъ и лодокъ, почти съ трехъ сторонъ сіялъ передъ глазами; около Женевы въ дали яркаго озера дрожалъ и темнѣлъ жаркой воздухъ, на противуположномъ берегу круто поднимались зеленыя савойскія горы, съ бѣлыми домиками у подошвы, – съ разсѣлинами скалы, имѣющими видъ громадной бѣлой женщины въ старинномъ костюмѣ. На лѣво, отчетливо и близко надъ рыжими виноградниками, въ темно-зеленой гущѣ фруктовыхъ садовъ, виднѣлись Монтрё съ своей прилѣпившейся на полускатѣ граціозной церковью, Вильневъ на самомъ берегу, съ ярко блестящимъ на полуденномъ солнцѣ желѣзомъ домовъ, таинственное ущелье Вале съ нагроможденными другъ на друга горами, бѣлый холодный Шильонъ надъ самой водой и воспѣтый островокъ, выдуманно, но все таки прекрасно торчащій противъ Вильнёва. Озеро чуть рябило, солнце пря[мо][94] сверху ударяло на его голубую поверхность, и распущенныя по озеру паруса, казалось, не двигались. —

Удивительное дѣло, я два мѣсяца прожилъ въ Clarens, но всякой разъ когда я утромъ или особенно передъ вечеромъ, послѣ обѣда, отворялъ ставни окна, на которое уже зашла тѣнь, и взглядывалъ на озеро и на зеленыя и далью синія горы, отражавшіяся въ немъ, красота ослѣпляла меня и мгновенно, съ силой неожиданнаго действовала на меня. Тотчасъ же мнѣ хотѣлось любить, я даже чувствовалъ въ себѣ любовь къ себѣ, и жалѣлъ о прошедшемъ, надѣялся на будущее, и жить мнѣ становилось радостно, хотѣлось жить долго-долго, и мысль о смерти получала дѣтской поэтической ужасъ. Иногда даже, сидя одинъ въ тѣнистомъ садикѣ и глядя, все глядя на эти берега и это озеро, я чувствовалъ, какъ будто физическое впечатлѣніе, какъ красота черезъ глаза вливалась мнѣ въ душу.

Подойдя къ Верне, маленькой деревушкѣ, гдѣ пристаетъ параходъ, мы нашли на лавочкахъ подъ высокими раинами, какъ всегда и вездѣ въ Швейцаріи, семейство чистоплотныхъ Англичанъ, пастора въ бѣломъ галстукѣ, старуху съ корзинкой и 2 молодыхъ швейцарокъ въ шляпкахъ, съ багровымъ румянцомъ и пѣвучими голосками. Всѣ дожидались парохода. Я не умѣю говорить передъ прощаньемъ съ людьми, которыхъ я люблю. Сказать, что я ихъ люблю, – совѣстно, отчего я этаго не сказалъ прежде? говорить о пустякахъ тоже совѣстно.[95] Я пошелъ на берегъ дѣлать камушками рикошеты и занимался этимъ до самаго того время[ни] какъ лодочникъ сказалъ, что пора садиться въ лодку и выѣзжать къ пароходу. Сапоги и башмаки застучали по полу лодки, и два большія весла стали толкать лодку. Мы подъѣхали подъ самый параходъ такъ близко,[96] что пѣна забрызгала насъ. Покуда намъ бросали канатъ, съ парахода празднично смотрѣли на насъ пасажиры, опершись на рѣшетку, знакомый капитанъ <съ французской бородкой кланяясь встрѣтилъ у трапа чету П[ущиныхъ], пустили веревку, синяя какъ[97]

---

[92] *В подлиннике:* alpenschtok [альпийскую палку,]

[93] *Цыфра* 9 *переправлена из* 8 *или наоборот.*

[94] *Клочек бумаги с окончанием слова вырван.*

[95] *Зачеркнуто:* и не хочется.

[96] *Зачеркнуто:* что дамы закричали.

[97] *Зачеркнуто:* сизоворонка.

распущенная лазурь> вода забурлила около ярко красныхъ колесъ, и какъ будто мы побѣжали прочь отъ парахода. Пасажиры передвинулись къ кормѣ, замахали платки, и наши друзья очутились ужъ совсѣмъ далеко отъ насъ и въ чужой незнакомой средѣ людей, которые ихъ окружали.

Тамъ тоже махали другіе платками и совсѣмъ не намъ, а краснощекой швейцаркѣ, которая, необращая на насъ никакого вниманія, тоже махала батистовымъ платкомъ. На сушѣ, у поворота въ Монтрё, я простился еще съ дорогими друзьями и съ уже менѣе мнѣ близкими людьми пошелъ въ гору въ Монтрё за своимъ молодымъ спутникомъ. Нашъ милый кружокъ[98] былъ разстроенъ, и вѣрно навсегда, дамы, съ которыми я шелъ, говорили о своихъ частныхъ дѣлахъ, я почувствовалъ себя вдругъ одинокимъ, и мнѣ это показалось такъ грустно, какъ будто это случалось со мной въ первый разъ.

Вмѣстѣ съ земляками въ два часа мы пошли обѣдать въ пансіонъ Вотье. Несмотря на самыя разнообразныя личности, соединяющіяся въ пансіонахъ, ничто не можетъ быть однообразнѣе вообще пансіона. —

Мы вошли въ низкую длинную комнату съ длиннымъ накрытымъ столомъ. На верхнемъ концѣ сидѣлъ тотъ самый сѣдой чистовыбритый англичанинъ, который бываетъ вездѣ, потомъ еще нѣсколько островитянъ мужскаго и женскаго пола, потомъ скромные, пытающіеся быть общительными нѣмцы и развязные русскіе и молчаливые неизвѣстные. За столомъ служили румяные миловидные швейцарки, съ длинными костлявыми руками, и M-me Votier въ черномъ чепцѣ, съ протестантской кроткой улыбочкой, нагибаясь спрашивала, что кому будетъ угодно. Тѣ же какъ и во всѣхъ пансіонахъ 5 кушаній съ повтореніями, и тѣже разговоры на англійскомъ, нѣмецкомъ и ломанномъ французскомъ языкахъ, о прогулкахъ, о дорогахъ, о гостинницахъ. – Въ началѣ весны обитатели пансіоновъ еще дичатся другъ съ другомъ, въ серединѣ лѣта сближаются и подъ конецъ дѣлаются врагами; тотъ шумѣлъ прошлую ночь и не давалъ спать, тотъ прежде беретъ кушанье, тотъ не отвѣтилъ на поклонъ. Особенно нѣмки по своей обидчивости, и Англичане по своей важности бываютъ зачинщиками раздоровъ…

Въ 4[99] часа, напившись кофею, я зашелъ за своимъ спутникомъ. Послѣ радостной торопливой бѣготни, которая продолжалась ¼ часа, онъ былъ готовъ и съ мѣшкомъ черезъ плечо и длинной палкой въ рукахъ прощался съ матерью, сестрой и братомъ. Отъ Монтрё мы стали подниматься по лѣсинкѣ, выложенной въ виноградникахъ, прямо вверхъ въ гору.[100] Ранецъ мой такъ тянулъ мнѣ плечи и было такъ жарко, что я только храбрился передъ своимъ товарищемъ, а думалъ, что вовсе не въ состояніи буду ходить съ этой ношей. Но видъ озера, который все[101] уже и уже, и вмѣстѣ съ тѣмъ блестящее и картиннѣе, открывался передъ нами, и заботы о томъ, чтобы Саша (мой спутникъ) не мучался бы напрасно, подпрыгивая по ступенькамъ и не оборвался бы подъ 10 и кое гдѣ 20-ти аршинную стѣну виноградника, развлекали меня, и пройдя съ полчаса, я уже начиналъ забывать объ усталости. – Ужъ мальчикъ мнѣ былъ чрезвычайно полезенъ однимъ тѣмъ, что избавлялъ меня отъ мысли о себѣ и тѣмъ самымъ придавалъ мнѣ силы, веселости и моральной гармоничности, ежели можно такъ выразиться.

Я убѣжденъ, что въ человѣка вложена безконечная не только моральная, но даже физическая безконечная сила, но вмѣстѣ съ тѣмъ на эту силу положенъ ужасный тормазъ – любовь къ себѣ или скорѣе память о себѣ, которая производитъ безсиліе. Но какъ только человѣкъ вырвется изъ этаго тормаза, онъ получаетъ всемогущество. Хотѣлось бы мнѣ сказать, что лучшее средство вырваться есть любовь къ другимъ, но къ несчастью это было бы несправедливо. Всемогущество есть безсознательность, безсиліе – память о себѣ. Спасаться отъ этой памяти о

---

[98] *Слова:* Нашъ милый кружокъ – *вписаны между строк, вместо зачеркнутого:* унисонъ.

[99] *Цыфра* 4 *переправлена из* 3.

[100] *Зачеркнуто:* Мѣшокъ

[101] *Зачеркнуто:* шире и

себѣ можно посредствомъ любви къ другимъ, посредствомъ сна, пьянства, труда и т. д.; но вся жизнь людей проходитъ въ исканіи этаго забвенія. – Отчего происходитъ сила ясновидящихъ, лунатиковъ, горячечныхъ или людей, находящихся подъ вліяніемъ страсти? матерей, людей и животныхъ, защищающихъ своихъ дѣтей? Отчего вы не въ состояніи произнести правильно слова, ежели вы только будете думать о томъ, какъ бы его произнести правильно? Отчего самое ужасное наказаніе, которое выдумали люди есть – вѣчное заточеніе? (Смерть, какъ наказаніе, выдумали не люди, они при этомъ слѣпое орудіе Провидѣнья). Заточеніе, въ которомъ человѣкъ лишается всего, что можетъ его заставить забыть себя, и остается съ вѣчной памятью о себѣ. И чѣмъ человѣкъ спасается отъ этой муки? Онъ для паука, для дырки въ стѣнѣ, хоть на секунду забываетъ себя. Правда, что лучшее, самое сообразное съ общечеловѣческой жизнью спасенье отъ памяти о себѣ есть спасенье посредствомъ любви къ другимъ; но не легко пріобрѣсти это счастье. —

.....

Я намѣренъ былъ черезъ гору Jaman идти на Фрейбургъ.[102]

Въ Avants[103], 1½ часа отъ Монтрё, мы хотѣли ночевать нынче. Когда мы вышли на большую дорогу, высѣченную, какъ всѣ горныя дороги, фута на два въ каменномъ грунтѣ, идти стало легче. Мы поднялись уже такъ высоко, что около насъ не видать было желто-кофейныхъ плѣшинъ виноградниковъ, воздухъ какъ будто сталъ свѣжѣе, и съ лѣвой стороны, съ которой заходило солнце, сочнолиственныя, темнозеленыя лѣсныя, а не фруктовыя, деревья закрывали насъ своей тѣнью. На право виднѣлся глубокой зеленый оврагъ съ быстрымъ потокомъ; черезъ него торчалъ[104] на горѣ Rigi Vaüdais пансіонъ, составляющій казенную partie[105] Англичанокъ и Нѣмокъ, а оглянувшись назадъ виднѣлось уже значительно съужившееся синее озеро съ бѣлыми парусами и съ дорожками, которыя по разнымъ направленіямъ бѣжали по немъ. – Вале въ синей дали съ русломъ Роны далеко и глубоко растилался передъ нами, на право снѣговыя горы Савои обозначались чище и яснѣе. —

Чѣмъ выше мы поднимались, тѣмъ рѣже встрѣчали швейцарцовъ съ корзинками за плечами и съ пѣвучими bonsoir Monsieur,[106] которыми они привѣтствовали насъ, лѣсъ становился гуще и чернѣе, дорога становилась грязнѣе, глинистѣе и колеистѣе. Можетъ быть, это отъ того, что я Русской, но я люблю, просто люблю, глинистые, чуть засыхающія, еще мягкія жолтыя колеи дороги, особенно, когда они въ тѣни, и на нихъ есть слѣды копытъ. – Мы присѣли въ тѣни на камнѣ около жолобка воды, изъ котораго чуть слышно лилась струйка прозрачной воды, я досталъ фляжку и накапалъ рому въ стаканчикъ. Мы выпили съ наслажденьемъ, надъ нами заливались лѣсныя птицы, которыхъ не слышишь надъ озеромъ, пахло сыростью, лѣсомъ и рубленной елью. – Было такъ хорошо идти, что намъ жалко было проходить скоро.

Вдругъ насъ поразилъ необыкновенный, счастливый, бѣлый весенній запахъ. Саша побѣжалъ въ лѣсъ и сорвалъ вишневыхъ цвѣтовъ, но они почти не пахли; съ обѣихъ сторонъ были видны зеленыя деревья и кусты безъ цвѣта. Сладкой одурѣвающій запахъ все усиливался и усиливался. Пройдя сотню шаговъ, съ правой стороны кусты открылись, и покатая, огромная, бѣлозеленая долина съ нѣсколькими разбросанными на ней домиками открылась передъ нами.

Саша побѣжалъ на лугъ рвать обѣими руками бѣлыя нарцисы[107] и принесъ мнѣ огромный, невыносимо пахучій букетъ, но съ свойственной дѣтямъ разрушительной жадностью, побѣжалъ еще топтать и рвать чудные молодые сочные цвѣты, которые такъ нравились ему. —

---

[102] *В подлиннике:* Фрибургъ

[103] *В подлиннике:* Avant

[104] *В подлиннике:* торчала

[105] [прогулку]

[106] [добрый вечер, мосьё,]

[107] *Зачеркнуто:* которыми онъ былъ усѣянъ, буквально покрытъ

<Странная грустная вещь – всегда несогласуемое противорѣчіе во всѣхъ стремленіяхъ человѣка, но жизнь какъ-то странно по своему соединяетъ всѣ эти стремленія, и изъ всего этаго выходитъ что-то такое неконченное, не то дурное, не то хорошее, грустное, жизненное. Всегда полезное противуположно прекрасному. Цивилизація исключаетъ поэзію. – Полей съ нарцизами уже остается мало, потому что скотина не любитъ ихъ въ сѣнѣ>.

Avants состоитъ изъ десятка швейцарскихъ домиковъ, разбросанныхъ у подошвы Jaman, передъ началомъ глубокаго заросшаго оврага, который идетъ до самаго Монтрё, на широкой просторной зеленой полянѣ, буквально усѣянной нарцисами. Кругомъ темныя дубовыя и сосновыя рощи, вверху скалистый зубъ Жаманской, внизу открывается домъ Риги, нѣсколько шале, и уголокъ синяго далекаго озера и <лощины>[108], съ изполосанной дорогами, изгородями и Роной долиной Вале. Нѣсколько потоковъ шумятъ около домовъ. —

Намъ указали гостинницу: это скромный, еще необитаемый пансіонъ. Швейцарка съ зобомъ отнесла наши котомки въ двѣ чистенькія комнатки, дала кисленькаго вина и накрыла чай на терасѣ. Мальчишки стрѣляли въ цѣль изъ арбалета, странствующій итальянецъ чинилъ посуду передъ однимъ изъ домиковъ. Здоровые швейцарцы, съ голыми по подъмышки грязными руками, укладывали вонючій сыръ, другая старая старушка съ зобомъ, сидя на бревнѣ, вязала чулокъ передъ домомъ, около котораго было два чахлыхъ кусточка розановъ, вотъ все, что мы видѣли, пройдясь по деревнѣ. Уединенно, бѣдно, скромно[109] и надъ этимъ всѣмъ непоколебимая красота зеленыхъ лѣсистыхъ горъ, синей дали, съ клочкомъ блестящаго озера, и прозрачнаго неба, на которомъ бѣлымъ облачкомъ стоялъ матовой молодой мѣсяцъ.

Саша побѣгалъ по деревнѣ, завелъ знакомство съ Итальянцомъ, узналъ, сколько у него дѣтей и хорошо ли жить въ Миланѣ, придержалъ пальцомъ фонтанъ около дома и запы[ха]вшись вернулся на терасу. Мы напились чаю и разошлись въ свои комнатки. Я сѣлъ было писать, но вспомнивъ о друзьяхъ, съ которыми разстался, мнѣ стало такъ грустно, что я бросилъ и изъ окна перелѣзъ на терасу. – Все уже было черно кругомъ, мѣсяцъ свѣтилъ на просторную поляну, потоки, ненарушаемые дневнымъ шумомъ, равномѣрно гудѣли въ глуби оврага, бѣлый запахъ нарцизовъ одурѣвающе былъ разлитъ въ воздухѣ, сосны и скалы отчетливо рисовались на свѣтломъ мѣсячномъ горизонтѣ.

Хозяйка мнѣ сказала, что поля съ нарцизами скверные луга для скотины[110] [*1 неразобр.*] переводятъ. Неужели такой законъ природы, что полезное противорѣчитъ прекрасному, цивилизація поэзіи? – пришло мнѣ въ голову. – Зачѣмъ же эта путаница? Зачѣмъ несогласуемыя противорѣчія во всѣхъ стремленіяхъ человѣка? – думалъ я, чувствуя въ тоже время какое то сладкое чувство красоты, наполнявшее мнѣ душу. И въ себѣ я чувствовалъ противорѣчіе. Впрочемъ всѣ эти кажущіеся несогласуемыми стремленія жизнь какъ то странно по своему соединяетъ ихъ. И изъ всего этаго выходитъ что-то такое неконченное, не то дурное, не то хорошее, за которое человѣкъ самъ не знаетъ благодарить или жаловаться. Видно покамѣста такъ надобно. —

Въ молодости я рѣшалъ и выбиралъ между двумя противорѣчіями; теперь я довольствуюсь гармоническимъ колебаніемъ[111]. Это единственное справедливое жизненное чувство. Красота природы всегда порождаетъ его во мнѣ, это чувство не то радости, не то грусти, не то надежды, не то отчаянія, не то боли, не то наслажденія[112]. И когда я дойду до этаго чувства,

---

[108] *Зачеркнутое по ошибке слово:* лощины *должно быть восстановлено, иначе утрачивается связь с окончанием всей фразы.*

[109] *Слово:* скромно *залито чернилами и читается предположительно.*

[110] *Следующее слово залито чернилами и не поддается прочтению.*

[111] колебаніемъ *вписано между строк вместо зачеркнутого:* сомнѣніемъ

[112] наслажденія – *вписано между строк, вместо зачеркнутого:* радости.

я останавливаюсь[113]. Я уже знаю его, не пытаюсь развязать узла, а довольствуюсь этимъ колебаніемъ.

Я опять перелѣзъ въ окно и скоро спокойно заснулъ въ своей маленькой чистенькой комнаткѣ, въ которую до половины пола проникали лучи мѣсяца.

16/28 Мая. Я проснулся въ 4. Въ окно уже виднѣлся блѣдный свѣтъ утра. Башмаки мои не были принесены, дверь заперта снаружи, я отворилъ окно, перелѣзъ въ него на терасу.

Свѣжій воздухъ охватилъ меня и дрожь пробѣжала по тѣлу. Потоки также какъ и вчера уединенно и равномѣрно шумѣли внизу темнаго сырого оврага, надъ голубымъ озеромъ далеко тянулись туманныя бѣлыя тучки, жаманской скалистой зубъ на верху съ снѣгомъ, прилѣпившимся къ нему, отчетливо виднѣлся на золотисто голубомъ горизонтѣ, разбросанные по горамъ шале казались ближе, на травѣ и по дорогѣ серебрилась морозная роса. Гдѣ то недалеко ужъ звонили бубенчиками пасущіеся коровы. – Я постучался къ хозяйкѣ. Костлявая съ длинными руками дѣвушка отворила мнѣ дверь, изъ которой пахнуло спаньемъ, и дала башмаки и платье. Я разбудилъ Сашу, онъ укусилъ себя за мизинецъ, чтобы совсѣмъ проснуться, и черезъ ¼ часа мы были готовы, заплатили хозяйкѣ что то 4 франка за постели, чай и вино и пустились въ дорогу. – Широкая вытесанная дорога извиваясь шла въ гору. – Съ права и съ лѣва все глуше и мрачнѣе становился еловый и сосновый лѣсъ. Кое гдѣ попадались какъ бы болотца съ блѣдной растительностью, отъ недавно стаявшаго снѣга, попадались изгороди, отдѣлявшія одну горную пастьбу отъ другой, и небольшія полянки на полугорьяхъ, на которыхъ, позваниваая подвѣшанными подъ горло бубенчиками, паслись некрупныя, но сбитыя, красивыя швейцарскія коровы и граціозныя козочки. Даже повернувшись назадъ не было видно веселаго блестящаго озера, все было серьезно, уныло, но не мрачно и мягко.[114] —

Съ полчаса отъ Avants мы подошли къ загородкѣ съ затворенными воротами. Опять большая поляна надъ оврагомъ и на полянѣ длинный шале, въ которомъ дѣлаютъ сыръ, съ фонтаномъ и колодой. Проходя мимо шале, мы услыхали въ немъ звонки и топотъ копытъ поворачивающихся коровъ и голоса.

– Здраствуйте, кто тамъ? – спросилъ я, перегнувшись черезъ запоры въ темныя конюшни.

– Jae! – откликнулся оттуда заспанный грубый голосъ, – qui est là?[115]

– Иностранцы. Нѣтъ ли молока? – спросили мы. —

Къ намъ вышелъ[116] малый лѣтъ 16-ти съ лилово желтыми засученными руками и ногами и такимъ же лицомъ съ тупымъ удивленнымъ выраженіемъ. Другой старый голосъ слышенъ былъ изъ конюшни; онъ на своемъ грубомъ patois[117] сказалъ что-то малому. – Малый указалъ намъ на плоской чанъ съ молокомъ, положилъ въ него деревянное орудіе въ родѣ лопаты безъ ручки и сказавъ «voilà»,[118] скрылся въ конюшнѣ. —

– Ну что̀, хотите? – сказалъ я Сашѣ, предлагая ему деревянное орудіе и указывая на желтоватое съ синимъ [молоко], все усыпанное сверху плавающимъ соромъ. —

Саша расхохотался только, мы напились воды и пошли дальше.

– И онъ думаетъ, что это пить можно. Хорошо угощеніе! – говорилъ Саша, подсмѣиваясь надъ швейцарскимъ сырникомъ. —

У дѣтей, как и у простолюдиновъ, есть одинаковое счастливое свойство насмѣшливости надъ привычками и обычаями, которые не похожи на ихніе. Сколько разъ я видалъ, какъ наши солдаты помирали со смѣху надъ Французами, отъ того что они не понимали по русски, и надъ

---

[113] *Зачеркнуто:* Далѣе я никогда не могъ идти.

[114] *Последняя фраза читалась первоначально:* почти мрачно, но и мягко.

[115] [Кто там?]

[116] *Зачеркнуто:* худощавый, здоровый

[117] [местном наречии]

[118] [вот вам,]

татарами, которые снимали башмаки, входя въ комнату. И Саша никакъ не могъ понять, что ему въ горной сырнѣ не подается молоко, какъ въ пансіонѣ Вотье, и помиралъ со смѣху надъ этимъ. – Больше уже до самой вершины Jaman[119], мы не встрѣчали жилищъ; только то надъ головами въ кустахъ, то внизу надъ самымъ оврагомъ слышали равномѣрно[е] побрякиванье бубенчиковъ пасущагося стада. Разъ даже цѣлое стадо, въ главѣ котораго бѣжала веселинькая красная коровка съ маленькой головкой и на тоненькихъ прямыхъ ножкахъ, наткнулась на насъ. Саша посторонился съ уваженіемъ отъ коровъ, но поймалъ маленькую козочку за рога и съ хохотомъ любовался ворочаньемъ ея коротенькаго черненькаго хвостика. – Ну еще, вотъ такъ, ну еще, – приговаривалъ онъ. —

Правду мнѣ говорили, что чѣмъ выше идешь въ горы, тѣмъ легче идти; мы шли ужъ съ часъ и оба не чувствовали ни тяжести мѣшковъ, ни усталости. Хотя мы еще не видѣли солнца, по оно черезъ насъ, задѣвая нѣсколько утесовъ и сосенъ на горизонтѣ, бросало свои лучи на возвышенье напротивъ; потоки всѣ слышны были внизу, около насъ только сочилась снѣговая вода, и на поворотахъ дороги мы снова стали видѣть озеро и Вале на ужасной глубинѣ подъ нами. Низъ Савойскихъ горъ былъ совершенно синій как озеро, только темнѣе его, верхъ, освѣщенный солнцемъ, совершенно бѣло-розовый. Снѣговыхъ[120] горъ было больше, они казались выше и разнообразнѣе. Паруса и лодки, какъ чуть замѣтныя точки, были видны на озерѣ.

Это было что-то красивое, даже необыкновенно красивое, но это не природа, а[121] что то такое хорошее. Я не люблю этихъ, такъ называемыхъ, величественныхъ знаменитыхъ видовъ – они холодны какъ-то. – Саша кажется раздѣлялъ мое мнѣніе. Даль этаго вида только интересовала его, но не нравилась очень. Черезъ послѣдній потокъ, который намъ надо было перейти, намъ пришлось снова спускаться на нѣсколько сотъ шаговъ въ глубокой оврагъ на мостикъ. Этотъ видъ больше поразилъ насъ. —

Внизу – крутой шумный потокъ по камнямъ, черезъ который переброшенъ мостикъ изъ нетесанныхъ елей; съ нашей стороны между черными, все густѣющими книзу елями, вьется внизъ каменистая дорога и по другой сторонѣ, по каменистому уступистому косогору поднимается вверхъ. – По крутому теченію все гуще и гуще ели; кое гдѣ повырваны и переброшены на камни красные стволы, и корни виднѣются на серебристой пѣнѣ, и рядомъ съ пѣной симетрическая верхушка другой сосны, растущей въ обрывѣ; и къ низу все гуще и гуще, круче и круче идетъ потокъ, перемѣшиваясь съ темнозелеными верхушками и, наконецъ, на самомъ низу его закрываетъ отъ глазъ облако, кое гдѣ прорванное кажущимися совершенно черными вѣтвями сосенъ.

Перейдя мостикъ, Dent de Jaman[122] казалась уже совершенно надъ нами, мы различали ея разсѣлины и снѣгъ и кусты около нея; но идти еще было тяжело и далеко. Саша мой все старался идти прямѣе, по діагоналямъ, забѣгалъ впередъ и отдыхалъ, и отъ этаго уставалъ еще больше. Онъ уже отказывался идти, и мнѣ становилось тяжело; но зная по опыту, что надо не вѣрить первому моменту усталости, я, ели-ели передвигая ногу за ногу, все шелъ впередъ по зигзагамъ дороги, которая поднималась по рѣдкому бору.

Солнце[123] еще не выбралось изъ за скалъ[124]. Вездѣ пусто, сыро, никого не видно и не слышно, съ обѣихъ сторонъ голые стволы деревъ и бѣдная растительность. Чѣмъ выше мы поднимались, становилось грязнѣе[125] и грязнѣе отъ таявшаго снѣга, ноги скользили и мѣшокъ

---

[119] *В подлиннике:* Jeaman.

[120] *В подлиннике:* снѣговыя

[121] *Зачеркнуто:* декорація

[122] *В подлиннике:* dent du Jeaman

[123] *Зачеркнуто:* уже

[124] *Зачеркнуто:* и ударяло прямо окрашивая красные стволы сосенъ часто несносно ударяло въ лицо. Кромѣ того наверху становилось

[125] *Со слов:* Вездѣ пусто *кончая:* грязнѣе – *вписано между строк, вместо вычеркнутой фразы. См. предыдущее примечание.*

страшно тянулъ мнѣ спину, и я уже думалъ, что вовсе не такъ пріятно ходить пѣшкомъ по Швейцаріи, какъ всѣ говорятъ, когда вдругъ все перемѣнилось. Выше меня послышались бубенчики [и] сильный, свѣжій мужской голосъ, который пѣлъ эту вѣчную швейцарскую пѣсню съ гортанными переливами; пройдя маленькой зигзагъ, мы очутились на маленькой сырой полянкѣ, съ которой открылся еще шире, дальше и блестящѣе видъ на озеро; солнце большей половиной выкатилось изъ за скалы и ослѣпительно заблестѣло по голымъ краснымъ стволамъ сосенъ и по сырой травѣ поляны. —

Взглянувъ вверхъ, надъ самой головой, я увидалъ черную навьюченную лошадку, которая, опустивъ голову внизъ, какъ бы обнюхивая дорогу, по самой окраинѣ спускалась внизъ, осторожно поджимая заднія ноги. Сзади скорыми шагами съ палкой въ рукѣ шелъ Швейцарецъ, молодой красивый малый въ соломенной шляпѣ. Увидавъ насъ, онъ пересталъ пѣть и только весело покрикивалъ на лошадку. – Bonjour, monsieur, – сказалъ онъ весело, заигрывающе ударяя на послѣднемъ слогѣ, когда мы сошлись съ нимъ. – Bonjour, далеко ли до Alières? – Два маленькихъ часика, – отвѣчалъ онъ, и – хупъ, хупъ, – закричалъ онъ и взялся за хвостъ лошади, которая приложивъ уши, съ какимъ то шутовски веселымъ выраженіемъ, побрякивая бубенчиками, быстро спускалась по самому краю дороги. Пока мы входили, до самаго верха горы, мы все видѣли внизу себя подъ ногами, то тамъ, то сямъ по извилинамъ дороги черную лошадку съ вьюкомъ и слышали пѣсню Швейцарца. —

Странная вещь – изъ духа ли противорѣчія, или[126] вкусы мои противуположны вкусамъ большинства, но въ жизни моей ни одна знаменито прекрасная вещь мнѣ не нравилась. Я остался совершенно холоденъ къ виду этой холодной дали съ Жаманской горы; мнѣ даже и въ голову не пришло остановиться на минуту полюбоваться.[127] Я люблю природу, когда она со всѣхъ сторонъ окружаетъ меня и потомъ развивается безконечно въ даль, но когда я нахожусь въ ней. Я люблю, когда со всѣхъ сторонъ окружаетъ меня жаркой воздухъ, и этотъ же воздухъ клубясь уходитъ въ безконечную даль, когда эти самые сочные листья травы, которые я раздавилъ сидя на нихъ, дѣлаютъ зелень безконечныхъ луговъ, когда тѣ самыя листья, которыя, шевелясь отъ вѣтра, двигаютъ тѣнь по моему лицу, составляютъ линію далекаго лѣса, когда тотъ самый воздухъ, которымъ вы дышете, дѣлаетъ глубокую голубизну безконечнаго неба; когда вы не одни ликуете и радуетесь природой; когда около васъ жужжатъ и вьются миріады насѣкомыхъ, сцѣпившись ползутъ коровки, вездѣ кругомъ заливаются птицы. А это – голая холодная пустынная сырая площадка, и гдѣ то тамъ красивое что-то, подернутое дымкой дали. Но это что то такъ далеко, что я не чувствую главнаго наслажденія природы, не чувствую себя частью этаго всего безконечнаго и прекраснаго цѣлаго. Мнѣ дѣла нѣтъ до этой дали. – Жаманской видъ для Англичанъ. Имъ должно быть пріятно сказать, что они видѣли съ Жаманъ озеро и Вале и т. д.

Кромѣ того на горѣ недавно стаялъ снѣгъ, было сыро, я усталъ поднимаясь, хотѣлъ пить, а тутъ воды нигдѣ не было. Два шале, которые мы нашли[128] тутъ почти на самой вершинѣ, были пустые. Саша побѣжалъ было къ снѣгу, котораго за хребтомъ горы было много, но снѣгъ былъ грязенъ. Видъ по ту сторону Жамана несравненно гармоничнѣе: это до самаго горизонта глубокое съуживающееся мрачное, поросшее хвойнымъ лѣсомъ ущелье. Въ отверстіе ущелья выставляется другой хребетъ горъ, того же строгаго и величественнаго характера; въ глуби и на полускатахъ ущелій виднѣлись дымки, которые одни оживляли картину; домовъ и шале нигдѣ не было видно. На вершинахъ почти вездѣ клочьями лежалъ снѣгъ. Спускъ по ту сторону [шелъ] по маленькой едва проторенной каменистой тропинкѣ. Тропинка эта такъ мала, что мы даже сомнѣвались, на настоящей ли мы дорогѣ.

---

[126] *Зачеркнуто:* такъ я устроенъ

[127] *Со слов:* Я люблю природу, *кончая:* Вале и т. д. *вписано между строк и сбоку на полях.*

[128] *Зачеркнуто:* на противуположномъ спускѣ къ Альеру

Первый дымъ, который нами былъ видѣнъ, и гдѣ надѣялись спросить о дорогѣ, остался въ правѣ. Около часу мы все круто спускались, никого не встрѣчая, и чѣмъ дальше мы шли, тѣмъ дорога становилась хуже. Видно было, что вблизи выше рубили лѣсъ, и на самой дорогѣ попадались иногда сложенныя сажени, а иногда просто сброшенныя сверху деревья, загражданшія дорогу.

Я сомнѣвался, не сбился ли я, и признаюсь, серьезно безпокоился, но Саша, которому я сообщилъ свои опасенія, помиралъ со смѣху отъ мысли, что мы заблудились. Я тоже смѣялся и не отъ того, чтобы мнѣ смѣшно было, но отъ того, что мы спускаясь устали еще больше, чѣмъ поднимаясь, насъ распарило, и какъ это часто бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, на Сашу нашелъ смѣхунъ и сообщился мнѣ отчасти.

Скажу я: «Фу, въ какую мы трущобу зашли»; и Саша спотыкался и падалъ отъ смѣха и только повторялъ; «въ трущобы зашли»; и мнѣ почему-то это становилось ужасно смѣшно.

– А вонъ слышите, рубятъ дрова, – сказалъ я, – надо будетъ спросить у этаго господина.

– Я вижу и господина, – сказалъ Саша, помирая со смѣху, и путаясь ногами, побѣжалъ впередъ къ господину. —

Это былъ высокой, худой, рябой мущина, ужасно грязно одѣтый и изнуренный, что весьма часто встрѣчается въ Швейцаріи. Онъ, засучивъ рукава надъ своими худыми жилистыми руками, рубилъ дрова около дороги. На всѣ вопросы Саши по французски, какъ пройти въ Альеръ? далеко-ли? онъ отвѣчалъ такимъ непонятнымъ фляфляваніемъ, какъ будто у него былъ полонъ ротъ каши, и съ такимъ дикимъ испуганными выраженіемъ смотрѣлъ на мальчика, что Саша началъ пятиться отъ него. Предполагая, что онъ изъ нѣмецкой Швейцаріи и говоритъ на своемъ patois,[129] я спросилъ его понѣмецки; но кромѣ какихъ то непонятныхъ слюнявыхъ звуковъ и тѣхъ же растерянныхъ взглядовъ, я ничего не могъ отъ него добиться. Не итальянецъ ли онъ? Саша спросилъ его поитальянски. Онъ только пожалъ плечами и сдѣлалъ такую комическую рожу, что Саша лопнулъ, расхохотался и побѣжалъ прочь. Я не могъ удержаться и сдѣлалъ тоже. – Я нигдѣ не встрѣчалъ такой уродливой идіотической старости рабочаго класа, какъ въ Швейцаріи. —

Пройдя нѣсколько шаговъ, мы встрѣтили другихъ дровосѣковъ ниже дороги, Саша сбѣгалъ къ нимъ и эти поняли его и сказали, что мы идемъ хорошо и черезъ маленькой полчаса будемъ въ Альерѣ. Дѣйствительно, скоро уже дорога пошла ровно вдоль потока, между обсаженными[130] каменными изгородями; стали попадаться стада, разсыпанныя но полугорамъ, освѣщеннымъ солнцемъ, и скоро около самой деревни мы нашли фонтанъ, котораго намъ такъ хотѣлось.

Alières – въ томъ же родѣ, какъ и Avants, – десятка полтора хорошенькихъ домиковъ на довольно далекое разстояніе другъ отъ друга, разсыпанныхъ по зеленой долинѣ. Тотъ же оврагъ внизу, тѣ же потоки, тѣже душистые нарцисы въ лугахъ, только больше коровъ и скотины виднѣется въ лугахъ и на полянахъ лѣсовъ. Съ права и съ лѣва, неумолкаемо слышались[131] эти бубенчики, которыя такъ идутъ какъ-то къ утреннимъ косымъ лучамъ солнца, къ росистой зелени и къ запаху цвѣтовъ, росы и стада.

Саша съ одной стороны вбѣжалъ въ большой домъ, мимо котораго мы проходили, чтобы узнать, не это ли гостинница, а я съ другой ужъ нашелъ вывѣску, изображающую мѣдвѣдя съ надписью кругомъ:[132] Hôtel de L'ours, à la confiance.[133] Служанка, къ которой мы обратились

---

[129] [местном наречии,]

[130] *Зачеркнуто:* заборами

[131] *В подлиннике:* слышался

[132] *Зачеркнуто:* Loge [*следует:* on loge] à pied et à cheval [ночлег для проходящих и проезжающих]

[133] [Гостинница Медведь: будьте благонадежны.]

по французски, пожала плечами, въ знакъ сожалѣнія, что не понимаетъ, что, разумѣется, насъ очень обрадовало, давъ возможность показать свои знанія понѣмецки.

Это былъ уже кантонъ Фрибурга.

Насъ провели въ залу съ голыми столами и лавками и дали славнаго свѣжаго хлѣба и молока. Кофей, который мы заказали, мы слышали какъ жарился и терся. Но мы рады были отдохнуть, и на насъ снова нашелъ смѣхунъ, вслѣдствіи наслажденія отдыха, хотя и подъ предлогомъ надписей на чашкахъ и тарелкахъ, которыя намъ подали. На моей чашке было написано просто: par l'amitié[134] въ лавровомъ вѣнкѣ, но у Сашѣ надпись была[135] длиннѣе: mon coeur est tout attristé, – je pleure en réalité. [136] Но лучше всего была тарелка съ синими разводами, съ изображеніемъ якоря и съ нѣмецкой надписью внизу: Komm her und küsse mich.[137] – Видимо здѣсь уже и въ людяхъ и въ предметахъ боролись нѣмецкой и французской элементы. Однако кофей былъ недуренъ, дешевъ чрезвычайно и поданъ скоро, такъ что еще не было жарко, когда мы пустились въ путь дальше до Montbovon,[138] гдѣ мы намѣревались дневать и обѣдать.

[139] Дорога шла извиваясь между лугами и лѣсами, то въ гору, то подъ гору. Подъ самымъ Альеромъ мы нагнали женщину уже лѣтъ за 40, которая несла за спиной пустую корзинку. Она шла ровнымъ[140] охотничьимъ шагомъ, мы шли скорѣе, и, признаюсь, [я] не безъ гордости подумалъ, какъ я легко обгонялъ горную женщину, и что она глядя на насъ подумаетъ, можетъ быть: молодцы, хорошо идутъ. – Услыхавъ за собой наши шаги, она посторанилась и произнесла этотъ пѣвучій: Bonjour, monsieur, къ которому такъ привыкаешь на Леманѣ. Слово за слово, мы разговорились, кто, куда и откуда? и, признаюсь, мнѣ стыдно стало, когда я узналъ, что она, которую я хотѣлъ удивить, нынче вышла изъ Монтрё и, пройдя въ одно утро тоже самое, что мы въ два дня, была впереди насъ. Мало этаго, она[141] прибавила такъ, къ слову, что вотъ сейчасъ здѣсь наложитъ 36 фунтовъ холстины въ корзину и вернется нынче же въ Монтрё. —

Мы съ Сашей только переглянулись. Вотъ такъ молодецъ баба! Когда она, пожелавъ намъ счастливаго пути, повернула въ сторону, я внимательно осмотрѣлъ ея фигуру. Ничего особеннаго, тотъ обыкновенный типъ рабочихъ женщинъ, которыхъ съ шляпами въ видѣ бутылокъ встрѣчаешь въ виноградникахъ[142] Côte и у большей части которыхъ виситъ зобъ подъ подбородкомъ, плоская спина и грудь, костлявыя длинныя руки, вывернутыя ноги и кислая сморщенная улыбка. – На половинѣ дороги встрѣтили мы съ удовольствіемъ такого же туриста какъ мы, только гораздо менѣе навьюченнаго: у него была крошечная сумочка, а я тащилъ на себѣ, я думаю, больше пуда и теперь, пройдя по горамъ около 20 верстъ, начиналъ серьезно уставать. Притомъ дорога однообразно идетъ по еловому лѣсу; кое гдѣ ручьи, потоки или полянка съ шале и фонтаномъ; но за то безпрестанныя встрѣчи: то дальніе нѣмцы швейцарцы съ большими палками и фарфоровыми трубочками, то изъ подъ горы сѣдой старикъ тянетъ корову за рога, а за нимъ идетъ хорошенькая румяная швейцарочка съ длинной хворостиной и, потупивъ глазки, здоровается съ иностранцами, то два мальчика, въ вздернутыхъ на бокъ на одной помочѣ штанишкахъ, впередъ себя гонятъ куда то козъ и безпрестанно забѣгаютъ въ лѣсъ, выгоняя оттуда свое непослушное стадо, то двѣ уродливыя старухи, вытаскиваютъ за хвостъ красную свинью изъ оврага. Эту послѣднюю встрѣчу мы сдѣлали подъ самой деревней. Свинья пронзительно визжала, одна баба тащила ее за хвостъ, другая худая, костлявая, съ зобомъ

---

[134] [От друга]

[135] *Зачеркнуто:* болѣе поэтична.

[136] [Сердце мое весьма огорчено, – я плачу настоящими слезами.]

[137] [Приди и поцелуй меня.]

[138] *В подлиннике:* Monbauvont

[139] *Абзац редактора.*

[140] *Зачеркнуто:* какъ говорится

[141] *Зачеркнуто:* съ наивной простотой разсказала

[142] *Зачеркнуто:* Canton

и съ какимъ то страннымъ тикомъ во рту, дававшимъ ей ужасно злобный видъ, колотила ее палкой. —

Сашѣ[143] моему такъ смѣшно показалось это зрѣлище, что насилу я могъ удержать его, чтобы онъ не прыснулъ прямо въ носъ уродливой бабѣ, съ которой мы столкнулись носъ съ носомъ на дорогѣ. За то уже послѣ онъ далъ себѣ волю, хрипѣлъ, пыхтѣлъ, фыркалъ, и смѣхунъ продолжался до самой гостинницы.

[144] Montbovon живописно открылся намъ подъ горой, на довольно большой рѣчкѣ, съ большимъ городскаго фасада домомъ гостинницы, католической церковью и большой дорогой шоссе, которую я, признаюсь, увидалъ не безъ удовольствія, послѣ дороги, по которой мы шли нынѣшнее утро. —

Не дошли мы до гостинницы, какъ особенности католическаго края тотчасъ же выказались: грязные оборванные дѣти, большой крестъ на перекресткѣ передъ деревней, надписи на домахъ, уродливо вымазанная статуетка мадоны надъ колодцемъ, и одинъ опухлый старикъ и мальчикъ въ аглицкой болѣзни попросили у меня милостыню. Гостинница была чистая просторная, на большую ногу и совершенно пустая; намъ служили отлично. Бывшая хорошенькая горничная изъ Берна, принарядившись и напомадившись для нашего пріѣзда, усиливалась говорить съ нами по французски и безъ надобности забѣгала въ нашу комнату. – Желательно бы было, чтобы къ намъ не переходилъ въ Россію обычай имѣть женскую прислугу въ гостинницахъ. Я не гадливъ, но мнѣ лучше ѣсть с тарелки, которую можетъ быть облизалъ половой, чѣмъ съ тарелки, которую подаетъ помаженная плѣшивящая горничная, съ впалыми глазами и масляными мягкими пальцами. – Госпожу эту звали Элиза, но Саша, смотрѣвши на картинки въ залѣ, изображавшіе исторію Женевьевы, брошенной въ лѣсъ и вскормленной ланью, назвалъ ее Женевьевкой, потомъ Женевѣсткой, потомъ Женеверткой, и слово Женевертка, заставляло его смѣяться до упаду. Кромѣ того съ этаго дня Женевертка стала для насъ словомъ означающимъ вообще трактирную служанку.[145]

Я закрылъ ставни и легъ спать до обѣда, Саша пошелъ удить рыбу на рѣчку. Проснувшись я порадовался по картѣ, какъ далеко мы отошли отъ Монтрё, и мнѣ пришла мысль, что, такъ какъ мы стоимъ на дорогѣ, ведущей изъ Фрибурга въ Интерлакенъ, идти лучше любоваться горной природой въ Оберландъ, чѣмъ по пыльному шоссе идти въ Фрибургъ, гдѣ я могъ слушать знаменитый органъ на возвратномъ пути. Передъ выступленіемъ я прошелся по деревнѣ. Дома большей частью были большіе, красивые, въ каждомъ жило по нѣскольку семействъ; но одежда и видъ народа ужасно бѣдны. На нѣсколькихъ домахъ я прочелъ[146] надписи въ родѣ слѣдующей: Cette maison a été batie par un tel, mais ce n'est rien en comparaison de celle que nous réserve le Seigneur. Oh mortel! mon ombre passe avec vitesse et ma fin approche avec rapidité![147] и еще разъ Oh mortel.[148] Что за нелѣпое соединеніе невѣжественной гордости, христіанства, мистицизма и[149] тщеславной напыщенной болтовни.

.....

Саша ничего не поймалъ, проэктъ мой ему очень понравился, и въ 5-мъ часу мы пустились въ путь совсѣмъ въ противуположную сторону отъ той, въ которую думали идти.

---

[143] *В подлиннике:* Саша

[144] *Абзац редактора.*

[145] *Со слов:* Госпожу эту *кончая:* служанку. *вписано между строк и сбоку на полях.*

[146] *Зачеркнуто:* надписи скромныя католическія

[147] [Дом сей построен имреком, но он есть ничто в сравнении с тем жилищем, которое уготовил нам Господь. О смертный! тень моя проходит поспешно и конец мой близится стремительно!]

[148] [О смертный]

[149] *Зачеркнуто:* глупой.

Дорога до Chateau d'Oex,[150] гдѣ мы хотѣли ночевать, идетъ, рѣдко гдѣ поднимаясь и опускаясь, по берегу большаго быстраго потока.[151] Потокъ этотъ называется Sarine. Не смотря на то, что онъ далеко не былъ въ полномъ разливѣ, шумъ его былъ слышенъ за версту, и по немъ въ многихъ мѣстахъ плыли и въ другихъ, зацѣпившись за камни, стояли еловыя бревна, которыя такимъ образомъ перевозятъ съ мѣста на мѣсто. Иногда черезъ мѣсяцъ хозяева лѣса дожидаясь воды приходятъ къ плотинамъ и находятъ свой лѣсъ, который они узнаютъ по клеймамъ. – По ровному гладкому шоссе намъ казалось такъ легко идти послѣ прежней дороги, что мы прошли часъ и почти не устали, только мѣшки тянули намъ плечи. —

Мы пріостановились на мосту, положивъ мѣшки на перила, чтобы они [не] тянули намъ спины, и долго любовались Сариной, которая въ этомъ мѣстѣ черезъ большіе нагроможденные другъ на друга камни довольно крутымъ уступомъ спускается внизъ. Саша очень любитъ всякую воду, даже не можетъ пропустить ни одного жолобка съ водой, чтобъ не заткнуть его рукой, и лужицы, чтобъ не поболтать въ ней концомъ палки, поэтому водопады приводятъ его въ восхищеніе; но для меня водопадъ, слишкомъ далекой и неокруженной зеленью, такое же холодное зрѣлище, какъ декорація или знаменитые виды съ высокихъ горъ. Этотъ водопадъ однако шумѣлъ въ прелестной рамкѣ. Съ обѣихъ сторонъ кривые, разной величины, темные сосны, и между ними эта стремительно движущаяся и однообразно возобновляющаяся бѣлая пѣна, и широкія серебристыя струи, и неподвижные, безпрерывно одинаково обливаемые то съ верху то съ боковъ бѣлые камни, бревна елей, живописно, всегда живописно столкнувшихся и зацѣпившихся, и этотъ одурѣвающій шумъ; такъ что вы не знаете, чтò вода и чтò камни.

Этотъ водопадъ былъ прекрасенъ. За шумомъ воды, мы и не слыхали какъ насъ нагнала шагомъ ѣхавшая на одной вороной лошади нѣмецкая открытая бричка съ мучными мѣшками. На бричкѣ спереди сидел красивый малой и сзади старушка. —

– Попросите къ нимъ мѣшки положить, – сказалъ Саша.

– Развѣ вы устали?

Но Саша уже такимъ заискивающимъ тономъ сказалъ: bonjour Madame, и такъ выразительно поглядѣлъ на старушку, что она посторонилась и показала ему подлѣ себя мѣсто: «Садитесь коли вы устали», – сказала она. Саша тотчасъ же вскочилъ къ ней рядомъ, я тоже положилъ свой мѣшокъ и предложилъ Швейцарцу выпить вмѣстѣ бутылку вина въ первомъ трактирѣ.

– Oh, ce n'est pas ça,[152] – сказалъ покраснѣвъ миловидный румяный швейцарецъ; venez aussi,[153] – прибавилъ онъ, давая мнѣ мѣсто, – мы рысью поѣдемъ. – Но я отказался, сказавъ, что догоню ихъ. И мой Саша съ новыми знакомцами, что-то руками разсуждая съ старушкой, затрясся отъ меня рысью впередъ по дорогѣ. —

Я ихъ догналъ у харчевни, подлѣ которой молодой мельникъ остановилъ свою лошадь. Онъ уже заказалъ себѣ пива, но я попросилъ его выпить вина со мною. Мельникъ принадлежалъ къ тому милому и поэтическому[154] красивому типу швейцарцевъ, который довольно часто встрѣчается въ кантонахъ Vaud, Женевы, Нёшателя и Фрибурга. Громадно широкія плечи и грудь, чрезвычайно развитыя мышцы ногъ и рукъ, небольшая бѣлокурая голова, румянецъ во всю щоку и благодушная, кроткая, немного глуповатая улыбка. Отъ трактира, по настоятельному приглашенію, я сѣлъ съ нимъ рядомъ на телѣгу, и мы разговорились. Онъ сирота, мельникъ, получаетъ *4 франка цѣлковый*[155] въ недѣлю, но служитъ потому, что не записался въ граждане, и вовсе не находитъ это записыванье нужнымъ.

---

[150] *В подлиннике:* Chateau d'Eux,

[151] *Со слов:* Потокъ этотъ *кончая:* по клеймамъ. – *вписано между строк и сбоку на полях.*

[152] [О, не в этом дело,]

[153] [садитесь и вы,]

[154] *Слово:* поэтическому *вписано между строк, вместо зачеркнутого:* рѣдкому типу

[155] *Слово:* цѣлковый *написано крупными буквами и подчеркнуто.*

– А что, вы не женаты? – спросилъ я.

– Молодъ еще, – отвѣчалъ [онъ].

– Чтоже, веселитесь такъ съ молодыми дѣвками?

Онъ покраснѣлъ и оглянулся на старушку, которая сидѣла сзади. – Oh non! – сказалъ [онъ]. Я не подхожу къ дѣвкамъ. Ça me gène,[156] – прибавилъ [онъ], съ недоумѣніемъ пожимая плечами. – Отъ этаго онъ такъ и здоровъ, – подхватила старуха. —

– Что, вы его мать? – спросилъ я у нее. —

– Нѣтъ, онъ такъ меня довозитъ; я изъ Россиньера, вотъ эта деревня на горѣ, тамъ и большой пансіонъ есть, много иностранцовъ пріѣзжаютъ.

– А о чемъ вы говорили съ молодымъ человѣкомъ? – спросилъ я ее.

– О! онъ меня забавлялъ, – отвѣчала старуха, – разсказывалъ, что онъ былъ въ 14-ти государствахъ и 8 языковъ знаетъ. – Я оглянулся на Сашу, онъ отворачивался, и уши его были красны.

Мельникъ немного не довезъ насъ до нашего ночлега, повернулъ на свою мельницу. Подходя къ Chateau d'Oex[157], мы встрѣчали на каждомъ шагу пьяныхъ солдатъ, которые буйными развратными толпами шли по дорогѣ, и около самой деревни насъ догналъ дилижансъ, т. е. колясочка на одной лошади, въ которой ѣхалъ одинъ пассажиръ, и въ синихъ[158] мундирныхъ фракахъ съ красными обшлагами, почтовый лакей и кучеръ. Мы рѣшили ѣхать нынче ночью дальше, кучеръ [сказалъ], что перемѣнитъ лошадей и подождетъ насъ въ деревнѣ.

Деревня большая, богатая, съ высокими домами и такими же надписями, какъ въ Montbovon,[159] съ лавками и замкомъ на возвышеніи. На площади, передъ большимъ домомъ, на которомъ было написано: Hôtel de ville[160] и изъ котораго раздавались отвратительные фальшивые звуки роговой военной музыки, были толпы военныхъ – всѣ пьяные, развращенные и грубые. Нигдѣ какъ въ Швейцаріи не замѣтно такъ рѣзко пагубное вліяніе мундира. Дѣйствительно, вся военная обстановка какъ будто выдумана для того, чтобы изъ разумнаго и добраго созданія – человѣка сдѣлать безсмысленнаго злаго звѣря. Утромъ вы видите швейцарца въ своемъ коричневомъ фракѣ и соломенной шляпѣ на виноградникѣ, на дорогѣ съ ношей или на озерѣ въ лодкѣ; онъ добрадушенъ, учтивъ, какъ то протестантски искренне кротокъ. Онъ съ радушіемъ здоровается съ вами, готовъ услужить, лицо выражаетъ умъ и доброту. Въ полдень вы встрѣчаете того же человѣка, который съ товарищами возвращается изъ военнаго сбора. Онъ навѣрно пьянъ (ежели даже не пьянъ, то притворяется пьянымъ): я въ три мѣсяца, каждый день видавъ много швейцарцовъ въ мундирахъ, никогда не видалъ трезвыхъ. Онъ пьянъ, онъ грубъ, лицо его выражаетъ какую-то безсмысленную гордость или скорѣе наглость. Онъ хочетъ казаться молодцомъ, раскачивается, махаетъ руками, и все это выходитъ неловко, уродливо. Онъ кричитъ пьянымъ голосомъ какую-нибудь пахабную пѣсню и готовъ оскорбить встрѣтившуюся женщину или сбить съ ногъ ребенка. А все это только отъ того, что на него надѣли пеструю куртку, шапку и бьютъ въ барабанъ впереди.

.....

Я не безъ страха прошелъ черезъ эту толпу съ Сашей до дилижанса, онъ сѣлъ впереди, я сѣлъ съ бариномъ, и мы поѣхали. Какой то мертвецки пьяный солдатъ непременно хотѣлъ ѣхать съ нами и отвратительно ругался, ужасная музыка не переставая играла какой то маршъ, до того невыносимо фальшиво, что буквально больно ушамъ было. Со всѣхъ сторонъ развращенные пьяные грязные нищіе.

---

[156] [О нет! это меня стесняет,]

[157] *В подлиннике:* Chateau d'Eux

[158] *В подлиннике:* синій.

[159] *В подлиннике:* Monbeavont,

[160] [Городская дума].

За то съ какимъ наслажденіемъ, когда мы выѣхали изъ городу, я увидалъ при ясномъ закатѣ прелестную Занскую долину, по которой мы ѣхали, съ вѣчными звучащими живописными стадами коровъ и козъ. Господинъ, съ которымъ я сидѣлъ, былъ одѣтъ, какъ одѣваются магазинщики въ Парижѣ, имѣлъ новенькое чистенькое porte-manteau,[161] пледъ и зонтикъ. На носу у него были золотые очки, на пальце перстень, черные волоса старательно причесаны, борода гладко выбрита, въ лицѣ непріятное напущенное чопорное спокойствіе, которое сохранялось только на то время, какъ онъ молчалъ. Говорилъ онъ по французски съ Женевскимъ акцентомъ, видимо поддѣлываясь подъ французской. Мнѣ казалось, что это Женевской или Водской bourgeois. Это[162] безжизненная, притворная, нелѣпо подражающая французамъ, презирающая рабочій класъ швейцарцевъ и отвратительно корыстно мелочная порода людей. Послѣ его презрительной манеры говорить съ нашимъ молодымъ кучеромъ, который все заговаривалъ съ нами, и условій, которыя онъ мнѣ предложилъ для поѣздки въ наемной каретѣ вмѣстѣ въ Интерлакенъ, я уже не сомнѣвался. Онъ расчелъ какъ то такъ, что мы съ Сашей, у которыхъ вовсе не было клади, платили за карету, чуть не втрое противъ его, у котораго съ собой было 3 тяжелыхъ чемодана. И онъ настойчиво увѣрялъ, что это стоило бы мнѣ гораздо дешевле, чѣмъ въ дилижансѣ. —

Мало того, онъ еще разсердился на меня за то, что я отказался, и когда мы пріѣхали, онъ какъ то озлобленно сказалъ кондуктору, что онъ пойдетъ брать себѣ мѣсто въ дилижансѣ, une fois que Monsieur (это я) ne veut pas aller,[163] – и сердито махнулъ на меня рукой такъ энергически, что мнѣ безъ шутокъ показалось, что я виноватъ передъ нимъ. – Мнѣ совѣстно уже было съ нимъ встрѣтиться и я подождалъ его, чтобы пойти брать мѣсто въ «Post-bureau».[164]

Я подошелъ къ затворенной двери, на которой была надпись. Около двери сидело 3 человека, которые даже не посмотрели на меня. Я отворилъ дверь въ Постъ-бюро. Эта была грязная низкая комната, съ грязной кроватью, съ кадушками и развешанными платьями. – Я вышелъ назадъ и спросилъ у сидевшихъ у дверей, это ли Постъ-бюро. – Это, – сказалъ мнѣ одинъ изъ сидѣвшихъ грубымъ голосомъ, – идите туда, что ходите? – Я вошелъ. Дѣйствительно, въ крайнемъ углу стояла конторка и лежали бумаги. Никого, кромѣ болѣзненной женщины съ грудным ребенкомъ, не было въ почти уже темной комнатѣ. Черезъ минуту тотъ самый человѣкъ въ сертукѣ, который велѣлъ мнѣ войти, размахивая руками и всей спиной, съ фуражкой на бекрень, вошелъ въ комнату. Я поздоровался съ нимъ, онъ захлопнулъ дверь и не взглянулъ на меня; сначала я думалъ, что онъ чужой и чѣмъ нибудь очень занятой или огорченный человѣкъ, но всмотрѣвшись ближе, и особенно, когда онъ прошелъ за конторку, я убѣдился, что всѣ его движенія, физіономія, походка, все это было сдѣлано для оскорбленія меня или для внушенія мнѣ уваженія. Онъ былъ высокъ рост[омъ], широкъ въ плечахъ, но худощавъ; длинноногъ, бѣлокуръ и рябъ. На немъ былъ сертукъ, широкія штаны и фуражка. Вообще вся рожа его была отвратительна или такъ показалась мнѣ.

Я самымъ учтивымъ манеромъ спросилъ его о мѣстахъ. – Какъ будто бы это я во снѣ видѣлъ, что я говорю, – никакого вниманія. Я сталъ вспоминать, не оскорбилъ ли я его чѣмъ нибудь входя, не полагаетъ ли онъ почему нибудь, что я хочу гордиться. Я снялъ шляпу и въ коротенькую фразу, которой я спрашивалъ его, сколько верстъ до Туна, я 3 раза помѣстилъ Monsieur – это тоже не подѣйствовало. Я подалъ ему деньги, онъ писалъ что-то и молча оттолкнулъ мою руку. – Я начиналъ сердиться, и пускай меня обвиняютъ варваромъ, но у меня руки такъ и чесались, чтобы сгресть его за шиворотъ и разбить въ кровь его рябую фигуру. По счастью для меня, онъ скоро бросилъ мнѣ на столъ два билета, также швырнулъ сдачу, что ежели

[161] [чемодан,]

[162] *Зачеркнуто:* нехорошая

[163] [раз господин не хочет ехать (со мною),]

[164] *В подлиннике:* Post-burau [Почтовая контора.]

бы я не удержалъ, она бы скатилась на полъ, и онъ бы вѣрно не поднялъ. Потомъ размахивая также спиной и руками и еще какъ то сардонически чуть замѣтно улыбаясь, онъ вышелъ на улицу. —

Нѣтъ, подобной безчеловѣчной грубости, я не только никогда не видалъ въ Россіи между колодниками, но я представить себѣ не могъ ничего подобнаго. —

Когда я вернулся домой и не выдержалъ, сталъ жаловаться кучеру, который принесъ мнѣ наверхъ мои вещи. Онъ пожалъ плечами, улыбнулся (онъ былъ молодой веселый малый и въ наступающую минуту ожидалъ на водку). – Vous dites que c'est le buraliste qui est comme ça?[165] – Да. – Que voulez vous, Monsieur – ils sont republicains, ils sont tous[166] comme-ça. Et puis il est buraliste, il est fier de ça.[167]

Я ложась спать все не могъ забыть бюралиста и твердилъ про него. – А Саша хохоталъ. – Такъ задалъ вамъ страху бюралистъ? – все спрашивалъ онъ. – А Женевертка вычиститъ намъ башмаки завтра? – И онъ заливался хохотомъ. Кончилось тѣмъ, что и я расхохотался и, перебирая весь день, заснулъ все таки съ веселыми мыслями.

* III.
ОТЪѢЗЖЕЕ ПОЛЕ.

[Первый отрывок.]

Это было[168] в 1807 году. Была осѣнь. Графъ Никита Андреевичъ еще не уѣзжалъ въ Москву, а только собирался въ отъѣзжее поле. Участники охоты собирались понемногу въ его *Новые Котлы*. Многіе проводили у него все лѣто, многіе уже пріѣхали, другихъ ждали. По обыкновенію въ четвергъ ѣздили въ городъ закупать провизію, отвозить письма и привозили почту, французскіе журналы, письма и Московскія вѣдомости. – Передъ вечеромъ докипала послѣдняя работа уборки на гумнѣ и въ полѣ. Управляющій, прикащики, старосты, десятникъ верхами и пѣшками сновали около скирдовъ и въ полѣ, обозы въ сотни лошадей гремѣли пустые въ пыли отъ гумна и поскрипивая и покачиваясь качались навстрѣчу пустымъ телѣгамъ. Мужики ждали, что ихъ отпустятъ послѣ осьмаго раза, и умышленно медлили, управляющій хотѣлъ натянуть 9^{й} разъ и мечталъ о 12 скирдѣ.

Два охотника звали въ рогъ къ котлу, и стая въ 150 собакъ выла и лаяла на звукъ рога, одинъ мѣшалъ лопатой въ корытахъ. Бабы съ пѣснями и серпами на плечахъ шли хороводами съ жатвы и вязки, на дворнѣ въ большихъ 12^{ти} домахъ дворовыхъ собирали <пригнатую> скотину. Табуны и стада приближались къ усадьбѣ въ облакахъ пыли. Пастухи и подпаски со всѣхъ ногъ метались, удерживая скотину отъ полей, мимо которыхъ гнали. Плотники, строившіе винокурню, спорили съ Жидомъ рядчикомъ, сдавая работу. Наѣздникъ на золоченыхъ, изъ прутиковъ сдѣланныхъ дрожечкахъ, съ заметаннымъ комами пыли лицомъ, докуривая трубочку и спустивъ ноги, возвращался съ бѣгу на молодомъ взмылившемся сѣромъ жеребцѣ, сынѣ Атласнаго, сына Кролика, сына Сметанки. Жеребецъ, тонкой, еще несложившейся 4-лѣтокъ, моталъ головой и хвостомъ и ступалъ точно прихрамывая. Дворовая румяная красивая дѣвушка съ холстами прошла по дорогѣ и остановилась, чтобъ дать дорогу наѣзднику, наѣздникъ съ дрожекъ щипнулъ ее, и неожиданно улыбнулся [*1 неразобр.*] своего усатаго лица.

---

[165] [Вы говорите, что это бюралист был таков?]

[166] *В подлиннике:* touts

[167] [Что вы хотите, мосьё, – они республиканцы, они все таковы. Да кроме того, ведь он бюралист, он этим и чванится.]

[168] *Зачеркнуто:* еще до Тильзитскаго мира. Русскіе въ первый разъ были за границей. Люди жили не такъ какъ

Въ кухнѣ поваръ и два поваренка въ бѣлыхъ колпакахъ сбирались готовить ужинъ, а до этаго затѣяли игру въ орлянку въ саду съ лакеями пріѣзжихъ господъ. Въ приспѣшной ставились два самовара. Въ дѣвичьей шили, пряли и прислушивались, не позоветъ ли барыня, человѣкъ 12^{ть} дѣвушекъ. Одна из нихъ лежала на сундукѣ и плакала, другая смѣялась въ окно съ подошедшимъ молодымъ лакеемъ. Старушка Графиня, мать Графа, раскладывала въ своихъ покояхъ карты, у ней сидѣли три старушки. Сестра Графа, вдова, поила чаемъ въ своихъ покояхъ двухъ зашедшихъ съ кружками монаховъ. Въ отдѣленіи гостей человѣкъ 8^{мь} были по своимъ комнатамъ, кто читалъ, кто игралъ въ карты. На дѣтской половинѣ Нѣмецъ Гувернеръ ссорился съ Французомъ, а дѣти, внучки Графа отъ умершаго сына, докончивали заданный урокъ передъ чаемъ. Другой сынъ Графа, холостой, поѣхалъ кататься съ гувернанткой. Самъ Графъ Никита Андре[е]вичъ только проснулся послѣ послѣобѣденнаго отдыха и умывался водой со льдомъ.

[Второй отрывок.]

Кн[язь] Василій Иларіонычь былъ сынъ вельможи и самъ занималъ очень, очень важное мѣсто въ службѣ; но три года тому назадъ онъ подалъ въ отставку и уѣхалъ въ деревню. О немъ жалѣли, говорили, что и такъ мало людей въ Россіи, а чтожъ будетъ, когда всѣ такъ будутъ во всемъ отчаяваться и все бросать. Другіе говорили, что онъ прекрасно сдѣлалъ удалившись. – Онъ почувствовалъ, что мѣсто это ему не по силамъ, – говорили они. – Этаго еще мало, что онъ честенъ и храбръ. Отчегожъ не сказать слово: онъ неспособенъ. Хотя и добрый и честный малый. – Самые недоброжелательные люди какъ будто робко и неохотно бросали малѣйшую тѣнь на этаго Кн[язя] Василія Иларіоныча. Онъ былъ такъ богатъ, принадлежалъ къ такой знати, былъ такъ храбръ и, главное, такъ былъ простъ, ровенъ и безобиденъ, непритворенъ въ обращеніи, что осудить его было опасно. —

Впрочемъ говорили о немъ первое время; потомъ забыли. Забыло большинство петербургское, то общество, которое не только наслаждается и умѣетъ наслаждаться современнымъ успѣхомъ минуты, но которое эту только жизнь считаетъ достойной названія жизни. Въ числѣ этихъ борящихся, торопящихся и успѣвающихъ людей Петербурга былъ одинъ человѣкъ, который живо вспомнилъ о Василіи Иларіонычѣ, пожалѣлъ о немъ и захотѣлъ спасти его изъ той тины[169] деревенской жизни, въ которой съ каждымъ годомъ глубже и глубже утопалъ Василій Иларіонычь. Человѣкъ этотъ былъ однимъ изъ вновь появившихся свѣтилъ на горизонтѣ русскихъ государственныхъ людей – не молодой уже человѣкъ, но молодой тайный Совѣтникъ, коротко обстриженный, молодо сѣдѣющій, гладко выбритый, сіяющій здоровьемъ акуратно трудовой жизни госуд[арственный] чел[овѣкъ], въ бѣломъ галстукѣ, съ свѣжей второю звѣздою, съ утра предсѣдательствующій въ комитетахъ, засѣдающій въ Министерствахъ, подающій проэкты, обѣдающій въ 6 часовъ дома въ кругу частью покровительствуемыхъ избранныхъ людей будущаго, частью снисходительно и политично уважаемыхъ людей прошедшаго, показывающійся на раутѣ посланниковъ и двора и съ сложной, но легко носимой на челѣ думой проводящій поздніе вечера за восковыми свѣчами въ своемъ высокомъ, обставленномъ шкафами кабинетѣ.

Человѣкъ этотъ, Иванъ Тѣлошинъ, какъ его звали въ свѣтѣ, былъ женатъ на богатой Кузинѣ Князя Василія Иларіоныча. Въ осѣнь 1863 года Тѣлошинъ почувствовалъ часто повторяющуюся боль въ правомъ боку. Онъ, очевидно, несмотря на свое каменное сложеніе, переработалъ. Ему надо было отдохнуть. Имѣнья – огромныя имѣнья его жены – находились въ той же губерніи, гдѣ жилъ Василій Иларіонычь. Уставныя грамоты не всѣ были составлены и разверстаны по разнымъ мѣстнымъ условіямъ, имѣ[ли] особую важность. Ему надо было самому

[169] *В подлиннике:* и съ той тины

быть тамъ. Князь Василій Иларіонычь въ предполагаемомъ въ будущемъ устройствѣ Комитета могъ быть важной поддержкой, а потому Тѣлошинъ вмѣсто Ниццы рѣшилъ поѣхать на осѣнь въ Т. губернію.

Василій Иларіонычь звалъ его къ себѣ года два тому назадъ, шутя, проѣздить вмѣстѣ отъѣзжее поле.

– Онъ мнѣ истинно жалокъ! И мы поѣдемъ къ нему, ежели ты согласна, Зина? – сказалъ онъ женѣ.

<Я очень рада, – сказала Зина. – И они поѣхали. Князь Василій Иларіонычь былъ старый – или скорѣе старѣющійся холостякъ. —>

Блаженъ.....
.....
Кто постепенно жизни холодъ
Съ годами вытерпѣть умѣлъ.

Тотъ, кто въ 40 лѣтъ не понимаетъ всей глубины значенія этаго стиха, тотъ и не испытаетъ этаго тяжелаго жизни холода и той борьбы за жизнь, когда мы начинаемъ ощущать этотъ жизни холодъ, который тѣмъ сильнѣе чувствуется, чѣмъ больше хорошаго, любимаго всѣми было въ молодомъ человѣкѣ. —

Князь Василій Иларіонычь боролся съ этимъ холодомъ жизни и былъ слабѣе его.

– Къ чему мнѣ почести? Къ тому, чтобы не имѣть ни минуты покоя, ни минуты своей? Вліяніе [на] искорененіе злоупотребленій! (тогда еще было то время, когда всѣ воображали, что единственное призваніе человѣка состоитъ въ искорененіи злоупотребленій). Я накажу 10 мошенниковъ, а въ это время 20 новыхъ обманутъ меня? Къ чему? – Любовь женщины, женитьба. Къ чему? Чтобъ страдала жена, болѣли дѣти и я самъ за нихъ? Къ чему? Богатство? Боже мой, ежели бы кто научилъ меня, какъ жить безъ богатства, какъ бы я былъ счастливъ. Богатство къ тому, чтобъ видѣть, какъ вокругъ тебя вьются подлецы, воры – одни подлецы – съ тѣмъ, чтобъ одному украсть 10 к., а другому 10 т. р. Къ чему все? Гадость, грязь, обманъ… Лучше не трогаться и оставить ихъ, только бы они меня оставили въ покоѣ съ моимъ стаканомъ чая, рюмкой вина, съ окномъ моимъ на садъ, каминомъ зимою, съ книжкой глупаго романа (и тамъ люди, да не живые). Есть, правда, два человѣка не глупые и не подлые, да и то не надолго. И тѣхъ дай Богъ видѣть поменьше. <Ну а осѣнью и до порошъ охота. Былъ бы звѣрь, тутъ люди мало мѣшаютъ. И люди даже дѣлаются милы.> Было время, когда все это было хорошо. Тогда у меня были и зубы и волосы всѣ, и глупъ я былъ, а теперь къ чему? Желудокъ плохо варитъ – а тутъ смерть – вонь и ничего. Къ чему?

Такъ думалъ большей [частью] Василій Иларіонычь до завтрака и передъ обѣдомъ, да и вечеромъ и послѣ завтрака немного веселѣе представлялась ему жизнь. Рѣдко, рѣдко въ извѣстныя поры дня и года, особенно осѣнью, находили на Князя Василія Иларіоныча минуты радостнаго расположенія духа.

Только[170] въ трехъ случаяхъ жизни этотъ страшный вопросъ: кчему? не представлялся Василію Иларіонычу. Это были: когда дѣло касалось его воспитанницы дѣвочки, жившей съ нимъ, когда дѣло касалось его брата, и когда дѣло касалось охоты. Когда ловчій его приносилъ ему отнятыхъ у мужиковъ волченятъ и, помѣтивъ, пускалъ ихъ назадъ въ островъ, Василію Иларіонычу не приходила мысль – к чему онъ осѣнью будетъ съ замираніемъ всего существа ждать на свою свору этихъ меченныхъ волченятъ, когда онъ могъ истребить ихъ еще три мѣсяца тому назадъ. —

[170] *Зачеркнуто:* три явленія

Василій Иларіонычь лежалъ, какъ онъ и проводилъ обыкновенно цѣлые дни, съ ногами на диванѣ въ своемъ кабинетѣ и читалъ романъ, когда Англичанка гувернантка съ воспитанницей вошли въ комнату. Василій Иларіонычь помоталъ ногами въ знакъ того, что онъ знаетъ, что надо было встать, и продолжалъ читать. Лицо его выразило досаду, и онъ нѣсколько разъ сопнулъ носомъ, что, какъ знали всѣ въ домѣ, означало дурное расположеніе.

– Совсѣмъ не радъ! Вовсе не радъ, – сказалъ Василій Иларіонычь[171] англичанкѣ, гувернанткѣ своей воспитанницы, которую – гувернантку – онъ считалъ за пошлую дуру, но съ которой несмотря на то, такъ [какъ] она одна была у него подъ рукой для разговора, онъ часто входилъ въ самыя задушевныя подробности. – Совсѣмъ не радъ, – говорилъ онъ, получивъ письмо Тѣлошина, видимо давая чувствовать гувернанткѣ, которой дѣла до этаго не было, что ежели Тѣлошинъ думаетъ сдѣлать ему большую честь и удовольствіе этимъ посѣщеніемъ, то онъ очень ошибается. И нехудо, чтобы онъ это зналъ.

– Пріѣдутъ сюда эти петербургскіе вельможи [?] и франты съ женою, говорилъ онъ за чайнымъ столомъ, обращаясь къ 40-лѣтней Англичанкѣ, но взглядывая на 15-лѣтнюю воспитанницу, отъ которой, несмотря на молодость ея, онъ, видимо, больше ждалъ оцѣнки и пониманія своихъ словъ.

Да не подумаетъ читатель, что Василій Иларіонычь былъ влюбленъ или имѣлъ похожее на начало этаго чувства къ своей воспитанницѣ, хотя полное жизни, крови и мысли подвижное молодое лицо воспитанницы и могло возбудить подобное чувство. Напротивъ, Василій Иларіонычь каждый день говорилъ себѣ, что онъ сдѣлалъ глупость, взявъ къ себѣ эту дѣвочку, которая, какъ и вся нынѣшняя молодежь, Богъ знаетъ съ какими мыслями и въ сущности дрянь. —

– Вовсе не радъ! Привезутъ съ собой всю эту Петербургскую сплетню и мѣшать мнѣ будутъ. Все надо ихъ занимать. Только ужъ этаго никакъ не будетъ. Хочетъ онъ жить – живи, а я въ Нарѣжное иду[172] 2го Сентября. Ужъ вы пожалуйста, мистрисъ Джонсъ, приготовьте имъ тамъ верхъ и все. Вы это умѣете.

[Третий отрывок.]

<– Очень жаль бѣднаго Иларіона, очень мнѣ жаль. Все бросилъ – хандритъ. Озлобленъ на все и впадаетъ, самъ того не замѣчая, въ эту гадкую и грязненькую жизнь стараго холостяка – собачника. Да, собачника. И кто же? Князь Иларіонъ – сынъ Князь Василья Иларіоныча. – Занимая такой постъ и при дворѣ.... и вдругъ все бросить – непонятно! Вы знаете, что мы съ женой ѣдемъ къ нему нынче осѣнью. И я надѣюсь поднять его. У насъ и такъ мало людей въ Россіи, чтобы пропадали такіе люди какъ Иларіонъ… Я беру отпускъ. – Мнѣ нужно же побывать въ имѣньяхъ жены,[173] я и не видалъ мужиковъ нашихъ. Надо рѣшить что нибудь. А мы съ нимъ однаго уѣзда. —

Такъ говорилъ молодой тайный совѣтникъ – значительное лицо Петербурга, обращаясь къ Генералъ-адъютанту, сидѣвшему у него въ кабинетѣ.

– А вотъ и Зина. Ты меня извини. Мы должны быть у Елены Павловны нынче. А мы говорили о твоемъ cousin Иларіонѣ… – обратился онъ къ женѣ, которая въ томъ незамѣтно изящномъ уборѣ, котораго тайна извѣстна только высшему свѣту, тихо вошла въ комнату.

– Ежели вы его не вытащите изъ его берлоги, – сказалъ Г[енералъ]-А[дъютантъ], обращаясь къ женѣ пріятеля, – никто этаго не сдѣлаетъ.

– Да, очень жалко его, – сказала она.

И всѣ трое вышли.

---

[171] *Зачеркнуто:* получивъ письмо Тѣлошина. Вас. Ил. обращался къ

[172] Иду – охотничий термин, иду съ охотой.

[173] *Зачеркнуто:* теперь съ этімъ Я. А.

Князь Иларіонъ Васильичъ былъ старый, скорѣе старѣющій холостякъ. Блаженъ кто..... и постепенно жизни холодъ съ годами вытерпѣть умѣлъ!..

Кто изъ людей, дожившій до 40 лѣтъ – (из людей живших и любивших) не испыталъ на себѣ всей глубины значенія этаго стиха:>

Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ,
.....
Кто постепенно жизни холодъ

–

* IV.
ЗАПИСКИ МУЖА.

Вотъ я опять одинъ и одинъ тамъ, гдѣ я былъ и молодъ и дитя, и гдѣ я былъ глупъ и гадокъ, и хорошъ и несчастливъ, и гдѣ я былъ счастливъ, гдѣ я жилъ, истинно жилъ разъ въ жизни въ продолженіи 20-ти дней. И эти [20] дней какъ солнце одни горятъ передо мной и жгутъ еще мое себялюбивое подлое сердце огнемъ воспоминаній. Теперь Богъ знаетъ что я такое, и что я дѣлаю, и зачѣмъ все тоже вокругъ меня, и время все также бѣжитъ около меня, не унося меня съ собой, не двигая даже. Оно бѣжитъ, *а я* стою – и не стою, а подло, лѣниво, безцѣльно валяюсь посреди все той же внѣшней жизни, безъ силъ, безъ надеждъ, безъ желаній, съ однимъ ужаснымъ знаніемъ – съ знаніемъ себя, своей слабости, изтасканности и неизцѣлимой холодности. Я себѣ не милъ нисколько, ни съ какой стороны, не дорогъ я, и я не ненавистенъ себѣ, я хуже всего этаго, я неинтересенъ для себя, я скученъ, я впередъ знаю все, что я сдѣлаю, и все, что я сдѣлаю, будетъ пошло, старо, невесело. Пробовалъ я и вырваться изъ этаго стараго, пыльнаго, затхлаго, гніющаго, заколдованнаго круга *себя*, въ которомъ мнѣ[174] суждено вертѣться, но все, чтобы я не сдѣлалъ самаго необычайнаго, все это тотчасъ же получало *мой* собственный исключительный цвѣтъ, образъ и запахъ. Только я могъ это и такъ сдѣлать. Все тоже, все тоже. Ежели бы я застрѣлился или повѣсился, о чемъ я думаю иногда также здраво, какъ о томъ, не поѣхать ли въ городъ, и это бы я сдѣлалъ не такъ, какъ солдатъ, повѣсившійся прошлаго года въ замкѣ,[175] а только такъ, какъ мнѣ свойственно, – старо, пошло, затхло и невесело. —

Нѣтъ, не уйти отъ себя и отъ своего прошедшаго!

Не для человѣка свобода. Каждая секунда, которую я проживаю, противъ воли проживаю, заковываетъ будущее. А ужъ остается меньше жизни впереди, чѣмъ сзади. Все будущее не мое уже. Так склонись, покорствуй и неси цѣпи, которыя ты самъ сковалъ себѣ. Да, легко сказать, а ежели бы у меня оставалось только два мгновенія жизни, я бы и ихъ употребилъ на то, чтобы мучительно биться съ этимъ прошедшимъ, и пытался бы вырваться на свѣтъ и свободу и хоть разъ свободно и независимо дыхнуть чистымъ воздухомъ и взглянуть на неомраченный, не сжатый, неоклеветанный, а великой, ясной и прелестной міръ Божій. —

Правда, я не имѣю еще права жаловаться и плакать, у меня были[176] двѣ недѣли свободы, и теперь бываютъ при воспоминаніи о моей жизни минуты восторга, когда я свободенъ, другіе не выходятъ изъ вѣчнаго рабства. —

Жизнь моя отжита, ежели то жизнь, тѣ 33 года, которые я былъ, мнѣ дѣлать нечего; я навѣки закованъ въ мірѣ дѣйствительномъ; остается одинъ міръ моральной, въ которомъ я могу быть свободенъ. Хочу, пользуясь тѣми минутами восторга, въ которыхъ я свободенъ, раз-

---

[174] *В подлиннике описка:* внѣ

[175] *Можно прочесть и:* засикѣ,

[176] *Зачеркнуто:* въ жизни

сказывать *исторію моей жизни* и тѣ событія, самыя простыя и обыкновенныя событія, которыя довели меня до моего настоящаго положенія. —

I.

Первый взглядъ на жизнь и первые идеалы.

Съ тѣхъ поръ, какъ себя помню, какіе были мои первые идеалы? Чего я желалъ? Чѣмъ я гордился? Богатство и власть были мои идеалы, ихъ я желалъ и ими гордился. Помню, мнѣ было 3 года, отецъ отдавалъ приказанья въ кабинетѣ, въ то время какъ всѣ мы, мать, тетка я и сестра, сидѣли за чаемъ въ гостинной.

–

* V.
[ОТРЫВОК БЕЗ ЗАГЛАВИЯ.]

Онъ не могъ ни уѣхать, ни оставаться. Уѣхать не могъ, потому что денегъ не было и потому что безъ вечеровъ у Пушковыхъ ему не представлялась возможность жить. А каждый вечеръ онъ выходилъ отъ нихъ съ чувствомъ сосущей тоски и говорилъ себѣ: выжатъ, выжатъ апельсинъ. Тотъ самый апельсинатъ, который она ѣла при немъ. А оставаться не могъ, потому что столько было насплетничано и пересплетничано вокругъ него съ нею, и между имъ и ею были такія отношенія, которыя можно было только чувствовать, но не понимать. Она ли отказала ему, онъ ли ей? – Кто кого обманулъ[177] и неудовлетворилъ, не довелъ своихъ отношеній[178] до сознанія? Вообще между ними говорилось и думалось тонко, очень тонко, изящно. Грубыя слова: влюбленъ, хочетъ жениться или выйти замужъ, обманулъ, сдѣлалъ предложенье и т. п., нетолько слова, но и понятія недопускались. Оно было тонко, но зато ужасно неясно. Пріятно ли было или нѣтъ, это ихъ дѣло. Должно быть, что пріятно, иначе они бы такъ не вели себя. —

** VI.
СКАЗКА О ТОМЪ, КАКЪ ДРУГАЯ ДЕВОЧКА ВАРИНЬКА СКОРО ВЫРОСЛА БОЛЬШАЯ.

(Посвящается Варинькѣ.)

– Что это въ самомъ дѣлѣ мы совсѣмъ забыли дѣтей, – сказала мать послѣ обѣда. – Вотъ и праздники прошли, а мы ни разу не свозили ихъ въ театръ. – Принесите афишу – нѣтъ ли нынче чего-нибудь хорошенького для нихъ. —

Варинька, Николинька и Лизанька играли въ это время въ сирену, они всѣ три сидѣли на одномъ креслѣ: подъ водой ѣхали на лодкѣ къ феѣ; и ихъ было въ игрѣ будто-бы 6 человѣкъ: мать, отецъ, Евгеній,[179] Этіенъ, Саша и Милашка. Лизанька была Милашка и сейчасъ сбиралась быть феей, чтобы принимать гостей; но вмѣстѣ слушала, что говорили большіе.

– Варинька! въ театръ, насъ… – сказала она и опять принялась за свое дѣло: дуть и махать руками, что значило, что они ѣдутъ подъ водой.

– Мамаша? – спросилъ Николинька.

---

[177] *Дальше зачеркнуто не до конца, а лишь по первым четырем буквам слово:* разочаровалъ.

[178] *В подлиннике:* отношенія.

[179] *В подлиннике:* отецъ – Евгеній.

– Да, – сказала Варинька.

И игра пошла плохо, очень долго не доѣзжали до феи, дѣти все слушали, какъ мамаша совѣщалась съ дядей, куда ѣхать? Въ циркъ, или въ Большой театръ, въ «Наяду и Рыбакъ». —

– Идите одѣвайтесь! – сказала мамаша.

Сирена вдругъ разстроилась, ни лодки, ни воды, ни милашки, ничего больше не было. —

– Мы, мамаша? – спросила старшая, Варинька, хотя и знала, что одѣваться сказано имъ.

Николинька и Лизанька, молча глядя на мамашу, ожидали подтвержденья.

– Идите, идите скорѣй наверхъ!

И топая ногами, съ пискомъ и крикомъ, толкая другъ друга, полетѣли дѣти.

Черезъ полчаса они потихоньку, боясь запачкать и смять платья, ленты и рубашки, съ умытыми лицами и руками сошли въ гостиную. Они всѣ были славныя дѣти, особенно дѣвочки въ кисейныхъ платьяхъ съ розовыми лентами, а мальчикъ въ канаусовой сизой [?] рубашкѣ съ золотымъ поясомъ, котораго ему самому очень мало было видно.

– Неужели я такая же хорошенькая, какъ и Лизанька? – думала Варинька и, чтобы увѣриться въ этомъ, прошлась, шаркая, мимо зеркала[180] и какъ будто мимоходомъ заглянула на себя подъ столъ въ зеркало. Въ зеркалѣ бокомъ стояла хорошенькая дѣвочка.

– Лизанька! посмотри, у тебя коки все не пригладились, – сказала она, и Лизанька подошла и посмотрѣла на себя.

Коковъ не было видно. Это только подшучивала Варинька. Николинька тоже подошелъ и посмотрѣлъ на свой золотой поясъ:

– Ну точно сабля у дядинькѣ, прелесть! —

Но вдругъ няня, стоявшая за дверью съ муфтами, вошла въ комнату и отвела Лизаньку.

– Опять измялись! – сказала она, обдергивая ей юбку. – Нельзя васъ брать!

Но Лизанька знала, что это только шутки.

– Allez prendre vos precautions avant de partir,[181] – сказала гувернантка въ красныхъ лентахъ и шумящемъ шолковомъ платьѣ, входя въ комнату.

– Прекотьоны, прекотьоны! – закричали дѣти, и сначала побѣжала Лизанька.

– Мнѣ не нужно, – гордо сказалъ Николинька.

– И мнѣ тоже, – сказала Варинька.

– Какія кхинолины! – сказала Варинька.[182] – Какая красавица Бисутушка! – говорили дѣти, прыгая вокругъ M-lle Bissaut, которая тоже посмотрѣлась въ зеркало, чтобы узнать, точно не сдѣлалась ли она красавица.

Мамаша долго одѣвалась, такъ что дѣти сыграли еще одну игру въ доктора и измяли всѣ платья и взъерошились. Ихъ побранили, сказали, что нельзя ихъ одѣвать хорошо, что ихъ надо оставить; но они знали, что ихъ непремѣнно возьмутъ, и старались сдѣлать кислыя рожи, но въ душѣ имъ было весело. Наконецъ, посадили всѣхъ въ карету. Михайла такъ и подкидывалъ ихъ о пороги, какъ мячики; а старушка няня, безъ платка и въ одномъ платьѣ стоявшая на крыльцѣ на морозѣ, все говорила, что у Лизаньки шляпка сбилась, а что Варинька хоть ручки бы спрятала. Николинька – тотъ кавалеръ молодецъ, ему ничего не нужно.

Когда пріѣхали въ театръ и пошли по коридору, и незнакомые люди стали ходить взадъ и впередъ прямо на нихъ, и какъ стала мамаша спрашивать, куда идти, и Михайло не зналъ, то дѣти, по правдѣ сказать, испугались сильно, хотя и не признавались въ этомъ. Лизанька даже думала, что все кончено, что заблудились, что собьютъ съ ногъ, уведутъ куда-нибудь, и что вотъ-те и театръ будетъ. Она даже задыхалась отъ страху и, еще бы немножко, заплакала-бы. Я знаю, что она не признается въ этомъ, но было дѣло. Зато какъ нашли ложу, и человѣкъ какой-

---

[180] *Можно прочесть и:* зеркалъ

[181] [Идите, приготовьтесь передъ отъездом,]

[182] *Четыре последние слова вписаны над строкой и ошибочно введены в следующую фразу, после слова:* Бисутушка,

то съ золотыми галунами потребовалъ билетъ у мамаши, несмотря на то, что она мамаша, и отворилъ дверь, удивительно хорошо стало, даже немножко страшно. Музыка играетъ, свѣтло, золотыя свѣчи большія и люди, люди, люди! Головы, головы, головы! Наверху, внизу, вездѣ люди. Точно настоящіе.

Мамаша пустила впередъ дѣтей, а сама сѣла сзади. Тутъ дѣти стали осматриваться. Люди напротивъ, кругомъ и внизу точно были настоящіе, они шевелились, были даже дѣти, и дѣти такіе же настоящіе, какъ и они сами. Особенно рядомъ съ ними черезъ загородку сидѣли мальчикъ и дѣвочка, такіе хорошенькіе, точно волшебные. Дѣвочка въ пукляхъ до открытыхъ плечиковъ, а сама не старше Вариньки, а мальчикъ тоже съ длинными курчавыми волосами, въ бархатной поддевкѣ съ золотыми пуговками и такой хорошенькой, лучше Ѳеди и Стивы, даже лучше Раевскаго, ну точно волшебный мальчикъ. —

Волшебный мальчикъ и дѣвочка смотрѣли на дѣтей, которые пришли, и дѣти смотрѣли на нихъ и шептались между собой.

– Смотрите же сюда, дѣти, вотъ гдѣ сцена, – сказала мамаша, указывая внизъ въ одну сторону. Дѣти посмотрѣли туда, и имъ не понравилось. Тамъ сидѣли музыканты, всѣ черные, съ скрипками и съ трубами, а повыше были нехорошіе простые доски, какъ въ домѣ въ деревнѣ полъ, и на полу ходили люди въ рубашкахъ и красныхъ колпакахъ и махали руками. А одна дѣвочка безъ панталонъ въ коротенькой юбочкѣ стояла на самомъ кончикѣ носка, а другую ногу выше головы подняла кверху. Это было нехорошо, и дѣтямъ стало жалко этой дѣвочки.

– Который театръ, мамаша? – спросилъ Николинька.

– Этотъ самый, – отвѣчала мамаша, въ трубку глядя на дѣвочку и указывая на нее.

Дѣти стали смотрѣть туда; дѣвочка прыгала, вертѣлась, и другія прыгали и танцовали съ ней, и ничего не было смѣшнаго. Правда, сзади дѣвочки было сдѣлано точно море и мѣсяцъ, это было хорошо.

– Неужели это настоящія дѣвочки? – спросила Лизанька, которой было страшно отчего-то и хотѣлось плакать.

– Разумѣется, настоящія! – отвѣчала Варинька, – посмотри, какъ она ходитъ; какъ туда зайдетъ за эти перегородки, очень видно, что настоящія.

Лизанька обидѣлась.

– Которыя съ нами рядомъ сидятъ, я вижу, что настоящія, а тѣ – я не знаю.

Но и Варинькѣ было веселѣй смотрѣть на ложи и на люстру и особенно на сосѣдку дѣвочку и мальчика, чѣмъ на самый театръ. Маленькіе сосѣди тоже смотрѣли на нихъ, а старшіе все заставляли смотрѣть на танцовщицъ. Было смѣшно только, когда вдругъ всѣ начинали бить въ ладоши, да еще передъ самымъ концомъ было хорошо и смѣшно, когда на сцену пришло много людей съ алебардами, стали бить другъ друга, сдѣлался пожаръ, и одинъ провалился, только жалко – тутъ-то и закрылась занавѣсъ. —

Сосѣдніе дѣти встали и вышли изъ ложи съ офицеромъ, который былъ съ ними.

– Какъ жарко! – сказала мамаша и тоже вышла съ дѣтьми въ коридоръ и стала ходить. Лизанька держалась за нее, чтобы не потеряться, другіе ходили сами. Офицеръ съ волшебными дѣтьми тоже ходилъ. Встрѣчаясь, дѣти смотрѣли другъ на друга и смотрѣли такъ пристально, что ничего не видали подъ ногами, и Лизанька такъ заглядѣлась, что спотыкнулась и упала. Но она не заплакала, а покраснѣла и засмѣялась. И наши дѣти, и волшебныя дѣти захохотали. Волшебныя дѣти еще показались лучше, когда смѣялись.

– Такія хорошенькія, веселыя, особенно дѣвочка, – думалъ Николинька. – Особенно мальчикъ, – думали Лизанька и Варинька. – Quels charmants enfan[t]s![183] проговорила мамаша гувернанткѣ, но такъ, чтобы офицеръ и дѣти слышали. В душѣ жъ она думала: хороши дѣти, но мои лучше. Дѣтей очень испугало и удивило то, что рѣшилась сказать мамаша; однако она

[183] [Какие прелестные дети!]

это хорошо сказала. Отойдя на другой конецъ коридора, офицеръ тоже самое сказалъ своимъ дѣтямъ.

– Ну, подите познакомьтесь съ ними, – сказалъ онъ имъ.

– Поди сам, коли тебѣ хочется, – сказал онъ имъ.

– Что же, я пойду, – сказалъ мальчикъ, глядя вверхъ на офицера. – Только что сказать имъ?

– Спроси, не ушиблась ли эта дѣвочка.

– Хорошо, я скажу! – рѣшительно сказалъ мальчикъ.

– И я скажу, – сказала дѣвочка, и они пошли имъ навстрѣчу.

Мальчикъ все смотрѣлъ на дѣвочку, которая упала, пріостановился около нее, открылъ было ротъ, но не рѣшился и весь покраснѣлъ – и лицо и шея; скрыпя новыми сапожками, побѣжалъ къ своимъ и схватилъ офицера за руку.

– Острамился, – сказалъ офицеръ.

Съ другаго конца опять сошлись дѣти. Мальчикъ остановился противъ Лизаньки, и она остановилась.

– Какъ васъ зовутъ? – спросила она.

– Саша!

– Ахъ, Саша! – сказали и Николинька, и Варинька, и Лизанька, и всѣ засмѣялись.

– Мы играемъ въ Сашу, – сказалъ Николинька.

– А мы играемъ въ воланы, – сказала волшебная дѣвочка.

– Вы въ первый разъ въ театрѣ? – спросила Варинька.

– Нѣтъ, мы видѣли «Корсара», и въ циркѣ два раза были: тамъ клауны, и «Волшебную флейту» видѣли и послѣ завтра съ бабушкой поѣдемъ. —

Варинькѣ сдѣлалось стыдно.

– «Волшебная флейта» хорошо, должно быть.

– Нѣтъ, Циркъ лучше всего, всего!

– А вы говорите пофранцузски?

– Говоримъ, и понѣмецки говоримъ, и поаглицки учимся.

– А васъ какъ зовутъ?

Ужъ по коридору меньше стало ходить народу, мамаша ушла въ ложу, и музыка заиграла, а дѣти все разговаривали. —

– Ну, вотъ и познакомились, теперь пойдемте въ ложу, – сказала гувернантка.

– Проститесь, поцѣлуйтесь, – сказалъ офицеръ, улыбаясь.

Дѣти стали цѣловаться. Только Варинька не успѣла поцѣловаться съ волшебнымъ мальчикомъ, и ей это было досадно. Въ ложѣ опять дѣти смотрѣли больше другъ на друга, чѣмъ на балетъ, и улыбались, какъ знакомые.

Только скучно было, что гувернантка все сердилась, что измяли платья. Что за дѣло, ужъ пріѣхали.

Во второмъ антрактѣ дѣти опять сошлись и, схватившись за руки, все ходили вмѣстѣ и все разсказали другъ другу. Офицеръ купилъ имъ винограду, и они испачкали всѣ перчатки, все ѣли.

– <А мы съ вами забыли поцѣловаться, – сказалъ мальчикъ, и они прожевали, выплюнули шелуху и поцѣловались.>

– Когда же мы увидимся еще? – спросила Варинька.

– Можетъ быть, въ театрѣ, – сказалъ мальчикъ, – а вы къ намъ не можете развѣ ѣздить?

– Нѣтъ, можемъ, ежели мамаша захочетъ, а когда будемъ большіе, тогда ужъ все будемъ дѣлать, что хотимъ, будемъ ѣздить къ вамъ.

– Нѣтъ, къ намъ лучше, у насъ зала большая.

– А знаете, меня нашъ знакомый училъ, какъ большимъ сдѣлаться. Только я не могъ. Надо вырвать свой волосокъ, привязать себѣ на ночь вокругъ шеи или такъ положить, и ежели онъ до утра не соскочитъ, то большой будешь.

Очень было весело. Такъ было весело, какъ никогда не было весело.

– Мы будемъ всегда друзья? – сказалъ мальчикъ Варинькѣ, когда они уходили.

– Всегда, – отвѣчала Варинька.

И тоже самое Николинька сказалъ волшебной дѣвочкѣ.

И Лизанька тоже сказала дѣвочкѣ.

– Всѣ, всѣ всегда будемъ друзья! – чтобы сократить дѣло, сказалъ Саша, и всѣ остались очень довольны. —

Послѣ театра дядя пришелъ пить чай съ мамашей, а дѣти разсказывали ему и нянѣ все, что они видѣли, и больше разсказывали про дѣтей, чѣмъ про театръ. – Мамашѣ нездоровилось, и она устала и соскучилась въ театрѣ.

– И чтожъ, хороши дѣти были? – спросилъ дядя у Лизаньки.

– Очень хороши, – отвѣтила она.

– И вы подружились?

– Очень подружились.

– И тебя полюбили?

– Д-д-да!

– Даромъ что безъ зубъ?

– И безъ зубъ полюбить можно.

– Разумѣется, можно и безъ зубъ, – подтвердила Варинька.

– Они всѣ тамъ влюбились, – сказала гувернантка.

– Да, я влюбилась! – сказала Варинька и замялась.

– Ахъ ты моя прелесть! – сказала мамаша.

Варинька удивилась, что ее за что-то хвалятъ.

– Хочешь выйти за него замужъ?

– Хочу, – сказала она.

– Коли бы ты была большая, то можно бы было, – сказала Лизанька, – а теперь нельзя.

– Разумѣется, нельзя. Однако идите спать, дѣти.

Дѣти перекрестили мать, и она ихъ перекрестила, поцѣловались со всѣми, кто только былъ въ комнатѣ, и побѣжали наверхъ. Покуда они снимали платья и панталоны и покуда молились Богу, они все думали и говорили о волшебныхъ дѣтяхъ. И долго няня еще не могла ихъ угомонить, они все переговаривались изъ своихъ кроватокъ. Наконецъ они затихли, няня поправила лампадку и вышла изъ комнаты.

– Николинька! – сказала Варинька въ полусвѣтѣ лампадки въ спущенной съ плечъ рубашечкѣ, высовы[ва]я изъ-подъ полога свою головку. —

Николинька вскочилъ на колѣни.

– А я хочу видѣть во снѣ Сашу.

– А я Машу, – сказалъ Николинька.

– А я всѣхъ двухъ, – пропищала Лизанька.

– Вотъ я пойду мамашѣ скажу, – послышался голосъ няни изъ-за двери.

Дѣти притихли.

– Лучше всѣхъ, всѣхъ! – себѣ въ подушку проговорила Варинька.

Ей такъ видѣлся Саша съ своими черными курчавыми волосами и веселымъ смѣхомъ.

– Ахъ, кабы я была большая! Я бы вышла за него за мужъ, непремѣнно.

И ей вспомнился волосокъ, она привстала на локоть и стала дергать, но захватила много волосковъ, сдѣлала себѣ больно и вскрикнула.

– Что ты, Варинька? – прошепталъ Николинька.

– Ничего, прощай! – сказала она.

– Прощай!

Однако два волоска остались у Вариньки между пальцами, она выбрала одинъ подлиннѣе и попробовала. Онъ не обходился вокругъ шеи. Она связала два и завязала ихъ, легла на подушку.

– А вѣдь Лизанька и Николинька останутся маленькими – подумала она, и ей стало страшно. – Ничего, я и имъ тоже сдѣлаю, возьмемъ Сашу къ себѣ, и всѣ будемъ жить вмѣстѣ, – подумала она и тотчасъ же заснула. Вдругъ Варинька почувствовала, что она тянется, тянется и не можетъ уже умѣститься въ кровати. Она проснулась, оглядѣлась, она была большая. Лизанька и Николинька еще спали. Она встала потихоньку, <надѣла платье, салопъ и шляпку и> вышла на крыльцо[184] и побѣжала прямо туда, гдѣ жилъ Саша. Саша еще спалъ, <но ее впустили>. Она подошла къ его кроваткѣ <и разбудила его> и разсмотрѣла на его шеѣ тоже связанный волосокъ, который чуть держался на шеѣ и вотъ-вотъ долженъ соскочить. Она потихоньку поправила волосокъ. —

Вдругъ Саша сталъ растягиваться, растягиваться, рости, рости, такъ что кроватка затрещала. Какія толстыя сдѣлались руки, ноги, усы стали выходить. Саша открылъ глаза и посмотрѣлъ на Вариньку, но и глаза и улыбка Саши были такія странныя.[185]

– А, вотъ сюрпризъ, – сказалъ онъ потягиваясь.

Варинькѣ стало вдругъ стыдно и страшно. У Вариньки потемнѣло въ глазахъ, она закричала и упала навзничь. Понемногу все прошло, она открыла глаза и увидала свою кроватку, лампадку и няню, которая в платкѣ стояла подлѣ нее и крестила. Она сорвала волосокъ, перевернулась на другой бокъ и заснула.

–

* VII.
[СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ].

Въ страстную суботу я сидѣлъ вечеръ у пріятеля. – Мы такъ заговорились, что и не замѣтили, какъ пробило одинатцать.

– Чтожъ – ты рѣшительно поѣдешь, или нѣтъ? – спросила, входя, молодая хозяйка дома у моего пріятеля.

– Да развѣ непремѣнно нужно ѣхать? – отвѣчалъ онъ, улыбаясь.

Я всталъ и взялъ шапку.

– Ты куда хочешъ ѣхать? – спросилъ онъ. – И непремѣнно поѣдешь?

– Еще бы! Въ университетъ, и сейчасъ иду одѣваться. Пожалуйста поѣдемъ! Я и Marie обѣщалась тамъ быть. Ну на что это похоже, такой праздникъ не встрѣтить въ церкви. – Надѣюсь, даже и вы пойдете въ церковь? – прибавила она, обращаясь ко мнѣ[186] нѣсколько насмѣшливо.

– Нѣтъ, я – спать, – отвѣчалъ я, – мнѣ и нездоровится, да и.....

– Ну, вы какъ хотите, вы не мой мужъ, а ты пожалуйста, Сережа....

Я пожалъ руки двумъ супругамъ, надѣлъ пальто и вышелъ на улицу. Проходя черезъ залу и переднюю, я замѣтилъ, что полы были въ новь натерты, замки вычищены и лакей, подавшій мнѣ пальто, напомаженъ и особенно гладко выбритъ. – Сапоги его блестѣли и скрыпѣли не пообыкновенному. На[187] улицѣ было темно, мокро и сыро. Фонари чуть свѣтились, освѣ-

---

[184] *Зачеркнуто:* Лакей Ей подали карету, лакей вскочилъ на козлы

[185] *Можно прочесть и:* страшныя

[186] *Зачеркнуто:* и зная.

[187] *Зачеркнуто:* дворѣ

щая только свои мокрыя стеклы, – собаки лаяли за воротами, какъ и въ обыкновенные дни. Въ домахъ изъ-за сторъ виднѣлись огни. По изрытымъ улицамъ, неровно дребезжа, изрѣдка проѣзжали то дрожки, то бочки. Пешеходовъ совсѣмъ не было. Даже дворниковъ не видать было на тротуарахъ. Сверху сыпался не то таявшій снѣгъ, не то дождикъ. Разговоръ съ моимъ знакомымъ, который прервала его жена, сильно занималъ меня. Я шелъ скорыми шагами, механически поворачивая изъ переулка въ переулокъ, по направленію къ дому и не замѣчалъ происходившаго вокругъ меня. На Никитской, у перекрестка, я почти столкнулся съ двумя женщинами, также какъ и я обходившими лужу. – Это уже ко всенощной, – подумалъ я, замѣтилъ на полусвѣтѣ фонаря ихъ бѣлыя юбки изъ-подъ поднятаго платья и новые башмаки, особенно осторожно ступавшіе по глянцовитымъ мокрымъ камнямъ улицы. Пройдя еще немного, мнѣ встрѣтился, солдатъ писарь въ новой фуражкѣ и шинели, съ женой, шумящей юбками. Такъ и пахнуло на меня праздникомъ отъ этаго звука, и особенно вида шолковаго платка на головѣ и другаго краснаго новаго носоваго платка въ рукѣ, которой она равномѣрно раскачивала.

– Вотъ что зонтикъ не взяли, Михаилъ Ефремовичъ, – сказала она.

Еще подальше встрѣтились мнѣ два чиновника въ шляпахъ и съ зонтикомъ, потомъ старикъ с палочкой. Двѣ дамы съ дѣтьми. Нѣсколько дрожекъ протащилось, ныряя въ водяныхъ рытвинахъ, двѣ кареты, треща рессорами и блестя фонарями, проѣхали по улицѣ. Дворникъ безъ шапки вышелъ съ плошками къ столбамъ тротуара. У Никитскаго монастыря[188] прижался по стѣнѣ и на ступеняхъ народъ въ праздничныхъ одеждахъ, нищихъ попадалось много, но они не просили милостыни. Такъ и вѣяло отъ всего готовящейся, собирающейся народной радостью. – Я прошелъ монастырь, повернулъ по глянцовитому тротуару Александр[овскаго] сада, все тѣже торопливые радостные групы встрѣчались мнѣ; и вдругъ старое забытое чувство праздника живо воскресло во мнѣ, мнѣ стало завидно этимъ людямъ, стало стыдно, что я въ шапкѣ, въ старомъ сертукѣ иду спать, какъ этотъ мужикъ, везущій бочку, безъ участья въ общей радости. – Не отдавая себѣ отчета зачѣмъ, я повернулъ подъ ворота въ Кремль и, отставая и перегоняя толпы народныя, а иногда бѣдныхъ мужиковъ, странниковъ, монаховъ, пѣшеходовъ, вошелъ мимо гауп[т]вахты на Кремлевскую площадь. И солдаты на мокрой платформѣ имѣли парадный необычайный видъ. —

–

** VIII.
КАКЪ УМИРАЮТ РУССКИЕ СОЛДАТЫ. (ТРЕВОГА.)

Въ 1853 году я нѣсколько дней провелъ въ крѣпости Чахгири, одномъ изъ самыхъ живописныхъ и безпокойныхъ мѣстъ Кавказа. На другой день моего пріѣзда, передъ вечеромъ, мы сидѣли съ знакомымъ, у котораго я остановился, на завалинкѣ передъ его землянкой и ожидали чая. Капитанъ N, нашъ добрый знакомый, подошелъ къ намъ. —

Это было лѣтомъ; жаръ свалилъ, бѣлыя лѣтнія тучи разбѣ гались по горизонту, горы виднѣлись яснѣе, и быстрыя ласточки весело вились въ воздухѣ. Два вишневыя дерева и нѣсколько однообразныхъ подсолнечниковъ недвижимо стояли передъ нами и далеко по дорогѣ кидали свои тѣни. Въ двухъ-аршинномъ садикѣ было какъ-то тихо и *уютно*.[189]

Вдругъ въ воздухѣ раздался дальній гулъ орудейнаго выстрѣла.[190]

– Что это? – спросилъ я.

– Не знаю. Кажется, съ башни, – отвѣчалъ мой знакомый, – ужъ не тревога-ли?

---

[188] *Зачеркнуто:* въ углу.

[189] *Последнее слово подчеркнуто карандашем.*

[190] *Первоначально было:* раздался дальній свистъ полета снаряда и вслѣдъ за нимъ орудейный выстрѣлъ.

Какой-то казакъ проскакалъ по улицѣ, солдатъ пробѣжалъ по дорогѣ, топая большими сапогами, въ сосѣднемъ домѣ послышался шумъ и говоръ. Мы подошли къ забору.

– Что такое? – спросили мы у деньщика, который въ полосатыхъ штанахъ, поддерживаемыхъ одной помачею, почесывая спину, бѣжалъ по улицѣ.

– Тревога! – отвѣчалъ онъ, не останавливаясь, – барина ищу.

Капитанъ N схватилъ папаху и, застегиваясь, побѣжалъ домой. Его рота была дежурная. Раздался 2-й и 3-й выстрѣлъ съ башни.

– Пойдемте на кручь, посмотримъ, вѣрно, на водопоѣ что-нибудь, – сказалъ мнѣ мой знакомый. – Не туши самоваръ, – прибавилъ онъ деньщику: – сейчасъ придемъ.

По улицамъ бѣжалъ народъ: гдѣ казакъ, гдѣ офицеръ верхомъ, гдѣ солдатъ съ ружьемъ въ одной и мундиромъ въ другой рукѣ. Испуганныя рожи жидовъ и бабъ показывались у воротъ, въ отворенныхъ дверяхъ и окнахъ. Все было въ движеньи.

– Гдѣ, братцы мои, тревога? гдѣ? – спрашивалъ запыхавшійся голосъ.

– За мостомъ антирелійскихъ лошадей забираютъ, – отвѣчалъ другой: – такая большенная партія, братцы мои, что бѣда.

– Ахъ ты, мои батюшки! какъ они въ крѣпость-то ворвутся, ай-аяй-ай-ай! – говорила слезнымъ голосомъ какая-то баба.

– А, примѣрно, къ Шамилю въ жены не желаете, тетушка? – отвѣчалъ, подмигивая, молодой солдатъ въ синихъ шароварахъ и [съ] попахой на бекрень.

<– Ишь, ровно на сватьбу, – говорилъ старый солдатъ, покачивая головой на бѣгущій народъ: – дѣлать-то нечего.

Два мальчика галопомъ пролетѣли мимо насъ.

– Эхъ, вы, голубчики! на тревогу! – провизжалъ одинъ изъ нихъ, размахивая хлыстомъ.>

Едва мы успѣли подойти къ кручи, какъ насъ уже догнала дежурная рота, которая съ мѣшечками[191] за плечами и ружьями на перевѣсъ бѣжала подъ гору. Ротный командиръ, капитанъ N, верхомъ ѣхалъ впереди.

– Петръ Иванычь! – закричалъ ему мой знакомый: – хорошенько ихъ.

Но N не оглянулся на насъ: онъ съ озабоченнымъ выраженіемъ глядѣлъ впередъ, и глаза его блестѣли болѣе обыкновеннаго. Въ хвостѣ роты шелъ Фелдшеръ съ своимъ кожаннымъ мѣшочкомъ, и несли носилки. Я понялъ выраженіе лица ротнаго командира.

Отрадно видѣть человѣка, смѣло смотрящаго въ глаза смерти; а здѣсь сотни людей всякій часъ, всякую минуту готовы нетолько принять ее безъ страха, но – что гораздо важнѣе – безъ хвастовства, безъ желанія отуманиться, спокойно и просто идутъ ей навстрѣчу. <Хороша жизнь солдата!>

Когда рота была уже на полугорѣ, рябой солдатъ съ загорѣлымъ лицомъ, бѣлымъ затылкомъ и серьгой въ ухѣ, запыхавшись подбѣжалъ къ кручи. Одной рукой онъ несъ ружье, другой придерживалъ суму.[192] Поровнявшись съ нами, онъ спотыкнулся и упалъ. Въ толпѣ раздался хохотъ.

– Смотрите, Антонычь! не къ добру падать, – сказалъ балагуръ солдатъ въ синихъ штанахъ.[193]

Солдатъ остановился; усталое, озабоченное лицо его вдругъ приняло выраженіе самой сильной досады и строгости.

– Кабы ты былъ не дуракъ, а то ты самый дуракъ, – сказалъ онъ съ презрѣніемъ: – что ни на есть глупъ, вотъ что, – и онъ пустился догонять роту.

---

[191] *Надписано над зачеркнутым:* сумками.

[192] *Надписано над зачеркнутым:* патронташъ

[193] *Надписано над зачеркнутым:* панталонахъ. *Так же в аналогичном случае ниже.*

Вечеръ былъ тихій и ясный, по ущельямъ, какъ всегда, ползли тучи, но небо было чисто, два черныхъ орла высоко разводили свои плавные круги. На противуположной сторонѣ серебрянной ленты Аргуна отчетливо виднѣлась одинокая кирпичная башня – единственное владѣніе наше въ Большой Чечнѣ. Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ нея партія конныхъ Чеченцовъ[194] гнала отбитыхъ лошадей вверхъ по крутому берегу и перестрѣливалась съ солдатами, бывшими въ башнѣ.

Когда рота перебѣжала черезъ мостъ, Чеченцы были отъ нея уже гораздо далѣе ружейнаго выстрѣла, но, не смотря на то, между нашими показался дымокъ, другой, третій, и вдругъ бѣглый огонь по всему фронту роты. Звукъ этой трескотни выстрѣловъ секундъ черезъ 50, къ общей радости толпы зрителей, долетѣлъ до насъ.

– Вотъ она! Ишь пошли! Пошли, пошли-и! На утекъ, – послышались[195] въ толпѣ хохотъ и одобренія.

– Ежели-бы, то-есть, постепенно отрѣзать ихъ отъ горъ, не могли бы себѣ уходу имѣть, – сказалъ балагуръ въ синихъ штанахъ, обращавшій своимъ разговоромъ вниманіе всѣхъ зрителей.

Чеченцы, дѣйствительно, послѣ залпа поскакали шибче въ гору; только нѣсколько джигитовъ изъ удальства остались сзади и завязали перестрѣлку съ ротой. Особенно одинъ на бѣломъ конѣ въ черной черкескѣ джигитовалъ, казалось, шагахъ в 50-ти отъ нашихъ, такъ что досадно было глядѣть на него. Не смотря на безпрерывные выстрѣлы, онъ разъѣзжалъ шагомъ передъ ротой; и только изрѣдка около него показывался голубоватый дымокъ, долеталъ отрывчатый звукъ винтовочнаго выстрѣла. Сейчасъ послѣ выстрѣла онъ на нѣсколько скачковъ пускалъ свою лошадь и потомъ снова останавливался.

– Опять выпалилъ, подлецъ, – говорили около насъ.

– Вишь, сволочь, не боится. Такое слово знаетъ, – замѣчалъ говорунъ.

<– Задѣло, задѣло, братцы мои, – вдругъ послышались радостныя восклицанія: – ей Богу, задѣло однаго! Вотъ важно-то! Ай лихо! Хоть лошадей не отбили, да убили Чорта однаго. Что, дофарсился, братъ? – и т. д. Дѣйствительно> Между Чеченцами вдругъ стало замѣтно особенное движеніе, какъ будто они подбирали раненнаго, и впередъ ихъ побѣжала лошадь безъ сѣдока. Восторгъ толпы при этомъ видѣ дошелъ до послѣдних предѣловъ – смѣялись и хлопали въ ладоши. За послѣднимъ уступомъ Горцы совершенно скрылись изъ виду, и рота остановилась. —

– Ну-съ, спектакль конченъ, – сказалъ мнѣ мой знакомый, – пойдемте чай пить. —

– Эхъ, братцы, нашего-то, кажись, однаго задѣли, – сказалъ въ это время старый фуршатъ, изъ подъ руки смотрѣвшій на возвращавшуюся роту: – несутъ кого-то.

Мы рѣшили подождать возвращенія роты.

Ротный командиръ ѣхалъ впереди, за нимъ шли пѣсенники и играли одну изъ самыхъ веселыхъ, разлихихъ кавказскихъ пѣсенъ. – На лицахъ солдата и офицера я замѣтилъ особенное выраженіе сознанія собственнаго достоинства и гордости.

– Нѣтъ ли папиросы, господа? – сказалъ N, подъѣзжая къ намъ: – страхъ курить хочется.

– Ну что? – спросили мы его.

– Да чортъ бы ихъ побралъ съ ихъ лошадьми <паршивыми>, – отвѣчалъ онъ, закуривая папиросу: – Бондарчука ранили.

– Какого Бондарчука?

– Шорника, знаете, котораго я къ вамъ присылалъ сѣдло обдѣлывать.

– А, знаю, бѣлокурый.

– Какой славный солдатъ *былъ*. Вся рота имъ держалась.

---

[194] *Надписано над зачеркнутым:* Татаръ. *Такая же поправка во всех аналогичных случаях далее.*

[195] *В подлиннике:* послышалось *не исправлено после прибавления трех заключительных слов абзаца.*

– Развѣ тяжело раненъ?

– Вотъ-же, на вылетъ, – сказалъ онъ, указывая на животъ.

Въ это время за ротой показалась группа солдатъ, которые на носилкахъ несли раненнаго.

– Подержи-ка за конецъ, Филипычь, – сказалъ одинъ изъ нихъ: – пойду напьюсь.

Раненный тоже попросилъ воды. Носилки остановились. Изъ-за краевъ носилокъ виднѣлись только поднятыя колѣна и блѣдный лобъ изъ-подъ старенькой шапки.

Какія-то двѣ бабы, Богъ знаетъ отъ чего, вдругъ начали выть, и въ толпѣ послышались неясные звуки сожалѣнія, которые вмѣстѣ съ стонами раненнаго производили тяжелое, грустное впечатлѣніе.

– Вотъ она есть, жисть-то нашего брата, – сказалъ, пощелкивая языкомъ, краснорѣчивый солдатъ въ синихъ штанахъ.

Мы подошли взглянуть на раненнаго. Это былъ тотъ самый бѣловолосый солдатъ съ серьгой въ ухѣ, который спотыкнулся, догоняя роту. Онъ, казалось, похудѣлъ и постарѣлъ нѣсколькими годами, и въ выраженіи его глазъ и склада губъ было что-то новое, особенное. – Мысль о близости смерти уже успѣла проложить на этомъ простомъ лицѣ свои прекрасныя, спокойно-величественныя черты.

– Какъ ты себя чувствуешь? – спросили его.

– Плохо, ваше Благородіе, – сказалъ онъ, съ трудомъ поворачивая къ намъ отежелѣвшіе, но блестящіе зрачки.

– Богъ дастъ, поправишься.

– Все одно когда-нибудь умирать, – отвѣчалъ онъ, закрывая глаза.

Носилки тронулись; но умирающій хотѣлъ еще сказать что-то. Мы еще разъ подошли къ нему.

– Ваше Благородіе, – сказалъ онъ моему знакомому. – Я стремена купилъ, они у меня подъ наромъ лежатъ – вашихъ денегъ ничего не осталось. —

.....

На другое утро мы пришли въ госпиталь навѣдать раненнаго.[196]

– Гдѣ тутъ солдатъ 8-й роты? – спросили мы.

– Который, Ваше благородіе? – отвѣчалъ бѣлолицый исхудалый солдатъ съ подвязанной рукой, стоявшій у двери.

– Должно, того спрашиваютъ, что вчера съ тревоги принесли, – сказалъ слабый голосъ съ койки.

– Вынесли.

– Что, онъ говорилъ что-нибудь передъ смертью? – спро[сили мы?][197]

– Никакъ нѣтъ, только дыхалъ тяжко, – отвѣчалъ голосъ съ койки, – онъ со мной рядомъ лежалъ, такъ дурно пахло, ваше благородіе, что бѣда.

.....

Велики судьбы Славянскаго народа! Не даромъ дана ему эта спокойная сила души, эта великая простота и безсознательность силы!…

---

[196] *Первоначально было:* Когда мы на другое утро пришли в госпиталь навѣдать Бондарчука, его уже не было въ солдатской палатѣ.

[197] *Край рукописи оборван, и заключенное в скобки восстановлено предположительно.*

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ РАЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

* I.
[О ВОЕННО-УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.]

[А][198]

Я хочу разсмотрѣть существующее русское военно-уголовное законодательство. – Военное общество нельзя разсматривать какъ гражданское общество. Цѣль гражд[анскаго] общества, т. е. союза, въ себѣ самомъ – осуществленіе идеаловъ вѣчной правды, добра и общаго счастья; цѣль воен[наго] общества – внѣшняя. Воен[ное] общ[ество] есть одно изъ орудій, которымъ осуществляется современная правда, цѣль его есть убійство. Оно ненормально: то, что есть преступленье в гражд[анскомъ] общ[ествѣ], не таково въ военномъ, и наоборотъ.[199] (Чѣмъ ненормальнѣе общество, тѣмъ сильнѣе должна быть связь). Связь того и другаго – законы. Цѣль законовъ гражданск[аго] общ[ества] – справедливость. Цѣль в[оеннаго] о[бщества] – сила. Силу военн[аго] общ[ества] составляетъ[200] единство всѣхъ членовъ въ одномъ цѣломъ. Единство всѣхъ въ одномъ, дисциплина, отличается отъ единства всѣхъ членовъ г[ражданскаго] о[бщества] въ государствѣ [тѣмъ], что въ послѣднемъ случаѣ, она разумна[201] и не стѣсняетъ произвола, въ послѣднемъ же механически и исключаетъ произволъ личный. Духъ войска отличается отъ духа общества тѣмъ, что въ послѣднемъ онъ только слѣдствіе законодательст[ва], въ первомъ же – цѣль, такъ какъ цѣль в[оеннаго] о[бщества] есть сила, а сознаніе силы есть первое условіе силы. (Воен. дѣла рѣшаются не огнемъ и мечемъ, а духомъ). Во всѣхъ вѣкахъ главнымъ способомъ достиженія дисциплины, механической покорности, была привычка и непоколебимость уголовнаго закона (не страхъ, ибо страхъ смерти больше, чѣмъ палки, но 1-е можетъ быть, 2-е вѣрно).[202]

Р[усское] в[оенно]-у[головное] з[аконодательство] допускаетъ слѣдующіе роды наказаній за преступленіе: арестъ, удаленіе отъ службы, переводы въ арм[ію] и т. д., разжалованье, переводы въ арестантскія роты, продолженіе срока службы, прогнанье на смерть сквозь шпицрутены, извѣстн[ое] число шпицрутеновъ и наказаніе розгами. Приговоръ надъ преступниками совершается различно[203] въ мирное и военное время,[204] смотря по чину и по преступленію. Въ большей части случаевъ приговоръ зависитъ отъ произвола ближайшаго начальника.

Разсмотримъ нѣкоторыя изъ этихъ наказаній и способъ приложенія ихъ.

Прежде считаю нужнымъ войти въ нѣкоторыя соображенія о особенностяхъ в[оеннаго] о[бщества], о различіи его отъ гр[ажданскаго] и о вытек[ающаго] изъ того различія цѣли и вліянія уголовныхъ законовъ. Цѣль уг[оловныхъ] г[ражданскихъ] з[аконовъ] есть общая справед[ливость], цѣль в[оеннаго] общества – дисциплина. Кромѣ того духъ войска.

1) Переводъ въ армію. Вліяніе на дисциплину и духъ. Примѣръ аристократ[ическаго] развращ[енія] арміи.

---

[198] *Зачеркнуто заглавие:* Изъ записокъ артиллерійскаго офицера.

[199] *Зачеркнуто:* разбойника

[200] *Зачеркнуто:* дисциплина и духъ войска. Дисциплина есть покорность и сознаніе каждымъ отдѣльнымъ членомъ силы, какъ личной, такъ и общей.

[201] *В подлиннике:* разумно

[202] *Зачеркнуто:* Сознаніе силы производится сознаніемъ долга и независимости отъ другаго лица

[203] *Зачеркнуто:* Надъ высшими чинами Комитетомъ и аудиторіатомъ

[204] *Зачеркнуто:* надъ высшими и низшими преступленіями и надъ большими и меньшими преступниками

2) Разжал[ованіе] – о солдатѣ, составляющемъ преимущ[ественно] духъ войска. Взглядъ на него, и въ продолженіи срока.[205] Развращені[е] классами [?] жестоко[е].

3) Прогнаніе сквозь строй. а) Невозможность, признанная закономъ.[206] Палачи всѣ. Развращеніе. Нецѣлесообразность. Ужасъ только въ зрителяхъ. Кто рѣшилъ, что мало простой смерти?

4) Наказаніе розгами. Произволъ. Противуположное дисциплинѣ. Недостиженіе цѣли. Палачи судьи. Судья и подсудимый, начальникъ части. Ни исправленья, ни угрозы. Чѣмъ замѣнить, скажутъ? Да докажит[е] еще необходимость варвар[скаго] обычая. – Примѣръ Франц[узское] лучшее войско. Примѣры есть въ нашемъ. —

[Б]

Въ русскомъ военно-уголовномъ законодательствѣ существуютъ между прочимъ слѣдующіе роды наказанія:

1) *Переводы*, *изъ гвардіи въ армію и изъ арміи въ линейные батальоны и гарнизоны*.

2) разжалованіе въ солдаты.

3) продолженіе срока службы.

4) <отчисленіе>.

4) Прогнаніе сквозь строй. и 5) наказаніе розгами.

Присужденіе этихъ наказаній, смотря по тому въ мирное или военное время совершено преступление, смотря по важности преступленія и по чину и званію преступника, зависитъ отъ суда или отъ произвола начальника.

Желая разсмотрѣть справедливость и целесообразность этихъ существующихъ между прочими пяти родовъ наказаній, мы видимъ необходимость разъяснить предварительно различіе уголовныхъ законовъ войска – отъ общихъ уголовныхъ законовъ государства. —

Военное общество нельзя разсматривать, какъ часть однаго цѣлаго – государства, и нельзя подводить его подъ общія законы; ибо права и обязанности членовъ этаго общества совершенно различны и часто противуположны правамъ и обязанностямъ членовъ гражданскаго общества.

Убійство, по законамъ общей справедливости, есть преступленіе для гражданина, для воина во многихъ случаяхъ оно есть обязанность. Причина такого различія лежитъ въ связи того и другаго общества. – Цѣль гражданскаго общества есть общая справедливость и благо всѣхъ гражданъ и лежитъ въ себѣ самой.

Чѣмъ больше приближаются законы этаго общества къ общему и вѣчному идеалу, тѣмъ они совершеннѣе. Цѣль военнаго общества – есть убійство, насиліе, однимъ словомъ, сила, и слѣдовательно, лежитъ внѣ его.[207] Чѣмъ ближе законы его приближаются къ осуществленію власти, тѣмъ они совершеннѣе.

(Я полагаю излишнимъ говорить о законности существованія военнаго общества, несмотря на несправедливость его. Ни одно общество не осуществляетъ вполнѣ и прямо общихъ цѣлей вечной справедливости, а путемъ современной несправедливости всѣ идутъ къ общей и вѣчной правдѣ).

[В]

<Какіе роды военнаго наказанія существуютъ въ Россіи. Какіе существуютъ въ другихъ Европ. Державахъ.

---

[205] *Зачеркнуто:* Отсутствіе дисцип[лины].

[206] *Зачеркнуто:* Ожесточеніе его.

[207] *Зачеркнуто:* Дальше убійства оно ничего не можетъ поставить своимъ идеаломъ.

Какой общій духъ этаго законодательства.

Какой общій духъ Европейскихъ законодательствъ? —

Какъ выражается въ дѣйствительности Рус[ское] военно-уголовное законодательство (несообразность дѣйств[ительности] съ законами) (обычай преступленія зак[оновъ], причины тому. —)>

Цѣль угол[овнаго] законод[ательства] вообще <и военнаго въ частности – нравственность и духъ> угрозъ отстраненіе, исправленіе возмѣздіе единственно приложимыя угроз и отстр

Какой долженъ быть духъ воен[наго] законодательства? возможность движенія впередъ въ существующей формѣ къ нравствен[ности] и высот[ѣ] дух[а], и въ этомъ различіе отъ гражданскаго законодательства. Какую изъ цѣлей достигаетъ Русс[кое] зак[онодательство] (угрозы) и какъ въ какой степени.

Какой духъ его? признаніе солдатъ на низшей ступени. Сравненіе съ Европейскимъ (Исторической взглядъ случайность на то и другое).

Возможно ли улучшеніе нравственности и духа Русскаго войска при существу[ющемъ] закон[одательствѣ].

Что опредѣляется преступленіемъ. Не дисциплина, а средства къ угнетенію.

Сравненіе. – Какъ опредѣляется преступленіе и назначается наказаніе. (Домашнее исправленіе). – Какія наказанія. – Выраженіе ихъ въ дѣйствительности, необходимыя и случайныя, историческія – <Какъ они прилагаются> потребность солдата. Случайныхъ наказаній 1) Безчеловѣчность 2) Непоня[т]ность 3) недостиженіе цѣли 4) несправедливость 5) вредное вліяніе на наказуемыхъ и наказывающихъ 6) истекающее изъ нихъ невозможность уваженія къ законамъ и упадокъ духа (угнетенные). Относительно всего – факты, случаи, лица, характеры.

Есть ли возможность замѣнить ихъ. Штрафомъ? лишеніемъ правъ? продолженіемъ срока? – Нѣтъ. Заключеніемъ съ <вычитаніемъ> незачетомъ въ срокъ службы. —

Позорными наказаніями. —

Духъ войска при тѣлесныхъ наказаніяхъ и безъ оныхъ. – Невозможность сравненія съ общимъ уголовнымъ законодательствомъ; ибо цѣль военнаго – кромѣ нравственности есть духъ. —

* II.
[ПИСАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОЕКТУ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЯСНОПОЛЯНСКИХ КРЕСТЬЯН.]

1. [Заметка о фермерстве.]

Фермерство съ оставленіемъ земледѣльцовъ собственниками такихъ участковъ, при которыхъ они не были бы поставлены въ необходимость искать средствъ къ пропитанію. —

При контрактѣ всегда одна сторона имѣетъ болѣе правъ и вліянія на другую, и одна зависитъ отъ другой —

Въ отношеніи контракта по обработкѣ поземельной собственности, справедливѣе, чтобы работающая имѣла бо̀льшее вліяніе. Такъ надо освободивъ крестьянъ поставить ихъ. Для этаго укрепить за ними необходимое количество земли. Укрѣпивъ ее, помѣщикъ будетъ въ зависимости отъ ихъ работы и принужденъ будетъ, – большой по величинѣ, малый по незначительности, – отдать имъ. Кому онъ отдастъ? Не всѣмъ равно. Способнѣйшимъ. – Выходитъ фермерство съ собственностью. – Дворянинъ не можетъ быть земледѣльцемъ, ибо будетъ на равнѣ съ

низшимъ классомъ – вражда; демократія невозможна[208] по неравенству образованія. Двор[янинъ] будетъ же защит[никомъ] крестьянъ, потому что его земля будетъ въ рукахъ ихъ. —

Пролетаріатъ существующій въ общинѣ скрытымъ насильно.

2. [Заметки к вопросу о порядке и условиях освобождения.]

[А]

Помѣщикъ отдѣляетъ на крестьянскую общину извѣстную часть земли, не менѣе назначеннаго закономъ minimum'a по $4^1/_2$ дес[ятинъ] на тягло. Исключая $^1/_2$ дес. на душу, который онъ отдаетъ безплатно въ полную собственность общины, за остальную землю полагается справочная наемная цѣна съ десятины, которую уплачиваетъ ежегодно община, и сверхъ того на то число лѣтъ, которое необходимо для выкупа изъ залога въ кредит[номъ] устан[овленіи] имѣнія, раздѣляется мѣстная цѣнность десятины, и таковой процентъ ежегодно въ уплату за собственность земли вносится крестьянами – по числу земли, наход[ящейся] въ общинѣ. —

Крестьяне увольняются отъ всѣхъ повинностей помѣщику. —

Имѣніе не можетъ быть перезакладываемо. —

Сумма, выплачиваемая помѣщику, прямо платится въ Кредитное установленіе. Ежели не достаетъ оной, то часть долга остается на землѣ помѣщика, и онъ уплачиваетъ проценты съ нея. – Ежели она превышаетъ оную, то пом[ѣщикъ] гражданскимъ порядкомъ контракта вѣдается съ крестьянской общиной. —

Крестьяне поступаютъ въ веденіе М[инистерства] Г[осударственныхъ] И[муществъ].

Ежели Министерство Государственныхъ Имуществъ несогласно весь долгъ принять на крестьянъ съ землею, то по согласію съ Кредитнымъ установленіемъ раздѣляютъ долгъ, частью на крестьянскую, частью на помѣщичью землю. —

Условіе со стороны крестьянъ должно быть добровольно. —

Помѣщикъ, въ случае неуплаты крестьянъ, можетъ по урочной работѣ удовлетворять себя.

По истеченіи срока выкупа изъ Кредитнаго установленія крестьяне съ землей свободны.

[Б]

Пом[ѣщикъ] 1) освобождаетъ крест[ьянъ] и д[воровыхъ] отъ всѣхъ къ себѣ повинностей.

2) Отдѣляетъ $^1/_2$ дес. на душу безплатно, отдавая ее [въ] полную собств[енность] всей кресть[янской] общинѣ.

3) Отдѣляетъ крестьянской общинѣ не менѣе $4^1/_2$ дес. на тягло, или ту землю, которой они въ настоящее время пользуются, на слѣдующихъ условіяхъ, ежели крестьянская община на то будетъ согласна:

а) община платитъ помѣщику въ продолженіи извѣстнаго срока наемную справочную плату ежегодно за каждую десятину;

в) сверхъ того платитъ съ каждой десятины процентъ погашенія[209] не менѣе какъ на 20 лѣтъ.

4) Имѣніе поступаетъ въ вѣденіе Государственныхъ имуществъ.

5) По истеченіи означеннаго числа лѣтъ крестьяне[210] освобождаются отъ всѣхъ обязанностей къ помѣщику и получаютъ полную собственность отдѣленной имъ земли.

---

[208] *В подлиннике:* невозможная

[209] *Зачеркнуто:* на 30 или др

[210] *Зачеркнуто:* получаютъ полную свободу и

6) Въ имѣніи заложенномъ ежели М[инистерство] Г[осударственныхъ] И[муществъ] найдетъ достат[очнымъ] обезпеченіе крест[ьянской] земли за долгъ, принимаемый имъ на себя, и ежегодная плата равняется или превышаетъ плату К[редитному] у[чрежденію], то оно[211] беретъ весь долгъ на себя.[212] Ежели Министерство Государственныхъ Имуществъ не найдетъ достаточнымъ обезпеченіемъ долга крестьянскую землю, то [можетъ] разложить долгъ Кредитному установленію по ценности земли на помѣщичью и крестьянскую землю. Въ случаѣ недостатка крестьянской платы для уплаты Кредитному установленію, долгъ также разлагается по числу земли. То есть часть его беретъ на себя Министерство Государственныхъ Имуществъ, а часть остается на помѣщикѣ.

7) Для уплаты помѣщику крестьянскаго долга должна быть утверждена плата за урочную работу, которой крестьяне могутъ по взаимному согласію удовлетворять помѣщика и которую, въ случаѣ недоимокъ, имѣетъ право требовать помѣщикъ.

8) Дворовые вступаютъ въ общину; но земли сверхъ той, которая дается крестьянамъ, на нихъ не разсчитывается. – Плата ихъ за выкупъ земли опредѣлится общиной. —

3. Предложеніе крѣпостнымъ мужикамъ и дворовымъ сельца Ясной Поляны Тульской губерніи, Крапивенскаго уѣзда.

Господь Богъ вложилъ мнѣ въ душу мысль отпустить васъ всѣхъ на волю. – Ежели бы можно было поѣхать въ судъ сейчасъ же, написать вамъ отпускную и отдать ее вамъ – я бы такъ и сдѣлалъ. Но я совѣтовался съ умными и старыми людьми объ этомъ дѣлѣ, и они мнѣ растолковали, что это вдругъ нельзя сдѣлать, и отчего нельзя, и какъ надобно поступить.

Во-первыхъ, какъ вы знаете, имѣнье мое, и земля, и вы заложены въ Опекунской совѣтъ на сумму около 20.000, и до тѣхъ поръ пока эти деньги не заплатятся, я не имѣю права отпускать васъ на волю. Во-вторыхъ, ежели бы даже имѣнье не было заложено, и я бы могъ отпустить васъ на волю, для васъ бы самихъ было худо, ежели бы я отпустилъ васъ на волю безъ земли, на которой вы сидите и съ которой кормитесь, для васъ бы самихъ было хуже, чѣмъ теперь. Можетъ быть и не для всѣхъ было бы хуже – люди малосемейные, молодые, особенно мастеровые или ямщики, нашли бы себѣ заработки и безъ земли, и жили бы еще лучше, но большей части изъ васъ пришлось бы плохо, когда бы я у васъ землю свою отобралъ. Плохіе же мужики, которые сами собой и своимъ домомъ управляться не умѣютъ и поведенія нехорошаго, безъ земли совсѣмъ бы пропали. Отъ этаго то я и рѣшилъ, что покуда изъ долга будетъ выходить имѣнье – еще лѣтъ 30, надо и вамъ откупать землю, на которой вы сидите и которую пашете по полторы десятины въ полѣ на тягло, такъ что, когда можно будетъ вамъ волю совсѣмъ дать, чтобы и земля, кромѣ селища, по полторы десятины въ полѣ, ужъ была не моя, а ваша собственная. – Такъ вотъ какъ я придумалъ: хотя я вамъ отпускной не могу еще дать законной, потому что долгъ на[213] имѣньи есть, я васъ отнынѣ отъ всякой ко мнѣ повинности освобождаю, такъ что ужъ вы мнѣ ни барщины, ни столовыхъ, ни дворовой службы въ домѣ, ни оброковъ, никакихъ другихъ[214] повинностей справлять не будете; но будете мнѣ ежегодно платить за мою землю, на которой вы сидите и которую въ крестьянскомъ полѣ обрабатывать[215] будете,

---

[211] *В подлиннике:* онъ

[212] *Первоначально начало этого параграфа было изложено следующим образом:* Ежели общая сумма платежа помѣщику превышаетъ или равняется суммѣ процентовъ долга и процентовъ погашенія, платимыхъ въ Кредитное установленіе, то пом[ѣщикъ] предлагает М[инистерству] Г[осударственныхъ] И[муществъ] взять въ свое вѣденіе имѣніе съ долгомъ Сов[ѣту] Кред. устан. и въ первомъ случаѣ о превышающей платѣ [можетъ] вѣдаться гражданскимъ судомъ съ крестьянами.

[213] *Зачеркнуто: мнѣ.*

[214] *Зачеркнуто:* работъ.

[215] *Слово:* обрабатывать *зачеркнуто и вместо него вписано сверху какое-то другое слово, которое снова переправлено, но настолько неразборчиво, что оно не поддается прочтению; поэтому восстанавливаем первоначальную редакцию, необходимую для связи текста.*

кромѣ податей казнѣ, ежегодно по 4 рубля серебромъ кругомъ за каждую и озимую, и яровую, и паровую, и луговую десятину; да кромѣ того по рублю серебромъ съ десятины будете платить въ счетъ выкупа ее отъ меня. Такъ что черезъ 30 лѣтъ ужъ вы мнѣ больше ничего платить не будете, и земля ваша будетъ. Дворовые мнѣ оброка платить не будутъ, а въ томъ же разсчетѣ съ мужиками будутъ платить за землю и за выкупъ ея и подушные сборы наравнѣ со всѣми. – Я дѣлаю разсчетъ по десятинамъ, сколько мнѣ за мою землю получать слѣдуетъ, все равно какъ бы я ее всему вашему міру, и дворовымъ, и мужикамъ, въ наемъ отдавалъ, а вами самими не владѣю; а ужъ вы міромъ раскладывайте, кто сколько платить будетъ. Ежели же въ платежѣ недоимки будутъ, то я буду на столько, на сколько недоимокъ, земли отбирать. Ежели изъ дворовыхъ или кто изъ мужиковъ на заработки захочетъ итти куда нибудь въ городъ или дальнее место, и ему семейство позволитъ, то я всѣмъ паспорты куда бы то ни было выдавать буду.

Ежели у васъ будутъ споры по землѣ или по семейнымъ дѣламъ, то судить будетъ васъ міръ; ежели будутъ дѣла дурныя, судейскія, то судить будетъ судъ. Рекрутчину отбывайте міромъ.

Свою землю я вамъ же, кто захочетъ, съ лугами и угодьями буду отдавать въ наемъ за вольную цѣну. Которую землю не разберутъ, самъ буду пахать наймомъ. Ежели вамъ кому сходно будетъ, будете вы работать, и за вашу работу вычитать буду изъ платы мнѣ за вашу землю. Ежели не сходно – чужіе будутъ работать. —

Дворовыхъ стариковъ, старухъ и дѣтей бездомныхъ,[216] будете содержать вы сами отъ міра.

Подумайте объ этомъ дѣлѣ, поговорите, посовѣтуйтесь съ старыми, умными людьми и черезъ три дня придите, скажите мнѣ, что вы рѣшили, согласны ли или нѣтъ, или что вамъ тутъ кажется неправда, не по закону написано, такъ научите меня, я поправлю и перемѣню. Ежели вы согласитесь, и Богу угодно будетъ исполнить мое желаніе, то я все, что тутъ написалъ и вамъ прочелъ, напишу въ контрактъ на гербовую бумагу, и въ судѣ закрѣплю, и клятву дамъ никогда не измѣнять, и въ завѣщаньи напишу, чтобы, ежели я умру, и наслѣдники мои тоже бы держали. – – – – – – —

Я, нижеподписавшійся, помѣщикъ Тульской губерніи, Крапивенскаго уѣзда, Поручикъ Графъ Л. Толстой, и мы, крестьяне и дворовые сельца Ясной Поляны, заключили слѣдующее условіе: Я, Толстой, отдаю находящуюся въ владѣніи крестьянъ мою землю въ полное распоряженіе крестьянскаго міра, увольняю крестьянъ и дворовыхъ отъ всякой мнѣ денежной или работной повинности и обязуюсь черезъ 30 лѣтъ дать имъ всѣмъ отпускную. Въ случаѣ неисполненія однаго изъ сихъ условій, я лишаюсь всякаго права не только на крестьянъ, но и на всю землю моего имѣнія; они же, крестьяне, обязуются платить мнѣ ежегодно въ продолженіи 30 лѣтъ по 5 рублей серебромъ за каждую десятину той земли, находящуюся въ ихъ владѣніи.

4. [Отношение к Министру Внутренних Дел С. С. Ланскому по поводу проекта освобождения крестьян.]

Г-ну[217]
МИНИСТРУ
ЛАНСКОМУ.

Желая[218] выпустить на волю крестьянъ моихъ въ имѣніи, заложенномъ въ Опекунскомъ Совѣтѣ, я избралъ способъ выкупа за землю, которой они владѣютъ, и который продолжится 30 лѣтъ, срокъ необходимый[219] для[220] выплаты[221] долга Опекунскаго Совѣта. —

[216] *Зачеркнуто:* которые у меня

[217] *Слово:* Г-ну *написано сверх написанного ранее и не зачеркнутого:* Его

[218] *Зачеркнуто:* освободить

[219] *В подлиннике:* необходимаго

Съ этой цѣлъю я написалъ проэктъ условія между мною и крестьянами, обязательства съ моей стороны, которое ставило бы тотчасъ же крестьянъ въ положеніе свободнаго сословія, не уничтожая вмѣстѣ съ тѣмъ связи между землею и ими. —Осмѣливаясь предложить сей проэктъ на разсмотрѣніе Вашего Высокопр[евосходительства], имѣю честь покорнѣйше просить, по новизнѣ этаго случая, о разрѣшеніи составленія[222] и утвержденія у крѣпостныхъ дѣлъ таковаго условія. —

Вопросы. Отъ Опек[унскаго] С[овѣта]: Можно ли выпустить безъ земли, оставивъ долгъ на землѣ? Можно ли выкупаться нѣсколькимъ съ землею, взнося свою часть Опекунскому Совѣту. Можно ли выпустить всѣхъ со всею землею на волю съ переводомъ на нихъ долга? И по сколько для того должно быть при каждой душѣ земли?

Отъ Мин[истерства] В[нутреннихъ] Д[ѣлъ]: Можно ли заключить условіе съ мужиками? Можно ли завѣщать волю и завѣщать одному?[223] —

Вопросы въ М[инистерство] В[нутреннихъ] Д[ѣлъ].

Можно ли заключить контрактъ съ крестьянами и дворовыми въ имѣньи, находящемся въ залогѣ, состоящій въ томъ, что со дня заключенія контракта, я отпускаю крестьянъ и дворовыхъ отъ всѣхъ повинностей къ помѣщику, отдаю имъ въ полное распоряженіе общины по $4^1/_2$[224] дес[ятины] земли на тягло и обязую ихъ платить мнѣ въ продолженіи 30 лѣтъ по 5 рублей съ десятины. Впродолженіи этихъ 30 лѣтъ имѣніе выходитъ изъ залога, и я обязуюсь не перезакладывать его. По истеченіи же 30 лѣтъ крестьяне свободны[225] и поступаютъ въ государственные съ землею. – Можно ли при заключеніи контракта написать вольную, дѣйствительную по истеченіи 30 лѣтъ? – или въ контрактѣ только положить условіемъ, что по истеченіи срока крестьяне свободны. —

Въ случаѣ недоимки, имѣніе можетъ быть продано только въ государственныя имущества.

Можно ли, ежели нельзя заключить контракта у крѣпостныхъ дѣлъ, совершить таковое же домашнее условіе и утвердить его завѣщаніемъ?

Ежели это новый вопросъ, то можно ли о томъ подать докладную записку М[инистр]у В[нутреннихъ] Д[ѣлъ]? —

Вопросы Оп[екунскому] С[овѣту].

Можно-ли раздѣлить долгъ: часть на крестьянъ, часть на землю, которая останется у помѣщика?

Можно-ли выкупаться отдѣльно крестьянамъ съ землею, выплачивая за себя отдѣльно долгъ Совѣту? —

Можно-ли всѣхъ отпустить съ переводомъ на нихъ долга, и какой для того minimum земли? —

---

[220] *Зачеркнуто:* выхода

[221] *В подлиннике:* выплата

[222] *Зачеркнуто:* и закрѣпленія въ гражданской

[223] *На обороте листка Толстым сделана выписка из IX тома Свода Законов, относящаяся к Положению об обязанных крестьянах (статьи 701 и 764 законов о состояниях); за этой выпиской следует продолжение вопросов к Министерству Внутр. Дел и Опекунскому Совету.*

[224] *Цифра* 4 *переправлена из:* 5

[225] *В подлиннике после слова:* свободны *поставлен знак вопроса*

5. Докладная записка [Товарищу Министра Внутреннихъ Дѣлъ А. И. Левшину.]

Г-ну
Товарищу
Министра
Внутреннихъ дѣлъ
Левшину.[226]
Отъ помѣщика
Тульской губерніи
Поручика Артиллеріи
Графа Толстаго.

Имѣя желаніе уволить въ свободные хлѣбопашцы крестьянъ, полученныхъ мною по наслѣдству отъ отца, въ имѣніи моемъ Тульской губерніи Крапивенскаго уѣзда, сельцѣ Ясной Полянѣ, имѣю честь представить на разсмотрѣніе Вашего Превосходительства слѣдующій проэктъ контракта, основанный на статьяхъ 760, 761, 762 и 763 изъ Свода законовъ о состояніяхъ.

«Мы, нижеподписавшіеся, крестьяне и помѣщикъ, заключаемъ сіе условіе въ томъ, что, 1) я, помѣщикъ, со дня совершенія условія, освобождаю крестьянъ и дворовыхъ отъ всѣхъ ко мнѣ повинностей: сборовъ, оброковъ, барщины и т. д.; 2) отдаю крестьянамъ и дворовымъ по полдесятины на душу въ полную и вѣчную собственность всей общины; 3) отдаю въ полную собственность общины всю ту землю въ пахатныхъ поляхъ и лугахъ находящуюся, которой въ настоящее время пользуются крестьяне.Мы, крестьяне, обязываемся: 1) платить помѣщику съ той земли пахатной и сѣнокосной которой мы пользуемся въ настоящее время, ежегодно[227] по 4 рубля серебромъ наемной платы съ десятины, что по цѣнности земель составляетъ 10 процентовъ съ капитала. —2) Крестьянская община[228] обязана выкупить землю.

3) <Выкупъ сей зависитъ отъ воли крестьянъ. Они могутъ выкупить ее единовременно или на года, съ соблюденіемъ того разсчета, что, какая бы ни была сумма и черезъ сколько бы то ни было времени взнесена помѣщику сверхъ 10 процентной платы, сумма эта вычитается изъ суммы капитала земли, разсчитывая по 40 р. за десятину, а на остатокъ продолжается 10-процентная плата. Такъ что ежели бы крестьяне вносили по 5 р. съ десятины ежегодно, то въ первый годъ они бы уплатили по 1 съ капитала, въ 2-й 110, въ 3 – 121, 4 – 132, 5 – 147, 6 – 162, 7 – 178, 8 – 195, 9 – 215, 10 – 236, 11 – 260, 12 – 286, 13 – 315, 14 – 346, 15 – 381, 16 – 419 и наконецъ въ 17 годъ они бы заплатили всего 397, изъ которыхъ 358 на погашеніе остальнаго капитала, и получили бы въ полную собственность землю.

(*Прим.* Процентъ выкупа долженъ быть больше процента залога. 10 проц. есть средній употребительный въ гражданскихъ сдѣлкахъ процентъ.)>

4) Выходъ съ земли разрѣшается помѣщикомъ. —

5) Въ случаѣ недоплаты процентовъ крестьянской общиной, она обязана по справочной цѣнѣ выставлять для заработковъ означенной суммы работниковъ по требованію помѣщика. —

6) Крестьянская община сама принимаетъ мѣры для прокормленія старыхъ и бездомныхъ.

7) Повинности правительству: подати, рекрутчина, справляются общиной.

8) К[рестьяне] поступаютъ въ вѣдѣніе М[инистерства] В[нутреннихъ] Д[ѣлъ].

---

[226] *В подлинникѣ:* Левшина.

[227] *Зачеркнуто:* въ продолженіи 30 лѣтъ.

[228] *Зачеркнуто:* прежде полученія совершенной свободы и права покидать земли.

Такъ какъ имѣніе мое состоитъ въ залогѣ [въ] М[осковскомъ] О[пекунском] С[овѣтѣ] – то осмѣливаюсь просить В[аше] П[ревосходительство] о исхода[тай]ствованіи посредничества Правительства М[инистерства] В[нутреннихъ] Д[ѣлъ] между мной и Кредитнымъ установленіемъ. —

Долгъ состоящій на имѣніи пусть по числу земли будетъ раздѣленъ на крестьянскую и мою землю. – Плату, как наемную, и выкупную съ крестьянъ я предоставляю всю сполна, ежели она не будетъ превышать долга, получать прямо Правительству. —

6. [Проект условия с крестьянами Ясной Поляны и Грецовки.]

Мы, нижеподписавшіеся, помѣщикъ Тульской губерніи, Крапивенскаго уѣвда сельца Ясной Поляны и Грецовки, Поручикъ Артиллеріи Графъ Левъ Николаевъ сынъ Толстой, и мы, крестьяне того же сельца Ясной Поляны и хутора Грецовки, заключили сіе условіе въ томъ, что: 1) Я, Граф Левъ Толстой: обязуюсь навсегда оставить въ владѣніи крестьянъ земли, кои находятся теперь в их владѣніи, под усадьбой, выгономъ, огородами и хлѣбами въ трех полях. 2) Обязуюсь имѣніе мое сельцо Ясную Поляну и деревню Грецовку не перезакладывать[229] до окончательнаго выкупа. 3) По истеченіи 24 лѣтъ, срока выхода изъ залога имѣнія, отдать въ полную собственность крестьянъ означенныя земли, коими они владѣютъ, и выпустить ихъ въ вольные хлѣбопашцы. —

Мы, крестьяне, обязуемся въ продолженіи 24 летъ отъ настоящаго числа исправлять для помѣщика, по старо установленному порядку, барщинскую какъ пѣшую, мужицкую и бабью, такъ и конную работу по 3 дня въ недѣлю; 2) или, ежели на то будетъ наше желаніе, или некоторыхъ изъ насъ, въ замѣнъ барщинской работы, обязуемся платить помѣщику по 26[230] руб. сер. съ тягла оброка; 3) по желанію нашему имѣемъ право въ продолженіи сихъ 24 лѣтъ переходить съ оброка на барщину, съ барщины на оброкъ. – 4) Тѣ изъ насъ, которые будутъ выходить на оброкъ, обязываются составлять между собой общество и въ платѣ оброка отвѣчать всѣмъ обществомъ за каждое тягло. —

Къ сему условію руку приложилъ Гр. Л. Толс[той]

Къ сему условію руку приложилъ выборный отъ крестьянъ

N. N.

7. Дневникъ помѣщика.

28 Мая. Въ 8-мь часовъ вечера я позвалъ къ себѣ старосту Василья – молодаго красиваго мужика изъ богатыхъ ямщиковъ, который ходитъ въ синемъ казакинѣ и говоритъ краснорѣчиво, путая господскіе обороты съ крестьянской рѣчью, и Осипа Наумова, мужа моей кормилицы, бывшаго старосту,[231] извѣстнаго за колдуна, хозяина и пчеловода. – Осипу Наумову лѣтъ 60, но на видъ не болѣе 40. Онъ приземистъ, очень бѣлокуръ, глаза всегда смѣются. Онъ уменъ, рѣчистъ и гордится тѣмъ, что знаетъ солнечные часы и планы, что не мѣшаетъ ему быть вполнѣ народнымъ какъ въ жизни, рѣчахъ, такъ и пріемахъ. – Я объявилъ имъ, что намѣренъ отпустить всѣхъ крестьянъ по оброку, и созвалъ сходку для того, чтобы узнать, согласенъ ли будетъ міръ на оброчное положеніе при слѣдующихъ 2-хъ условіяхъ: 1) чтобъ крестьянскія земли всѣ отмежеваны были къ одному краю, и 2) чтобъ дѣло я имѣлъ не съ каждымъ отдѣльнымъ крестьяниномъ, а съ обществомъ, при чемъ общество за недоимки обязано выставлять по урочной платѣ[232] нужное число рабочихъ.

---

[229] *Зачеркнуто:* и вновь не закладывать.

[230] *Цыфра* 6 *переправлена из* 5.

[231] *В подлиннике:* старосты

[232] *Зачеркнуто:* извѣстное

Василій сказалъ, что размежевку земли *составить слишкомъ затруднительно*, на что я отвѣтилъ, что затрудненія не остановятъ меня. Осипъ сказалъ, что имѣть дѣло съ обществомъ невозможно, потому что найдется слишкомъ много лежебоковъ. – Онъ не понялъ меня. Когда я объяснился лучше, онъ замолкъ. Я перешелъ къ сходкѣ. – Здраствуйте (я не зналъ, сказать ли ребята или друзья или миръ и промычалъ что-то), сказалъ я и спросилъ, нѣтъ-ли жалобъ и довольны ли начальниками. – Всѣ молчали, я смотрѣлъ на Матвѣя Егорова, богатаго ямщика. – Такъ довольны, – повторилъ я. – Чтожъ… сказалъ кто-то. – Стало быть довольны, – повторилъ я опять послѣ долгаго молчанія и перешелъ къ изложенію моего предложенія. Когда я сказалъ, что даю еще по полдесятины на душу, двое поклонились. Я сказалъ, что дѣло не въ благодарности (они перестали тотчасъ же), а въ томъ, чтобы ответили мнѣ на два вопроса. Когда [я] объяснялъ, какъ я понимаю мои отношенія къ обществу, многіе изъявили одобреніе. – Когда я говорилъ о перемежевкѣ, В[асилій] объяснилъ, что та самая[233] отходящая земля, 25 десятинъ, приступитъ къ крестьянскому полю. Я ничего не понялъ и выразилъ ему это, но одинъ изъ мужиковъ понялъ, что то была рѣчь о землѣ барской въ крестьянскомъ клинѣ, которая поступитъ въ число $^{1}/_{4}$ д[есятины] на душу. – Предоставивъ рѣшить дѣло между собой, я ушелъ домой. Часа черезъ $1^{1}/_{2}$ пришли Василій и Осипъ и объявилъ Василій, что насчетъ общества согласны, чтобъ я положилъ сумму на всѣхъ и сказалъ, какую еще землю даю, чтобы они знали, сколько мнѣ платить могутъ. Общинное начало не удивило ихъ, они еще развили его. Насчетъ размежевки земли же они изъявляли свое несогласіе, предполагая, что вся крестьянская земля будетъ передѣляться между ними и между мной; причемъ Осипъ прибавилъ, что ежели я у нихъ за С.[234] верхомъ землю отмежую, то они безъ хлѣба останутся. Они видимо предполагали во мнѣ умыселъ обобрать ихъ. Когда я объяснилъ, что перемежевки не будетъ, исключая наивозможнаго сосредоточенія въ одно всей моей земли, они согласились. При этомъ я показалъ это, какъ я понимаю, на планѣ. Осипъ старался не столько понимать, что я говорилъ, сколько уколоть Василія его незнаніемъ плана. О цѣнѣ же я сказалъ, что прежде назначенія ея хочу определить всѣ условія, и что тогда пусть сами скажутъ, что могутъ дать. Я купецъ, они покупатели. Это понравилось Осипу. Еще я сказалъ имъ передать міру, чтобы опредѣлили справочныя цѣны работъ, весьма неудачно объяснивъ необходимость не набавлять цѣны, тѣмъ, что я не буду брать ихъ по высокимъ цѣнамъ зарабатывать оброкъ, и приказалъ старостѣ поговорить съ владѣльцами всѣхъ долженствующихъ перемежеваться земель о ихъ требованіяхъ.

Они ушли, но я не вытерпѣлъ и въ темнотѣ подошелъ къ забору, отъ котораго могъ слышать ихъ рѣчи. Объясненіе перемежевки понравилось, говорили всѣ вмѣстѣ. Свѣже навозныя земли были однимъ затрудненіемъ; кто-то одинъ сказалъ, что коли у кого отойдетъ навозная земля, то міромъ навозить ее, и всѣ согласились. Владѣльцами перемежевывающихся земель оказались всѣ и всѣ согласились. Насчетъ справочныхъ цѣнъ почти единогласно чрезвычайно умѣренно назначили цѣны: пахоту 1 р. сер., косьбу крюкомъ 50 к. с. и т. д. Доводомъ къ тому, чтобы не набавляли лишняго, было то, что коли дорого назначить – будутъ работать чужіе, и своимъ придется брать дешевле. Какъ они меня поправили!

Я подошелъ къ нимъ; сняли шапки и замолкли. Говорилъ только староста, Осипъ и Резунъ, бездомовникъ, умный плотникъ, говорунъ, лѣтъ 60, но на видъ 40, худощавый, остроносый, съ бородой. Я требовалъ, что[бы] надѣли шапки, говоря, что съ шапками голосъ пропалъ. Дружелюбно смѣялись: цѣль сходки нравилась. Резунъ предложилъ взять земли на мальчиковъ. Осипъ нетерпѣливо подернулъ плечомъ и отвернулся. Я сказалъ, что земли даю только тѣ, которыя находятся въ владѣніи. Поняли, что Резунъ билъ на нечистое дѣло. —

---

[233] *В подлиннике:* тѣ самые

[234] *Буква* С. *написана неясно и читается предположительно*

Я предложилъ вопросъ о томъ, сколько хотятъ сѣнокоса въ одномъ мѣстѣ, чтобы ни мнѣ, ни миру обидно не было. Резунъ сказалъ, что половину дать имъ. Я отвѣтилъ, что онъ судитъ скоро, чтобъ подумалъ: цѣна оброка будетъ зависѣть отъ того, сколько у нихъ будетъ земли. Замолчали и звуки одобренія. Я простился и пошелъ, они тоже пошли, громко разговаривая. Завтра дадутъ отвѣтъ о сѣнокосѣ. —

29 Мая. Въ 9 часовъ мнѣ сказали, что собралась сходка. Я пошелъ къ нимъ и предложилъ вопросъ о сѣнокосѣ. Вообще замѣтно было уныніе, непохожее на вчерашнее расположеніе духа. О сѣнокосѣ мнѣ сказали, что у нихъ сѣна слишкомъ мало и желали бы имѣть больше, именно Арковск[ій] верхъ и т. д. Я пошелъ съ Осипомъ смотрѣть на планѣ. Онъ многозначительно поводилъ пальцомъ и растолковалъ мнѣ. Мы рѣшили опредѣлить такъ, что я отдаю всѣ покосы, исключая нѣкоторыхъ. Я вышелъ снова къ нимъ изъ конторы и предложилъ вопросъ[235] такъ: хотите взять по вольному контракту или нѣтъ, и какую назначите цѣну? Осипъ сказалъ: рублей 20, – какъ будто не понимая, въ чемъ дѣло – предложилъ то есть $^1/_3$ настоящей цѣны. Я снова ушелъ въ контору, посовѣтовавъ имъ совѣщаться. Я съ глаза на глазъ объявилъ Василію цѣну, за которую я хочу отпустить. Онъ нашелъ цѣну небольшою. Сообщилъ ему мысль пріобщить дворовыхъ къ общинѣ. Онъ понялъ такъ, что крестьяне будутъ нанимать у дворовыхъ. – Сообщилъ тоже Осипу о дворовыхъ, ему понравилось. Осипъ сказалъ вдругъ, что о сѣнокосѣ несогласны, не зная цѣны. Вышелъ къ нимъ, объяснилъ о дворовыхъ всѣмъ, обращаясь преимущественно къ Резуну. Онъ вдругъ сказалъ, что вообще отвѣчать общиной несогласны. Мы разошлись совсѣмъ. Они сказали, что съ барщиной много довольны и жить хорошо, ежели бы я прибавилъ сѣнокоса и земли. Снова я спросилъ, какъ могутъ быть несогласны, не зная цѣны. Просили открыть цѣну. Я сказалъ. Молчаніе. Резунъ сказалъ: нельзя. Какой то дерзкій голосъ, съ желаніемъ уколоть меня, какъ мнѣ показалось:[236] оброкомъ насъ всѣхъ раззорите. – Много голосовъ, все изъ бѣдныхъ и бездомовныхъ: за что общество будетъ отвѣчать за неимущихъ и полтора оброка платить? Я доказывалъ, что заработаютъ барщиной, одной поденной работой въ $1^1/_2$ раза больше. Умолкли. Я предложилъ совѣтоваться и ушелъ. Вызвалъ старосту, прося его убѣдить ихъ. Онъ обѣщалъ, какъ дѣло весьма для него легкое. Снова я пошелъ къ нимъ. Уже толковали о томъ, сколько платить старикамъ безъ земли. Просили прибавить земли на мальчиковъ и убавить цѣны, я назначилъ каждый день сходки и отвѣтъ въ Троицынъ день черезъ 5 дней. —

3 Іюня. Трощынъ [*день*]. Сходки не было, потому что я не приказалъ старостѣ, а только сказалъ мужикамъ на сходкѣ. Василій однако утромъ сказалъ мнѣ, что мужики рѣшительно несогласны, что Осипъ сказалъ, что и 10 р. не заплатить, а Резунъ одинъ согласенъ. Вечеромъ на Груман[тѣ] встрѣтилъ Кирилу, Анисимова брата, въ лѣсу и заговорилъ съ нимъ; онъ сказалъ, что нынѣшній годъ тяжелъ падежемъ лошадей, и поэтому оброкъ невозможенъ. Потомъ подъѣхалъ къ Осипу: онъ съ сдержанной улыбкой умнаго человѣка, который проникъ, что его хотятъ надуть и не поддается, сказалъ, что придется платить по 150 рублей за нищихъ, что оброкъ великъ и что староста угнетатель.

Встрѣтилъ Резуна, тотъ сказалъ, что онъ не понимаетъ упорства другихъ, что онъ согласенъ и что надо поговорить еще. Потомъ подъѣхалъ къ Данилѣ (богатый семейный мужикъ, изъ ямщиковъ, худой, блѣдной, неподобострастный, но добродушный и очень умный). Онъ подошелъ ко мнѣ, когда я заговорилъ объ оброкѣ, съ лицомъ выражающимъ стыдъ за меня, что я притворяюсь и лгу. Онъ отдѣлался общими мѣстами, говоря, что и за мной жить хорошо, что при папенькѣ моемъ за ними оброкъ тоже не стоялъ. Часовъ въ 10 я пошелъ ходить съ Васильемъ и разсказалъ ему весь свой планъ. Василій понялъ, не удивился и сказалъ, что онъ

[235] *Зачеркнуто:* о сѣнѣ

[236] *Зачеркнуто:* этакимъ

какъ предъ Богомъ, такъ и передо мной, объяснитъ, что[237] они имѣютъ въ разумѣ, что я хочу *сдѣлку* сдѣлать, теперь обязательство взять, такъ какъ знаю, что въ коронацію всѣмъ будетъ свобода, и главное отъ этаго не соглашаются. Они и не знали, что я намѣренъ пересадить на оброкъ съ осѣни. Но трудно будетъ разувѣрить въ томъ, что я ихъ обманываю. Завтра открою имъ свою мысль и допущу оброкъ хотя нѣсколькихъ, ежели не захотятъ обществомъ.

5 Іюня. Нынче была сходка. Когда я спросилъ: желаютъ ли на оброкъ обществомъ, долго всѣ молчали и потомъ стали говорить, что дорого, и что нѣкоторые пойдутъ можетъ [быть]. Сказали только, что несогласны, когда я спросилъ: несогласны? Говорили, что хлѣба нѣтъ и придется платить по 92 рубля, что нѣкоторые пойдутъ. Я объяснилъ, что все дѣло рѣшится только осѣнью. Молчаніе… Я вошелъ въ контору и изъ окна началъ говорить: что цѣль моя въ томъ, чтобы они откупились. Молчаніе. Что произойти это не можетъ раньше выкупа изъ Совѣта, 24 лѣтъ. Яковъ, – бѣлобрысый бойкій мужикъ сказалъ, что никто не доживетъ до этаго срока. Звуки одобренья. – Сказали, что оброкъ великъ и что и такъ жить хорошо. Я предложилъ итти на оброкъ тѣмъ, которые хотятъ, и составить общество. Звуки[238] одобренія; но когда я сказалъ, что остальные пусть вмѣстѣ съ другими сдѣлаютъ условіе – контрактъ, послышались испуганно-недовольныя возраженія, что можетъ сдѣлать[ся][239] болѣзнь и изъ всего общества 10 человѣкъ останется. Я сказалъ (необдуманно), что контрактъ нельзя сдѣлать иначе, какъ когда всѣ пойдутъ, а потомъ сказалъ, что можно и совсѣмъ, вообще изложилъ неясно. – Сначала напали бѣдняки, и изъ первыхъ Яковъ, на то, что оброчнымъ нечего ходить, ежели не всѣ. Я объяснилъ, что каждый свободенъ; потомъ возразили, что пусть лучше останется на прежнемъ положеніи, а то кормить въ голодъ некому будетъ, и выйдя изъ оброка я не приму его. – Возвратились къ оброку, просили отсрочку до осѣни; когда я сказалъ, что нужно мои поля бросить, они предлагали нанять ихъ. Я сказалъ имъ пункты условія, всѣ изъявили неудовольствіе и къ подпискѣ выражали страхъ. Потомъ я замѣтилъ, что ежели свобода будетъ дана общая, то условія контракта моего пусть будутъ недѣйствительны. Съ ужасомъ возставали на всякое поползновеніе къ *подпискѣ* и обращались къ оброку. Я сказалъ, что подписка для того, чтобы связать наслѣдниковъ. Они сказали, что имъ все равно и у Мараюшникова [?] жить. – Даже тѣ, которые были за оброкъ, замолкли. Стали льстить и врать офиціально. Вы наши отцы, намъ хорошо. Рѣзунъ вдругъ предложилъ отдать имъ всю землю. Я предложилъ ему отдать мнѣ свой армякъ и сапоги. Засмѣялись. Я возвратился къ подпискѣ. Оскорбленно говорили, что никакъ нельзя, какъ можно, отцы не дѣлали, и дѣти пусть служатъ, какъ будто я предлагалъ имъ дать подписку въ томъ, что каждый будетъ осквернять святыню. Данило, къ которому я приступилъ, требуя объясненія отказа и объясняя его надеждой воли безъ выкупа, божился мошеннически, и всѣ одобрительно подтверждали его слова, что они ничего не знаютъ. Онъ сказалъ, что дѣти пусть тоже служатъ барину. – Да, я сказалъ, развѣ имъ не лучше будетъ? Нѣтъ, – отвѣтилъ онъ, и всѣ подхватили, – вольнымъ жить хуже. И опять начали не то льстить; видно они испугались чего-то, чего – еще я не понялъ. – Я сказалъ, что все-таки пусть потолкуютъ, согласны ли на контрактъ, и кто согласенъ на оброкъ? Голосъ изъ толпы, что на оброкъ никто не пойдетъ, и всѣ одобрительно молчали. Я отошелъ въ садъ и минутъ черезъ 5 вернулся. Никого уже не было. Все разошлись молча, плотники толковали съ старостой о сваяхъ. Какъ будто нынѣшніе мои слова были уже такъ глупы, что не стоили никако[го] вниманія. Староста, съ которымъ я послѣ заговорилъ объ этомъ дѣлѣ, сообщилъ мнѣ, что когда онъ началъ говорить имъ, они и слушать не стали и разошлись молча. Староста, который на мою сторону клонитъ и, какъ богатый мужикъ, долженъ желать свободы, объяснялъ ихъ несогласіе действительно тѣмъ, что

---

[237] *Зачеркнуто:* на сходкѣ

[238] *Зачеркнуто:* звуки, *вместе с предыдущимисловами:* согласились почти

[239] *В подлиннике:* сдѣлать

свободнымъ хуже.[240] Онъ подтверждалъ это примѣрами. Завтра напишу черновое условіе и дамъ имъ. —

6 Іюня. Вотъ черновой Договоръ, который [я] далъ старостѣ и который онъ одобрилъ, съ тѣмъ, чтобы дать его читать крестьянамъ. Староста объяснилъ мнѣ, что они дѣйствительно ожидаютъ вольной въ Коронацію и что они боятся, [что] я ихъ надую.

7 Іюня. Я велѣлъ собрать стариковъ. Староста же сдѣлалъ весьма неудачный выборъ. Власъ, болѣзненный развратный старикъ. Морозъ, добродушный плутъ, который отвѣчалъ мнѣ, что онъ глухъ. Владиміръ,[241] добрый, но тупой мужикъ, Резунъ, Осипъ и Данило. Староста имъ прочелъ еще прежде меня, я прочелъ снова. Резунъ говорилъ, что понимаетъ, когда же я приступилъ съ вопросами: хотятъ или нѣтъ? сказали, что лучше по старому, что мы готовы, – однимъ словомъ, не отвѣчали на вопросъ. – Осипъ сказалъ, что хуже бы не было отъ того, что 3 дня; я доказывалъ нелѣпость его словъ. Онъ сказалъ, что онъ старъ, – съ молодыми поговорите. Потомъ сказалъ, что начальства будетъ много. – Данило – злобной плутовской брюнетъ. Ямщикъ. Косится на другихъ, когда говоритъ. Говорилъ, что они глупы, не понимаютъ. – Лучше служить постарому, и что они не доживутъ воли. Наконецъ, когда я нападалъ на ихъ недовѣріе и скрытность, Рѣзунъ, которому между прочимъ, нужно отъ меня лошадь, сказалъ, что онъ скажетъ все: надѣятся свободы, а я ихъ свяжу подпиской. Я прочелъ послѣдній пунктъ, опять толковалъ, просилъ объ одномъ, чтобы со мной совѣтовались. Стали сговорчивѣй и обѣщались подумать. Воскресенье велѣлъ созвать общую сходку. – На этой сходкѣ Рѣзунъ снова, какъ будто обѣщая согласиться, просилъ прибавить земель, и всѣ подтверждали.

Черн[овое] письмо Гр. Блудову. —

Ваше Сіятельство,

Графъ Дмитрій Николаевичъ!

Уѣзжая изъ Петербурга я, кажется, имѣлъ честь сообщать Вамъ цѣль моей поѣздки въ деревню. Я хотѣлъ[242] разрѣшить для себя въ частности вопросъ объ освобожденіи крестьянъ, занимавшій меня вообще. Передъ отъѣздомъ моимъ я даже подавалъ докладную записку Т[оварищу] М[инистра] В[нутреннихъ] Д[ѣлъ], въ которой излагалъ тѣ основанія, не совсѣмъ подходящія къ законамъ о вольныхъ хлѣб[опашцахъ] и обяз[анныхъ] крест[ьянахъ], на которыхъ я намѣренъ былъ сдѣлать это. Г-нъ Министръ передалъ мнѣ словесно черезъ своего товарища, что онъ одабриваетъ мой планъ, разсмотритъ и постарается утвердить подробный проэктъ, который я обѣщалъ прислать изъ деревни. – Пріѣхавъ въ деревню, я предложилъ крестьянамъ итти вмѣсто барщины на оброкъ вдвое меньшій, чѣмъ оброкъ въ сосѣднихъ деревняхъ. Сходка отвѣчала, что оброкъ великъ и они не въ состояніи будутъ уплатить его. Я предлагалъ заработки – несогласіе. Я предложилъ имъ выйти въ обязанные крестьяне работой по 3 дня въ недѣлю, съ прибавками земли, съ тѣмъ, чтобы, по истеченіи[243] 24 лѣтъ, срока выкупа имѣнья изъ залога, они получили вольную съ полной собственностью на землю. Къ удивленію моему они отказались и еще, какъ бы подтрунивая, спрашивали, не отдамъ ли я имъ еще всю и свою землю. – Я не отчаявался и продолжалъ почти мѣсяцъ каждый день бесѣдовать на сходкахъ и отдѣльно. Наконецъ я узналъ причину отказа, прежде для меня непостижимаго. Крестьяне, по своей всегдашней привычкѣ къ лжи, обману и лицемѣрію, внушенной многолѣтнимъ попечительнымъ управленіемъ помѣщиковъ, говоря, что они за мной счастливы, въ моихъ словахъ и предложеніяхъ видѣли одно желаніе обмануть, обокрасть ихъ. Именно: они твердо убѣждены, что въ коронацію всѣ крѣпостные получатъ свободу, и смутно воображаютъ, что съ землей,

[240] *В подлиннике:* лучше *(по описке).*

[241] *Зачеркнуто:* умный

[242] *Зачеркнуто:* хотѣлъ *и снова восстановлено*

[243] *В подлиннике:* истеченію

можетъ быть, даже и со всей – помѣщичьей; въ моемъ предложеніи они видятъ желаніе связать ихъ подпиской, которая будетъ действительна даже и на время свободы.

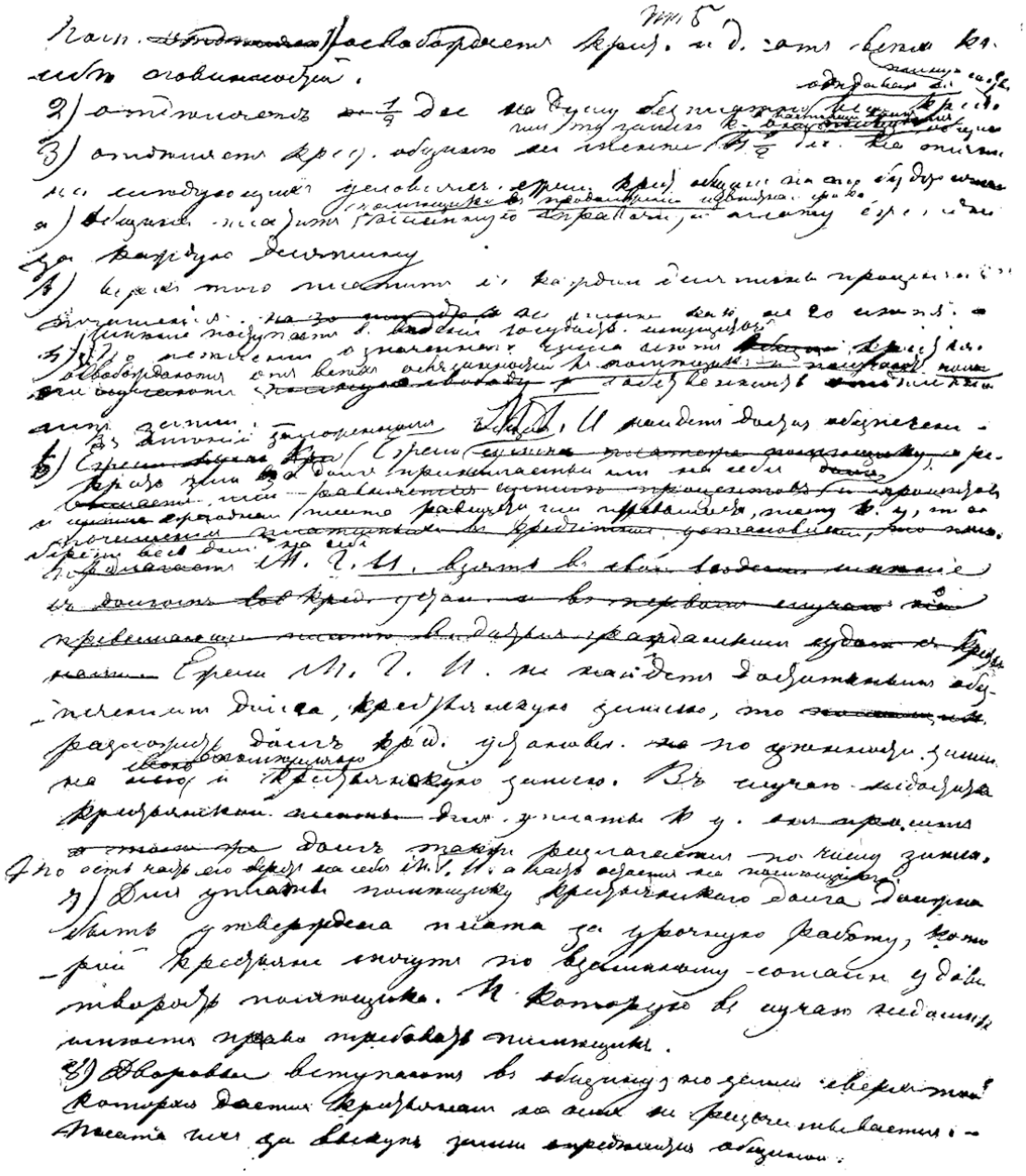
Все это я пишу для того только, чтобы сообщить вамъ два факта, чрезвычайно важные и опасные: 1) что убѣжденіе въ томъ, что въ коронацію послѣдуетъ общее освобожденіе, твердо вкоренилось во всемъ народѣ, даже въ самыхъ глухихъ мѣстахъ, и 2) главное, что[244] вопросъ о томъ, чья собственность – помѣщичья земля, населенная крестьянами, чрезвычайно запутанъ[245] въ народѣ и большей частью рѣшается въ пользу крестьянъ, и даже со всей землею помѣщичьею. Мы ваши, а земля наша. Деспотизмъ всегда рождаетъ деспотизмъ рабства. Деспотизмъ королевской власти породилъ деспотизмъ власти черни. Деспотизмъ помѣщиковъ породилъ уже деспотизмъ крестьянъ; когда мнѣ говорили на сходкѣ, чтобы отдать имъ всю землю, и я говорилъ, что тогда я останусь безъ рубашки, они посмѣивались, и нельзя обвинять ихъ: такъ должно было быть. Виновато правительство, обходя вездѣ вопросъ, первый стоящій на очереди. Оно теряетъ свое достоинство (dignité) и порождаетъ тѣ деспотическія толкованія народа, которыя теперь укоренились. Инвентари. Пускай только Прав[ительство] скажетъ, кому принадлежитъ земля. Я не говорю, чтобы непремѣнно должно было признать эту собственность за помѣщикомъ, (хотя того требуетъ историческая справедливость), пускай признаютъ ее часть за крестьянами или всю даже. Теперь не время думать о исторической справедливости и выгодахъ класса, нужно спасать все зданіе отъ пожара, который съ минуты на минуту обниметъ [его]. Для меня ясно, что вопросъ помѣщикамъ теперь уже поставленъ такъ: жизнь или земля. И признаюсь, я никогда не понималъ, почему невозможно опредѣленіе[246] собственности земли за помѣщикомъ и освобожденіе[247] крестьянина безъ земли? Пролетаріатъ! Да развѣ теперь онъ не хуже, когда пролетарій спрятанъ и умираетъ съ голоду на своей землѣ, которая его не прокормитъ, да и которую ему обработать не чѣмъ, а не имѣетъ возможности кричать и плакать на площади: дайте мнѣ хлѣба и работы. У насъ почему-то всѣ радуются, что мы будто доросли до мысли, что освобожденіе безъ земли невозможно, и что исторія Европы показала намъ пагубные примѣры, которымъ мы не послѣдуемъ. Еще тѣ явленія исторіи, которыя произвелъ пролетаріатъ, произведшій революціи и Наполеоновъ, не сказалъ свое послѣднее слово, и мы не можемъ судить о немъ, какъ о законченномъ историческомъ явленіи. (Богъ знаетъ, не основа ли онъ возрожденія міра къ миру и свободѣ). Но главное, въ Европѣ не могли иначе обойти вопроса, исключая Пруссіи, гдѣ онъ былъ подготовленъ. У насъ же надо печалиться тому общему убѣжденію, хотя и вполне справедливому, что освобожденіе необходимо съ землей.

[244] *Зачеркнуто:* понятіе

[245] *В подлиннике:* запутанно *по согласованию с зачеркнутым:* понятіе

[246] *В подлиннике:* опредѣленія

[247] *В подлиннике:* освобожденія



Страница черновой рукописи „проекта освобождения Яснополянских крестьян“. *Размер подлинника.*

Печалиться потому, что съ землей оно никогда не рѣшится. Кто отвѣтитъ на эти вопросы, необходимые для рѣшенія общаго вопроса: по скольку земли? или какую часть земли помѣщичьей? Чѣмъ вознаградить помѣщика? Въ какое время? Кто вознаградитъ его? Это вопросы неразрѣшимые или – разрѣшимые 10 летними трудами и изысканіями по обширной Россіи. —

А время не терпитъ, не терпитъ потому, что оно пришло исторически, политически и случайно. Прекрасные, истинные слова Г[осударя], сказанныя въ М[осквѣ], облетѣли все Государство, всѣ слои, и запомнились всѣмъ, во первыхъ, потому что они сказаны были не о парадѣ и живыхъ картинахъ, а о дѣлѣ близкомъ сердцу каждаго, во вторыхъ, что они откровенно-прямоистинны. – Невозможно отречься отъ нихъ, опять потому что они истинны, или надо уронить

въ грязь prestige[248] трона, нельзя откладывать ихъ исполненія, потому что его дожидаютъ люди *страдающіе*.

Пусть только объявятъ ясно, внятно, закономъ обнародованнымъ: кому принадлежитъ земля, наход[ящаяся] въ владеніи крепостныхъ, и пусть[249] объявятъ всѣхъ вольными, съ условіемъ оставаться впродолженіе 6 мѣсяцевъ на прежнихъ условіяхъ, и пусть подъ надсмотромъ чин[овниковъ], назначен[ныхъ] для этаго, прикажутъ составить условія, на которыхъ останутся отношенія крест[ьянъ] съ помѣщ[иками], пусть допустятъ даже свободное пересѣленіе съ земель и определятъ по губерніямъ minimum его. Нѣтъ другаго выхода, а выходъ необходимъ. – Ежели въ 6 мѣсяцевъ крѣп[остные] не будутъ свободны – пожаръ. Все уже готово къ нему, недостаетъ измѣннической руки, которая бы подложила огонь бунта, и тогда пожаръ вѣздѣ. Мы всѣ говорили: это много труда, обдумыванья, времени. Нетъ! время приспѣло. Есть 3 выхода: деньги! Ихъ нѣтъ. Разсчетомъ уплатой – время[ни] нѣтъ. И 3 – безъ земли. Можно послѣ утвердить.[250] Первая приготов[ительная] мѣра – объявленіе, нечего скрываться, всѣ знаютъ. —

10 Іюня. Была окончательная общая сходка. Долго молчали на мой вопросъ: согласны ли? наконецъ одинъ маленькой плюгавый бѣднякъ заговорилъ за всѣхъ и объявилъ, что несогласны. Общее мычанье подтвердило. Резунъ объяснилъ причины, будто бы 1) что я не даю сѣнокоса и 2) что мальчики будутъ подрастать, земли понадобятся, и не откуда ихъ будетъ взять, и 3) что по 24 лѣтъ имъ однихъ своихъ земель мало.* Я отвѣчалъ, что сѣнокосы дамъ и земли буду давать по требованію. Опять жалобы на недостатокъ хлѣба, сѣнокосовъ и поголовную работу, которая ихъ раззорила совершенно. (По журналу не выходитъ 130 дней на тягло). Я сказалъ, что одно средство – подписка. – Вопль, что мы непротивничали, какъ служили, такъ и будемъ, не было бы хуже за больныхъ отвѣчать. Я рѣшилъ, что дѣло прямо невозможно и предоставилъ одинъ оброкъ, осѣнью рѣшится дѣло. —

* Опять является смутное понятіе о ихъ собственности на всю землю. – Потомъ я предложилъ земли; никто не хотѣлъ брать, говоря, что для этаго нужно принуждать: очевидное противорѣчіе съ 2-мъ доводомъ Резуна.[251]

Міръ, какъ правила дѣтской игры, compétent[252] въ рѣшеніи дѣлъ о сѣнокосахъ, но перенесите его въ другую сферу, дайте ему другую задачу, задачу о выходѣ изъ помѣщичьей власти, онъ не только не рѣшаетъ, но самъ уничтожается, и остаются невѣжественныя безсмысленныя единицы. Контрактъ съ ними невозможенъ, я рѣшилъ одно – оброкъ, для т[ого] завести своихъ рабочихъ. Когда всѣ будутъ на оброкѣ, еще разъ предложу контрактъ.

–

* III.
[ПРОЕКТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ.]

Господину Министру
Государственныхъ Имуществъ
Михаилу Николаевичу Муравьеву.
Отъ помѣщика Тульской Губерніи
Графа Льва Толстаго.

---

[248] [обаяние, престиж]

[249] *Зачеркнуто:* назначать срокъ 6 м. въ который

[250] *Со слов:* Мы всѣ *кончая:* утвердить. – *вписано карандашом, очевидно наспех, для памяти, фразы остались неотделанными, и потому общий смысл их не совсем ясен.*

[251] *Со слов:* Опять является *до* Резуна *вписано карандашом*.

[252] [сведущий]

Лѣсное хозяйство дѣлится на 3 отдѣла: 1-й, Сплошная рубка лѣса, достигшаго полнаго роста, 2-й, Лѣсонасажденіе или обсѣмененіе и 3-й, Обработка и прорубка лѣсовъ, со времени засажденія до достиженія полнаго роста. – Въ казенныхъ лѣсахъ, первый отдѣлъ, т. е. сплошная рубка, въ настоящее время, производится съ торговъ вольными промышленниками. Второй и третій отдѣлы, какъ то: лѣсонасажденіе и обработка и прорубка лѣсовъ, производится Правительствомъ, чрезъ Офицеровъ Корпуса Лѣсничихъ. Для производства 2-го Отдѣла т. е., лѣсонасажденія, Правительство отпускаетъ Офицерамъ Корпуса Лѣсничихъ деньги по справочнымъ цѣнамъ на обработку земли и посадку. – Офицеры Корпуса Лѣсничихъ производятъ лѣсонасажденіе въ теченіе года, на срубленныхъ, не очищенныхъ отъ корней и не распаханныхъ участкахъ. Производимое правительствомъ лѣсонасажденіе, кромѣ постороннихъ причинъ, не можетъ производиться успѣшно, во 1-хъ, по неудобству садки ямками, а не подъ соху,[253] на загрубѣлой и переплетенной корнями землѣ; во 2-хъ, по обилію лѣсныхъ травъ, кустовыхъ породъ и корневыхъ отпрысковъ осины, заглушающихъ молодые посадки и посѣвы и могущихъ быть истребленными только косою и на пахатной землѣ; въ 3-хъ, по большому количеству земли, праздно занимаемой пнями; въ 4-хъ, по невозможности

обработки посѣвовъ молодаго дуба, требующаго истребленія травъ и попашки до 5 лѣтняго возраста; въ 5-хъ, по невозможности насажденія рядами, необходимаго при обработкѣ и дальнѣйшемъ уходѣ за лѣсомъ. —

Третій отдѣлъ, т. е. обработка и прорубка лѣсовъ на засажденныхъ участкахъ, порученныя Офицерамъ Корпуса Лѣсничихъ, въ настоящее время производится въ самыхъ незначительныхъ размѣрахъ, или вовсе не производится по вышеобъясненной невозможности успѣшнаго лѣсонасажденія на неочищенныхъ участкахъ. —

Имѣю честь представить на усмотрѣніе Вашего Высокопревосходительства проэктъ о передачѣ втораго и важнѣйшаго отдѣла лѣснаго хозяйства, т. е. лѣсонасажденія, вольнымъ промышленникамъ, обязаннымъ за право владѣнія землей очищать срубленные участки отъ пней и дурныхъ породъ и засаживать ихъ опредѣленнымъ количествомъ положеннаго рода саженцовъ.[254]

3-й отдѣлъ Лѣснаго Хозяйства, т. е. *обработка и прорубка лѣсовъ*, не можетъ еще быть опредѣленъ извѣстными условіями, по несуществованію правильно насажденныхъ участковъ.[255] Съ развитіемъ же правильнаго лѣсонасажденія, нѣтъ сомнѣнія, что и 3-й отдѣлъ, т. е. прорубка и обработка лѣсовъ во время ихъ роста, можетъ быть переданъ вольнымъ промышленникамъ и принесетъ казнѣ значительныя и опредѣленныя выгоды. —

Предлагаются Министерству Государственныхъ Имуществъ слѣдующія условія, о безплатномъ насажденіи лѣсовъ въ правильныхъ хозяйствахъ вообще и въ видѣ опыта съ 1858 года въ Тульской Губерніи. —

1. Министерство отдаетъ вырубленные участки съ остающимися на нихъ пнями въ[256] пользованіе предпринимателя на[257] срокъ отъ семи до девяти лѣтъ. —

2. Предприниматель, представляя залоги, равные суммѣ, отпускаемой на засадку участковъ или получаемой за оброчныя статьи, обязуется въ продолженіи девяти лѣтъ выкорчивать пни, очистить и вспахать землю и въ концѣ седьмаго или девятаго года сдать оную въ казну, засаженную, смотря по условію, 3-хъ лѣтними саженцами изъ своего питомника, или годовыми сѣянцами на мѣстахъ, породъ не удобныхъ къ пересадкѣ. —

---

[253] *В подлиннике:* подсоху

[254] *Зачеркнуто:* и обрабатывать и вырубать до достиженія полнаго роста

[255] *Зачеркнуто:* Перехожу ко 2 и важнѣйшему отдѣлу – лѣсонасажденію, изъ котораго ясно вытекаютъ выгоды передачи съ торговъ обработки и прорубокъ лѣсовъ вольнымъ промышленникамъ.

[256] *Зачеркнуто:* полное владѣніе.

[257] *Зачеркнуто:* девять

3. Число саженцовъ или сѣянцовъ на десятину, качество, породы, смотря по мѣстности и климату, и дальнѣйшая обработка должны быть опредѣлены особо. Но предприниматель при 9-и лѣтнемъ[258] пользованіи землей считаетъ себя въ состояніи исполнить всѣ условія, ежели только требуемыя породы возможны по климату и число требуемыхъ саженцовъ на казенную десятину, не будетъ превышать 20-ти[259] тысячь. —

4. Залоги представляются за всё количество земли, находящейся въ[260] пользованіи предпринимателя, и конфискуются при сдачѣ засаженныхъ участковъ, въ случаѣ несоблюденія имъ принятыхъ на себя обязательствъ.

5. Въ обезпеченіе себя отъ безсѣмянныхъ годовъ, предприниматель принимаетъ сѣмена отъ Министерства.

6. Тѣ участки, на которыхъ природное обсѣмененіе признано будетъ достаточнымъ, съ обоюднаго согласія исключаются изъ условія.

7. Предприниматель беретъ на томъ же основаніи и до времени заключенія условій срубленные участки, которые по изслѣдованіи окажутся не засаженными.

8. Предприниматель на условіяхъ отъ четырехъ до пятилѣтняго[261] пользованія берется засадить также и лѣсныя земли, называемыя оброчными статьями.

9. Условіе для Тульской Губерніи предлагается съ 1858 года на 18 лѣтъ.

10. На 2-е и 3-е девятилѣтіе въ Тульской губерніи Предприниматель можетъ взять на себя на опредѣленныхъ условіяхъ и обработку и прорубку засаженныхъ имъ участковъ. —

28 Октября 1857 года С. Петербургъ.

** IV.
ЛѢТО ВЪ ДЕРЕВНѢ.[262]

Глава I.

Много всѣ говорили о будущемъ освобожденіи крестьянъ, и я говорилъ не меньше другихъ. Понятно, что этотъ вопросъ занимаетъ всѣхъ, въ особенности же насъ, маленькихъ помѣщиковъ, живавшихъ въ деревнѣ, родившихся въ деревнѣ и любящихъ свой уголокъ, какъ свою маленькую родину. Безъ своей Ясной Поляны я трудно могу себѣ представить Россію и мое отношеніе къ ней. Безъ Ясной Поляны, я можетъ быть яснѣе увижу общіе законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастія любить его.

Хорошо ли, дурно ли, но я не знаю другаго чувства родины и не понимаю и не уважаю въ другомъ чувства родины не вводящаго[263] его въ любовь и несправедливость. – Вслѣдствіи этаго чувства, кромѣ разговоровъ объ освобожденіи, я еще съ 3-го года задумалъ освобожденіе въ своей Ясной Полянѣ, и теперь, когда случилось такъ счастливо, что основанія освобожденія, изложенныя въ Рескриптѣ сходились совершенно съ тѣми, которыя я самъ положилъ себѣ, я съ новымъ рвеніемъ принялся за это дѣло. —

Я ужъ лѣтъ 12 урывками занимался хозяйствомъ, живалъ лѣтомъ, толковалъ на сходкахъ, но до нынѣшней весны никогда самъ не былъ въ непосредственныхъ отношеніяхъ съ крестьянами. Всегда между мной и ими была контора, начальство, и я чувствовалъ себя болѣе или менѣе безполезнымъ и лишнимъ членомъ. Съ нынѣшней же весны, пріѣхавъ въ деревню, я

---

[258] *Зачеркнуто:* владѣніи

[259] 20-ти *вписано по выскобленному:* девяти

[260] *Зачеркнуто:* владѣніи

[261] *Зачеркнуто:* владѣнія

[262] Лѣто въ *переправлено из слова:* Бѣглецъ

[263] *Слово:* вводящаго *читается предположительно*.

убѣдился что для новыхъ отношеній, установившихся между мной и крестьянами, у меня нѣтъ посредниковъ, и я невольно сталъ съ ними лицомъ къ лицу. —

Все, что я видѣлъ и узналъ в продолженіи нынѣшняго лѣта, казалось мнѣ совершенно новымъ, несмотря на то, что, я повторяю – я уже не новичекъ въ хозяйствѣ и въ продолженіи 12 лѣтъ[264] управленія имѣніемъ года проводилъ въ деревнѣ и старался сколько могъ и умѣлъ узнавать крестьянина. – Эти то наблюденія я здѣсь и намѣренъ сообщить публикѣ, почти въ томъ порядкѣ, въ которомъ онѣ мнѣ представлялись. —

[265] Имѣнье мое нынѣшней весной находилось въ слѣдующемъ положеніи. Въ одномъ имѣньи 62 тягла, бывшія прежде барщинскія, были на оброкѣ, 26 р. сер. съ тягла при пользованіи $4^3/_4$ десятинъ пахоти, $^1/_2$ десятины усадьбы и десятины луга. Сверхъ того тягло должно было мнѣ выработать 20 бабьихъ дней въ рабочую пору и 5 подводъ въ Тулу за 17 верстъ; 3[266] тягла оставались на барщинѣ.

Въ другомъ маленькомъ имѣньи всѣ 10 тяголъ были на оброкѣ за 36 р. сер. съ тягла при пользованіи 10[267] десятинъ пахоти, $^1/_4$ десятины усадьбы и десятины луга. – Барщинская земля предполагалась обрабатываться вольными рабочими. Сараи для помѣщенія орудій, орудія, лошади уже были готовы. Имѣньемъ управлялъ бурмистръ, бывшій мой вольноотпущенный крестьянинъ. —

–

3-го Апрѣля я пріѣхалъ въ свою милую Ясную… Хоть и не молодъ, но все еще не могу отвыкнуть отъ преждевременныхъ мечтаній, особенно при переѣздѣ на новое мѣсто. – «Ну, теперь начинается настоящее! Дѣятельность, акуратность, стойкость, ласковое [?] изученіе. – Садъ, книги, фортепьяно, все прочь, – соха, борона, записная книга, и дѣятельность, дѣятельность, дѣятельность!»

Первое лицо встрѣтившее меня, какъ и всегда, была нянюшка, только что видѣвшая меня во снѣ и половину дѣйствительно, половину притворно не могущая опомниться отъ радости; хотя мое присутствіе кромѣ неудовольствія ничего ей не могло доставить.

– Ну что, Агафья Михайловна, какъ наши дѣлишки?

– Да вѣдь вы не любите, батюшка, когда я про свой бокъ говорю. —

– А болитъ?

– Нѣтъ! не болитъ! – отвѣтила она сердито.

– А чай есть?

– Откуда жь ему быть, вашего не беру. – Прикажете чаю или покушать? Максимъ Иванычь все нездоровъ.

– Ну, а хозяйство какъ?

– Да Василій старается, кажется, все хлопочетъ. Только забывчивъ: намеднись приказывала бѣлаго хлѣба купить, – говорю: Графъ пріѣдетъ, – забылъ.

– Ну, а работники есть?

– Есть, кажется, да все жалуются – солдаты, противный народъ такой – не слушаются, говорятъ, а онъ старается. Да вѣдь съ вольнымъ народомъ гдѣ сладить. – Она вздохнула. – Намедни лошадь что то…

Она остановилась. Я видѣлъ, что она меня пригатавливаетъ.

– Ну, это все ничего; а мужики, что? —

– Да что, батюшка, мужички Богу за васъ молятъ; имъ ли не жизнь. Намедни у Алексѣевой матери была; такъ и она говоритъ: Анделъ небесный. —

---

[264] *Зачеркнуто:* проведенныхъ въ деревнѣ

[265] *Зачеркнуто:* Для ясности слѣдующаго описанія считаю ну[жнымъ]

[266] *Цыфра написана неясно:* 4 *исправлено* на 3 *или наоборот*.

[267] *Цыфра* 10 *закрыта чернильной кляксой и читается предположительно*.

– Ну, понесла!

Я притворился, что мнѣ это было непріятно; а въ комнатѣ что то ужъ стало веселѣй. —

– Кто тамъ? – окликнулъ я толстые сапоги, всходившіе по лѣстницѣ.

– Василій.

Бурмистръ, человѣкъ лѣтъ 27, высокой ростомъ, уже забирающій начальническую полноту, курчавый и красивый, ежели-бы не узкое разстояніе глазъ и вѣчное безпокойство ихъ. – Василій одинъ и старшій изъ 7 сыновей самаго зажиточнаго мужика Ермила.[268] Его идеалъ – толстый прикащикъ, который былъ при отцѣ въ этомъ имѣньи, его страхъ – быть похожимъ на мужика лапотника. Купецъ Черемушкинъ говоритъ, что Василій настоящій бурмистръ, онъ въ Тулѣ съ купцами Графскій интересъ соблюдаетъ и свою амбицію соблюдаетъ. А[гафья] М[ихайловна] говоритъ, что онъ ужъ запутался въ словахъ; то говоритъ: въ мановеніи ока, а то: кады – скажетъ. – Василій полагаетъ, что искуство управленія раздѣляется на два отдѣла: 1-й и главный – составляетъ искуство встрѣтить барина, проводить его, доложить, не обезпокоить, скрыть непріятность и т. д., и 2-й отдѣлъ, заключающій въ себѣ искуство оборотиться такъ, чтобы все казалось по желанію барина.

Вслѣдствіе этаго убѣжденія, Василій всегда страстно встрѣчаетъ меня; запыхавшись, съ дрожащимъ голосомъ и даже кажется съ слезами на глазахъ, онъ бросается къ ручкѣ. Это мнѣ непріятно, тѣмъ болѣе, что такъ нейдетъ къ его[269] мужицкой фигурѣ. Какъ и обыкновенно, мы потолкались другъ съ другомъ, плечомъ въ голову и головой въ подбородокъ, и какъ всегда ему не удалось поцѣловать, мнѣ не удалось оттолкнуть его. Когда мы поуспокоились, я сталъ спрашивать, онъ сталъ успокаивать. Все было хорошо, навозу зимняго вывезено 30 десят[инъ], лошади сыты, 2 только истратились, крестьяне оброкъ заплатили въ срокъ.

– Ничего особеннаго нѣтъ?

– Ничего-съ, слава Богу. Только нужно вамъ доложить, – сказалъ онъ помолчавъ, – что молотьбой не могъ окончить, по одной ндравственности (ндравственность значитъ упрямство) бабъ. Не выходятъ по вольно, а лѣтнихъ дней и не смѣй брать.

– По чемъ ходятъ?

– По гривеннику. Развѣ мало? Гдѣ ей больше взять. И станешь говорить, не повинуются. Дни большіе говорятъ.

– Такъ прибавить 40 к[опѣекъ].

– Не прикажите-ли такъ посылать, за барщину? Лучше ходятъ. А разсчеты пустые.

– Нѣтъ, да вотъ я посмотрю; сходку вели собрать нынче.

– Завтра не прикажете ли? – нынче не соберешь. —

–

* V.
[ЗАПИСКА О ДВОРЯНСТВЕ.]

Въ рѣчи своей, сказанной[270] въ Москвѣ, Г[осударь] И[мператоръ] укоряетъ дворянство въ медленности изъявленія согласія на освобожденіе, въ медленности дѣйствій комитета, и даетъ чувствовать, что медленность эта можетъ поставить дворянство въ опасное положеніе.

Въ чемъ дѣло освобожденія?

Государю Императору угодно освободить помѣщичьихъ крестьянъ. Совершенно справедливо его убѣдили въ томъ, что крестьянъ нельзя освободить иначе, какъ съ землей, на которой они сидятъ. Земля эта принадлежитъ помѣщикамъ. Слѣдовательно необходимо, лишивъ

---

[268] *Зачеркнуто:* Онъ очень самолюбивъ, уменъ; но лѣнивъ и

[269] *Зачеркнуто:* славной

[270] *Зачеркнуто:* Московскому Дворянству

помѣщиковъ извѣстныхъ правъ на часть земли, передать эти права крестьянамъ. – Для того чтобы сдѣлать эту передачу, представлялись 4 средства: 1) купить землю у помѣщиковъ и отдать ее крестьянамъ. 2) Въ видахъ государственной пользы отобрать безвозмездно землю у помѣщиковъ и передать ее крестьянамъ. 3) Прибѣгнуть къ самопожертвованію дворянъ и просить ихъ въ видахъ государственной пользы отдать землю крестьянамъ, и 4) открывъ положеніе своихъ финансовъ, прибѣгнуть къ содѣйствію всѣхъ сословій, и въ особенности образованнѣйшаго дворянскаго, въ отъисканіи мѣръ выкупа за землю, отчуждаемую у помѣщиковъ. —

Ежели бы было избрано первое средство, дворянство согласіемъ на продажу могло бы угодить Царю. Ежели бы избрано было 2-е, Дворянство покорностью и молчаніемъ могло бы отвѣчать на безвозмездное отчужденіе. Ежели бы дѣло коснулось самопожертвованія, дворянство могло бы[271] не обмануть ожиданія Правительства. Ежели бы, наконецъ, сознавшись въ своей несостоятельности, Правительство прибѣгло бы къ содѣйствію дворянскихъ собраній, образованное сословіе могло бы трудами [и] изысканіями помочь правительству.

Но ни одна изъ этихъ единственно возможныхъ мѣръ не была избрана правительствомъ. Въ началѣ нынѣшняго года, явился рескриптъ, въ которомъ весьма ясно были опредѣлены[272] будущія условія крестьянскаго сословія; но совершенно умалчивалось о условіяхъ другого сословія, приглашаемаго къ отчужденію половинной части своей собственности. Явились циркуляры министра, поправки циркуляровъ, рѣчи Государя Императора, но во всѣхъ этихъ документахъ, также какъ и въ рескриптѣ, умалчивалось о томъ, кто заплатитъ за землю, отчуждаемую у помѣщиковъ.

Ежели вспомнимъ, что не такъ давно происходило во Франціи и Англіи, государствахъ, въ которыхъ уровень образованія и потому сознанія общаго блага такъ несравненно стоитъ выше нашего, и гдѣ Правительство не нашло возможнымъ освободить иначе рабовъ, какъ заплативъ за нихъ деньги собственникамъ, то, какъ надо ожидать[273] будетъ встрѣченъ дворянствомъ рескриптъ, лишающій его не только безвозмездно цѣннаго права собственности на крестьянъ, но и значительной части земли, не опредѣляя за нее никакого обезпеченія, а поручая самимъ помѣщикамъ, безъ измѣненія безобразнаго полицейскаго устройства, взыскать съ крестьянъ, освобожденныхъ отъ зависимости, тѣ огромныя суммы, которыя стоитъ отчуждаемая земля. —

Вмѣсто общаго негодованія и озлобленія, которымъ, надо было ожидать, встрѣтитъ дворянство рескриптъ, лишающій его половины собственности и похожій на тѣ слова, которыми ловкой кулакъ закидываетъ неопытнаго продавца, умалчивая о[274]условіяхъ продажи, рескриптъ былъ встрѣченъ дворянствомъ съ неподдѣльнымъ восторгомъ. Ежели слышался въ большинствѣ ропотъ, и то не за безвозмездное отчужденіе личной собственности, а за[275] [не] обезпеченіе выкупа, ропотъ этотъ былъ заглушенъ и въ Литературѣ, и въ обществѣ, и на дворянскихъ выборахъ восторгомъ меньшинства, образованнаго и потому сильнѣйшаго.

Это единственное въ исторіи и не оцѣненное еще явленіе произошло отъ того, что рескриптъ о освобожденіи только отвѣчалъ на давнишнее, такъ краснорѣчиво выражавшееся въ нашей новой исторіи желаніе однаго образованнаго сословія Россіи – дворянства. Только одно дворянство со временъ Екатерины готовило этотъ вопросъ и въ литературѣ, и въ тайныхъ и не тайныхъ обществахъ, и словомъ и дѣломъ. Одно оно посылало въ 25 и 48 годахъ, и во все царствованіе Николая, за осуществленіе этой мысли своихъ мучениковъ въ ссылки и на висѣ-

---

[271] *Зачеркнуто:* въ порывѣ восто[рга]

[272] *В подлиннике:* было опредѣлено

[273] *Зачеркнуто:* что

[274] *Зачеркнуто:* цѣнѣ и

[275] *Зачеркнуто:* неясно не опредѣленн[о]

лицы, и не смотря на все[276] противодѣйствіе Правительства, поддержало эту мысль въ обществѣ и дало ей созрѣть такъ, что нынѣшнее слабое правительство не нашло возможнымъ болѣе подавлять ее.

Ежели нѣкоторые въ порывѣ излишняго восторга, а другіе избравъ великое дѣло поприщемъ подлой лести, умѣли убѣдить Государя Императора въ томъ, что онъ 2-й Петръ I и великой преобразователь Россіи, и что онъ[277] обновляет Россію и т. д., то это совершенно напрасно, и ему надо поспѣшить разувѣриться; ибо онъ только отвѣтилъ [на] требованіе дворянства, и не онъ, а дворянство подняло, развило и выработало мысль освобожденія.[278]

Восторгъ, произведенный рескриптомъ въ численномъ меньшинствѣ, но большинствѣ по образованію и вліянію, выразился такъ сильно, что въ первую минуту, почти никто не замѣтилъ[279] несправедливости и невозможности тѣхъ началъ рескрипта, отъ которыхъ Государь Императоръ не отступитъ, какъ онъ выразилъ въ своей рѣчи, но всѣ въ горячечной дѣятельности принялись за осуществленіе давнишней любимой мысли, хотя бы и на нелѣпыхъ данныхъ Правительства. Нашлись люди, которые даже стали подводить исторію подъ мѣру Правительства и доказывать право крестьянъ на землю. – Но приступивъ къ самому дѣлу, восторгъ этотъ значительно охладѣлъ. Численное большинство – дворянство, менѣе независимое въ средствахъ и менѣе образованное, призванное также къ обсужденію вопроса, не отстаивая права на личность [крестьянина],[280] наткнулось на пробѣлъ въ обезпеченіи за землю и[281] замедлило ходъ дѣла. – Кто заплатитъ[282] за право собственности или пожалуй, права пользованія, за землю, которую отъ насъ отнимаютъ? спрашиваетъ это большинство. Крестьяне? Да пускай правительство, имѣющее больше насъ средствъ, получитъ эти деньги, мы ему вѣримъ, а сами не видимъ возможности взыскивать[283] съ крестьянъ, при новомъ ихъ положеніи и при старомъ положеніи полиціи:[284] подати, какъ бы дешево мы не оцѣнили землю, въ 4 [раза] больше, чѣмъ тѣ, которые платятъ рядомъ государственные крестьяне. – И чѣмъ мы будемъ жить, лишившись и рукъ, и земли? – спрашиваютъ другіе, – тогда какъ теперь съ своими семействами мы имѣемъ только насущную необходимость? И чѣмъ же стало преступно съ 1858 года жить такъ, какъ мы жили? – Столкнувшись съ такими вопросами, образованное меньшинство почувствовало, что,[285] совершенно справедливо, изъ за убѣжденій въ необходимости мѣры освобожденія жертвуя половиной своего состоянія, оно не имѣетъ права насиловать менѣе образованнаго большинства, лишающагося насущной необходимости,[286] и не понимающаго еще выбора рѣзни или нищеты, въ который оно поставлено. Меньшинство ясно поняло недосказанность рескрипта и стало отыскивать другія средства къ разрѣшенію вопроса. Выкупъ или обезпеченіе,[287] единственное средство, находящееся въ рукахъ дворянства, естественно представили[сь] ему. И со всѣхъ сторонъ явились проэкты выкупа, согласующія всѣ интересы. Самые горячіе защитники освобожденія во что бы то ни стало понимали совершенную справедливость выкупа или обезпеченія за землю; и самые упорные защитники стараго становились на все согласны, какъ только дѣло касалось выкупа или обезпеченья за землю. —

---

[276] *Зачеркнуто:* давленіе

[277] *Зачеркнуто:* одинъ началъ

[278] *Зачеркнуто:* и потому только, противно своимъ выгодамъ, встрѣтило ее съ восторгомъ.

[279] *Зачеркнуто:* неясности

[280] *Зачеркнуто:* естественно

[281] *Зачеркнуто:* стало противодѣй[ствовать]

[282] *Зачеркнуто:* намъ

[283] *Зачеркнуто:* эти деньги

[284] *Зачеркнуто:* говорятъ они, возможности этой нѣтъ; дѣйствительно

[285] *Зачеркнуто:* имѣя полное право

[286] *Зачеркнуто:* восторгъ его значительно охладѣлъ и

[287] *Зачеркнуто:* правительствомъ

Но странное дѣло, несмотря на то, что выкупъ есть единственный выходъ изъ настоящаго положенія, не смотря на то, что со всѣхъ сторонъ, отъ всѣхъ сословій слышатся голоса за выкупъ, правительство упорно стоитъ за начала рескрипта и молчитъ или отказываетъ на всѣ проэкты казеннаго выкупа или обезпеченія. То самое наше правительство, которое постоянно акапарировало[288] въ казенныя руки всякаго рода собственность: заводы, лѣса, земли и т. п., теперь упорно отказывается отъ принятія въ свое вѣдѣніе помѣщичьихъ крестьянъ съ ихъ землями и взысканія съ нихъ выкупа, который оно признаетъ справедливымъ. Возможность же финансовой мѣры продолжаетъ быть тайной.[289] Казалось, встрѣтившись съ такимъ преднамѣреннымъ или умышленнымъ коварствомъ, дворянство должно бы было стараться останавливать дѣло.[290] Но наоборотъ, дворянство, предоставленное собственнымъ средствамъ, хотя и махнувъ рукой на слабое, прячущееся за него правительство, оно одно внутренней усиленной работой[291] старается отъискать средства къ выходу изъ безвыходнаго положенія. Среди этой трудной, медленной работы по всей Россіи слышатся въ Москвѣ обращенныя къ дворянству слова главы государства:[292] «Долго подумавъ и помолясь Богу, я началъ освобожденіе. Васъ нельзя благодарить, а я бы желалъ благодарить, потому что я родился въ Москвѣ. Старайтесь оправдать мое высокое довѣріе, а то мнѣ нельзя будетъ стоять за васъ, и т. п. А отъ началъ своихъ я не отступлю». – Что за[293] оскорбительная комедія и непониманіе дѣла въ такую важную минуту! Молясь Богу или нѣтъ, но не правительство подняло этотъ вопросъ, и не оно высокимъ довѣріемъ и благодарностью и угрозой рѣзни подвигаетъ его. Правительство всегда давило этотъ вопросъ, правительство же ставитъ непреодолимыя преграды его разрѣшенію; Дворянство же[294] одно подвинуло его, несмотря на всѣ правительственныя преграды разрѣшаетъ и разрѣшитъ.[295] Поэтому поощрять его обѣщаньемъ благодарности и высокимъ довѣріемъ – неприлично, укорять его въ медленности[296] – несправедливо, а угрожать тѣмъ, что его порѣжутъ за то, что Правительство слабо и нелѣпо, и давать чувствовать, что это было бы не худо – не честно и неразумно. Свободно ставъ въ то положеніе, въ которомъ нужно стоять за него, дворянство знало, что оно дѣлаетъ; но знаетъ ли Правительство, принимающее видъ угнетенной невинности, тѣ бѣды, которыя своимъ упорствомъ и неспособностью оно готовитъ Россіи? Ежели бы[297] къ несчастью Правительство довело насъ до освобожденія снизу, а не сверху, по остроумному выраженію Государя Императора, то меньше[е] изъ золъ было бы уничтожен[іе] Правительст[ва].

–

---

[288] [accaparer – захватывать]

[289] *Со слов:* Казалось встрѣтившись *кончая:* дѣло *вписано между строк, вместо зачеркнутого:* Но несмотря на то, вмѣсто чтобы бросить дѣло, случайное преднамѣренное езуитство правительства обра

[290] *Со слов:* Казалось встрѣтившись *кончая:* дѣло *вписано между строк,вместо зачеркнутого:* Но несмотря на то, вмѣсто чтобы бросить дѣло, случайное преднамѣренное езуитство правительства обра

[291] *Зачеркнуто:* и хотя медленно, но постоянно подвигаясь впередъ

[292] *Зачеркнуто:* перваго помѣщика и богат по всей Россіи. Помо

[293] *Зачеркнуто:* печально

[294] *Зачеркнуто:* противно своимъ выгодамъ

[295] *Зачеркнуто:* Дворянство слишкомъ безъ напоминаній хорошо знаетъ все величіе дѣла, которымъ оно занято и доказало это охотно, свободно поставивъ себя въ положеніе, за которое нужно стоять, и знаетъ

[296] *Зачеркнуто:* который самъ главною причиною

[297] *Зачеркнуто:* правительство достигло своей цѣли

** VI.
[РЕЧЬ В ОБЩЕСТВЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.]

М[илостивые] Г[осудари]. Избраніе меня въ члены общества польстило моему самолюбію и искренно обрадовало меня. Лестное избраніе это, я отношу не столько къ моимъ слабымъ попыткамъ въ литературѣ, сколько къ выразившемуся этимъ избраніемъ сочувствію къ той области литературы, въ которой были сдѣланы эти попытки. Въ послѣдніе два года политическая и въ особенности изобличительная литература, заимствовавъ въ своихъ цѣляхъ средства искуства и найдя замѣчательно умныхъ, честныхъ и талантливыхъ представителей, горячо и рѣшительно отвѣчавшихъ на каждый вопросъ минуты, на каждую временную рану общества, казалось, поглотила все вниманіе публики и лишила художественную литературу всего ея значенія. Большинство публики начало думать, что задача всей литературы состоитъ только въ обличеніи зла, въ обсужденіи и въ исправленіи его, однимъ словомъ въ развитіи гражданскаго чувства въ обществѣ. Въ послѣдніе два года мнѣ случалось читать и слышать сужденія о томъ, что времена побасенокъ и стишковъ прошли безвозвратно, что приходитъ время, когда Пушкинъ забудется и не будетъ болѣе перечитываться, что чистое искуство невозможно, что литература есть только орудіе гражданскаго развитія общества и т. п. Правда, слышались въ это время заглушенные политическимъ шумомъ голоса Фета, Тургенева, Островскаго, слышались возобновленные въ критикѣ, чуждые намъ толки объ искуствѣ для искуства, но общество знало, что оно дѣлало, продолжало сочувствовать одной политической литературѣ и считать ее одну[298] – литературой. Увлеченіе это было благородно, необходимо и даже временно справедливо. Для того, чтобы имѣть силы сдѣлать тѣ огромные шаги впередъ которые сдѣлало наше общество въ послѣднее время, оно должно было быть одностороннимъ, оно должно было увлекаться дальше цѣли, чтобы достигнуть ея, должно было одну эту цѣль видѣть передъ собой. И дѣйствительно, можно ли было думать[299] о поэзіи въ то время, когда передъ глазами въ первый разъ раскрывалась картина окружающаго насъ зла и представлялась возможность избавиться [отъ] его. Какъ думать о прекрасномъ, когда становилось больно! Не намъ, пользующимся плодами этаго увлеченія, укорять за него. Разспространенныя въ обществѣ безъсознательныя потребности уваженія къ литературѣ, возникшее общественное мнѣніе, скажу даже, самоуправленіе, которое замѣнило намъ наша политическая литература, вотъ плоды этаго благороднаго увлеченія. Но какъ ни благородно и ни благотворно было это одностороннее увлеченіе, оно не могло продолжаться, какъ и всякое увлеченіе. Литература народа есть полное, всестороннее сознаніе его, въ которомъ одинаково должны отразиться, какъ народная любовь къ добру и правдѣ, такъ и народное созерцаніе красоты въ извѣстную эпоху развитія. Теперь, когда прошло первое раздраженіе вновь открывшейся дѣятельности, прошло и торжество успѣха, когда долго сдержанный прорвавшійся политическій потокъ, угрожавшій поглотить всю литературу, улегся и утихъ въ своемъ руслѣ, общество поняло односторонность своего увлеченія. Послышались толки о томъ, что темныя картины зла надоѣли, что безполезно описывать то, что мы всѣ[300] знаемъ, и т. п. И общество было право. Это наивно выраженное неудовольствіе значило то, что общество поняло теперь, не изъ однихъ критическихъ статей, но опытомъ дознало, прожило ту кажущуюся простой истину, что какъ ни велико значеніе политической литературы, отражающей[301] въ себѣ временные интересы общества, какъ ни необхо-

[298] *В подлиннике:* одной

[299] *Зачеркнуто:* о стишкахъ и басенкахъ, о изящномъ

[300] *В подлиннике:* все

[301] *В подлиннике:* отражающее

дима она для народнаго развитія, есть другая литература, отражающая въ себѣ вѣчныя, общечеловѣческія интересы, самыя дорогія, задушевныя сознанія народа, литература, доступная человѣку всякаго народа и всякаго времени, и литература, безъ которой не развивался ни одинъ народъ, имѣющій силу и сочность.

Это въ послѣднее время явившееся убѣжденіе въ двойнѣ радостно для меня. Оно радостно для меня лично, какъ для односторонняго любителя изящной словесности, которымъ я чистосердечно признаю себя, и радостно вообще, какъ новое доказательство силы и возмужалости нашего общества и литературы. Проникшее въ общество сознаніе о необходимости и значеніи двухъ отдѣльныхъ родовъ литературы служитъ лучшимъ доказательствомъ того, что словесность наша вообще не есть, какъ еще думаютъ многіе, перенесенная съ чужой почвы дѣтская забава, но что она стоитъ на своихъ прочныхъ основахъ, отвѣчаетъ на разностороннія потребности своего общества, сказала и еще имѣетъ сказать многое и есть серьозное сознаніе серьознаго народа.

Въ наше время возмужалости нашей литературы больше чѣмъ когда-нибудь можно гордиться званіемъ Русскаго писателя, радоваться возобновленію общества любителей Русской словесности и искренно благодарить за честь избранія въ члены этаго почтеннаго общества.

–

КОММЕНТАРИИ

ИЗ ЗАПИСОК КНЯЗЯ Д. НЕХЛЮДОВА. (ЛЮЦЕРН.)

«Люцерн» представляет собой произведение автобиографического характера, так как в основу его лег действительный случай из жизни самого Толстого, происшедший с ним во время его пребывания в этом городе в июле 1857 года. Эпизод, послуживший поводом к рассказу, изложен в Дневнике Толстого, в записи от 7 июля, занесенной под свежим и непосредственным впечатлением пережитого:

«*7 июля*. Проснулся в 9, пошел ходить в пансион и на памятник Льва. Дома открыл тетрадь, но ничего не писалось. О[тъезжее] П[оле] бросил. – Обед тупоумно-скучный. Ходил в Privathaus.[302] Возвращаясь оттуда, ночью – пасмурно – луна прорывается, слышно несколько славных голосов, две колокольни на широкой улице, крошечный человек поет тирольские песни с гитарой и отлично. Я дал ему и пригласил спеть против Швейцерхофа – ничего; он стыдливо пошел прочь, бормоча что-то, толпа смеясь за ним. А прежде толпа и на балконе толпились и молчали. Я догнал его, позвал в Швейцерхоф пить. Нас провели в другую залу. Артист пошляк, но трогательный. Мы пили, лакей засмеялся и швейцар сел. Это меня взорвало – я их обругал и взволновался ужасно. – Ночь чудо. Чего хочется, страстно желается? не знаю, только не благ мира сего. И не верить в бессмертие души, когда чувствуешь в душе такое неизмеримое величие? Взглянул в окно. Черно, разорванно и светло. Хоть умереть. – Боже мой! Боже мой! Что я? и куда? и где я?»

В тот же день, 7 июля, Толстой внес в свою Записную книжку запись, относящуюся к тому же эпизоду и показывающую, в каком направлении работала его мысль; запись эта относится к путешественникам-англичанам, поведение которых в Швейцергофе так возмутило его: «Протестантское чувство – гордость, католическое и наше – memento во всей жизни. Бросить бедному Тирольцу они не хотели, а спасти душу с трудом – это их дело, – гордость».

Лирическое возбуждение, овладевшее Толстым, искало себе выхода, чувства и мысли, накопившиеся в его душе под влиянием впечатлений, пережитых им за время его заграничных скитаний, требовали себе выражения и оформления, – и вот случайная встреча с бродячим певцом на набережной перед Швейцергофом дает ему необходимый внешний толчок для творчества и вместе с тем становится сама тем ядром, вокруг которого кристаллизуются все эти душевные переживания молодого автора. Творческий процесс на этот раз протекал у Толстого необыкновенно стремительно. Уже 9 июля, т. е. через день после пережитого эпизода, Толстой записывает в своем Дневнике: «Писал Люцерн». Интересно отметить, что первоначально этот рассказ был задуман в форме письма, причем воображаемым адресатом его в глазах Толстого был Вас. Петр. Боткин, с которым Толстой в эту эпоху жизни был особенно близок и литературному вкусу которого он наиболее доверял. В тот же день, когда был начат «Люцерн», т. е. 9 июля, Толстой писал Боткину: «Я занят ужасно, работа – бесплодная или нет, не знаю – кипит; но не могу удержаться, чтобы не сообщить вам хоть части того, что бы хотелось переговорить с вами. Во-первых, я говорил уже вам, что многое за границей так ново и странно поразило меня, что я набрасывал кое-что с тем, чтобы быть в состоянии возобновить это на свободе. Ежели вы мне посоветуете это сделать, то позвольте писать это в письмах к вам. Вы знаете мое убеждение в необходимости воображаемого читателя. Вы мой любимый вообража-

[302] [частный дом].

емый читатель. Писать вам мне так же легко, как думать; я знаю, что всякая моя мысль, всякое мое впечатление воспринимается вами чище, яснее и выше, чем оно выражено мною. – Я знаю, что условия писателя другие, да Бог с ними – я не писатель. Мне только одного хочется, когда я пишу, чтоб другой человек, и близкий мне по сердцу человек, порадовался бы тому, чему я радуюсь, позлился бы тому, что меня злит, или поплакал бы теми же слезами, которыми я плачу. Я не знаю потребности сказать что-нибудь всему миру, но знаю боль одинокого наслаждения плача [?] страдания. Как образчик будущих писем посылаю вам это от 7 из Люцерна.

Письмо не это, а другое, которое еще не готово нынче».

Работа над «Люцерном» продолжалась в течение следующих двух дней. 10 июля Толстой записывает в своем Дневнике: «Здоров, в 8 выкупался, писал Люцерна порядочно до обеда»; 11 июля: «Встал в 7, выкупался. Дописал до обеда Люцерн. Хорошо. Надо быть смелым, а то ничего не скажешь кроме грациозного, а мне много нужно сказать нового и дельного».

Таким образом весь рассказ был написан в три дня, причем по окончании своей работы автор остался ею доволен, что далеко не всегда случалось с Толстым. Затем происходит перерыв в несколько дней, которые Толстой провел в поездках по окрестностям Люцерна; но, по возвращении в этот город 15 июля, он снова обращается к своему рассказу, занявшись его переработкой и отделкой: «Писал утро. Трудная работа писать. Не ленился, а в целый день переделал 5 листочков, которые еще надо переделать». 16 июля он снова записывает: «…После обеда написал сколько мог, несмотря на жару». На следующий день: «Дождь. Славно спал. Выкупался и писал целый день. Написал $^{3}/_{4}$ Люцерна. Diffus».[303] Наконец на следующий день, 18 июля переработка рассказа была закончена, и обрадованный автор поспешил поделиться новым произведением своего пера с проживавшими в это время в Люцерне двоюродными тетками, гр. А. А. и Е. А. Толстыми. В записи Дневника за этот день говорится: «Едва почти успел дописать с 7 до $^{1}/_{2}$11. Побежал к ним…[304] Вечером славная иллюминация и музыка на озере. Прочел им Люцерн». Об этом чтении некоторые сведения сообщает в своих воспоминаниях о Толстом А. А. Толстая: «После нескольких дней странствования по горам и по долам, мы, наконец, очутились в Люцерне, и тут нежданно-негаданно опять явился Лев, как будто вырос из земли. Он прибыл в Люцерн двумя днями ранее нас и уже успел пройти через целую драму, рассказ о которой появился после в печати, под заглавием: «Записки князя Нехлюдова». Лев был страшно возбужден и пылал негодованием. – Вот что мы узнали от него и что случилось накануне. Какой-то бродячий музыкант играл очень долго под балконом Швейцергофа, на котором расположилось весьма порядочное общество. Все слушали артиста с удовольствием; но когда он поднял шляпу для получения награды, – никто не бросил ему ни единого су; факт, конечно, некрасивый, но которому Лев Николаевич придал чуть ли не преступные размеры. Чтобы отомстить расфранченной публике, он на ее глазах схватил музыканта под руку, посадил его с собою за стол и приказал подать ужин с шампанским. Едва ли публика, да и сам бедный музыкант, поняли всю иронию этого действия. В этой черте проявился зараз писатель и человек. – Впечатления его были до того сильны, что они невольно прививались и другим. Даже дети[305] живо заинтересовались этим приключением». (Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. Спб., 1911, стр. 11.)

21 июля Толстой снова писал Боткину, сообщая об окончании своей работы над «Люцерном». – «Главное содержание моего письма, которое вы не разобрали, было следующее. Меня в Люцерне сильно поразило одно обстоятельство, которое я почувствовал потребность выразить на бумаге. А так как в мое путешествие у меня много было таких обстоятельств, слегка записанных мною, то мне и пришла мысль восстановить их все в форме писем к вам, на что я и

[303] [Многословно.]

[304] Т. е. к вышеназванным родственницам.

[305] Вел. кн. Марии Николаевны, герцогини Лейхтенбергской, при которых гр. Толстые состояли воспитательницами.

просил вашего согласия и совета. Люцернское же впечатление я тотчас же стал писать. Из него вышла чуть не статья, которую я кончил, которой почти доволен и желал бы прочесть вам, но видно не судьба. Покажу Тург[еневу] и ежели он апробует,[306] то пошлю Панаеву». (Толстой. «Памятники творчества и жизни». Вып. 4. М., 1923, стр. 37.)

Однако, повидимому, Толстой не исполнил своего намерения и не познакомил со своим новым рассказом, до его напечатания, ни Боткина, ни Тургенева: по крайней мере в их переписке не сохранилось об этом никаких следов. Зато, возвратившись из своего заграничного путешествия в Петербург 11 августа (30 июля ст. ст.) он поспешил познакомить с ним редакцию «Современника». 1 августа (ст. ст.) он записал в своем Дневнике: «Прочел им Люцерн. Подействовало на них». Кто именно из членов редакции «Современника» присутствовал на этом чтении, помимо Некрасова, мы не знаем, но во всяком случае, после прочтения рассказа, Некрасов поспешил сдать его для набора в типографию и уже в следующей, сентябрьской книжке «Современника» (цензурное разрешение 31 августа 1857 г.) «Люцерн» был напечатан, за подписью: Граф Л. Н. Толстой.

В позднейших изданиях текст рассказа перепечатывался без каких-либо изменений, не считая некоторых незначительных отступлений в орфографии и пунктуации. В настоящем издании «Люцерн» печатается по тексту «Современника» (1857 г., № 9, стр. 5—28); однако мы сочли необходимым внести в него следующие отступления, заимствованные из авторитетных изданий 1873 и 1886 гг., а также некоторые, очень немногие, конъектуры, в тех случаях, когда это вызывалось требованиями логической или грамматической связи:

Стр. 3, строка 13 сн.

Вместо: очень хороши *– в «Совр.»:* очень хорошо. *Печатается по изданию 1873 г.*

Стр. 12, строка 6 сн.

Вместо: толкнул – в «Совр.» и во всех изданиях: толкнув. *Печатается в силу соображений грамматической правильности.*

Стр. 20, строка 13 св.

Вместо: на одном из столов *(взято по «Совр.», так как такой оборот встречается у Толстого) – в изд. 73 г.:* за одним из столов.

Стр. 23, строка 10 сн.

Вместо: ни в какой *– в «Совр.» и изд. 1873 г.:* ни в широкой.

Печатается по изд. 1886 г.

Стр. 24, строка 3 св.

Вместо: образования *– в «Совр.» (описка или опечатка):* образовании.

Рукопись окончательной редакции «Люцерна» до нас не дошла, не сохранились также и корректурные листы журнального текста, которые выправлял сам автор, судя по записи Дневника от 22 августа: «Получил корректуры, переправлял кое-как. Ужасно взбалмошно. Послал». За то сохранилась почти полностью черновая «Люцерна», представляющая собой ту первоначальную редакцию рассказа, которую Толстой набросал под свежим впечатлением пережитого эпизода в течение трех дней, 9—11 июля, в Люцерне. Рукопись эта написана на отдельных листках почтовой бумаги, в три приема, судя по различному качеству бумаги и по некоторым отличиям в почерке; начало рассказа (кончая словами: «никто не бросил ему копейки») написано на очень тонкой желтоватой бумаге-верже, мелким почерком и рыжеватыми чернилами; продолжение (кончая словами: «… о состоянии крымских…») на более плотной и белой бумаге, с клеймом «Bath», почерком более крупным и черными чернилами; последняя же часть рассказа, от которой впрочем сохранился только один полулист, написана на голубой бумаге, также с клеймом «Bath», вторая же половина листа, содержавшая самое окончание рассказа, повидимому, утрачена. Всего в рукописи $6^1/_2$ листков или 26 страниц, из которых 2 страницы

[306] [одобрит] – срав. франц. approbation – одобрение.

чистые. Нумерация имеется только на двух первых листках, остальные ненумерованы. Сохраняется рукопись в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Папка III. 5.

Как уже было указано выше, рассказ «Люцерн» был задуман первоначально в форме письма, воображаемым адресатом которого должен был быть В. П. Боткин. Поэтому начало рассказа читается в черновой следующим образом:

«Давно уже я собирался писать вамъ из-за границы. Многое такъ сильно, ново и странно поражало меня, что мнѣ казалось мои замѣтки (ежели бы я съумѣлъ искренно передать свои впечатлѣнія) могли бы быть не лишены интереса для читателей вашего журнала. Кое-что я набросалъ съ тѣмъ, чтобы со временемъ, на свободѣ и посовѣтовавшись съ друзьями, возстановить, ежели будетъ того стоить; но впечатлѣніе вчерашняго вечера въ Люцернѣ такъ сильно засѣло мнѣ въ воображенье, что только выразивъ его словами, я отдѣлаюсь отъ него, и что, надѣюсь, оно на читателей подѣйствуетъ хоть въ сотую долю такъ, какъ на меня подѣйствовало».

За этим кратким вступлением следует вписанное между строк заглавие: «Изъ путевыхъ записокъ Князя Нехлюдова», а затем начинается самый текст рассказа:

«Люцернъ небольшой Швейцарский городокъ на берегу озера 4-хъ кантоновъ. Недалеко отъ него находится гора Риги, съ которой очень много видно бѣлыхъ горъ, гостинницы здѣсь прекрасные, кромѣ того тутъ скрещиваются три или четыре дороги, и потому здѣсь путешественниковъ бездна. Изъ путешественниковъ, какъ вообще въ Швейцаріи, на 100 – Англичан 99».

Это краткое описание Люцерна почти совпадает с печатным текстом; в нем только нет ссылки на «Путеводитель» Мёррэя (Murray), которая внесена Толстым в окончательную редакцию. Самое построение рассказа, расположение частей, их связь и последовательность в обеих редакциях остались те же; различия касаются только отдельных частностей, из которых некоторые опущены автором при окончательной обработке рассказа, а другие, наоборот, внесены им вновь. Так, например, желая подчеркнуть диссонанс между искусственной прямой «как палка» набережной, с ее симметрическими липками и скамейками, и окружающей гармонически-цельной и свободно-разнообразной природой, Толстой замечает в первоначальном наброске рассказа: «как будто рафаелевской мадонѣ заклеили бы подбородокъ золотой каемкой»; в окончательной редакции это сравнение опущено. Значительно расширено в окончательной редакции описание чопорного английского общества за табль-д'отом, а также приведенная для сравнения характеристика веселой и живой компании парижского пансиона, которой в первоначальной редакции рассказа посвящена всего одна фраза:

«То ли было дѣло нашъ пансіонъ въ Парижѣ, гдѣ мы спорили съ одного конца стола на другой, рѣзвились и послѣ обѣда тотчасъ принимались всѣ, и аббатъ, и испанская графиня, и всѣ танцовать la polka или играть въ фанты».

Встреча с бродячим музыкантом, характеристика его пения, сцена перед Швейцергофом, разговор с ним на улице, а затем в ресторане, столкновение с ресторанной прислугой, – все это изложено в первоначальной редакции почти в том же виде, как и в окончательной. Изменения касаются большей частью стиля и направлены в сторону развертывания того, что в черновой только намечено двумя-тремя штрихами. Но встречаются и некоторые изменения, затрагивающие самое содержание рассказа; в некоторых случаях опущены те или другие подробности, которые почему-либо показались автору излишними, но которые, однако, могут представлять для нас известный интерес. Приводим некоторые из этих вариантов первоначальной редакции:

В журнальном тексте автор оттеняет во французских фразах бродячего музыканта особенности его произношения, указывающие на его происхождение из немецкой части Швей-

царии (из кантона Аарrау, по французски – Argovie): «bauvre tiaple», «quelque chosse»;[307] в черновой рукописи этого оттенка произношения не отмечено и французские слова даются в обычной транскрипции.

Зал, в который первоначально ввели рассказчика вместе с бродячим певцом, в окончательной редакции назван «распивочной для простого народа»; в черновой же рукописи сказано: «это была, как я видел, людская»; последнее определение представляется более точным, в виду неоднократного упоминания о «горбатой судомойке», занятой мытьем посуды; характерно также, что в рассказе нет никаких указаний на присутствие в зале посторонних посетителей.

В черновой рукописи на вопрос лакея: «Простого вина прикажете?» – рассказчик отвечает: «Шампанского Моёте»; первоначально было написано: «Шампанского и самого лучшего», затем Толстой зачеркнул последние слова и вписал сверху, между строк, наименование марки вина; в окончательной же редакции эта деталь была снова опущена, и вся фраза восстановлена в первоначальном виде.

В рассказе бродячего музыканта относительно причины, побудившей его заняться своим ремеслом, в черновой рукописи говорится: «28 лет тому назад у него сделался панори в пальце»; в печатном тексте: «Двадцать два года тому назад у него сделался костоед в руке, лишивший его возможности работать». Интересно отметить, что панори (panoris) значит по-французски ногтоеда, а не костоеда (la carie). Так как разговор велся по-французски, то, очевидно, музыкант употребил в нем приведенное в черновой рукописи французское выражение, которое автор счел нужным при окончательной обработке своего рассказа перевести на русский язык, но употребил для этого не соответствующее выражение.

На вопрос рассказчика относительно автора «песни Риги» в печатном тексте говорится: «Был один немец в Базеле, умнейший был человек, это он сочинил ее»; в черновой же рукописи названа и фамилия этого лица – Фрейганг. Трудно сказать, почему Толстой счел нужным опустить эту фамилию в окончательной редакции. Может быть, он сам сомневался, правильно ли он ее расслышал и хорошо ли запомнил.[308]

Заключительная часть рассказа, посвященная размышлениям и лирическим излияниям автора по поводу поразившего его случая в Швейцергофе, подверглась в окончательной редакции значительной переработке, в виду этого приводим ее по первоначальному тексту черновой рукописи:

«Да вотъ она, цивилизація. Не смѣшной вздоръ говорилъ Руссо въ своей рѣчи о вредѣ цивилизаціи на нравы. Всякая мысль человѣка и ложна и справедлива – ложна односторонностью по невозможности человѣка обнять всей истины, и справедлива по выраженію одной стороны человѣческихъ стремленій. Возможенъ ли таковой фактъ въ деревнѣ Русской, Французской, Итальянской? Нѣтъ. А вѣдь всѣ эти люди христіане и гуманные люди. Провести въ общемъ гуманную идею разумомъ, – позаботиться о безбрачіи китайцевъ въ Индіи, о состояніи Крымскихъ татаръ въ Турціи, распространять христіанство, составлять общество исправленія, – это ихъ дѣло. Но при этихъ поступкахъ, что̀ руководитъ члена палаты или духовное лицо, подающее большой проэктъ, – тщеславіе, корысть, честолюбіе, – кажется, спорить нечего. А гдѣ же первобытное, primesautier, чувство человѣка? – Его нѣтъ и оно исчезаетъ по мѣрѣ распространенія цивилизаціи, т. е. корыстной, разумной, себялюбивой ассоціаціи людей, которую называютъ цивилизаціей, и которая діаметрально противоположна ассоціаціи инстинктивной, любовной.

Вотъ оно и равенство республиканское. Тиролецъ ниже лакея, лакей показываетъ ему это безобидно, но смѣясь надъ нимъ. Потому что у Тирольца 60 сантимовъ и его оскорбляютъ. У

[307] [бедняга, что-нибудь]

[308] [Отто Фон-Грейерц. Народные песни на диалектах немецкой Швейцарии. Лейпциг.] См. ниже, стр. 285—286.

меня 1000 франковъ, я выше лакея и безобидно оскорбляю его. Когда я соединился съ Тирольцемъ вмѣстѣ, мы стали на уровнѣ лакея и онъ сѣлъ съ нами и спорилъ. Я сталъ наглъ и сталъ выше. Лакей былъ наглъ съ Тирольцемъ, Тиролецъ сталъ ниже.

Вотъ она и свобода. Человѣкъ изуродованъ, слабъ, старъ, находитъ лучшее по своимъ способностямъ средство зарабатывать хлѣбъ пѣньемъ. Тѣ, которымъ онъ продаетъ свое искусство охотно [?] покупаютъ его, онъ никому не навязывается, не вредитъ своимъ товарищамъ, не обманываетъ. Ничего нѣтъ безнравственнаго въ его пѣніи. Его сажаютъ въ тюрьму за его промыселъ. Злостный банкрутъ, игрокъ на биржѣ, кричатъ въ совѣтѣ о бродяжничествѣ.

Ежели бы только люди выучились не думать и не говорить положительно, сознавая свое безсиліе понять законы своей души и потому законы общіе, человѣческіе. Ежели бы только не говорили общія рѣшенія. Тамъ, гдѣ республика, тамъ свобода и равенство. Бродяжничество зло, свобода благо, деспотизмъ зло, цивилизація благо, варварство зло. У кого въ душѣ такъ испоконъ была эта мѣра добра и зла, чтобы онъ могъ раздѣлить одно отъ другаго. У кого такъ великъ умъ, чтобы обнять всѣ факты и свѣсить ихъ? И гдѣ такое состояніе, чтобы не было добра и зла? И почему я знаю, что я вижу больше зла или больше добра не отъ того, что я стою не на настоящемъ мѣстѣ? Кто въ состояніи оторваться отъ жизни и взглянуть на нее сверху? И кто опредѣлитъ мнѣ, что̀ цивилизація, что̀ свобода, гдѣ граница свободы и деспотизма, гдѣ граница цивилизаціи и варварства? Одно есть – всемірный духъ, проникающій каждаго изъ насъ, какъ отдѣльную единицу, влагающій каждому безсознательное стремленіе къ добру и отвращеніе къ злу, тотъ самый духъ, который въ деревѣ велитъ ему расти къ солнцу и растенію сбросить листъ къ осѣни, вотъ только слушай этотъ голосъ чувства, совѣсти, инстинкта, ума, назовите его какъ хотите, только этотъ голосъ не ошибается. И этотъ голосъ говоритъ мнѣ, что Тиролецъ правъ, а что вы виноваты, и доказывать этаго нельзя и не нужно. Тотъ не человѣкъ, кому это нужно доказывать. Этотъ голосъ слышится яснѣе въ положеніи того, что вы называете варварствомъ, чѣмъ въ положеніи того, что вы называете цивилизаціей».

На этом прерывается черновая редакция «Люцерна»; остальная часть рукописи, содержавшая самое окончание рассказа, повидимому, утрачена.

Считаем необходимым присоединить несколько примечаний, для пояснения некоторых отдельных мест рассказа.

Стр. 6, строка 15 св.

В воспоминаниях автора о парижском пансионе, несомненно, имеется в виду тот пансион, в котором жил Толстой во время своего пребывания в Париже в феврале – апреле 1857 года, так как некоторые из перечисленных здесь лиц упоминаются и в его дневнике того времени (испанская графиня, музыкантша); впрочем, он нигде не называет их имен и не сообщает о них никаких других сведений.

Стр. 8, строка 2 св.

«Два строгие шпица башен» – подробность реального характера: на площади вблизи Швейцергофа стоит главная церковь Люцерна (Hof– und Stiftskirche), старинный собор св. Леонгарда, по сторонам главного портала которого возвышаются две колокольни с высокими шпицами готического типа. В черновой рукописи Толстой оставил в данном месте пробел, для того чтобы внести в него название церкви, но при окончательной обработке он, очевидно, счел излишним вносить эту подробность в свой рассказ.

Стр. 8, строка 12 сн.

Хотя безыменный странствующий певец, с которым встретился автор перед Швейцергофом в Люцерне, был родом швейцарец, уроженец кантона Ааргау (франц. Argovie), однако Толстой постоянно называет его «тирольцем», вероятно, потому что он пел главным образом старинные тирольские народные песни; песни эти отличаются своей мелодичностью и разнообразием и потому охотно усваиваются профессиональными певцами, подобно выведенному в рассказе Толстого.

Стр. 10, строка 6 сн.

«Песенка Риги» – (L'air du Righi) повидимому, пользовалась большой популярностью среди населения ближайших кантонов Швейцарии и была распространена в различных вариантах. Один из них приводит Эрих Бёме в своей заметке «Leo Tolstoi und das Rigi-Lied». («Neue Züricher Zeitung», 6 Februar 1934.)

Wo Lüzern uf Wäggis Zue
Brucht me weder Strümpf noch Schuhe.
Fahr' im Schiffli übern See,
Um die schönen Maidli z'seh.
Hansli, trink mer nit zu viel,
s'Galdi muess verdienet si.

(Русский текст приведен Толстым, см. стр. 15—16.)

Другие варианты этой песенки приводит А. Л. Гасманн в своих работах: «Das Volkslied im Lüzerner Wiggertal und Hinterland» (1906) и «Das Rigilied «Vo Lüzern uf Wäggis zue». Seine Entstehung und Verbreitung» (1908). В последнем труде он установил и имя автора «песенки Риги»; это – некий Иоганн Люти (Lüthi), музыкант из Золотурна (1800—1869). Гасманн сообщает о нем некоторые биографические сведения и дает более 30 вариантов его песенки (текстуальных и музыкальных). Кроме того, Гасманн сообщает в своей работе, что в 1850—1871 гг. в окрестностях Люцерна ежегодно появлялся со скрипкой и гитарой какой-то старый странствующий музыкант из Ааргау, выступал в трактирах со своим искусством и между прочим пел и «песенку Риги». Сведения о внешности и характере этого лица, сохранившиеся у некоторых стариков, видавших и слышавших его, настолько совпадают с описанием «маленького человечка» в рассказе Толстого, что Гасманн признает вполне правдоподобным, что именно с него Толстой и писал своего героя.

Наконец, один из вариантов «песенки Риги» был прислан в Редакцию «Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого» С. Карцевским, с указанием, что он слышал эту песенку в Женеве от одного странствующего певца, Иосифа Виггера, который и записал полностью ее текст.

Стр. 23, строка 18 св.

В 1856 году, английское правительство, без формального объявления войны, послало к берегам Китая флот, который обстрелял и разрушил целый ряд прибрежных городов; вскоре к англичанам присоединились и французы, придравшиеся к тому обстоятельству, что, вопреки договору, китайские власти казнили одного французского миссионера. Таким образом началась война двух сильнейших европейских держав против беззащитного Китая, окончившаяся только в 1860 году взятием и разграблением Пекина союзными войсками и заключением унизительного для Китая мирного договора. Эти произвольные и насильственные действия европейцев в Китае глубоко возмущали Толстого, как это видно, например, из его записи в Дневнике от 30 апреля 1857 г.: «Читал отвратительные дела Англичан с Китаем и спорил о том с стариком Англичанином»; это же нравственное возмущение сказалось и в горькой иронии «Люцерна».

Стр. 23, строка 20 св.

В 1857 году произошло окончательное покорение так назыв. Великой Кабилии, гористой области, лежащей в северо-западной части Алжира и населенной многочисленным и воинственным племенем кабилов, оказывавших в течение многих лет героическое сопротивление французам, пока наконец маршалу Рандону, командовавшему французской армией, не удалось путем энергичных и жестоких мер принудить их к покорности, и таким образом закончить завоевание Алжира.

–

АЛЬБЕРТ.

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.

Зимой 1856/57 гг. Толстой, как это видно из его Дневников, особенно сильно увлекался искусством и много размышлял о нем. Он часто слушал музыку: и в опере, и в концертах, и в частных домах. Он вел эстетические беседы с В. П. Боткиным (например, на тему, представляет ли себе поэт читателя или нет. Дневник, 17 ноября 1856 г.). Ему хочется поскорее расстаться с журналами, чтобы писать так, как он теперь начинает думать об искусстве – «ужасно высоко и чисто». (Дневник, 23 ноября 1856 г.) Ему нравятся статьи Белинского о Пушкине. Он рыдает «беспричинными, но блаженными поэтическими слезами» от стихов Пушкина, прочтенных ему Панаевым (Дневник, 4 января, 1857 г.).

В это-то время обостренно-повышенного интереса Толстого к искусству он встретился с человеком, который произвел на него сильное впечатление и послужил толчком к созданию «Альберта».

5 января 1857 г. в Дневнике Толстого записано: …«поехал в б[ардель]. Грустное впечатление. Скрыпач». Через день, 7 января, Дневник называет скрипача по имени и говорит о возникшем художественном замысле: «История Кизеветтера подмывает меня».

В работе В. И. Срезневского,[309] на основании документов из архива б. императорских театров, даны сведения о скрипаче Георге Кизеветтере, Ганноверском уроженце, уволенном после десятилетней службы в оркестре петербургской оперы, и показано, что данные формуляра Кизеветтера очень сходны с тем, что говорит Толстой о своем скрипаче в первой редакции повести.

8 и 10 января, перед самым отъездом Толстого в Москву, Кизеветтер был у него в доме. Запись 8 января говорит о новом знакомом Толстого: «Он умен, гениален и здрав. Он гениальный юродивый. Играл прелестно». Впечатления от Кизеветтера 10 января колеблются: «Пришел Кизеветтер, – ужасно пьян. Играл плохо». Возвратившись вечером от знакомых, где, между прочим, «генерал кричал при музыке», Толстой записывает: «Кизеветтер спящий, – труп… Кизеветтер глубоко тронул меня».

По дороге в Москву и приехав туда, Толстой все время переживает встречу с «гениальным юродивым».

12 января он записывает в Дневнике: «Три поэта: Жемчужников,[310] есть сила выражения, искра мала, пьет из других. 2) Кизеветтер, огонь и нет силы. Я) Художник ценит и того, и другого и говорит, что сгорел». В тот же день, перечисляя, что он должен «писать не останавливаясь каждый день», Толстой, на ряду с другими пятью произведениями, упоминает и «П[ропащего]».

Толстой, несомненно, на пороге к тому, чтоб начать работать над повестью: у него уже есть заглавие для нее, а следующие слова, занесенные в Дневник того же 12 января, могут быть рассматриваемы и как отметка о действительно бывшем факте, и как первоначальная литературная обработка этого факта для предполагаемой повести. Толстой пишет: «Русский добросовестный художник в конце злится на того, который видит притворство, и на Жемчуж[никова] и говорит: тот, кого мы видим в соплях, царь и велик, он сгорел, а ты не сгоришь. Говорят, Севастоп[ольские] герои все там, а здесь герои не все. Дар огромный, надо осторожно

---

[309] В. И. Срезневский. «Георг Кизеветтер, скрипач Петербургских театров (к истории творчества Л. Н. Толстого). 1857/58» – «Толстой. 1850—1860. Материалы. Статьи. Редакция В. И. Срезневского. Труды Толстовского музея Академии наук СССР». Л. 1927.

[310] В. И. Срезневский предполагает, что речь идет о Льве Михайловиче Жемчужникове.

обращаться с ним, сожжешь других и себя, и сам заплакал при барышне». В XIII гл. I ред. повести и в XI гл. III ред., в речах художника и Нехлюдова, почти буквально повторяются слова «добросовестного художника» из Дневника.

Такой же характер носит запись под 26 января: «Он рассказывает свою историю и ночь в театре, которая его потревожила в рассудке. – Он боится всех и стыдится – виноват. – Он запутался в жизни, так что боится возвратиться, одно спасенье забыться. В то время, как он пробует, он рассказывает историю. Последний вечер, художник видит его с поэтической точки. Другой – подозревает его. Я прошу его опомниться. – Нет, прекрасно. Wie schön!».[311]

29 января, в день выезда за границу, Толстой отмечает: «Я недовольно самостоятелен, однако обдумал много *Пропащего*».

3 февраля ему «кажется, что Пропащий совсем готов», а 10/22 февраля он пишет В. П. Боткину из Парижа: «Этот же месяц надеюсь здесь кончить Кизеветтера, который в продолжение дороги так вырос, что уже кажется не по силам. Авось к Апрельской книжке поспеет».[312]

Едва ли можно согласиться с тем, что работа над повестью, еще до приезда в Париж, была «действительным писаньем», и что Толстой еще в Москве читал приятелям первый его набросок, как предполагает В. И. Срезневский в упомянутой статье о Георге Кизеветтере (в более раннем комментарии к цитированному письму на имя Боткина он держится другого мнения). Говоря, что „«Пропащий» совсем готов“, Толстой мог разуметь окончание предварительной, внутренней работы над повестью и так же мыслить начало своего труда, когда сообщал Боткину о надежде скоро кончить повесть за границей.

После неоднократных упоминаний о работе над «Пропащим» за границей, Толстой, будучи в Дижоне, записывает в Дневнике под $\frac{\text{28 февраля}}{\text{12 марта}}$: «Кончил набрасыванье Пропащего, – что выйдет, не знаю. Не нравится».

Не понравилась повесть и Тургеневу, которому автор прочел ее на другой день: «он остался холоден», отмечает Толстой.

Прочтенное Тургеневу – текст автографа, описываемого нами далее (1), представляющий первую редакцию повести.

5 апреля, в Париже, повесть появляется в Дневнике Толстого под новым заглавием: «Немного пописал *Повреж[денного]*». Работа была прервана тяжелыми впечатлениями смертной казни, при которой Толстой присутствовал, и скорым отъездом в Швейцарию.

6 мая, уже в Швейцарии, повесть упоминается вновь: «Перечел Кизеветтера. Хорошо».

Одобрительный отзыв относился, вероятно, к замыслу повести, а не к его выполнению, потому что 7 мая читаем: «Немного пописал Повреж[денного] опять сначала».

Неоднократные заметки дневника за май и июнь говорят об очень напряженной работе, а под 24 июня Толстой записывает: «Читал Боткину *Поврежденного*. Действительно, это плохо».

За отсутствием данных трудно решить, читал ли Толстой Боткину повесть, доведенную до конца, или только часть ее. Мы предполагаем последнее и считаем, что читанное Боткину – текст автографа (2), описанного ниже, представляющий вторую, незаконченную редакцию повести.

Через три дня после чтения Боткину, 27 июня, повесть появляется в Дневнике опять с новым заглавием: «Немного пописал *Погибш[его]*».

До возвращения в Россию (11 августа нов. ст.) работа над «Погибшим» шла урывками, перебивалась писанием «Отъеззжего поля», «Люцерна». Не сразу принялся Толстой за него и в России. Лишь 6 сентября, почти через месяц после приезда в Ясную поляну, встречается упоминание о «Погибшем», если не считать, что к нему же относится запись 16 августа: «Лень писать с подробностями, хотелось бы всё писать огненными чертами».

---

[311] [Как красиво!]

[312] «Толстой. Памятники творчества и жизни». 4. Редакция В. И. Срезневского. Стр. 17.

До 14 сентября было написано пять глав «Погибшего». В этот день в Ефремове, куда Толстой ездил на конскую ярмарку, он занес в Записную книжку: «Что вспомнил Д[елесов] при вальсе. Как танцовал в поту и поцаловал. Старик, – для него всё голо, а прежде и дерево, и облако, вокруг них всё было поэзия».

Запись в Дневнике, сделанная на следующий день, дополняет и поясняет эту заметку. – «Бросился писать и написал отличные 4 листика горячие».

Это – лл. 11—18 автографа 3, составившие 3-ю главу и заставившие переделать и пагинацию, и цыфры, ранее обозначавшие главы 3, 4 и 5.

18 сентября настроение падает: «Писал довольно много, но вся вещь плохая. Хочется свалить ее поскорее».

20 сентября «работалось хорошо», 22 – «писал довольно, но решительно плохо». Таков же отзыв и в суммарной записи Дневника под 25—28 сентября.

Как показывает дата под автографом 3, 5 октября, в Ясной Поляне, третья редакция повести была закончена.

Но автограф 3 может быть назван третьей редакцией повести лишь с некоторыми оговорками.

Уже на другой день после заключительной даты 3 автографа, 6 октября, Толстой отмечает в Дневнике, что „«обдумал окончательную отделку «Погибшего»“. Она не замедлила начаться, и несомненно, что для нее Толстой собрал отдельные листки, относившиеся к работе над последней третью повести после прочтения Боткину первых двух ее третей. Рукопись, благодаря этому, не говоря уже о «4 листиках горячих», получилась сборная. Это подтверждается и разнообразием бумаги, и перебоями в наименовании некоторых лиц повести (см. ниже описание рукописей «Альберта» и сравнение их с печатным текстом). Следы «отделки» ясно видны на автографе 3: исправления, вычеркивания, вписывания между строк и на полях, написанные другими чернилами, чем основной текст, крестики, обозначающие, как мы предполагаем, места вставок на отдельных листках. Таких вставок предполагалось довольно много, но сохранилось лишь две. Одна – лист 33 автографа 3, снабженный крестиком, по бумаге отличающийся от соседящих с ним предыдущих и последующих листов и введенный в текст повести, другая – 2 лл. автографа 4 Б.

Таким образом, являясь, с некоторыми оговорками, в основе своей третьей редакцией повести, автограф 3 в то же время служит переходом к четвертой редакции, полностью нам неизвестной.

Ее фрагментами являются автографы 4 А, Б и В, а также листы писарской копии и гранки до внесения в них авторских исправлений и вставок.

Работа над повестью продолжалась в Москве и Петербурге, где Толстой был с 17 по 30 октября.

23 ноября повесть была прочтена автором С. Т. Аксакову. «Кажется, понравилась старику», отмечает Толстой, а через два дня записывает, что «кончил работу», и что «вся вторая половина слаба».

Приблизительно к тому же времени надо отнести не датированное письмо Толстого к Некрасову, где он сообщает, что «к 26-му» пришлет *Погибшего*, повесть листа в 3, которой начинает быть доволен.[313]

26 ноября, как отмечает Дневник, повесть (уже в IV ред.) была послана Некрасову. Очевидно, накануне было написано письмо к Некрасову, в котором Толстой выражал желание «пересмотреть все корректуры». «Ежели только это возможно по времени, – пишет Толстой, –

[313] «Архив села Карабихи. Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову». (М. 1916.) Стр. 196. Все выдержки из писем Толстого, напечатанных в «Архиве», проверены по подлинникам, хранящимся в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина.

то высылайте или вышлите их мне. Но корректуры 8 и 9 отдела *непременно* пришлите и скажите ваше мнение насчет их. Я ими недоволен. Я теперь занялся этой вещью преимущественно, чтобы сбыть ее с рук – она загораживала другие – но занявшись ею опять, серьезно увлекся и мне кажется, что есть места не дурные. Об отделе 11-м тоже скажите свое мнение, он мне не нравится».[314]

Едва повесть была отослана, Толстой забеспокоился, так как «вспомнил много небольших, но необходимых исправлений. Главный вопрос: будете ли вы или нет печатать Погибшего в Декабре? – спрашивал он Некрасова. – Ежели да, то успею ли я исправить его по корректурам в Москве. Ежели не успею, а вам нужно печатать теперь, то уж я приеду в Петербург. – Необходимейшие исправления во второй половине; поэтому не велите отпечатывать ее в листы без исправлений… Извините пожалуйста за эти хлопоты, я сам ужасно раскаиваюсь в том, что послал вам вещь в таком ужасно-невозможном виде».[315]

30 ноября, как увидим ниже, Толстой просил Некрасова вернуть ему повесть обратно, а в промежуток времени между 26 и 30 ноября написано было неотправленное письмо Некрасову, от которого сохранилось лишь начало, содержащее указания на ряд исправлений в повести (автограф 5).

Появление повести в декабрьской книжке «Современника» не состоялось: вероятно, она уже запоздала для нее. Но ее набрали, Некрасов ее прочел и «по долгу совести» написал автору 16 декабря 1857 г., что она не хороша. «Главная вина вашей неудачи, – писал Некрасов, – в неудачном выборе сюжета, который, не говоря о том, что весьма избит, труден почти до невозможности и неблагодарен… Как Вы там себе ни смотрите на Вашего героя, а читателю поминутно кажется, что вашему герою с его любовью и хорошо устроенным внутренним миром – нужен доктор, а искусству с ним делать нечего». Впрочем, окончательное решение Некрасов предоставлял Толстому.[316]

В сущности, это был замаскированный отказ, и так, видимо, понимал дело и сам Некрасов. 25 декабря он писал Тургеневу: Толстой «прислал такую вещь, что пришлось ему ее возвратить».[317]

18 декабря Толстой благодарил Некрасова за искренно выраженное мнение, с которым он, однако, несогласен. «Печатать ее (повесть) теперь нельзя; потому что как я писал вам, надо в ней исправить и изменить многое. 30 числа я еще просил вас прислать мне ее назад.[318] Напрасно вы не прислали. – Что это не повесть описательная, а исключительная, которая по своему смыслу вся должна стоять на психологических и лирических местах и потому не должна и не может нравиться большинству, в этом нет сомнения; но в какой степени исполнена задача, это другой вопрос… Пришлите мне только пожалуйста рукопись или корректуры, чтобы пока свежо еще исправить что нужно и спрятать всё подальше».[319]

Корректуры были возвращены, и, вероятно, в середине декабря Толстой принялся за поправки. Под 16—26 этого месяца повесть упоминается в дневнике под новым, уже четвертым заглавием: «Переправка Музыканта. Не печатаю».

---

[314] «Архив села Карабихи», стр. 195, где письмо напечатано с датой: «28 Декабря (1857)», явившейся в результате двойной ошибки. Во-первых, в подлиннике письмо помечено не 28, а 25 числом, а во-вторых, Толстой, несомненно, по ошибке датировал письмо декабрем, вместо ноября. В конце декабря письмо не могло быть написано, так как в нем идет речь о напечатании повести в декабрьской книжке, которая вышла в половине месяца, приблизительно между 7 и 15: 7 декабря помечено цензурное разрешение на приложенное к книжке объявление относительно «Сборника сведений о военно-учебных заведениях», а в объявлении об издании «Современника» в 1858 г., приложенном к № 151 «Московских ведомостей» от 17 декабря 1857 г., указывается содержание «двенадцати вышедших книжек» журнала.

[315] Там же, стр. 203—204. Под письмом стоит только 28, но это, несомненно, 28 ноября 1857 г.

[316] Альманах «Круг», книга 6. М. 1927, стр. 215.

[317] А. Н. Пыпин. «Н. А. Некрасов», стр. 191.

[318] Быть может, просил по телеграфу: под 30 ноября дневник отмечает посылку телеграммы.

[319] «Архив села Карабихи», стр. 194.

Судя по исправлениям, которые сделаны в сохранившихся последних гранках, Толстой приводил в исполнение то, о чем писал в неотправленном письме к Некрасову. Художник Бирюзовский всюду тщательно удален и заменен Делесовым. Этот последний, а не Бирюзовский, как было первоначально в гранках, произносит длинную речь – апологию Альберта.

21 января 1858 г. Толстой пишет Некрасову: «Повесть свою спрятал, но придумал еще в ней переделки, которые сообщу вам когда-нибудь, когда будем вместе».[320]

17 февраля он извещает Некрасова, что пришлет «две штуки на выбор; из коих одна есть тот же несчастный всеми забракованный музыкант, от которого я не мог отстать и еще переделал».[321]

Не рассчитывая попасть в мартовскую книжку, Толстой 26 февраля сообщает Некрасову, что в марте надеется с ним увидаться и прочесть ему повесть.[322]

Судя по Дневникам, работа над «Музыкантом» продолжалась до 11 марта, а отдан он был Некрасову, вероятно, между 12 и 17 марта, когда Толстой был в Петербурге.

Надо предполагать, что «Музыкант» назначался для апрельской книжки, и что именно об этой повести сообщал Некрасов Толстому 3 апреля, что ее «задержал по глупости» цензор «Современника».[323]

Наконец, в 8 книге «Современника» за 1858 г. повесть Толстого появилась под заглавием «Альберт», – пятым по счету.

В каком виде она была отдана в редакцию, какие поправки были сделаны Толстым во время печатания, – мы не знаем.

Отметив главные моменты в истории написания «Альберта», следует указать, что заключительный эпизод повести (бредовые видения музыканта) некоторыми исследователями ставится в связь с отрывком «Сон», над которым, по указанию дневника, Толстой начал работать 24 ноября 1857 г. и вторую редакцию которого поместил в письме к В. П. Боткину от 4 января 1858 г.[324] По мнению И. Р. Эйгеса, «Сон», возникший как самостоятельное произведение, был затем слит с концом «Альберта».[325] Б. М. Эйхенбаум полагает, что «Сон» стилистически восходит к «Альберту», и что финал последнего – один из вариантов «Сна».[326]

Текст «Сна» и комментарии к нему не входят в настоящий том, так как последняя редакция отрывка, предназначавшаяся для печати, относится к 1863 г. Поэтому ограничиваемся здесь только что сказанным, отмечая, что и в 1857—58 гг., в разгар работы над «Альбертом», и в 1863 г., когда настроения эпохи «Альберта» были уже давно пройденной ступенью, Толстой считал «Сон» совершенно самостоятельным произведением.

«Альберт» был напечатан в «Современнике» довольно небрежно: с рядом явных опечаток, странным употреблением курсива в четырех местах, а в самом конце повести со столь небрежной пунктуацией, что она затрудняет чтение.

Издание Стелловского повторило, с двумя опечатками, журнальный текст. Следующие издания исправили некоторые из опечаток «Современника», но внесли новые, а главное – стерли некоторые архаизмы языка Толстого. Наиболее исправный текст дало впервые 6-е изд. (1886 г.).

В настоящем издании дан текст «Современника» со следующими отменами:

Стр. 28, строка 3 сн.

---

[320] Там же, стр. 197.

[321] Там же, стр. 199.

[322] Там же, стр. 200.

[323] Альманах «Круг», кн. 6, стр. 128.

[324] «Толстой. Памятники творчества и жизни». 4. Стр. 53—56.

[325] И. Р. Эйгес, «Из творческой истории рассказа «Альберт» Л. Толстого» – журнал ГАХН «Искусство», 1928, кн. 1-2.

[326] Б. Эйхенбаум. «Лев Толстой. Книга первая. 50-е годы». Л. 1928, стр. 327—328.

Вместо: со всего росту – *в «Совр.».: со всего росту. Считаем курсив за недосмотр и исправляем*.

Стр. 30, строка 3 св.

Вместо: чудно̀е – *в «Совр.»:* чудное. *Берем написание, облегчающее чтение и впервые появившееся в 5 изд. соч. (1886 г.)*

Стр. 31, строка 14 св.

Вместо: своему делу – *в «Совр.»:* своему долгу. *Считаем последнее написание опечаткой и исправляем.*

Стр. 35, строка 19 св.

Вместо: «Меланхолии» – *в «Совр.»:* «меланхолии». *Исправляем несомненную опечатку.*

Стр. 35, строка 10 св.

Вместо: великодушное – *в «Совр.»: великодушное. Считаем курсив за недосмотр и исправляем.*

Стр. 36, строка 8 св.

Вместо: как одинокий холостяк – *в «Совр.»: как одинокий холостяк. Исправляем курсив, считая его за недосмотр.*

Стр. 39, строка 11 св.

Вместо: Chopin – *в «Совр.»: Chopin. Считаем курсив за недосмотр и исправляем.*

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ И ГРАНОК, ОТНОСЯЩИХСЯ К «АЛЬБЕРТУ».

Все дошедшие до нас материалы, относящиеся к длинной и сложной истории создания «Альберта», хранятся в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина и сводятся к следующему:

1. *(Папка III.)* Автограф, состоящий из 29 лл. заграничной тонкой, слегка глянцевитой почтовой бумаги большого формата, без водяных знаков и клейм. Первые 8 лл. желтоватого цвета, остальные – бледно-синего. Чернила на первых 8 лл. коричневатые, в начале 9 л. – синие, на остальных черные. Черными же чернилами сделаны поправки и вставки на полях, особенно многочисленные на лл. 1, 2, 3, 4 об., 6 об. и 8 об. Поля в пол-листа справа. Авторская пагинация на полях, вверху каждого почтового листа. Заглавия нет, и текст первого листа начинается немного отступя от верхнего края, – как будто с целью оставить место для заглавия. Начало: «Въ 4-мъ часу ночи зимой пятеро молодыхъ людей». – В конце: «28 Февраля 1857. Дижонъ». Ниже даты три неоконченных, сделанных чернилами, наброска мужской головы в профиль. На наиболее законченном рисунке голова, как будто, с длинными волосами и резко очерченным большим подбородком.

Текст, разделенный на 14 глав, неполон: нет конца IV главы и почти всей V, от которой вверху 9 л. сохранилось 15 строк. Нет также конца VI и начала VII главы, так как оторваны две страницы с текстом, что видно по уцелевшему клочку внизу. Из автографа 1 печатается отрывок II главы (см. вариант № 1).

2. *(П. III.)* Автограф, состоящий из 18 лл. белой заграничной почтовой бумаги большого формата, без водяных знаков и клейм. Первые 6 лл. (л. 6 об. – чистый) писаны не на отдельных почтовых листах, а на трех вложенных друг в друга. Чернила коричневатые. Полей нет. Авторская пагинация отсутствует. Заглавие – *Поврежденный*. Под заглавием, справа, эпиграф:

Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Пушкинъ

Концы первых двух строк эпиграфа слегка оторваны. Начало: «Надъ Петербургомъ стояла пасмурная морозная ночь».

Текст неполный. На 6 л. только три строки, заканчивающие IV главу, и полторы строки начала V. 7-й л. начат с середины рассказа, и по содержанию видно, что здесь идет продолжение VI главы. С этими пропусками изложение охватывает 10 глав. XI глава только обозначена цифрой, приблизительно на середине страницы, текста же нет.

3. *(П. III.)* Автограф на 48 лл. бумаги одинакового формата, приближающегося к формату малой почтовой бумаги, но разных сортов. Первые 6 лл. писаны на заграничной тонкой белой бумаге, без водяных знаков и клейм. Лл. 7—24 и 34—48 – на более плотной белой, частью глянцевитой, частью слегка шероховатой бумаге. На лл. 8, 15 и 22 клеймо – скачущий всадник, на лл. 12—14 – восьмиугольное клеймо с обозначением фабрики Рейнера. Лл. 25—32 писаны на заграничной тонкой, почти прозрачной светло-синей бумаге без водяных знаков и клейма. Л. 33 – на заграничной тонкой серой бумаге без водяных знаков и клейма. Вся рукопись писана черными чернилами, кроме лл. 41 об., 42, 43 и десяти строк л. 44, где чернила коричневатые. Поправки на всем протяжении рукописи сделаны более густыми черными чернилами, ясно отличающимися от тех, которыми писан основной текст. Небольшие поля справа. Авторская пагинация с листа 1 по 32 включительно. Цыфры на лл. 11—18 исправлены соответственно из 7—14, благодаря позднейшей вставке четырех листов после 6 л. В связи с этим – изменения цыфр, обозначающих главы: 3 переделано на 4, 4 на 5, 5 на 6. Обозначение остальных глав без поправок. Заглавие – *Погибший*. Рядом, рукой Толстого, но карандашом: *Альбертъ*, – надпись очень поздняя, быть может, относящаяся к заключительному моменту работы над повестью. За это говорит и почерк, и написание имени героя с *ь*, тогда как вплоть до корректуры, относящейся ко времени первой неудавшейся попытки напечатать повесть, Толстой неизменно писал: *Албертъ*. Под заглавием справа зачеркнутый эпиграф из Пушкина, – тот же, что в автографе 2-м, причем вместо «вдохновенья» – «вдохновенiй». Начало: «Пять человѣкъ богатыхъ и здоровыхъ людей». В конце – «5 Октября Ясная Поляна» и подпись: «Гр. Л. Н. Толстой». Количество поправок, вставок и вычеркиваний – значительно большее, чем в первых двух автографах. Некоторые вычеркнутые места (довольно значительные по размеру) потом восстановлены путем штрихового, зигзагообразного уничтожения расположенных крест-накрест перечеркивающих линий. На полях – заметки с указанием на характер дальнейших исправлений и – довольно часто – крестики, как будто указывающие на предполагаемые вставки.

Текст полный, разделен на 12 глав.

Ив автографа 3 печатаются: а) III глава целиком; б) вставленный при дальнейшей работе над рукописью л. 33, относящийся к VI главе; в) весь конец рукописи (см. варианты № 2, 3 и 4). Вариант № 2 и незначительная часть варианта № 4, именно гл. XI, были уже напечатаны в работе В. И. Срезневского «Георг Кизеветтер, скрипач Петербургских театров (к истории творчества Л. Н. Толстого) 1857—1858», в книге «Толстой. 1850—1860. Материалы. Статьи. Труды Толстовского музея Академии наук СССР», стр. 54—57 и 67—72.

4. *(П. III.)* Автограф, состоящий из 8 разрозненных черновых листов, относящихся, повидимому, к работе над вариантами к предыдущему, третьему очерку повести.

Здесь мы имеем:

А. 5 лл. связного текста, писанного на четвертушках русской белой плотной писчей бумаги. Водяных знаков нет. На л. 4 об. клеймо: «Троицк. фабр. Говарда. № 834». Полей нет. Чернила черные.

Рукопись дает последние слова VII главы и VIII гл. целиком, о чем свидетельствует и проведенная под последними словами жирная черта.

Б. 2 лл. заграничной почтовой тонкой серой бумаги малого формата без водяных знаков и клейм. Небольшие поля. Чернила черные. По содержанию относится к V гл. автографа 3.

В. Четвертушка русской белой плотной бумаги без водяного знака и клейма. Небольшие поля слева. Чернила черные. Содержит заключительные строки повести, подписанные: «Гр. Л. Н. Толстой», с указанием даты и места: «Дижонъ, 28 Февраля». Хотя датировка частично отсылает к автографу 1, данный вариант конца повести писался уже не ранее, как к автографу 3: герой назван *Алберт*, тогда как в первом и втором очерках повести его имя *Вольфганг.*

5. *(П. III.)* Автограф, состоящий из полулиста плотной белой почтовой бумаги малого формата с вытисненными в левом верхнем углу французскими инициалами L. *T.* и графской короной над ними. Начало письма к Некрасову, содержащего варианты и исправления для конца IX гл., X и XI в III ред.

6. *(П. III.)* Корректурный лист. Неразрезанные четыре гранки, из которых последняя имеет текст и на обороте, содержащие заключительные главы повести (конец X, XI и XII). Многочисленные поправки, вычеркивания и вставки рукой Толстого. В конце подпись: – «Гр. Л. Н. Толстой» и дата «Дижонъ. 28 Февраля 1857 г.»

7. *(П. III.)* 11 лл. писарской разрозненной копии. Писаны на русской плотной писчей бумаге размером в лист без водяных знаков и клейм. Поля в пол-листа. Рукой Толстого сделано несколько поправок и две довольно больших вставки на полях.

Лл. 1—4 – вариант части V гл. из автографа 3-го. Лл. 5—7 – вариант части VIII гл., а лл. 8—11 – вариант части IX и X гл. того же автографа.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ТЕКСТА ВСЕХ РЕДАКЦИЙ «АЛЬБЕРТА».

В I ред. повести, не сохранившейся целиком, главное действующее лицо носит имя Вольфганг. Иные имена и у остальных действующих лиц, кроме Анны Ивановны и Захара. Ночную кутящую компанию составляют офицер Дулов, Серапин, француз M-eur Meurice, безыменный художник и Крапивин – литератор и поэт. Художник отделяется от компании после выхода из ресторана, перед поездкой к Анне Ивановне. Берет к себе музыканта Крапивин.

По сравнению с печатным текстом обращает внимание резко подчеркнутый контраст между детски-простодушным, высоко-одаренным Вольфгангом и всё время рефлектирующим Крапивиным, который только мнит себя поэтом, слишком много рассуждает, в частности – об искусстве.

Таков Крапивин по дороге к Анне Ивановне, когда он рассуждает о самом себе и делает попытку создать стихотворение (см. вариант № 1), таков он на «балике», когда не может отдаться непосредственному веселью, таков и в многочисленных рассказах о встрече и знакомстве с Вольфгангом: он рассказывает, прибавляя «много соображеній, которые онъ чувствовалъ съ удовольствіемъ, могли выходить только изъ его поэтической натуры», и постепенно впечатление от игры Вольфганга всё более и более сглаживается у Крапивина, заменяясь «впечатлѣніемъ собственнаго разсказа».

Самое начало повести как будто указывает, что центром дальнейшего повествования будет характеристика подлинного, бессознательного служителя искусства и человека ему противоположного.

В печатном тексте дело сразу начинается на «петербургском балике» у Анны Ивановны. В первом же очерке повести автор показывает, о чем беседовали молодые люди в трактире за стаканом вина. Это был разговор об искусстве. Серапин, спускаясь к карете, говорит: «Я не знаю, какъ это у васъ еще съ поэзіей бываетъ, когда вы одни, но нынче ты съ своимъ художникомъ такую тоску на всѣхъ нагналъ съ своими спорами объ искусствѣ и чортъ знаетъ что, что

я чуть не заснулъ». А Крапивин, продолжая начатый в трактире разговор, произносит: «отъ того, что ежели бы оно было безсознательно, то не стоило бы никакого труда».

Образ Вольфганга, в общем, близок образу Альберта, и его разговоры об искусстве в X гл. I ред. и V гл. печатного текста почти тождественны. Но одна композиционная особенность I ред., не меняя психологической сущности образа Вольфганга, отличает его несколько от образа Альберта. Крапивин узнает о любви музыканта к дочери купца-немца, о его ночах в пустом театре не от него самого, а от бывших его сослуживцев по оперному оркестру, с которыми встретился на музыкальном вечере у знакомых, – причем это дает повод Толстому вновь подчеркнуть чисто книжную, напускную поэтичность Крапивина: «Ахъ, какая поэтическая личность, замѣтилъ Крапивинъ, задумчиво покачивая головой, это гофмановскія ночи въ пустомъ театрѣ и онъ вѣрно игралъ тамъ на скрипкѣ».

Апология музыканта, в оконч. ред. включенная в бредовые видения Альберта в виде сравнительно небольшой речи художника Петрова и возражений Делесова, в первом очерке занимает отдельную XIII гл., сплошь занятую длинной речью художника, которая в основном почти тождественна с соответствующим местом III ред.

XIV, заключительная, глава изложена в виде очень краткого, спешно набросанного конспекта, местами с трудом поддающегося прочтению. Вольфганг засыпает в конюшне, куда он попал, уйдя от Крапивина, сделав тщетную попытку попасть к Анне Ивановне. Перед тем как погрузиться в «спокойное сновидѣніе, которое оттолкнуло отъ него до утра чувство сознанія», он переживает все свое прошлое.

В этой главе обращает на себя внимание обилие аннотаций на полях. Две из них должны быть отмечены по связи с III ред. повести: 1. «Этотъ міръ – не то,» 2. «Красота на томъ свѣтѣ».

Во II ред., дошедшей до нас в еще менее цельном виде, чем I, главное действующее лицо опять носит имя Вольфганга. Место Крапивина из I ред. занимает чиновник писатель Седьмый (то Михаил Иванович, то Дмитрий Иванович). Его компанию составляют сын министра, богач Акимов, офицер князь Куракин и художник Делесов.

Здесь Вольфгангу, образ которого в общем тождествен с зарисовкой его в I ред., противопоставляются два лица: Делесов и Седьмый. Но они контрастны Вольфгангу не своей рефлексией и рассудочностью, как Крапивин, а тем, что Делесов спасается в искусстве от «всѣхъ жизненныхъ противорѣчій», а Седьмый – своим спокойствием, которое не расстраивается ни его поэтическими стремлениями, ни минутами грусти и усталости.

Ночная компания едет в публичный дом не после трактирных разговоров об искусстве, а после вечера, проведенного у знакомых, где беседа, кроме живописи и поэзии, шла о добродетели, о тяжелом положении России, о средствах помочь ей. Отвечая на вопрос, зачем они едут, Толстой говорит: «Въ сущности, всѣ они искали и не могли найти однаго лучшаго наслажденія в жизни – самозабвенія».

Характеристика рассказов Седьмого о Вольфганге очень близка к соответственному месту I ред. Как и в I ред., о прошлом Альберта рассказывают его товарищи музыканты. Их рассказ – в X, последней сохранившейся, гл. II ред.

В III ред. повести, называемой так с некоторыми ограничениями, но сохранившейся целиком и заключающей в себе 12 глав, герой впервые назван Албертом, хотя в самом начале вар. 4 герою грезится, что любимая девушка зовет его Францем. Следует отметить также, что сборная рукопись дает колебания в имени и самом образе женщины, в которую был влюблен Альберт. То это – «особа», судя по намекам, очень высокопоставленная, то это – дочь коммерсанта, называемая в одном месте «дѣвицей Малеръ», в другом – «Еленой Миллеръ».

Альберта берет к себе Делесов. Другие лица – сын министра, знаток музыки Аленин, модный пианист француз Пишо и художник Бирюзовский, в конце рассказа переименованный в Нехлюдова.

Общий замысел повести, по сравнению с предыдущими редакциями, несколько изменился. Вопрос о том или ином отношении к искусству, о его служителях, осложнился вопросом моральным, – о праве одного человека посягать на внутренний мир другого, даже в том случае, если посягающий искренно считает внутренний мир другого человека «неблагоустроеннымъ» и исходит в своей попытке из велений собственного «благоустроеннаго» мира.

Текст III ред. довольно близок к печатному, как видно из следующего сопоставления глав.

I и II гл. рукописи очень немногим отличаются от печатного текста.

III гл. рукописи нет в печатном тексте: это «4 листика горячие», вставленные после поездки в Ефремов.

IV гл. рукописи, соответствующая III гл. печатного текста, очень близка к ней.

V гл. рукописи соответствует началу IV гл. печатного текста (до слов: «Возвратившись домой поздно вечером»), но в последнем отсутствует описание делового дня Делесова, его визитов; нет его рассказов знакомым про Альберта, беседы с музыкантами, от которых он узнает про историю любви Альберта, про его чудачества. Две аннотации карандашом: первая на полях л. 16 об. – «былъ влюбленъ и въ мальчика», вторая на полях л. 16 об.: «показываетъ письмо, любовь къ знат[ной] особѣ».

VI гл. рукописи дает слияние приблизительно двух третей IV гл. печатного текста (со слов: «Возвратившись домой поздно вечером») и V гл. печатного текста, однако, с некоторыми отличиями. Думы Делесова об Альберте в постели пространнее. Нет разговора о художнике Петрове. Значительно разнится от печатного текста рассказ Альберта о своей любви и о ночах в театре (см. вариант № 3). Отсутствует в рукописи одна очень характерная для образа Альберта деталь: немецкие цитаты, вложенные в его уста Толстым при окончательной обработке рассказа.

В гл. V, стр. 42, строки 1 – 2 сн., Альберт поет:

Und wenn die Wolken sie verhüllen,
Die Sonne bleibt doch ewig klar[327]

и «прибавляетъ», немного спустя (стр. 43, строка 3 св.):

Ich auch habe gelebt und genossen.[328]

Первая цитата – не совсем точно переданные начальные строки каватины Агаты из оперы «Фрейшюц», музыка Вебера, либретто Фридриха Кинда. Точный текст таков:

Und ob die Wolke sie verhülle,
Die Sonne bleibt am Himmelszelt.[329]

Впрочем, быть может, в оперной практике конец второй строки пели так же, как его поет Альберт: в этом последнем виде он гораздо удобнее для пения, чем в подлинном, со скоплением согласных.

Вторая цитата – несомненные реминисценции из песен Шуберта на слова Шиллера:

В «Thecla (eine Geisterstimme)»[330] первая строфа оканчивается так:

[327] [Пусть облака окутывают солнце, оно все же остается вечно сияющим]

[328] [И я жил и наслаждался.]

[329] [И если облако окутывает солнце, оно все же остается на небесном своде.]

[330] «Текла (голос духа)».

Hab' ich nicht beschlossen und geendet,
Hab' ich nicht geliebet und gelebt?[331]

В «Mädchens Klage»,[332] – песне, которая пользовалась у нас особенной популярностью, – заключительные строки второй строфы таковы:

Ich habe genossen das irdische Glück,
Ich habe gelebt und geliebet.[333]

III гл. рукописи лишь частично соответствует II гл. печатного текста. Делесов не отпускает Альберта, а откладывает решение до следующего дня. Он думает, что Альберт спит, но это не так: музыкант размышляет всю ночь напролет.

Начиная с этого места и до конца автограф 3 совершенно расходится с печатным текстом (см. вариант № 4).

–

[331] В переводе Аполлона Григорьева первая строфа такова:Где теперь я, что теперь со мною,Как тебе мелькает тень моя? Я ль не всё закончила с землею,Не любила, не жила ли я?

[332] [Жалоба девушки,]

[333] Заключительные строки второй строфы в переводе В. Лялина:Все счастье земное изведала я:Жила я и в жизни любила!

ТРИ СМЕРТИ.

15 января 1858 г. Толстой выехал из Москвы вместе с гр. Александрой Андреевной Толстой. Проводив ее до Клина, он поехал в имение кж. Варвары Александровны Волконской, двоюродной сестры его матери.

Здесь, того же 15 января Толстой записывает в Дневнике: «Хорошо начал писать Смерть», – так первоначально назывался рассказ «Три смерти». Работа продолжалась 16 января. На следующий день она была прервана охотой, а 18 вечером Толстой «немного поправил» начатый рассказ.

19 января Толстой вернулся в Москву и прочел написанное брату Николаю Николаевичу. «Совет[ует] дерево оставить», – записывает Толстой в Дневнике в тот же день.

Мы полагаем, что Толстой читал брату именно единственную дошедшую до нас рукопись «Трех смертей» в ее первоначальном виде, и что совет брата относился лишь к замыслу ввести в рассказ «смерть» дерева. Этот замысел был аннотирован в третьей части рассказа соответствующей вставкой между строк (см. описание рукописи), развитой, конечно, устно после прочтения рассказа в первоначальном виде. «Смерть» дерева была, по нашему мнению, написана уже в Москве. За это говорит разница в чернилах, которыми написана последняя часть рассказа и текст предшествующих частей, а также заметка Дневника под 20 января: «Встал рано. Думал, передумывал *3 смерти* и написал «Дерево». Не вышло сразу».

21 января Толстой «думал и переписывал «дерево», т. е. всё ту же заключительную часть рассказа. 23 января он работал всё утро, «дописывал после обеда и прочел тетиньке с слезами». Под 24 января отмечен конец работы над рассказом. «Докончил Три смерти».

Во время пребывания в Петербурге, между 12 и 17 марта, Толстой с удовольствием встретился с А. В. Дружининым, редактором «Библиотеки для чтения», где впоследствии были напечатаны «Три смерти». «Видел Дружи[нина], его середу, все ничего. Д[ружинин] мил», – записано в Дневнике 12 марта.

Весьма вероятно, что при встрече с Дружининым был разговор о законченной Толстым вещи, и что он обещал ее в журнал Дружинина, но отдана ли была рукопись рассказа в это именно время, – сказать утвердительно нельзя за отсутствием данных.

Во время этого же посещения Петербурга Толстой, несомненно, беседовал о рассказе «Три смерти» с Л. А. Толстой. Мы полагаем, что во второй половине марта, только что вернувшись из Петербурга, именно об этой «вещице» писал Толстой своему другу, обещая прислать ее «на днях», как только она будет переписана.[334] Быть может, в это же время рассказ переписывался и для журнала.

Отметим, что А. А. Толстая читала «Три смерти» задолго до появления рассказа в печати и высказала о нем свое мнение автору. Каково оно было, а также каково было мнение самого Толстого, мы узнаем из письма его от 1 мая 1858 г.[335]

По мнению Л. Н. Толстого, его корреспондентка напрасно смотрит на рассказ с христианской точки зрения.

«Моя мысль, – продолжает он, – была: три существа умерли – барыня, мужик и дерево. – Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью. Христианство, как она его понимает, не решает для нее вопроса жизни и смерти. Зачем умирать, когда хочется жить? В обещания будущие христианства она верит воображением и умом, а всё существо ее становится на дыбы, и другаго успокоенья (кроме ложно-христианского) нету, – а место

---

[334] «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857—1903». Издание Общества Толстовского музея (Спб. 1911), стр. 95.

[335] Там же, стр. 101—102.

занято. Она гадка и жалка. Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия – природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза. «Une brute»,[336] вы говорите, да чем же дурно une brute? Une brute есть счастье и красота, гармония со всем миром, а не такой разлад, как у барыни. Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво, – потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет. – Вот моя мысль, с которой вы, разумеется, не согласны, но которую оспоривать нельзя, – это есть и в моей душе, и в вашей. Что выражена эта мысль скверно, в этом я с вами согласен. Иначе бы вы с вашим тонким чувством поняли бы, и я бы не писал этого объяснения, которое еще, боюсь, рассердит вас и заставит махнуть на меня рукой».

«Три смерти» были напечатаны в № 1 «Библиотеки для чтения» 1859 г. за подписью: «Граф Л. Толстой». Этот журнальный текст взят и для настоящего издания, с одним исправлением. Вместо «Ширкинская больная» (стр. 58, строки 3-4 сн.) в «Б. для Чт.» стоит «Шаркинская больная». Берем первое написание, употребленное один раз выше и подтверждаемое рукописью.

Автограф рассказа «Три смерти» хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина (*П. VI)* и заключает 12 лл., в виде согнутых пополам полулистов сероватой писчей бумаги. Первые 3 полулиста (6 лл. рукописи) вложены друг в друга. На лл. 1, 3, 5, 7, 9 и 11 – клеймо, слабо оттиснутое и неразборчивое, но позволяющее утверждать, что бумага русская. На л. 1 карандашная надпись неизвестной рукой: Три смерти. На лл. 2 и 3 – то же заглавие, но сделанное чернилами и рукой С. А. Толстой. Лл. 1 об., 2 об., 3 об., 11 и 12 – чистые. Л. 10, кончая тремя с небольшим строками оборота, занят перечеркнутым отрывком из «Казаков» (Начало: «Ты думаешь, что нынче это казаки». Конец: «Безъ его приказа бывало за звѣремъ и не ходи»). Небольшие поля слева. Авторской пагинации нет. Чернила черные, слегка выцветшие, за исключением указанного ниже места. На полях л. 3 сделан чернилами набросок женской головы.

Рассказ сохранился в рукописи не целиком. Он обрывается на словах: «Но и лучи[337] свѣтлѣе еще счастливѣе освѣтили молодыя и сосѣднія деревья[338] вѣтеръ еще». Не хватает, видимо, немногих заключительных слов.

Обозначения глав нет, а для расчленения рассказа на части служат строки многоточий.

Первое разделительное многоточие перед словами: «Карета была заложена, но ямщикъ мѣшкалъ». Второе – перед словами: «Въ городѣ, въ большомъ домѣ, у дверей комнаты больной, стоялъ мужъ и пожилая женщина». Третье – перед словами: «Пришла весна, пронесло рѣки и смыло снѣгъ со всего лица земли, и съ могилы Федора, и съ часовни барыни». В середине первого разделительного многоточия поставлена карандашом, неизвестной рукой и очень бледно, римская цифра II.

Значительное число поправок, зачеркиваний, вставок над зачеркнутым и между строками, иногда имеющих характер аннотаций или конспекта дальнейших добавлений.

Считаем необходимым отметить следующие из таких мест.

На л. 7 об., между последней строкой второй части рассказа, с крестиком справа, как будто указывающим на вставку, и строкой разделительного многоточия вписано: «Ямщикъ остался. О чемъ онъ думалъ, Богъ его знаетъ перебиралъ [?] [*1 неразобр.*]» На л. 8, в третьей части рассказа, против места, начинающегося со слов: «Больная встрѣтила ее свѣтлымъ взгля-

---

[336] [«Скотина»,]

[337] *Зачеркнуто:* и вѣтеръ

[338] *В подлиннике описка:* деревни.

домъ» и кончающегося словами: «изъ залы съ крикомъ вбѣжала дѣвочка», написано на полях, вдоль, в две строки:

«Слишкомъ высоко христіянке [?]
Я прощаю мужу, онъ сдѣлалъ то-то и то-то».

Первая фраза написана бледно-черными чернилами, резко отличающимися от чернил основного текста. Между фразами проведена черта, быть может, отчеркивающая нужное место текста или, что тоже возможно, подчеркивающая первую фразу. На л. 8 об., в той же части рассказа, после слов: «На другой день больная уже была тѣло», вписано между строк: «Мужикъ въ полѣ рубилъ дерево и т. д.» Чернила этой междустрочной вставки такие же, какими написана четвертая и последняя часть рассказа, – середина л. 9 об. и л. 10 об., после конца отрывка из «Казаков».

Четыре части, на которые делится рассказ в рукописи, в общем соответствуют по содержанию четырем главам печатного текста. Но есть и различия, обусловленные между прочим тем, что первоначально рассказ был задуман без «смерти» дерева и в трех главах.

Первая часть рукописного текста очень близка к первой главе печатного, но заканчивается словами: «Слезы лились сильнѣе». Дальнейший текст (со слов: «Она долго и горячо молилась») в рукописи отсутствует.

Вторая часть имеет некоторые существенные отличия от второй главы печатного текста. После упоминания о лежащем на печи больном идет отсутствующий в печатном тексте рассказ о прошлом Федора и его болезни (см. вариант № 1). Конца главы, после отъезда кареты с господами, в рукописи нет. Глава заканчивается аннотацией-конспектом, указанным в описании рукописи.

Третья часть начинается прямо с того, что происходит перед комнатой больной, а описания весны, начинающего третью главу печатного текста, нет. Отсутствует эпизодическая фигура матери. После слов: «На другой день больная уже была тѣло» идет сцена между мужем и кузиной, выпущенная в окончательной редакции рассказа (см. вариант № 2). После этого в рукописи картина покойницы-барыни в гробу, чтение над ней псалтыря дьячком, а непосредственно за этим – текст, очень близкий к концу второй главы в печатном виде (разговор Федора с Настасьей, ее рассказ о виденном сне и т. д.). Эти сцены, в барском доме и на станции, Толстой имел в виду переставить при окончательной отделке рассказа: они оскоблены на полях, и перед скобками стоят цыфры 1 и 2. Конец третьей части в рукописи (см. вариант № 3) является несомненно заключительными строками рассказа в его первоначальном виде, до введения в него «смерти» дерева.

В четвертой части рукописного текста нет разговора Сереги с Настасьей, начинающего четвертую главу в печатной редакции рассказа. Вся часть занята исключительно описанием весны и рубки дерева, причем обе картины в деталях разнятся от печатного текста.

–

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ.

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ.

По словам самого Л. Н. Толстого, в основу художественного замысла, воплощенного в «Семейном счастии», легла история его отношений к Валерии Владимировне Арсеньевой, в первом браке Талызиной, во втором – Волковой. В письме к П. И. Бирюкову от 27 ноября 1903 г. Толстой сообщал: «Потом главное, наиболее серьезное – это была Арсеньева Валерия. Она теперь жива, за Волковым была, живет в Париже. Я был почти женихом («Семейное счастье»), и есть целые пачки моих писем к ней».[339]

На основании этих писем П. И. Бирюков, в III изд. I т. биографии Л. Н. Толстого (М., 1923), дал отдельную главу под заглавием «Роман» (стр. 138—160). На основании тех же материалов говорят об отношениях Толстого к Арсеньевой Н. Н. Гусев в книге «Толстой в молодости» (М., 1927, стр. 254—268) и В. А. Жданов в работе «Любовь в жизни Льва Толстого» (М., 1928, кн. первая, стр. 38—45). П. И. Бирюков и Н. Н. Гусев упоминают и о том, как «роман» Толстого отразился в «Семейном счастии». Этому же вопросу посвящена работа П. Павлова, напечатанная в «The Slavonic review» (Vol. VII, 1929, January), «Tolstoy's Novel *Family Happiness*».[340]

Трудно точно определить, когда у Толстого зародился замысел «Семейного счастия». Быть может, о нем говорит запись в Дневнике 16 августа 1857 г.: «Любовь. Думаю о таком романе».

Точно так же нет определенных данных и для установления того, когда именно Толстой приступил к работе над романом.

П. И. Бирюков полагает, что Толстой начал писать «Семейное счастие» уже окончательно пережив и «отжив» всё, связанное с его отношениями к В. В. Арсеньевой, – другими словами, в то приблизительно время, когда стала возможной запись в дневнике под 30 октября 1858 г.: «Видел Валерию, даже не жалко чувства».

П. Павлов, в упомянутой выше работе, настаивает на связи двух романов: одного – писавшегося и другого – одновременно с первым – «изживавшегося в воспоминаниях», и считает, что к концу апреля 1858 г. значительная часть романа была уже написана. «Посетив опустевшее Судаково (имение Арсеньевых), – пишет П. Павлов, – Толстой занес в своем дневнике: «Вчера ездил в Судаково… Грустны Судак[овские] перемены, но я не жалею». И тут же о «Семейном счастии»: «В романе дошел до 2-й части, но так запутанно, что надо начинать всё сначала или писать 2-ю часть».

Но суммарная запись Дневника под 27, 28, 29, 30 апреля едва ли позволяет без всяких колебаний считать упомянутый в ней роман «Семейным счастием». Во-первых, слова о «Судаковских переменах» отделены от упоминания о 2-й части романа довольно длинным рядом записей совершенно другого содержания, а во-вторых, что самое главное, – этому упоминанию непосредственно предшествует следующее: «Перечитывал вчера кавказский дневник. Напрасно я воображал, что я такой милый там мальчик, напротив, а всё таки, как прошедшее, очень хорошо. – Много напомнило для кавказ[ского] романа». – Взятая в таком контексте заключительная фраза записи говорит скорее о «Казаках», чем о «Семейном счастии».

В итоге мы не имеем вполне точных данных, позволяющих определить начало работы Толстого над «Семейным счастием». 29 января 1859 г. Некрасов писал Толстому, разумея

---

[339] *По подлиннику.*

[340] «Славянское обозрение» (т. VII, 1929, январь), «Роман Толстого «Семейное счастие».

«Семейное счастие»: «Тургенев мне сегодня сказал, что Вы окончили ваш роман. Я прошу его у Вас для Современника и предлагаю Вам назначить, какие Вам угодно, денежные условия. Полагаю, что в этом отношении мы сойдемся выгоднейшим для Вас образом».[341] Эти строки Некрасова были пересланы Толстому через Тургенева, писавшего ему 2 февраля 1859 г.: «… прилагаю записку от Некрасова, из которой Вы увидите, что он намерен засыпать Вас золотом. – Мне сказал какой-то москвич, что роман Ваш готов – и я ему повторил это».[342]

16 февраля, после большого перерыва (предыдущая запись – 1 января) Толстой отмечает в Дневнике: «Всё это время работал над романом и много успел, хотя не на бумаге. Всё переменил. Поэма. Я очень доволен тем, что в голове. Фабула вся неизменно готова». «Работаю», отмечает он в тот же день.

К марту роман, в 1 редакции, был закончен и, во время пребывания Толстого в Петербурге, был прочтен автором в кружке его родственницы, гр. А. А. Толстой.

Первоначальным очерком этой редакции мы считаем рукопись 1 (автограф), а рукопись 3 (автограф) дает две последние главы романа в том виде, в каком они были после окончания работы над I редакцией. У А. А. Толстой роман читался, вероятно, по копии. Остатком этой копии или другой, ей современной, является рукопись 2 (копия).

По возвращении из Петербурга Толстой пишет своей родственнице – (письмо не датировано): «Брата и сестру я один день не застал здесь, и чувствовал бы себя одиноким, ежели бы не работа, которой я отдаюсь часов по 8 в сутки. *Анна* переделывает свои записки, и я надеюсь, что ее бабушка будет ими более довольна, чем в первом, безобразном виде.[343] *Анной* Толстой называет здесь, несомненно, «Семейное счастие», хотя нет никаких данных, позволяющих утверждать, что героиня романа носила это имя. Возможно лишь предположение, что А. А. Толстая посоветовала изменить имя героини, называвшейся, как увидим ниже, первоначально Лизой, и рекомендовала назвать ее Анной. Толстой переименовал героиню в Машу, а *Анна* могла остаться, в переписке с А. А. Толстой и в Дневнике, условным именем главного действующего лица или условным же заглавием романа.

5 апреля Толстой извещал свою родственницу, что «работу кончил»,[344] а 9 апреля ретроспективная запись Дневника, сделанная опять после большого перерыва (предшествующая запись – 19 февраля), говорит: «Работал, кончил Анну, но нехорошо».

Здесь идет речь о II редакции романа, не полностью сохранившейся в рукописи 4 (автограф и – в незначительной части – копия).

Отношение Толстого к оконченному им произведению на первых порах резко колеблется, чтобы затем остановиться на очень низком уровне. Только что высказанное недовольство сначала уступает место другому чувству. Роман во II редакции прочитан В. П. Боткину, и последний, несколько позднее, напоминает автору, какого «высочайшего мнения» был он о своем произведении, как пенял приятелю, что он «продешевил», будучи посредником по передаче «Семейного счастия» в «Русский вестник» Каткова.[345] А когда роман был уже, очевидно, в портфеле редакции, Толстой подумывает о печатании его под псевдонимом, – конечно, для того, чтобы не уронить своей репутации.[346] 3 мая Толстой записывает в Дневнике: «Получил С[емейное] с[частие]. Это постыдная мерзость». Как видно из письма к Боткину от того же 3 мая, в этот день получены были корректуры второй части романа. «Я увидал, – пишет Толстой, – какое постыдное говно, пятно, нетолько авторское, но человеческое – это мерзкое сочи-

[341] Альманах «Круг», кн. 6, стр. 219.

[342] «Толстой и Тургенев. Переписка». Редакция и примечания А. Е. Грузинского и М. А. Цявловского. М. 1928, стр. 51. Даем текст по подлиннику.

[343] «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 116.

[344] Там же, стр. 121.

[345] Письмо В. П. Боткина, Москва, 6 мая 1859 г. «Толстой. Памятники творчества и жизни». 4.

[346] Там же, стр. 66—67, письмо Толстого к Боткину, Ясная Поляна, 3 мая 1859 г.

нение… Я теперь похоронен и как писатель и как человек. Это положительно. Тем более, что 1-я часть еще хуже. Пожалуйста, ни слова утешенья не пишите мне, а ежели вы сочувствуете моему горю и хотите быть другом, то уговорите Каткова не печатать эту 2-ю часть; а получить с меня обратно деньги, или считать за мной до осени». Он с неописуемым отвращением поправил корректуры и просит Боткина тоже просмотреть их и исправить, что можно. Самому ему «хочется всё перекрестить». Конец романа не прислан ему, да «и не нужно присылать его. Это мука видеть, читать и вспоминать об этом».[347] Одновременно с этим письмом Боткину Толстым были посланы корректуры Каткову и письмо А. А. Толстой. Последней он писал: «Еще горе у меня. Моя «Анна», как я приехал в деревню, и перечел ее, оказалась такая постыдная гадость, что я не могу опомниться от сраму, и, кажется, больше никогда писать не буду. А она уж напечатана. И в этом не утешайте меня. Я знаю, что я знаю».[348]

Боткин отозвался на письмо Толстого немедленно по его получении, 6 мая.

Он понимает негодование Толстого, «но что ж делать! Дело сделано и поправить его нечем». Он напоминает свой отзыв о романе, сделанный непосредственно после того, как он познакомился с ним в чтении автора. Тогда он сказал, что «всё это исполнено какого-то холодного блеска и ничто не трогает ни мысли, ни чувства». Боткин и теперь держится такого же мнения. Толстой напрасно осуждает язык: язык отличный, и его именно разумел Боткин под словом «блеск». Неудача вызвана не языком, а «неясностью первоначальной мысли», «напряженным пуританизмом в воззрении». Толстой от прежнего «высочайшего мнения» о романе перешел к резко противоположному. По мнению Боткина, он был неправ тогда, неправ и теперь: «Несмотря на его противный пуританизм, – в рассказе постоянно чувствуется присутствие большого таланта». Боткин обещает просмотреть корректуры «с величайшим вниманием и озлоблением».[349]

11 мая Толстой благодарит Боткина за его «твердую откровенность». «Поверите ли, – продолжает он, – как вспомню только содержание милой повести или читая найду что-нибудь напоминающее, краснею и вскрикиваю». Одна из причин, почему он теперь едва ли приедет в Москву, – стыд, вызванный появлением «Семейного счастия».[350]

Тем временем Боткин «с самым озлобленным вниманием» читал корректуру второй части романа, и результат получился совершенно им неожиданный: вторая часть не только ему понравилась, но он находит ее «прекрасною почти во всех отношениях». Конечно, роман требовал большей обработки и не такого «проглоченного» конца, но даже и в настоящем виде это «прекрасная вещь, исполненная серьезного и глубокомысленного таланта», и Боткин позволил себе сделать «только два маленькие выпуска, которые напрасно растягивали рассказ, не прибавляя к нему ничего существенного». Не полагаясь на себя одного, Боткин советовался с Катковым. Последний, совсем еще не зная второй части романа, но основываясь на отзыве о ней самого Толстого, готов был не печатать ее, но предоставил окончательное решение Боткину. «Прочтя всё внимательно, – пишет Боткин, – я решился поступить против Вашего желания, ибо, по моему мнению, эта 2-я ч. прекрасна и должна быть напечатана. В последней фразе я сделал маленькую перемену, вычеркнув слово «роман», которым она характеризует вторую половину, семейную и материальную своей жизни, ибо слово «роман» не идет к таким отношениям».[351]

До нас не дошли ни окончательная рукопись, по которой «Семейное счастие» набиралось, ни корректуры, для 1-й ч. романа, правленные Толстым, а для 2-й – и Толстым и Бот-

---

[347] Там же. Из письма не ясно, что̀ не было прислано: оригинал или корректуры, или то и другое.

[348] «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 133.

[349] «Толстой. Памятники творчества и жизни». 4, стр. 70—71.

[350] Там же, стр. 73.

[351] Там же, стр. 74—75.

киным. Мы не знаем доли участия Боткина в исправлении 2-й части «Семейного счастия». Быть может, в конце концов, он отказался от намерения сделать «выпуски», как отказался от намерения вычеркнуть слово «роман»: в журнальном тексте оно стоит на своем месте.

«Семейное счастие» было напечатано, за подписью «Граф Л. Толстой», в 1 и 2 апрельских книжках «Русского вестника» за 1859 г. Роман разделен на две части, по одной в каждой книжке журнала, причем вторая часть не имеет самостоятельной нумерации глав, а начинается с VI главы. Такое же обозначение глав сохранено в изд. Стелловского (1864 г.). Отдельная нумерация глав 2 части впервые появилась в III изд. сочинений (1873 г.).

Что касается самого текста романа, то изд. Стелловского, III и IV изд. сочинений повторяют журнальный текст с некоторыми незначительными и, несомненно, случайными отменами преимущественно в пунктуации. Начиная с V изд. (1886 г.) встречаются немногочисленные изменения более серьезного характера.

Настоящее издание дает журнальный текст с следующими конъектурами (в пояснениях к ним текст журнала сокращенно обозначается *Р. В.*, а рукописи 1 и 4 – ркп. № 1, ркп. № 4).

Стр. 76, строка 16 св.

Вместо: не по-вечернему, – *в Р. В.:* не повчерашнему. *Последнее написание считаем за опечатку и исправляем. В ркп. № 4 и VIII изд. соч.:* не по-вечернему, – *в изд. ГИЗа (1928 г.):* не по-вечорашнему, – *в остальных собр. соч.:* не по-вчерашнему.

Стр. 79, строка 19 св.

Вместо: убивать скуку, – *в Р. В.:* убавить скуку. *Последнее написание считаем за опечатку и исправляем. В ркп. № 1 и 4:* убивать скуку.

Стр. 80, строка 6 св.

Вместо: приходило – *в Р. В.:* проходило. *Считаем последнее написание опечаткой и исправляем*. Приходило *впервые появляется в V изд. сочин.*

Стр. 81, строка 6 сн.

Вместо: выделялись – *в ркп. № 4:* выделывались *Не решаемся счесть за опечатку и исправить.*

Стр. 87, строка 4 св.

Вместо: поскрипывали – *в Р. В.:* поскрипивали.

Стр. 102, строка 9 св.

Вместо: с свекровью, – *в Р. В., явно ошибочно:* с тещею,

Стр. 103, строка 15 сн.

Вместо: обсыхающее – *в Р. В.:* опыхающее *Так же в изд. соч. III, IV и ГИЗа (1928 г.), в остальных:* осыхающее. *В ркп*

№ 1 – обсыхающее, *в ркп № 4:* – обыхающее *(с пропуском «с»). Берем написание ркп № 1.*

Стр. 122, строка 15 сн.

Вместо: роскоши глупого общества; – *в Р. В.:* роскоши и глупого общества; *Последнее написание считаем опечаткой и даем текст, впервые появившийся в V изд. соч.*

Стр. 126, строка 13 сн.

Вместо: хотя через два часа – *в Р. В.:* хотя и через два часа

Последнее написание считаем опечаткой и даем текст, впервые появившийся в III изд. соч.

Следует отметить также, что мы лишь в самых необходимых случаях воспроизводим ударения над *что*, которыми пестрит журнальный текст. Рукописи не дают оснований для такого количества ударяемых *что*, и последние, как показывает просмотр других текстов *Р. В.,* являются особенностью Катковского журнала. На тех же основаниях не воспроизводятся ударения над *как*, в словах *стоит*, *замок* и написание *сериозно.* Разночтения журнального текста сохранены: *никольский дом – Никольский дом; покровский дом – Покровский дом*; *самою – самое; скрып – скрипящий.*

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ «СЕМЕЙНОГО СЧАСТИЯ».

Четыре рукописи, относящиеся к работе над «Семейным счастием», хранятся в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина.

1. (Папка III.) Автограф, состоящий ив 27 лл. довольно плотной сероватой писчей бумаги размером в лист. Водяных знаков нет. Клеймо фабрики Маршева. Лл. 1 и 27 служат обложкой для остальных. Л. 1 сверху оборван приблизительно на треть. На нем карандашная надпись рукой С. А. Толстой: «К Семейному Счастью». Л. 1. об. чистый. Текст начинается с л. 2, без заглавия, прямо с обозначения – «Глава I». Небольшие поля слева. Чернила черные, выцветшие. Авторской пагинации нет. Многочисленные поправки, вычеркивания, перечеркивания, вставки на полях и между строками сделаны другими, более густыми чернилами. Ряд аннотаций.

Текст рукописи неполный: из девяти глав романа он дает семь целиком и конспективное изложение двух последующих глав, объединенных в одну. Разделения на две части нет.

Из этой рукописи даны варианты №№ 1—8.

2. *(П. III.)* Копия. 4 лл. в виде двух перегнутых пополам полулистов серой писчей бумаги. Водяных знаков нет. Клеймо фабрики Новикова. Чернила черные. Поля в полстраницы. Почерк конторский, с завитушками.

Текст дает не совсем грамотную копию начала I гл. романа в редакции описанного выше автографа и кончается словами: «задала ей урокъ собрала свои давно»

3. *(П. III.)* Автограф, состоящий из 12 лл. в виде шести перегнутых пополам полулистов такой же писчей бумаги, как в только что описанной копии. Л. 12 об. чистый. На лл. 1—6 поля справа, приблизительно с треть листа, на л. 7 – значительно уже, лл. 8 и 9 без полей, на лл. 10—12 небольшие поля слева. Чернила черные, выцветшие. Авторской пагинации нет. Довольно много вычеркиваний, исправлений и вставок.

Рукопись дает полностью VIII—IX главы.

4. *(П. III.)* Автограф и – в незначительной части – копия в виде переплетенной тетради размером в четверть листа. Коричневый коленкоровый переплет слегка попорчен в верхнем правом углу передней крышки. На внутренней стороне задней крышки наклеена этикетка «Jules Osberg et Cie. Pont des Maréchaux, maison Tatisheff. Moscou».[352] В рукописи 57 лл. русской слегка сероватой писчей бумаги. Водяных знаков нет. Овальное клеймо с большими буквами Б. А. Лл. 49, 51—55 вырваны и вложены в тетрадь. Лл. 54—57 чистые. Авторской пагинации нет. Поля справа в поллиста. Чернила черные. Лл. 1—47, часть л. 47 об., 48—50 и 53 – автограф. Десять строк в конце л. 47 об., лл. 51 и 52 писаны неизвестной рукой, очень старательно, местами с характерно писарскими завитушками. На 1 л., над обозначением I гл., заглавие: *Семейное счастие.*

В отношении вычеркиваний, вставок на полях и между строками, перечеркиваний и всякого рода исправлений рукопись резко делится на две части. Во второй части, начиная с гл. VI (л. 43 об.), количество исправлений гораздо больше, чем в первой. Местами первоначальный текст весь перечеркнут, и новый занимает все поля. На протяжении всей рукописи на полях часто встречаются вопросительные знаки, поставленные красным карандашом. Тем же карандашом вычеркнуто несколько слов и отчеркнуты некоторые места. Почти все вопросительные знаки стоят около строк, где речь идет о гувернантке Кате. Ряд аннотаций на полях и по тексту.

Рукопись дает не весь текст романа. Лл. 1—47 охватывают полностью первые пять глав и часть шестой. Дольше ряд пропусков. Нет почти всей второй половины VI гл., начала и конца VII, самого начала VIII и конца IX гл. Последние слова рукописи (л. 53 об.): «Мы жили каждый

[352] [Юлий Осберг и К°. Кузнецкий Мост, дом Татищева. Москва.]

порознь, онъ съ своими занятіями, въ которыхъ мнѣ и не хотѣлось, и не нужно было теперь участвовать съ нимъ, я съ своей праздностью, которая не оскорбляла, не безпокоила его».

Разделения романа на две части нет.

Из этой рукописи даны варианты №№ 9 и 10.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ «СЕМЕЙНОГО СЧАСТИЯ» ПО РУКОПИСЯМ И ПО ПЕЧАТНОМУ ТЕКСТУ РОМАНА.

Рукописи 1, 2 и 3, относящиеся к первой редакции романа, отличаются по содержанию от журнального его текста прежде всего тем, что в них почти совершенно отсутствует образ матери Сергея Михайлыча: она лишь дважды мельком упоминается, не названная по имени и отчеству, в начале I гл. и в зачеркнутом конце V гл. Другое отличие – иные имена у некоторых действующих лиц: героиня называется Елизавета Александровна, гувернантка – Маша, Марья Емельяновна; леди С. в нескольких случаях названа полным именем – леди Старфорс; Сергей Михайлыч иногда зовет Соню Навочкой – семейное ее прозвище.

Переходим к сравнению рукописей первой редакции и печатного текста по главам, причем для глав I—VII берем рукопись 1, для глав VIII—IX – рукопись 3, так как рукопись 1 дает эти главы лишь конспективно и в слитном виде.

Глава I. Четыре первых абзаца очень близки к печатному тексту. Затем идет отсутствующее в печатном тексте описание весеннего дня и радостного самочувствия героини, когда, спустившись в столовую, она узнала о предстоящем приезде опекуна (см. вариант № 1).

Конец абзаца, соответствующего седьмому абзацу печатного текста, зачеркнут:

Сергѣй Михайлычь мнѣ казался всегда хорошъ, добръ, веселъ; но какъ только я подумала объ немъ, какъ о мужѣ, онъ сдѣлался вдругъ ужасно дуренъ; старъ, чорнъ и даже непріятенъ и страшенъ. Мнѣ показалось, что онъ притворяется при насъ, а что дома онъ долженъ быть суровый и нехорошій дерзкой человѣкъ. – Тогда же я была въ первый разъ влюблена въ сына нашего музыкальнаго учителя. О бѣдный Карлуша, какъ я только вспомню живо, какъ я задыхалась отъ радости и волненья, какъ краснѣла до ушей, когда ты расшаркивался, входя къ намъ, какъ мнѣ становится смѣшно и грустно, грустно…

Описание игры Маши на фортепьяно в рукописи значительно короче:

В остальном I гл. очень незначительно разнится от печатного текста.

Глава II. В рукописи отсутствуют картина майского вечера (четвертый абзац печатного текста) и разговор о женитьбе между героиней, гувернанткой и опекуном.

В дальнейшем, после сцены отъезда С. М., II гл. в рукописи, помимо иного расположения материала, дает или более подробное развитие какой-нибудь частной темы, сделанное к тому же не в эпически-повествовательной форме с ее «холодным блеском», о котором говорил Боткин, а в виде живого диалога, или ряд мелких, нехарактерных подробностей. Таково, например, место, которое соответствует абзацу печатного текста, начинающемуся со слов: «Что также сначала не нравилось мне», или упоминание стихотворения Пушкина («Для берегов отчизны дальней»…) в абзаце, который и в рукописном, и в печатном тексте начинается со слов: «И ведь за что я получала тогда такіе награды», (см. вариант № 2). Благодаря иному расположению материала, II гл. в рукописи кончается только что упомянутым абзацем.

Глава III. В рукописи она начинается абзацем, отсутствующим в печатном тексте (см. вариант № 3).

После этого абзаца, кончая разговорами о вишнях, тексты рукописный и печатный очень близки.

В дальнейшем – значительные расхождения. По рукописному тексту к сараю идут только Лиза и Сергей Михайлыч; ключа им никто не приносит, и С. М. выламывает дверь; разговор

о том, кому легче любить, – мужчине или женщине, завязывается по поводу романа, который читают Лиза и Маша; С. М. рассказывает историю про учителя (первоначально про принцессу Никиту и принца Вавилу; см. варианты №№ 4—5).

В этой главе две аннотации, сделанные поперек текста. Первая (л. 9) – «Воспоминан[ія] разговоры» – сделана на том месте, где С. М. говорит, что не только женщина, но и мужчина не может говорить о своей любви. Вторая (л. 10 об.) – «Чтожъ онъ уѣзжаеть» – находится на том месте текста, где Лиза просит С. М., чтоб не было «этой глупой исторіи» – сказки.

Глава IV. Вместо первых пяти абзацев печатного текста идет то, что дано как вариант № 6. Обращает на себя внимание несколько раз переделанное, вычеркнутое, перечеркнутое и с большим трудом поддающееся восстановлению в первоначальном виде изображение мечтаний героини о будущей семейной жизни с С. М. (см. вариант № 7). В рукописи нет истории г-на А. и г-жи Б.: вместо нее С. М. досказывает историю про учителя, начало которой – в предыдущей главе.

В остальном рукописный текст близок к журнальному.

Глава V. В рукописи нет места, соответствующего первому абзацу печатного текста. Глава начинается так:

Черезъ 2 недѣли была назначена наша сватьба. Нечего и говорить, что всѣ въ домѣ, начиная отъ Сони и до старика Григорья, были въ восторгѣ отъ этой сватьбы. Онъ пріѣзжалъ все это время, каждый день, но какъ и прежде только по вечерамъ, рѣдко къ обѣду и никогда не оставался ночевать.

Разговор Лизы с С. М. (его начало – 5 абзац печатного текста) изложен в рукописи более сжато. После него – отсутствующая в печатном тексте сцена молебна и разговор о религии (см. вариант № 8). Описание венчанья еще короче, чем в печатном тексте, и сводится к словам:

Обряд совершился неторопливо, спокойно.

Рукопись заканчивает V гл. вычеркнутым описанием семейной жизни молодых супругов.

В самом начале этой главы, на полях л. 15, находится очень мелким почерком неразборчиво написанная и перечеркнутая аннотация: «Признанья, сватьба тихая. Я говоря о религіи глядя на него я молюсь. Наша первая ночь молитва. Богъ проститъ. Мнѣ показалось что я всего это [1 *неразобр.*] онъ нѣженъ, а міръ [?] былъ закрытъ. Ты права, отъ нѣжности. Въ Москву».

Глава VI. В рукописи нет описания семейной жизни Лизы и С. М. в доме его матери. Глава прямо начинается со слов: «Такъ прошло два мѣсяца.»

В остальном рукопись близка к печатному тексту.

На том месте VI гл., где говорится об отношении соседей к С. М. и об обедах супругов вдвоем (л. 20), имеется аннотация поперек текста: «Ребенокъ».

Глава VII. В рукописи нет первого абзаца печатного текста. Абзац второй и третий близки к печатному.

Начиная с абзаца четвертого и до слов, соответствующих в печатном тексте фразе: «А я видела, какъ ты что-то очень оживленно разговаривал с Н. Н…» – значительное расхождение. Оно обусловлено иной психологической установкой в характеристике отношений Лизы и С. М. в Петербурге. В то время, как печатный текст подчеркивает, что спокойствие С. М. здесь исчезло или не раздражало более Лизу, в рукописи читаем:

Я видѣла, что въ нашей городской жизни онъ устраивалъ себѣ ту же спокойную жизнь и тоже было въ немъ кроткое участіе и всепрощеніе ко всему и таже тихая твердая любовь ко мнѣ, составлявшая мое счастье – да, но заковывавшая и давившая меня. А мнѣ нужно было другое. – Не свѣта мнѣ нужно было, мнѣ такъ было хорошо, что я ничего не желала, и всѣ мечты мои о свѣтѣ давно разлетѣлись, но когда я вспоминаю теперь, мнѣ нужно было такой жизни, въ которой не онъ бы, а я была первая, мнѣ нужно было показать ему мою власть красоты и молодости, показать свою силу и потомъ отдать ее ему.

В дальнейшем рукописный текст близок к печатному, за исключением двух последних абзацев, которых нет в журнальном тексте:

На другой день мы встрѣтились съ нимъ за чаемъ спокойно холодно, и ничего не было сказано о вчерашнемъ.

Прошло 2 мѣсяца, дружелюбныя отношенія установились между нами, а рана не была излечена и продолжала сочиться. Вмѣсто того чтобы ѣхать въ деревню, онъ предложилъ остаться въ Петерб[ургѣ] на дачѣ, и я чувствовала, что онъ правъ, говоря, что намъ нехорошо будетъ нынѣшній годъ въ деревнѣ.

Глава VIII. Она начинается в рукописи с места, соответствующего четвертому абзацу печатного текста.

Характеристика общества, собравшегося в Бадене, сделана подробнее. Беседа француза и итальянца, случайно подслушанная Лизой, более подчеркнуто-груба. Речь француза в значительной ее части дана по-французски.

В конце этой главы, вверху л. 9, по середине, сделана в скобках аннотация: «(какъ онъ принялъ меня)». Она развита в виде довольно большой вставки, вписанной мелким почерком частью между строк, частью на чистом перерыве между VIII и IX гл. и очень близкой к концу VIII гл. в ее печатном виде.

Глава IX. Ее рукописная редакция отличается от печатной значительно большей сжатостью заключительного разговора между супругами и другой концовкой. Последняя не останавливает внимания читателя на будущей, «иначе счастливой жизни», которую героиня «еще не прожила въ настоящую минуту», а не отрывается от прошлого и заключает роман такими словами:

Да, прошло, невозвратимо прошло, сказалось мнѣ невольно, и мнѣ вдругъ легко стало. Что можетъ мнѣ дать теперь этотъ человѣкъ, и чего я желаю? этаго не будетъ. Да и было ли это когда-нибудь!

В этой главе имеются две аннотации, сделанные поперек текста и, судя по почерку, одновременно с аннотациями в рукописи 1. Одна находится в самом начале главы (л. 8): «что я жалѣла и страсть и его». Вторая написана почти через весь лист, на том месте основного текста, который дает картину игры на фортепьяно (л. 9 об.): «Темно я не вижу его и такъ какъ безъ него кажется что можно. Онъ говоритъ и кажется что ничего не было».

Рукопись 4, относящаяся ко второй редакции романа и сохранившая первую его часть целиком, а вторую (с гл. VI) лишь в отрывках, первыми пятью главами чрезвычайно близка к печатному тексту. Быть может, копия, сделанная для отправления в «Русский вестник», снималась, для первой части романа, именно с этой рукописи.

Начиная с гл. VI, эта рукопись, насколько можно судить по сохранившимся отрывкам, давала, в полном своем виде, больше бытовых подробностей при описании старой помещичьей жизни в доме матери С. М. и детальнее говорила о том, что внес в жизнь Лизы ребенок (см. варианты №№ 9 и 10).

И в этой рукописи ряд аннотаций.

На л. 45 об., за вторично поставленным (впервые на л. 43 об.) и зачеркнутым обозначением VI гл., поперек текста написано: «Я любила его и его прошедшее. О домѣ въ отнош[еніи] его. Его корни». В главе VI, против слов основного текста: «я играла, а онъ ходилъ по комнатѣ» (л. 47), на полях две заметки: «Музыка» и «разговоръ о каретѣ» и т. д. На л. 53, по тексту конца VIII гл., занимающему почти все поля, написано: «Я ужаснулась холодности къ ребенку».

Следует отметить, что рукопись 4 хранит особенно яркие следы живого языка Толстого, исчезнувшие в печатном тексте. Сюда мы относим следующие случаи. Ркп. – Григорья, Григорью; печатн. т. – Григорія, Григорію. Ркп. – полоскнулось полотно терасы; печатн. т. – полохнулось полотно террасы. Ркп. – свѣчей; печатн. т. – свѣчъ; Ркп. – панаѳида (дважды); печатн. т. – панихида. Ркп. – слаже, печатн. т. – слаще. Ркп. – дипломація, печатн. т. – дипломатія и т. д.

–

[НАЧАЛО ФАНТАСТИЧЕСКОГО РАССКАЗА.]

Время написания этого отрывка определяется записями Дневника. 16 июля 1856 г.: «Придумал фантастический рассказ», – 18 и 19 июля: «писал немного фантастический рассказ». Рукопись, автограф Толстого, занимает 2 листа писчей бумаги обыкновенного формата (всего 8 страниц); хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. (Папка XX, 10.) Сама рукопись не имеет никакого заглавия, но она вложена в обложку из полулиста писчей бумаги, на которой неизвестной рукой писарским почерком 50—60 гг. написано: «Начало фантастического рассказа». На некоторых страницах сверх текста набросаны отдельные фразы, представляющие собой как бы программу будущего развития рассказа, намеки, служащие для характеристики главного лица и т. п. Замысел фантастического рассказа был оставлен Толстым в самом начале его и не получил дальнейшего развития. Сохранившийся отрывок впервые печатается в настоящем издании.

–

ОТРЫВОК ДНЕВНИКА 1857 ГОДА.

В начале апреля 1857 года, после полуторамесячного пребывания в Париже, Толстой переехал в Швейцарию. Проведя две недели в Женеве, где в это время проживала его тетка, гр. А. А. Толстая, он поселился в Кларане, на северо-восточном берегу Женевского озера, в пансионе Кетерера, где жила в то время знакомая ему чета Пущиных: старик-декабрист Михаил Иванович Пущин и его супруга Марья Яковлевна. В ближайших окрестностях Кларана проживало еще несколько русских семейств, с которыми у Льва Николаевича завязались дружеские отношения (кн. Мещерские, Галаховы, Поливановы, Е. Н. Карамзина, М. А. Рябинин и др.). Живя в Кларане, Толстой работал над задуманными уже ранее литературными произведениями («Альберт», «Казаки»); вместе с тем он охотно совершал более или менее продолжительные прогулки по окрестностям, большей частью в компании с кем-либо из своих русских знакомых. 15/27 мая Пущины уехали из Кларана; собрались уезжать также и Мещерские; таким образом расстроился тот дружеский кружок, среди которого Толстой привык проводить свое время. Это обстоятельство, повидимому, побудило его предпринять более продолжительное путешествие в глубь Швейцарии, с целью лучшего ознакомления с краем и его населением. В качестве спутника Лев Николаевич взял с собою одиннадцати-летнего мальчика Сашу, из одного знакомого русского семейства (о нем см. примечание ниже), и вместе со своим молодым товарищем пустился налегке в путь, с дорожным ранцем за спиною, не имея, повидимому, вполне установленного плана и маршрута. Первоначально Толстой направлялся на Фрейбург, отчасти с целью послушать в местном соборе знаменитый церковный орган; но затем его соблазнила мысль посетить Бернский Оберланд, и он свернул в сторону Интерлакена. Все путешествие заняло полторы недели, с 27 мая по 6 июня (нов. ст.) и охватило довольно значительный круг местностей (Шато д'Ё, Интерлакен, Шейдек, Тун, Берн, Фрейбург). Часть пути, особенно в начале путешествия, была пройдена пешком, но затем, утомившись, путешественники пользовались, большею частью, экипажами, дилижансами или даже лодками (по озерам).

Во все время этого странствования, Толстой по обыкновению вел свой Дневник, в который он вкратце заносил свои путевые впечатления; но, очевидно, этих впечатлений накопилось так много, что он уже не захотел довольствоваться этими беглыми записями и решил изложить их в более пространной и литературно обработанной форме. Эта мысль явилась у него еще во время путешествия: 2 июня, будучи в Гриндельвальде, он заносит в своем Дневнике: «писал путешествие»; затем 7 июня, уже после возвращения в Кларан, он записывает: «утром писал славно дневник путешествия»; 9 июня: «после обеда писал дневник путешествия; написал много, листочков 9, но не кончил»; 10 июня: «написал листа 4 или больше Путевых Записок». На этом, однако, останавливаются записи Дневника, касающиеся работы над путевыми впечатлениями, вынесенными Толстым из его 10-дневного странствования. Очевидно, Толстой скоро охладел к этой работе, занятый другими художественными замыслами, и уже никогда более не возвращался к ней, оставив ее в том неотделанном и незаконченном виде, в котором он ее набросал в несколько приемов, под свежим впечатлением своих дорожных переживаний.

Путевые записки Толстого, которые он сам озаглавил в рукописи: «Отрывок дневника 1857 года», действительно, представляют собой расширенную, дополненную и литературно обработанную редакцию записей его обычного Дневника и обнимают два первые дня его пешеходного странствования, 15/27 и 16/28 мая. Для сравнения с первоначальным наброском и для выяснения той литературной обработки, которой Толстой подверг материал своих путевых впечатлений, мы считаем необходимым привести полностью отрывок из Дневника Толстого, содержащий изложение событий и впечатлений этих двух дней.

«*15—27 мая*. Встал в 8. Укладка. Приехали Галах[овы], Карамз[ина] и К. Проводил милейших П[ущиных]. Я их душевно люблю. М[арья] Я[ковлевна] готовность любви беско-

нечная. Пошел к Галах[овым] обедать, неловко и скучно было. Взял маленького Сашу и пошел до Avants. Славные места. Написал листок Поврежденного.

16—28. Встал в 4. Пошли через Jaman, приятная прогулка. Но маленькой надоедает мне. Пришли в Alières, мило-уютно. Chalet дикой. – Montbovon, смущала меня женехвестка. Католическая поэзия! Разложил книги, не писал. Грудь болит. Пошел до Chateau d'Oex, мельник целомудренный довез. Поток с камнями: не знаешь, где вода, где камни. Поехал до Gessenay. Черный сердящийся господин. Бюралист непомерной грубости».

«Отрывок дневника 1857 года» печатается впервые в настоящем издании, по собственноручной рукописи Толстого, написанной на 22 отдельных листках почтовой бумаги, белой и голубоватой, вероятно, заграничного производства, не имеющей ни водяных знаков, ни каких-либо других отличительных признаков; листки перенумерованы самим автором. Рукопись черновая, со многими помарками и вставками отдельных слов и целых фраз, вписанных между строк и сбоку на небольших оставленных полях; несмотря на эти вставки и исправления, рукопись написана довольно разборчиво и читается без особых затруднений; хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. *(Папка XVI 11.)*

В виду того что некоторые упоминания и намеки, встречающиеся в тексте печатаемого отрывка, могут оказаться недостаточно понятными для читателей, мы сочли необходимым дать к ним несколько пояснительных примечаний.

Стр. 192, строка 3 св.

«Соотечественники и сожители» в Кларанском пансионе Кетерера – это супруги Пущины; старик-декабрист Михаил Иванович (1800—1869) и Марья Яковлевна, урожденная Подкользина. М. И. Пущин был братом известного декабриста Ивана Ивановича Пущина, лицейского товарища и друга Пушкина. Будучи капитаном лейб-гвардии Саперного батальона, он был привлечен к дознанию по делу 14 декабря и по постановлению Следственной Комиссии лишен дворянства, чинов и орденов, разжалован в рядовые и послан в один из сибирских полков; однако вскоре он был переведен на службу на Кавказ, где ему удалось во время Турецкой кампании 1828—29 гг. выдвинуться, благодаря своей храбрости и военным познаниям. Тяжело раненый при штурме Ахалцыка, он был в ноябре 1828 года произведен в прапорщики. В 1831 году он вышел в отставку в чине поручика и перешел на гражданскую службу. – Толстой познакомился с Пущиными в Женеве и затем поселился вместе с ними в одном пансионе в Кларане. Он очень привязался к ним, постоянно видался с ними, совершал вместе довольно далекие прогулки по живописным окрестностям Кларана и охотно слушал рассказы и воспоминания Пущина о старине. В своем Дневнике и письмах к близким лицам Толстой отзывался о Пущиных, как о людях чрезвычайно милых и симпатичных; так в письме к П. В. Анненкову от 22 апреля 1857 г. он писал между прочим: «Пущин – прелестный и добродушный человек. Они с женой здесь трогательно милы, и я ужасно рад их соседству». Поэтому разлука с ними искренно огорчила его, как это видно из его записок.

Стр. 192, строка 4 сн.

Толстой нигде, ни в своем Дневнике, ни в путевых записках не называет фамилии одиннадцатилетнего мальчика Саши, которого он взял с собой, отправляясь в пешеходную прогулку по Швейцарии. Круг знакомых русских семейств, среди которых вращался Толстой во время своего пребывания в Кларане, был очень ограничен, и мы знаем их всех по его упоминаниям в Дневнике: это – Мещерские, Галаховы и Поливановы. Относительно первых двух семейств мы можем определенно сказать, что в составе их не было мальчика этого возраста и этого имени; остается, следовательно, семья Поливановых. Среди лиц, отъезжающих за границу, список которых в те времена ежедневно печатался в газетах, действительно, в «Северной Пчеле» от 22 января 1857 года значится: «тит. сов. Поливанов с супругою и малолетними детьми». С другой стороны, в росписи дворян Поливановых мы встречаем Константина Александровича Поливанова (1816—1858), служившего с 1836 года в Ингерманландском гусарском полку, в

1846 году вышедшего в отставку по болезни и служившего впоследствии Тарусским уездным предводителем дворянства. Он был женат на Александре Романовне Любимовой (1825—1865) и имел несколько детей, из которых старший сын Александр родился 19 августа 1845 года; таким образом в мае 1857 года последнему было 11 лет, т. е. он был именно в том возрасте, как и мальчик Саша, спутник Толстого по Швейцарии. Мы к сожалению не имеем данных для доказательства тождества этих двух лиц, однако же предположение это является весьма правдоподобным. Впоследствии вышеуказанный Александр Константинович Поливанов служил в лейб-гвардии Конном полку и с 1873 года состоял в отставке; женат он был на Марье Константиновне Тарновской (А. В. Селиванов. Род дворян Поливановых. Владимир. 1902. Стр. 48).

Стр. 193, строка 9 св.

«Русские барышни с только что приехавшей из России матерью» – Галаховы, которых Толстой неоднократно упоминает в своем Дневнике и которые жили в Монтре, в $1^1/_2$ километрах от Кларана. Возможно, что это семья Петербургского обер-полицмейстера генерал-адъютанта Александра Павловича Галахова, который в «Северной Пчеле» от 20 апреля 1857 года назван в числе лиц, отъезжающих за границу, вместе со своей супругой Софьей Петровной, урожденной Мятлевой, сестрой поэта Мятлева. У них были две дочери: Софья Александровна, бывшая впоследствии за бароном Карлом Карловичем Притвицем, и Надежда Александровна, бывшая с 1865 г. за Иваном Александровичем Половцевым (Руммель и Голубцов. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Том I, СПБ, 1886, стр. 179—180).

Стр. 193, строка 11 св.

«Русские из Basset» – семья Мещерских, с которыми Толстой познакомился во время своего пребывания в Кларане. Она состояла из кн. Петра Николаевича Мещерского (1802—1876), женатого вторым браком на Екатерине Николаевне Карамзиной (1805—1867), старшей дочери историографа, их дочери Екатерины Петровны (18..—1879) и одного из старших сыновей: Николая или Александра Петровичей, которого Толстой называет в дневнике «маленьким Мещерским», хотя Николаю в это время было 28 лет (р. 1929), а Александру 20 лет (р. 1837). К этой же семье принадлежал и известный писатель-публицист реакционного направления кн. Владимир Петрович Мещерский (1839—1914), однако, в данное время его не было с родителями. С Мещерскими жила и сестра Екатерины Николаевны, Елизавета Николаевна Карамзина (1821—1891), младшая дочь историографа. Хотя Толстой часто бывал у Мещерских и проводил у них свои вечера, однако особенной близости между ними не установилось; этому препятствовала резкая разница в их взглядах и симпатиях, так как Мещерские придерживались узко-консервативных убеждений: «озлобленные консерваторы», как их характеризует Толстой в одной из записей своего Дневника.

Стр. 193, строка 24 св.

Старый прусский генерал, проживавший в пансионе Кетерера, несколько раз упоминается в дневнике Толстого, но он ни разу не называет его фамилии.

Стр. 104, строка 4 св.

«Воспетый островок, выдуманно, но всё-таки прекрасно торчащий против Вильнёва» – это небольшой островок – Île de Peilz, с несколькими растущими на нем тополями, лежащий против Вильнёва, у впадения Роны в Женевское озеро. О нем упоминает Руссо в «Новой Элоизе» и Байрон в «Шильонском узнике»:

И я приметил островок
Прекрасен, свеж, но одинок
В пространстве был он голубом;
Цвели три дерева на нем;
И горный воздух веял там
По мураве и по цветам,

И воды были там живей,
И обвивалися нежней
Кругом родных брегов оне…

(«Шильонский узник», перевод Жуковского, XIII.)

Стр. 197, строка 15 сн.

По дороге между Монтрё и Аванами, вдоль склонов Mont Cubli, встречаются сплошные поля нарцисов, в особенности около деревни Chamby; в мае в Монтрё до сих пор справляется весенний «праздник нарцисов» (la Fête des narcisses).

Стр. 198, строка 8 св.

Дом Риги – вероятно, гостиница на горе Rigi Vaudais, о которой Толстой упоминает несколько раньше, как об обычной цели прогулок живущих в пансионах англичанок и немок.

Стр. 205, строка 12 св.

«Это был кантон Фрейбурга» – Толстой упоминает об этом для того, чтобы отметить, что с переходом из Водского кантона (canton de Vaud), принадлежащего к числу французских кантонов Швейцарии, во Фрейбургский кантон, они вступили в область немецкой Швейцарии, с населением, говорящим преимущественно по-немецки.

Стр. 206, строка 13 св.

«Виноградники Côte» – La Côte (берег) называется часть северо-западного побережья Женевского озера около города Роль (Rolle), вдоль южного склона Швейцарской Юры; здесь по склонам прибрежных холмов, в местности, защищенной от северных ветров, расположены виноградники, дающие лучшее швейцарское белое вино.

Стр. 207, строка 5 св.

Фрибурский или Фрейбургский кантон принадлежит к числу католических кантонов Швейцарии; Толстой отмечает характерные черты католического края, отличающие его от только что оставленного им Водского кантона с протестантским населением.

Стр. 207, строка 22 св.

История Женевьевы, оставленной в лесу и вскормленной ланью – очень популярная в Западной Европе средневековая легенда, известная с XIII века, о Женевьеве Брабантской, супруге графа Тревского, которую отвергнутый ею поклонник сумел обвинить перед мужем в неверности, за что последний приказал ее умертвить; однако человек, которому было поручено это убийство, тронутый состраданием, ограничился тем, что завел Женевьеву в глухой лес и оставил ее там, вместе с новорожденным ребенком, который и был вскормлен ланью, прирученной Женевьевою. Несколько лет спустя, во время охоты, граф Тревской находит в лесу свою оставленную супругу, убеждается в ее невинности и восстановляет ее в правах; но Женевьева, обессиленная пережитыми страданиями, вскоре умирает. – История Женевьевы Брабантской много раз подвергалась литературной обработке, начиная с Золотой легенды (Legenda aurea) XIII века, а также стала излюбленным сюжетом для лубочных изображений (J. Champfleury. «Histoire de l'imagerie populaire», p. 267); вероятно, именно такого рода лубочную картинку и нашел Толстой в деревенском трактире Монбовона.

–

ОТЪЕЗЖЕЕ ПОЛЕ.

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ.

Замысел «Отъезжего поля» долго и сильно привлекал внимание Толстого. Он работал над этим произведением очень усердно и придавал ему большое значение.

Так, 30 сентября 1865 г., через девять лет после того, как у него появилась первая мысль об «Отъезжем поле», он занес в Дневник: «Есть поэзия романиста: 1) в интересе, сочетании событий – Braddon, мои Казаки будущие, 2) в картине нравов, построенных на историческом событии – Одиссея, Илиада, 1805 год, 3) в красоте и веселости положений – Пиквик, Отъезжее поле – и 4) в характерах людей – Гамлет – мои будущие Апол[лон] Григ[орьев] – распущенность, Чичерин – тупой ум, Сухотин – ограниченность успеха, Ник[олинька] – лень и Ст[олыпин?], Лан[ской?] Строг[анов?] – честность тупоумия».

Первое упоминание Толстого о новом замысле находится в Дневнике под 22 августа 1856 г.: «Кончил на черно Юн[ость] 1-ю половину и придумал О[тъезжее] п[оле], мысль которого приводит меня в восторг». На следующий день отмечено уже начало работы над новым произведением.

Судя по Дневникам, она продолжается год с небольшим, затем упоминания о ней исчезают и вновь появляются в 1865 г. Все время, за редкими исключениями, она идет рядом с другими работами.

15 октября 1856 г., упомянув, что написал начало комедии (записная книжка под той же датой называет ее – «Практический человек»), Толстой прибавляет: «Мне приятно с Машей, много болтал о своих планах об Отъезжем поле». 12 января 1857 г., перечисляя семь произведений, которые надо «писать не останавливаясь, каждый день», Толстой на первом месте называет «Отъезжее поле». 3 апреля он думает «начать несколько вещей вместе. Отъезжее поле и Юность и Беглеца».

9 июня Толстой замечает, что «припадок деятельности начинает ослабевать». Правда, «Отъезжее поле» «идет порядочно», но «писал мало». 12 июня в Записной книжке он особенно старательно записывает и подчеркивает: «Писать Казаки и Отъезжее поле, не останавливаясь для красоты, а только чтобы было гладко и не бессмысленно». 7 июля в Дневнике: «Открыл тетрадь, но ничего не писалось. Отъезжее поле бросил».

Но замысел, очевидно, был очень привлекателен, и на следующий же день в Дневнике записывается: «Передумал Отъезжее поле и начал иначе».

Резко своеобразный характер задуманной вещи все более и более становится ясен Толстому, особенно по сравнению с другими работами, занимавшими его одновременно.

23 июля он отмечает в Дневнике: «Отлично думается читая. Совсем другое Казак – как библейское предание, и Отъезжее поле, комизм живописный, концентрировать – типы и все резкие». 18 августа «Отъезжее поле совсем обдумалось», и, вероятно, о нем идет речь в записи 24 августа: «Немного попробовал пописать, но не то».

Запись Дневника под 28 августа, особенно в связи с приведенными выше записями от 23 июля 1857 г. и 30 сентября 1865 г., весьма знаменательна: она указывает, в какую сторону направлялись поиски взыскательного художника, находившего, что у него выходит «не то». «Читал 2-ю часть Мертвых душ, – записывает Толстой, – аляповато. Отъезжее поле надо одно писать».

Непосредственное соседство заметки об «Отъезжем поле» с упоминанием о чтении «Мертвых душ», причем их «аляповатая» вторая часть несомненно оживила в памяти первую, – это соседство едва ли случайно. Как более позднее упоминание романа Диккенса,

так и рядом стоящие заглавия поэмы Гоголя и задуманной вещи Толстого определяют характер последней: это должно было быть широкое бытовое полотно.

Следует отметить, что его хронологическое приурочение резко менялось: то действие происходит «еще до Тильзитского мира», то в годы особого оживления крестьянского вопроса, накануне реформ 1861 г. О последнем с особенной ясностью говорит текст рукописи 3 – и своим содержанием, и упоминанием Елены Павловны (несомненно, великой княгини), и инициалами Я. А. в зачеркнутой фразе: по всей вероятности, это был, в обычной для Толстого слегка замаскированной форме, намек на Якова Ивановича Ростовцева.

В Дневниках имеются еще две записи об «Отъезжем поле». Одна – на другой день после только что приведенной, 29 августа 1857 г. Толстой говорит, что его мысли о писании «разбегаются» между тремя вещами, представляющими «серьезные матерьялы»; среди этих вещей и «Отъезжее поле». Вторая и последняя запись Дневника, под 9 октября 1865 г., отмечает: «Писал Отъезжее поле. Выходит неожиданно».

Одновременно с отметками Дневников, Записная книжка Толстого за 1856/57 гг. хранит следы обильных, налету схваченных и наскоро записанных наблюдений, назначение которых для работы над «Отъезжим полем» в огромном большинстве случаев совершенно ясно, так как перед подобного рода записями обычно стоит: «К Отъезжему полю».

В дальнейшем мы не повторяем этого обозначения, оговаривая лишь те записи, которые имеют его на необычном месте или совсем не имеют его и отнесены нами к работе над «Отъезжим полем» предположительно. Заметим также, что материалы, занесенные Толстым в Записную книжку, не всегда датированы, и что иногда бывает затруднительно решить, где кончается запись, относящаяся к «Отъезжему полю».

За 1856 г. Записная книжка дает следующие материалы для «Отъезжего поля».

Между 14 июля и 18 сентября. «Акуратный становой имеет тайную страсть буянить. Неохотник. Буян чужой. – Ты Граф, а я князь. На закате солнца сафирная вершинка, половина, в зеленях паутина, былинки озими трясутся отъ ветра. Арапник цепляет за ноги зайца. Жена станового, поет русские песни. Старичок Граф один в леску неудачно любезничает с бабой. – Музык[анты?] с ним, играют в карты. Бабы овец стригут.

Думаю: собаки про меня думают, что я умный.

По мягкой пашне только слышно побрякиванье ошейников.

Глупой теленок. Туманное утро – солнце круг.

Один выговаривает племянн[ику] за то, что его собак поил, а племянник поет: тирридиндин, тиридиндин, для лютой скорби даром [?]. Ну что вы глупости (стерьвец). Стремен[ный] плем[янника] говорит другому из кучеров: ваш барин сердитый, у него глаза вылуплены. – Отколол штуку, острит племянник. Коробочник не имел [?] счастия видеть волка.

Лошадь пофыркивает».

Между 10 и 23 сентября. «Чиновник, верящий в нынешний свет, молодой, веселый, встречается в дальней деревне и ссорится с достоинством, говоря, что состояние первое.....

Старушка в гробу завязана.

Лакей с барином травят лисицу.

Встречаешь 2 мальчишек в сапогах с голыми ногами, один в картузике с галуном, несут в поле яблоки.

Посылает бабу. Листья на скамейке. Отвечает с выраж[ением]. Не боюсь, если что?»

23 сентября 1856 г. «Девка кокетничает, как будто неловко вертится, завязывает щеку молод[ому] чел[овеку]. Собака лежит на солнце, смотрит на муху».

7 октября 1856 г. Две записи, непосредственно примыкающие друг к другу. По почерку видно, что сделаны разновременно. Пометы: «К.О.П.» стоят после первой и перед второй. Между ними – фраза, которую считаем тоже за материал для «О. П.» Приводим полностью. «Сквозь куст, двойную раму пыльного окна бьет солнце. Пахнет яблоками в чулане и пече-

ным хлебом. К Отъезжему Полю. В туман тихо слышно звяканье. К Отъезжему Полю. Стадо кажется лесом. Возвращаешься домой. Темно, мга, на горизонте неясные очертания крыш и деревьев деревни».

15 октября 1856 г. Две записи. «Ангел, водки!» Барышни собрались для компании Графа, попадья всех заняла, шутиха. Играют, что болит? по какому цвету. Попадья – жолтый, жолтая пупавка, поповка, пуп».

«Говорит за стеной с барыней, про ее мужа, с которым спит: как вы можете с ним спать, от него воняет».

В 1857 г. в Записную книжку занесены следующие материалы для «Отъезжего поля».

2 мая. «Помещики дают обещания, и для них чудеса совершаются. На шару стоял».

6 мая. «Семейство Пальчиков[ых], работы, занятия, самоотвержение (друг для друга), вечная деревенская жизнь, prestige образования».

16 мая. «14 летняя девочка влюбляется, она развита не по годам. Ему стыдно, неловко. Она не понимает, так чиста».

10/22 мая. Две записи. Первая не имеет пометы и отнесена нами к материалам для «Отъезжего поля» предположительно.

«К горничной забрался, его застали. Что такое? Это М. И. изволили прилечь».

«Старик главный Пущин и чахоточный племянник».

9 июня. Три записи.

«Барин соглашается легко с либеральными идеями, но что ему делать»?

«Жена умерла прежде, старик сделался угрюм, подозрителен, боится, что он в тягость, и перед смертью только размяк».

«Уезжают гости, ночь в саду, барышня влюблен[ная] провожает. Приживалка».

16 июля. Две рядом стоящие записи, которые предположительно относим к материалам для «Отъезжего поля». «Из-за карт выходит старый помещик, музыка играет, ногами поталкивает.[?]». – «Собаки сыты и свежи».

19 июля. Две записи (а, может быть, одна, с абзацем), предположительно относимые нами к материалам для «Отъезжего поля». «Солнце блестит на его глянцевитом сертуке, на сильных плечах.

У старика волнистые широкие чистые сапоги и ужасно чистой старой сюртук».

20 июля. «4 брата и сестра».

20 августа. 5 записей.

«В редком лесу гоняют, никто не знает что».

«Праздник для мужиков. За сапоги».

«Как глупы молодые люди. Полуулыбаются».

«Щелин брату доказывает незаконн[ость] с кучером».

«Все хорош, добр, пошел по мужикам, – ты злодей».

23 сентября. 2 записи.

«Две старушки толкуют о воле Божьей, ничего без воли Божьей».

«Страх аду, молодой невинной ужас».

Приведенные данные показывают, как долго и как пристально привлекал внимание Толстого замысел «Отъезжего поля». Надо думать, что, несмотря на незавершенность работы, от нее должно было сохраниться, значительно больше, чем воспроизводимые ниже отрывки. С. Л. Толстой высказывает предположение, что часть автографов «Отъезжего поля» погибла, вместе с другими бумагами, в чемодане, который Л. Н. Толстой потерял как раз в годы, совпадающие с его работой над этим произведением.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ «ОТЪЕЗЖЕГО ПОЛЯ».

Рукописи, относящиеся в «Отъезжему полю», хранятся в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина.

1. *(П. XX.)* Автограф. 4 лл. русской писчей сероватой бумаги, размером в 4°, с неровными краями. Водяных знаков нет. Клеймо, оттиснутое очень слабо, не поддается определению. Авторской пагинации нет. Чернила черные, выцветшие. Очень узенькие поля слева. Обороты лл. чистые. На л. 4 только две строки. Поправок, состоящих, главным образом, в вычеркиваниях, очень немного. Заглавие – «Отъезжее поле». Текст воспроизводим полностью (см. первый отрывок).

2 и 3. *(П. XX.)* Автографы. 4 лл. сероватой русской писчей бумаги, размером в лист несколько уменьшенного формата. Овальное клеймо, имеющее в середине буквы *L. T.* Водяной знак – «1834». Авторской пагинации нет. Чернила черные, выцветшие. Небольшие поля слева. На лл. 3, 3 об. и 4 об. попытки карандашных рисунков, сделанных как будто детской рукой. Рукопись заключена в обложку, материалом для которой послужил лист какой-то конторской сельско-хозяйственной ведомости. На внешней (чистой) стороне обложки написано чернилами неизвестной рукой: «№ XII. Начало: «Отъѣзжее поле», причем слово «Отъѣзжее» переправлено другой, тоже неизвестной рукой, из первоначального написания: «Отъѣзжающее». В рукописи два начала рассказа, оба озаглавленные – «Отъѣзжее поле». Второе, занимающее одну с небольшим страницу, перечеркнуто поперек все, за исключением двух заключительных строк. Количество исправлений в первом невелико. Оба начала воспроизведены полностью (второй и третий отрывки).

4. *(П. VI, 1. 3.)* Автограф. 1 л. сероватой русской писчей бумаги, размером в 4°, без водяного знака и клейма. Чернила черные, выцветшие. Небольшие поля слева. Поправок почти нет. Начало: «Да не подумает читатель,».

По содержанию представляет продолжение первого начала рассказа в автографе 2, но писанное позднее, на что указывает разница в формате бумаги и почерке.

Текст «Отъезжего поля» публикуется впервые.

ЗАПИСКИ МУЖА.

Это начало незаконченного произведения относится, по всей вероятности, к 1857 г. 21 августа этого года Толстой отметил в Дневнике: «Начал писать З[аписки] м[ужа] *из дна*».

Если принять в тексте отрывка чтение: «солдатъ, повѣсившійся… въ засикѣ» (А. Е. Грузинский и В. И. Срезневский читают даже: «въ Засѣкѣ»), то в печатаемом начале можно установить связь со следующей записью Дневника от 13 июня 1856 г.: «Вчера нашли повешенного солдата в Засеке, ездил смотреть на него».

Рукопись отрывка – автограф, хранящийся в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина *(П. XXI)*, 2 лл. сероватой русской писчей бумаги, размером в лист. Водяных знаков и клейма нет. Чернила коричневые, выцветшие. Поля справа вполстраницы. Л. 2 об. чистый. Незначительное число поправок и вставок между строк.

Публикуется впервые.

ОТРЫВОК БЕЗ ЗАГЛАВИЯ.

Приблизительная дата написания этого отрывка, носящего автобиографический характер, может быть установлена путем сближения его с некоторыми записями Дневника Толстого за 1856—57 гг., где нашло себе выражение аналогичное настроение, вызванное отношениями Толстого к княгине Александре Алексеевне Оболенской, урожденной Дьяковой, сестре его друга.

22 мая 1856 г. Толстой занес в Дневник: «Обедал у Дьяковой. Не узнал А. О[боленской], так она переменилась. Я не ожидал ее видеть, поэтому чувство, которое она возбудила во мне, было ужасно сильно. От них ездил к Акса[ковым], слушал 4-й отрывок. Хорош, но старика захвалили. Вернулся к Д[ьяковым], танцовал немного и выехал оттуда с А. Сухотиным, страстно влюбленным человеком. Да и теперь мне ужасно больно вспомнить о том счастии, которое могло быть мое и которое досталось отличному человеку Ан[дрею] О[боленскому]. Сухотину рассказал свое чувство, он понял его тем более, что его, кажется, разделяет».

Через день, 24 мая, в Дневнике записано: «Утром дописал дневник и памятную книжку и скучал жестоко, не предвидя возможности увидеть нынче A[lexandrine]. Оставаться незачем, но уехать ужасно не хочется. Четыре чувства с необыкновенной силой овладели мной: любовь, тоска раскаяния (однако приятная), желание жениться (чтобы выйти из этой тоски) и – природы». В конце записи того же дня Толстой, говоря о встрече с А. А. Оболенской у Сухотина, отмечает: «Раза два она была вся внимание, когда я говорил. Нет, я не увлекаюсь, говоря, что это самая милая женщина, которую я когда-либо знал. Самая тонкая, художественная и вместе нравственная натура».

Под 25 мая читаем в Дневнике: «У Alexandrine больна дочь. Она сказала С[ергею] Сухотину при мне, что когда она была невестой, не было *влюбленных*.[353] Мужа ее тут не было. – Неужели она хотела сказать мне, что она не была влюблена в него. – Потом, прощаясь со мной, она дала мне *вдруг* руку, и у нее были слезы на глазах, от того, что она только что плакала об болезни пиндигашки; но мне было ужасно хорошо. Потом она нечаянно проводила меня до дверей. Положительно со времени Сонички у меня не было такого чистого, сильного и хорошего чувства. Я говорю – хорошего, потому что, несмотря на то, что оно безнадежно, мне отрадно расшевеливать его».

«Сухотин и Оболенский звали к Дьяковым, – записывает Толстой в Дневнике под 26 мая, – и я был у них и три часа проговорил с Alexandrine, то один-на-один, то с мужем. Я убежден, что она знает мое чувство, и что оно ей приятно. Я был счастлив ужасно и теперь тоже».

Последнее упоминание Оболенской в Дневнике 1856 г. – 27 мая: «Оболенской заезжал, и я бы мог пробыть еще вечер с Alexandrine. Кто знает, не было ли бы это к худшему».

Через полтора года имя Оболенской вновь появляется на страницах Дневника.

6 ноября 1857 г.: «Alexandrine прелесть. Положительно женщина более всех других прельщающая меня. Говорил с ней о женитьбе. Зачем я не сказал ей все?» 8 ноября: «Поехал к Сухотиным. Со всеми неловко, исключая с А. А. Отличная». 1 декабря: «Alexandrine держит меня на ниточке, и я благодарен ей за то. Однако по вечерам я страстно влюблен в нее и возвращаюсь домой полон чем-то, счастьем или грустью – не знаю».

Автограф хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина *(П. XXI. 35)*. 2 лл. сероватой русской писчей бумаги, без водяных знаков и клейм, обрезанных в длину приблизительно на одну восьмую. Чернила коричневые, выцветшие. Небольшие поля слева. Л. 1 об. и л. 2 чистые. На л. 2 об. рукой Толстого написано чернилами: «Начала,

[353] *В подлиннике подчеркнута лишь вторая половина слова.*

отрывки непос[ланные] письма». Здесь же, вдоль левого края страницы, карандашом и очень крупно частью написаны, частью нарисованы шестнадцать русских букв, в большинстве печатных. Поправок почти нет. «Отрывок без заглавия» печатается в настоящем издании впервые.

СКАЗКА О ТОМ, КАК ДРУГАЯ ДЕВОЧКА ВАРИНЬКА СКОРО ВЫРОСЛА БОЛЬШАЯ.

Дети сказки называются теми же именами, что и дети сестры Л. Н. Толстого, Марии Николаевны, бывшей в замужестве за гр. В. П. Толстым. По всей вероятности, для них и была написана сказка. Если это предположение справедливо, то сказка была создана зимой 1857/1858 гг. Летом М. Н. Толстая развелась с мужем и, вместе с детьми, поселилась на зиму в Москве. С ними жил и Л. Н. Толстой, очень любивший детей. Его дневник за это время неоднократно говорит о том, как он ездил с ними в зверинец, в театр, на представление марионеток. Под 12 ноября 1857 г. в Дневнике записано: «В театр с детьми. Они заснули». Несомненно, после одного из посещений театра с детьми и появилась мысль о сказке.

Автограф хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина *(П. XXI)*. 3 лл. сероватой русской писчей бумаги, размером в 4°. Клеймо неразборчиво. Водяного знака нет. Коричневые выцветшие чернила. Очень маленькие поля слева. 1 л. помечен цыфрой 12, 3 л. – цыфрой 14, на 2 л. пометы нет. Много поправок, вписываний, вставок. В подлиннике посвящение написано над заглавием. Мы перемещаем его под заглавие.

«Сказка о том, как другая девочка Варинька скоро выросла большая» впервые была опубликована в книге: «Лев Толстой. Неизданные художественные произведения со вступительными статьями А. Е. Грузинского и В. Ф. Саводника». Изд. «Федерация». М. 1928, стр. 213—228.

[СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ.]

Этот отрывок представляет собой начало того произведения, о котором говорится в Дневнике Толстого 27 марта 1858 г.: «Писал Св[етлое] Хр[истово] воск[ресенье]». Пятью днями ранее, 22 марта, в Дневнике записано: «Пошел к Коршу и на площадь в Кремль. Глазеющий народ. Зашел в церковь. Хорошо. Христос Воскрес!» На другой день, 23 марта, в Записную книжку занесено: «Заутреня. Я неодет, иду домой. Толпы народа по мокрым трот[уарам]. Я не чувствую, ничего. Что дала жизнь в замен. Истину. Да она не радует, истина. А было время. Белое платье, запах вянувшей [*неразобр.*], счастье».

Автограф отрывка хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина *(П. XXI)*, 1 л. сероватой русской писчей бумаги без водяных знаков и клейма. Чернила коричневые, выцветшие. Небольшие поля слева. Незначительное число вычеркиваний и вставок между строками.

Отрывок печатается впервые.

–

КАК УМИРАЮТ РУССКИЕ СОЛДАТЫ (ТРЕВОГА).

Автограф, под заглавием «Как умирают Русские солдаты», и неполная копия, под заглавием «Тревога», хранятся в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина среди материалов, относящихся к задуманному Толстым в Севастополе в 1854 г. и запрещенному властями журналу для солдат, – сначала под названием «Солдатский вестник», потом – «Военный листок».

В то же время Дневник Толстого говорит о работе над рассказом в 1858 г. Под 11 апреля читаем: «Писал с увлечением письмо офицера о тревоге».

Надо предполагать, что в 1858 г. Толстой вернулся к работе над рассказом, уже написанным им ранее, в 1854 г. Под тем же 11 апреля, немного выше приведенной записи, отмечено: «Разбирал бумаги и книги». Весьма вероятно, что среди разбиравшихся старых бумаг и книг оказался и написанный в Севастополе рассказ, и Толстой вновь принялся за работу над ним.

Некоторые особенности сохранившихся рукописей как будто подтверждают подобное предположение.

Рукописей рассказа сохранилось две.

1. *(Папка XVI. 84. 6.)* Автограф. 4 лл. синей почтовой бумаги большого формата с клеймом Bath. Пагинации нет. Полей тоже. Чернила черные. Почерк весьма тщательный. Несомненно беловой экземпляр, впоследствии подвергшийся довольно многочисленным исправлениям. Последние сделаны частью карандашом, частью чернилами, но более густыми и темными, чем чернила основного текста. Вероятно, с этой рукописи снимались копии переписчиком, и для него, в конце рассказа, где передается разговор раненого с офицерами, сделаны обозначения красных строк в виде букв *н. с.*, обведенных кружком. Продольные края рукописи местами чуть-чуть оборваны, а лл. 3 и 4 в одном месте прожжены. Впрочем, ни то, ни другое не мешает чтению. На л. 1 две карандашных пометы рукой Толстого: в левом верхнем углу – «№ 2», под заглавием – «№ 4». Заглавие – «Как умирают Русские солдаты».

Предположительно относим автограф к севастопольскому периоду. По всей вероятности, поставленные карандашем №№ обозначали последовательно изменившееся место рассказа в проектированном выпуске журнала.

2. *(Папка XVI. 84. 6.)* Копия. 3 лл. русской писчей бумаги фабрики Новикова, размером в лист. Пагинации нет. Поля слева. Чернила черные. Почерк типично-конторский, тщательный, очень похожий на тот, которым переписано начало «Семейного счастья» в рукописи 1. 3. 3. Текст копии, не доведенной до конца, вполне соответствует описанному выше автографу, после сделанных в нем исправлений. Два пропуска отмечены карандашом. Одно слово переписано неверно. Копия кончается словами: «особенное выражение сознания собственного достоинства и гордости».

Заглавие – «Тревога».

Предполагаем, что копия сделана в 1858 г., в Ясной Поляне, с автографа, до нас не дошедшего, но имевшего в основе своей текст, написанный Толстым еще в Севастополе.

Выражение дневника – «*писал…* рассказ», разные заглавия рассказа в Дневнике и в копии как будто не допускают предположения, что копия снималась с сохранившегося первоначального автографа.

«Как умирают Русские солдаты» впервые опубликовано в книге: «Лев Толстой. Неизданные художественные произведения», со вступительными статьями А. Е. Грузинского и В. Ф. Саводника. Изд. «Федерация». М. 1928, стр. 201—212.

[О РУССКОМ ВОЕННО-УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.]

В записи Дневника Толстого от 19 апреля 1856 года говорится: «Привел в порядок бумаги и хочу приняться за серьезную работу о военных наказаниях». В это время Толстой еще состоял на военной службе, хотя уже не занимал строевой должности, будучи с осени 1855 года откомандирован в Петербург. Представляется однако не совсем ясным, почему он именно теперь заинтересовался вопросом о русском военно-уголовном законодательстве, когда у него остались с военной службой лишь формальные связи. Судя по приведенной выписке из Дневника, можно думать, что внешним поводом послужил для Толстого пересмотр его старых бумаг, среди которых, вероятно, сохранились какие-либо наброски, относящиеся к данному вопросу.

Среди Толстовских архивных материалов, хранящихся в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, имеются три рукописи с черновыми набросками, посвященными вопросу о русском военно-уголовном законодательстве.

Рукопись *А (Папка XIV. 5),* автограф Толстого, занимает полулист писчей бумаги обыкновенного формата, сложенный в четвертку; текстом занято три страницы, последняя не записана. Первоначально рукопись *А* была озаглавлена: «Из записок артиллерийского офицера», но затем это заглавие было зачеркнуто. Рукопись представляет собой начало задуманной Толстым статьи, черновой набросок, в литературном отношении совершенно неотделанный и испещренный многочисленными поправками. Возможно, что эта рукопись относится еще ко времени пребывания Толстого в Крымской армии, т. е. к 1854/1855 гг.

Рукопись *Б (Папка XVI. 6),* автограф Толстого, занимает один полный лист писчей бумаги обыкновенного формата, in-folio; текстом занят только первый полулист, второй чистый; заглавия не имеется; начинается словами: «В Русском военно-уголовном законодательстве существуют…» В рукописи этой меньше помарок, чем в рукописи *А;* судя по отдельным сходным фразам, она, повидимому, представляет собой позднейшую переработку этого первого, более раннего наброска, однако, расположение материала в ней совершенно иное.

Рукопись *В (Папка XVI. 7),* автограф Толстого, занимает четвертушку писчей бумаги; она представляет собой черновой набросок программы широко задуманной работы о русском военно-уголовном законодательстве, сравнительно с законодательством, действующим в других европейских странах. Заключительная часть статьи должна была дать общую оценку русских военно-уголовных законов, причем из самой постановки вопросов ясно выступает резко отрицательное отношение автора к существующей практике русских военных судов. Рукопись *В* не имеет никакого заглавия и начинается словами: «Какие роды воен(ного) наказания…»]; на обороте листа – набросок заметки о фермерстве, принадлежащий по своему содержанию к числу писаний Толстого, связанных с вопросом о крестьянской и земельной реформе. Вопрос этот в конце апреля 1856 г. всецело поглотил внимание Толстого и вызвал с его стороны ряд проектов и записок, касающихся освобождения крестьян в принадлежащем ему имении – Ясной поляне; эти занятия отвлекли его от задуманной работы о русском военно-уголовном законодательстве, которая таким образом осталась в виде черновых программ и набросков.

ПИСАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОЕКТУ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЯСНОПОЛЯНСКИХ КРЕСТЬЯН.

Отношения к крепостному крестьянству уже рано начали занимать и тревожить Толстого. Еще девятнадцатилетним юношей он бросает университет, отказывается от открывавшейся перед ним карьеры, от городской и светской жизни, и переезжает в Ясную поляну, для того чтобы посвятить себя хозяйственным занятиям, и главное, заботам о своих крепостных «подданных». Правда, на деле он оказался совершенно не подготовленным к принятой на себя задаче, и при осуществлении ее ему пришлось испытать целый ряд неудач и разочарований, историю которых он сам изобразил впоследствии в «Утре помещика». В эту эпоху мысль о невозможности прочного улучшения народного быта при сохранении крепостных отношений и о необходимости освобождения крестьян от крепостной зависимости еще не представлялась ему с полной ясностью. Сочувственные отзывы о крепостном крестьянстве и о его нравственных качествах неоднократно встречаются в Дневнике Толстого за это время, однако убеждение в невозможности дальнейшего существования крепостного права и в необходимости его уничтожения сложилось у него только в эпоху Крымской кампании.

8 июля 1855 г. Толстой, рассуждая в Дневнике о своих будущих планах, говорит, что ему необходимо собирать деньги, для того чтобы расплатиться со своими долгами и для того «чтобы выкупить именье и иметь возможность отпустить на волю крестьян». 2 августа, касаясь задуманного им в это время «Романа русского помещика», он записывает в Дневнике, что главной мыслью этого произведения «должна быть невозможность жизни правильной помещика образованного нашего века с рабством».

По окончании Восточной войны 1853—56 гг., наглядно обнаружившей все недостатки государственной и общественной организации крепостнической монархии, сознание необходимости коренных реформ стало распространяться среди русского общества и проникло даже в правительственные круги. 30 марта 1856 г. Александр II в речи, обращенной к представителям московского дворянства, впервые публично заявил о намерении правительства заняться крестьянским вопросом, причем произнес известную фразу о необходимости начать уничтожение крепостных отношений сверху, не выжидая времени, когда они сами собой рухнут под напором снизу. Хотя речь эта не была официально опубликована, однако слух о ней немедленно распространился в обществе, возбуждая надежды либерального меньшинства и негодование заядлых крепостников.

Из лиц, сознавших необходимость отмены крепостного права, одним из первых выступил с предложениями либерал К. Д. Кавелин, составивший еще в марте 1855 г. обширную «Записку об освобождении крестьян в России». Хотя по цензурным условиям того времени «Записка» эта не могла быть опубликована, но она ходила по рукам в многочисленных копиях. Записка Кавелина привлекла внимание общества и возбудила в нем оживленные толки, которые не могли в конце концов не дойти до Толстого; последний в это время (с ноября 1855 г.) проживал в Петербурге, вращаясь в кругу революционно-демократического «Современника» и в кругу либерально настроенной части петербургского общества, в которой идея раскрепощения встречала наиболее сочувственный отголосок. 20 апреля 1856 г. он записывает в Дневнике: «Мое отношение к крепостным начинает сильно тревожить меня». На следующий день Толстой был у Кавелина; в их разговоре, естественно, были затронуты вопросы, связанные с ликвидацией крепостного права; беседа с Кавелиным произвела на Толстого сильное впечатление, которое и отразилось в записи его Дневника: «Вечером был у Кавелина. Прелестный ум и натура. Вопрос о крепостных уясняется. Приехал от него веселый и счастливый. Поеду в деревню с готовым писанным проектом». Уже на следующий день конспект проекта был набросан Толстым; в тот же день он слушал «прелестный проект Кавелина» – подразумевается, веро-

ятно, вышеупомянутая записка Кавелина по вопросу об освобождении крестьян. 25 апреля Толстой посетил другого либерального сторонника раскрепощения, Н. А. Милютина. Об этом посещении Толстой тогда же записал в Дневнике: «…Потом пошли к Милютину, который объяснил мне многое и дал проект о крепостном праве, который я читал за обедом. Написал для себя проект проекта и докладной записки». Докладная записка предназначалась для подачи товарищу министра внутренних дел А. И. Левшину и касалась различных вопросов финансового и юридического характера, связанных с предполагаемым Толстым освобождением его крепостных крестьян. 8 мая в Дневнике значится: «Третьего дня был у меня Милютин Н[иколай]. Он обещал вести меня к Левшину». Два дня спустя, 10 мая, рассказывая о том, что к нему неожиданно зашло несколько знакомых людей, Толстой записывает: «Я болтал с ними о своем проекте, вместо того, чтобы прогнать или не принять их и работать»; в конце записи за этот день он прибавляет, как бы в поучение самому себе: «Развивая благотворительность, помни, что наслаждение, которое дает это чувство, надо купить трудом и терпением. Пример – мое желание сделать добро крестьянам».

11 мая Толстой был у Левшина, но остался недоволен его приемом и записывает по этому поводу в своем Дневнике: «В 2 часа был в министерстве Внутренних Дел. Левшин сухо меня принял. За что не возьмешься в России, всё переделывают, а для переделки люди старые и потому неспособные. Обедал у Шевич, написал у Некрасова проект и послал». Наконец, в записи от 13 мая говорится: «Левшин сказал, что докладывал министру; но всё-таки дал ответ evasif.[354] Буду писать проект не смотря на то».

После непродолжительного пребывания в Москве, Толстой 28 мая приехал в Ясную поляну и немедленно приступил к переговорам с крестьянами, с целью убедить их согласиться на составленный им проект урегулирования их взаимных отношений. Об этом читаем в Дневнике: «В Ясном [*так*] грустно приятно, но не сообразно как-то с моим духом. Впрочем, примеривая себя к прежним ясенским воспоминаниям, я чувствую, как много я переменился в либеральном смысле. Татьяна Александровна даже мне неприятна. Ей в 100 лет не вобьешь в голову несправедливость крепости… Нынче делаю сходку и говорю. Что Бог даст… Был на сходке. Дело идет хорошо. Мужики радостно понимают. И видят во мне афериста, потому верят. Я по счастию ничего слишком не соврал и говорил ясно… Написал страниц 5 дневника помещика». На следующий день беседа Толстого с крестьянами возобновилась и он записал в Дневнике: «…пошел на сходку. Совсем было расстроилось, но теперь идет на лад». 3 июня, по возвращении из поездки к сестре и к Тургеневу, Толстой записывает: «Вечером сходки не было. Но узнал от Василья, что мужики подозревают обман, что в коронацию всем будет свобода, а я хочу их связать контрактом, Что это сделка, как он выразился». Не смотря на встреченное им со стороны крестьян недоверие, Толстой не оставлял своих планов и продолжал свои попытки столковаться с ними; об этом свидетельствуют записи его Дневника: 4 июня он пишет: «Решил писать Дневник Помещика… пошел к мужикам. Не хотят свободу». 6 июня: «Целый день ничего не делал, исключая маленького неловко написанного проекта договора». 7 июня: «Вечером беседовал с некоторыми мужиками и их упорство доводит меня до злобы, которую я с трудом мог удерживать». 8 июня: «Передумал кое-что дельно из романа помещика». 9 июня: «Всё обдумывается роман помещика… Пришло в голову письмо Блудову о крепостных, которое набросал… Вечером делал расчет рабочих дней. Что за нелепые отношения! Всех дней строгой половиной без праздников 10 500. Нужно же для обработки полей самым большим числом 5000; а всегда поголовная. Летом приходится от Мая до Октября на бумаге как раз равно с положением, а зимой нечего делать мужикам, и уйти они не могут. Два сильных человека связаны острой цепью, обоим больно, как кто зашевелится, и как один зашевелится, невольно режет другого и обоим простора нет работать».

---

[354] [уклончивый.]

Черновой проект письма графу Блудову, о котором упоминается выше, сохранился в «Дневнике помещика», в записи от 7 июня; письмо это показывает, как подействовала на Толстого испытанная им неудача в переговорах с крестьянами; – неизвестно, однако, было ли это письмо действительно отправлено по адресу, или оно осталось только в виде проекта; во всяком случае никаких дальнейших упоминаний о нем в Дневнике Толстого не встречается. 10 июня он записывает: «Вечером была сходка. Окончательно отказались от подписки. Об оброке речь осенью». Наконец, 13 июня последняя запись, касающаяся проекта об урегулировании отношений Толстого с его крепостными крестьянами: «С завтрашнего дня пойду по всем мужикам; узнаю о их нуждах и буду отдельно уговаривать в обязанные». Из Дневника не видно, осуществил ли Толстой свое намерение, так как дальнейших записей по этому поводу в дневнике его не встречается.

К числу писаний, касающихся проекта освобождения яснополянских крестьян, принадлежат следующие рукописи Толстого; все они относятся приблизительно к одному времени, к апрелю – маю 1856 г., причем датировка их довольно точно устанавливается показаниями Дневника:

1. [Заметка о фермерстве.]

Рукопись, автограф Толстого, представляет собой отдельный листок писчей бумаги в четвертку; хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина *(Папка XVI. 7).* Судя по неправильности языка, по отсутствию связи между отдельными фразами, а также по отсутствию каких-либо помарок или исправлений, заметка эта является конспектом или первым наброском мыслей по вопросу о фермерстве, как о способе освобождения крестьян, с наделением их землей в личное владение. Возможно, что этот способ раньше всех других представился Толстому, когда он начал задумываться над вопросом об освобождении крестьян от крепостной зависимости: недаром еще кн. Нехлюдов (в «Утре помещика», 1852 г.) мечтал о фермах для своих крестьян.

Косвенным подтверждением того, что «Заметка о фермерстве» хронологически предшествует другим освободительным проектам Толстого, является тот факт, что на обороте того же листка, на котором написана Заметка, набросан конспект записки о наказаниях, существующих в русском военном законодательстве; этим последним вопросом Толстой занимался во время своего пребывания в Петербурге весной 1856 года, судя по записи Дневника от 19 апреля; следовательно и «Заметка о фермерстве» относится приблизительно к этому же времени, т. е. к середине апреля 1856 г. Но затем, вероятно, в связи с беседами по крестьянскому вопросу с К. Д. Кавелиным и И. А. Милютиным, мысль о фермерстве, как о способе освобождения крестьян с наделением землей на правах личного владения, была оставлена Толстым, и он усвоил себе идею общинного владения землей, как способа разрешения аграрного вопроса; что же касается до «Заметки о фермерстве», то она не подверглась дальнейшей обработке и осталась в виде случайного отрывочного фрагмента.

«Заметка» печатается в настоящем издании впервые.

2. [Заметки (А и Б) к вопросу о порядке и условиях освобождения.]

Сохранились две черновые рукописи без заглавия, содержащие в себе различные заметки, касающиеся вопросов юридического и экономического характера, связанных с предполагаемым Толстым освобождением принадлежащих ему крестьян от крепостной зависимости. Судя по форме изложения, заметки эти явились результатом бесед Толстого с К. Д. Кавелиным и Н. А. Милютиным, о которых говорится в записях Дневника от 21 и 25 апреля 1856

г., и вероятно, были набросаны Толстым непосредственно после свидания с этими лицами, беседа с которыми многое ему «уяснила», по его собственному выражению, в занимавшем его вопросе. Они же, вероятно, указали Толстому и те статьи IX тома Свода законов (Законы о состояниях), которые относятся к данному вопросу и из которых Толстой тогда же сделал некоторые выписки, находящиеся в его бумагах. По содержанию своему обе рукописи отчасти повторяют, отчасти дополняют друг друга. Трудно решить, какая из этих рукописей заключает в себе более раннюю редакцию заметок: рукопись *А* с внешней стороны как будто представляет собой перебеленную копию, в ней меньше помарок и исправлений, но зато изложение в ней более кратко и суммарно; рукопись *Б* испещрена помарками и вставками, вписанными между строк, но зато изложение ее более стройно, детально и полнее охватывает поставленный вопрос. Во всяком случае можно сказать, что обе рукописи «Заметок» написаны еще во время пребывания Толстого в Петербурге и ранее написания его «Предложения» крестьянам Ясной поляны и «Докладной записки» товарищу министра внутренних дел.

Обе рукописи представляют собой автограф Толстого и написаны на отдельных полулистах писчей бумаги обыкновенного формата (в лист), в обеих записана только первая страница. На обороте листа рукописи *Б* рукой Толстого написано: «Это конспектъ». Рукопись хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. *(Папка XVI. 10.)*

«Заметки» печатаются в настоящем издании впервые.

3. Предложение крепостным мужикам и дворовым сельца Ясной Поляны Тульской губернии, Крапивенского уезда.

Автограф Толстого, писанный на отдельных полулистах довольно плотной желтоватой писчей бумаги, сложенных в четвертку; бумага не имеет ни водяных знаков, ни фабричных клейм; листы не нумерованы; всего в рукописи шесть листов, из которых листы 1 по 3 заняты собственно «Предложением», л. 3 об. содержит проект договора между Толстым и его крепостными крестьянами. Рукопись хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина *(Папка XXII. 3).*

Рукопись «Предложения крепостным мужикам», повидимому, представляет собой перебеленную копию более раннего, до нас не дошедшего оригинала, но, в свою очередь, она снабжена поправками и дополнениями, вписанными между строк. «Предложение», равно как и примыкающий к нему краткий проект договора с крестьянами, а также черновой набросок письма Ланскому и сопровождающие его «вопросы», обращенные к Министерству внутренних дел и Опекунскому совету, несомненно, написаны Толстым еще в бытность его в Петербурге, скорее всего в последних числах апреля 1856 г.

Печатается в настоящем издании впервые.

4. Отношение к министру внутренних дел Ланскому по поводу проекта освобождения крестьян.

Текст чернового письма к министру внутренних дел находится на четвертом листе описанной выше рукописи «Предложения». На л. 4 об. – 6 л. находятся заметки и вопросы, относящиеся к предложению Толстого и касающиеся технической стороны дела; л. 6 об. – не записан. Рукопись хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. *(Папка XXII. 3.)*

Черновое письмо министру внутренних дел Ланскому вошло затем в несколько измененном виде в «Докладную записку», адресованную товарищу министра Левшину. Что касается до примыкающих к этому письму «вопросов», то они были вызваны неполнотою тех узаконений, которыми должен был руководствоваться Толстой при выработке проекта освобожде-

ния своих крестьян (закон 20 февраля 1803 г. о вольных хлебопашцах и указ 2 апреля 1842 г. об обязанных крестьянах, вошедшие в IX том Свода законов); в этих узаконениях не были предусмотрены многие частности, с которыми пришлось считаться Толстому при его попытке провести освобождение крестьян, с выкупом обрабатываемой ими земли. Главное затруднение заключалось в том, что Ясная поляна была заложена в московском Опекунском совете, и таким образом возникал целый ряд вопросов о порядке погашения долгового обязательства, в связи с переменой во взаимных отношениях между владельцем именья и его бывшими крепостными.

«Предложение крепостным мужикам» и сопровождающие его материалы, относящиеся к нему, печатаются в настоящем издании впервые.

Считаем необходимым в пояснение некоторых встречающихся в тексте терминов привести следующие сведения:

Опекунский совет или, как он официально именовался: императорского московского Воспитательного дома Опекунский совет, – учреждение, основанное в 1763 году, одновременно с Воспитательным домом, и долженствовавшее управлять этим заведением и «опекать» его; впоследствии ему были подчинены также и многие другие благотворительные и воспитательные заведения. Опекунский совет располагал весьма значительными капиталами, составившимися большей частью из пожертвований частных лиц. В 1808 г. при Опекунском совете была учреждена Сохранная и Ссудная казна, производившая операции по выдаче ссуд под обеспечение движимого и недвижимого имущества; в особенности широко развернулись операции по кредитованию землевладельцев под залог их имений, так что к моменту отмены крепостного права значительная часть дворянских имений находилась в залоге в Опекунском совете.

«У крепостных дел» – т. е. в Крепостной экспедиции гражданской палаты, где ведались дела по совершению купчих крепостей, при продаже недвижимой собственности разного рода или при переходе ее из одного владения в другое.

Печатается в настоящем издании впервые.

5. Докладная записка [товарищу министра внутренних дел А. М. Левшину].

Черновая рукопись, автограф Толстого, занимает полный лист писчей бумаги in folio; бумага желтоватая, без каких-либо отличительных знаков; исписаны только первые две страницы. Рукопись хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. *(Папка XVI. 13.)*

«Записка» содержит в себе проект договора Толстого с крестьянами Ясной поляны, изложенного по пунктам; первые три пункта относятся к помещику, а остальные восемь определяют обязанности крестьян; из них пункт 3-й, касающийся расчетов по выплате крестьянами выкупных платежей по именью, вычеркнут Толстым; зачеркнуто, собственно, только начало этого пункта, кончая словами; «сумма эта выражается», которыми заканчивается первая страница текста, продолжение же фразы, перенесенное на оборот листа, осталось незачеркнутым, – очевидно, по недосмотру, так как без зачеркнутого начала вся фраза утрачивает свой смысл и становится непонятной. Пункт 8-й вписан между строк, причем вся фраза осталась незаконченной.

Черновая «Докладной записки» точно датируется записью Дневника от 25 апреля: «… Написал для себя проект проекта и докладной записки»; повидимому, записка эта была переписана Толстым и вручена А. И. Левшину при его посещении министерства внутренних дел 11 мая 1857 г., хотя в дневнике об этом нет определенного упоминания.

В настоящем издании печатается впервые.

6. [Проект условий с крестьянами Ясной поляны и Грецовки.]

Рукопись, автограф Толстого, черновой набросок без заглавия, занимает один лист писчей бумаги обыкновенного формата: оборот листа не исписан; хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. *(Папка XXII. 2.)* От приведенного выше проекта, вошедшего в «Предложение крепостным мужикам и дворовым с-ца Ясной поляны» (см. выше № 3) настоящий проект отличается большей полнотой и детальностью, хотя юридическая сторона его также недостаточно разработана. Наиболее существенными отступлениями от условий, изложенных в «Предложении», является, во-первых, то, что оброк рассчитывается не с десятины, а с тягла, и, во-вторых, что срок выкупа определяется в 24 года, вместо 30 лет. Повидимому, настоящий проект был составлен Толстым уже после начала его переговоров с яснополянскими крестьянами, когда выяснилось пассивное сопротивление крестьян, опасавшихся связать себя формальным договором с помещиком, и когда целью Толстого стало – убедить крестьян перейти на оброк, на время, необходимое для выкупа именья из Опекунского совета, с тем чтобы по истечении этого срока крепостные его превратились в вольных хлебопашцев, с наделом обрабатываемой ими земли. Возможно, что именно к этому проекту относится запись Дневника от 6 июня: «Целый день ничего не делаю, исключая маленького неловко написанного проекта договора».

В настоящем издании печатается впервые.

7. Дневник помещика.

Рукопись представляет собой переплетенную тетрадь в четвертку писчей бумаги обыкновенного формата; переплет покрыт черно-синей бумагой; на верхней крышке его бумажная наклейка с надписью неизвестной руки: «№ 27. Бумаги относительно обязанных крестьян». Первые три листа тетради тщательно вырезаны. Затем следует 12 листов (23 стр.) рукописного текста Дневника; остальная часть тетради (29 лл.) не записана; нумерации никакой не имеется; хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. *(Папка XXI. 17.)* Бумага рукописи желтоватая, линованная, без водяных знаков. Большая часть текста написана чернилами, но встречаются также и вставки, написанные карандашом. На форзаце, наверху страницы, рукою Толстого написано: «3 Февраля 1856 года. Петербург»: надпись эта зачеркнута. Несколько ниже написано заглавие:

28 мая 1856 года. Ясная Поляна.

Дневник помещика.

«Дневник» обнимает собой период времени с 28 мая по 10 июня 1856 года и целиком посвящен переговорам, которые вел Толстой с крестьянами Ясной поляны по поводу задуманного им освобождения их от крепостной зависимости. Отдельные записи Дневника помечены следующими числами: 28 мая, 29 мая, 3 июня, 5 июня, 6 июня, 7 июня и 10 июня. Между записями 7 и 10 июня вставлено черновое письмо графу Д. Н. Блудову, посвященное тому же вопросу об освобождении крестьян и написанное в тревожном тоне. В своем Дневнике, в записи от 9 июня Толстой пишет: «Пришло в голову письмо Блудову о крепостных, которое набросал». Однако, неизвестно, было ли это письмо отправлено по адресу; по крайней мере, в Дневнике никаких дальнейших упоминаний о нем не встречается.

Есть также две записи в Записной книжке Толстого, связанные с «Дневником помещика»; первая из них не датирована; «Василий сказал, что Осип говорит, 10 р. нельзя платить; один Резун согласен, в его понятиях мира нет». Другая запись помечена 8 июня и имеет непосредственное отношение к записи «Дневника помещика» от 10 июня, в которой условия крестьянской сходки сравниваются с условиями детской игры: «У детей бывают игры, в которых

условия неясны, даже противоречащи, но игра идет и все согласны; мы игрывали в зайца, гончие выгоняли зайца, но не имели права его словить; спрашивается, зачем же он бежал от них на борзых. Так и условия сходки, мира.. не ясны, противоречащи, нелогичны, потому что им только играть приходится, а в заправду не выдержать».

«Дневник помещика» в настоящем издании печатается впервые, кроме письма к гр. Д. Н. Блудову, опубликованного во вступительной статье М. А. Цявловским в книге «Л. Н. Толстой. Избранные произведения». Изд. Гиза. М.—Л. 1927, стр. 11—13.

В связи с проектом Толстого об освобождении яснополянских крестьян, считаем необходимым привести некоторые сведения, касающиеся Ясной поляны.

Сельцо Ясная поляна находится в Крапивенском уезде Тульской губернии, в 17 километрах от Тулы. Название свое оно получило оттого, что расположено на опушке громадного заповедного леса, так называемой *Засеки*, служившей в XV—XVI веках естественной преградой, охранявшей границу Московского государства от набегов крымских татар. Ясная поляна была приобретена в середине XVIII века прадедом Толстого князем Сергеем Федоровичем Волконским и в род Толстых перешла от матери Л. Н. Толстого, графини Марии Николаевны Толстой, урожденной кнж. Волконской. Во владение Л. Н. Толстого она поступила по Раздельному акту, составленному 11 апреля 1847 г. и тогда же утвержденному Тульской палатой гражданского суда; согласно этому акту, всё наследство, полученное Толстыми от родителей и заключавшееся главным образом в именьях, населенных крепостными крестьянами и расположенных в Крапивенском, Чернском, Богородицком и Белевском уездах Тульской губернии и в Суджанском уезде Курской губернии, было разделено приблизительно поровну между четырьмя братьями: Николаем, Сергеем, Дмитрием и Львом; сестра их, М. Н. Толстая, получила вдвое меньше земли и крестьянских «душ», сравнительно со своими братьями, но за то разница отчасти компенсировалась различным движимым имуществом, в числе которого было, например, фамильное серебро, целиком перешедшее в ее владение. Пункт *г* Раздельного акта следующим образом определяет наследственную долю Л. Н. Толстого: «Графу Льву принять Крапивенского уезда с-цо Ясную Поляну, за исключением отдаваемых брату Графу Николаю из сего сельца без земли дворовых людей трех душ, остальные двести тридцать три; деревню Ясенки семнадцать, деревню Ягодную тридцать восемь, деревню пустошь Мостовую осьмнадцать и Богородицкого уезда деревню Малую Воротынку двадцать две – и получить от брата, Графа Николая написанных по 8-й Ревизии в принимаемом им Чернского уезда селе Никольском дворовых людей без земли, именно: первого Илью Евдокимова, второго сына его Федора Ильина с женою его Варварою и вновь рожденным сыном Васильем, а всех дворовых людей и крестьян по 8-й ревизии мужского пола триста тридцать душ, с прибылыми и убылыми после оной, со всею к ним принадлежностью, с Господским Домом, всяким Господским крестьянским строением, заведениями, имуществом, хлебом, скотом и птицею, как выше пояснено, с тысячью четырьмя стами семидесятью десятинами разного качества земли, в числе коих лесных дач сто семьдесят пять десятин, и со всеми угодьями; в дополнение же выгод получить ему от братьев деньгами от Графа Сергия тысячу пятьсот рублей и от Графа Николая две тысячи пятьсот рублей серебром, как выше сказано».[355]

Общая стоимость всего полученного Толстыми наследства была определена в Раздельном акте в 187 320 рублей серебром; таким образом, на долю каждого из братьев приходилось приблизительно 40 000 руб. сер.; принимая во внимание размеры имений и количество душ, перешедших во владение каждого из наследников, такая оценка должна быть признана безусловно преуменьшенной и не соответствующей реальной стоимости полученного имущества.

Наследство, полученное Толстыми, было обременено значительными долгами, как частными, так и казенными; поэтому для того, чтобы освободить переходившие к ним именья от

[355] Приводим по подлиннику, хранящемуся в Государственном Толстовском музее.

лежавшего на них запрещения, наследникам пришлось продать значительную часть принадлежавшего им леса, для удовлетворения частных кредиторов; но и после этого на именьях остался казенный долг, в том числе и на Ясной поляне, которая была заложена в московском Опекунском Совете. Это обстоятельство служило одним из важнейших препятствий для задуманного Толстым освобождения принадлежавших ему крестьян, так как сильно осложняло эту операцию.

Упоминаемая в «Проекте условия с крестьянами» (стр. 248) деревня Грецовка почему-то совсем не названа в «Раздельном акте» братьев Толстых; по предположению С. Л. Толстого, деревня эта, повидимому, представляла собой выселки Ясной поляны: на это указывает сохранившаяся до позднего времени память о родственной связи между жителями обоих селений, а также то обстоятельство, что в упомянутом «Проекте» крестьяне этой деревни (названной здесь хутором) объединены в одно целое с крестьянами Ясной поляны, между тем как в нем вовсе не упомянуты другие деревни, принадлежавшие Л. Н. Толстому (Ясенки, Ягодная, Мостовая, Мал. Воротынка). Грецовка находится в 10 верстах от Ясной поляны, по Киевской дороге, в местности, где начинается полоса, так называемого, деградированного чернозема, служащего переходом к тучным почвам южной части Тульской губернии. Судя по отрывку «Лето в деревне» (1858), всё население Грецовки, в количестве 10 тягол, состояло на оброке, причем, в виду лучшего качества обрабатываемой земли, платило более высокий оброк (36 р.), чем жители Ясной поляны (26 р.)

В «Дневнике помещика» приведен целый ряд имен яснополянских крестьян. С. Л. Толстой, заставший еще многих из них в живых и хорошо знавший потомков упомянутых лиц, любезно сообщил о них следующие сведения:

Староста Василий – это Василий Ермилин Зябрев, бывший одно время бурмистром, а впоследствии волостным старшиной; он принадлежал к одному из наиболее зажиточных и уважаемых семейств среди яснополянских крестьян; у отца его, Ермилы Зябрева, было три сына, рослых и сильных (из них Тит был настоящий красавец), которые долго не разделялись и жили в согласии и довольстве; возможно, что именно эту семью имел в виду Толстой при изображении семьи Дутловых в «Утре помещика».

Осип Наумов – зажиточный крестьянин-пасечник, муж кормилицы Толстого; одно время он также был бурмистром в Ясной поляне; он дожил до глубокой старости; Толстой иногда захаживал к нему и ценил его умную беседу. Сын его Петр (может быть, ученик Толстого) был хорошо грамотен, любил читать и сам собрал небольшую библиотечку; он отличался скептическим и материалистическим складом ума.

Резун, плотник, – повидимому, Сергей Резунов, бойкий и самостоятельный мужик, с задорным характером, отличавшим также и его сыновей; из них один, Семен, ученик Толстого, впоследствии в драке сломал руку своему отцу.

Владимир Фоканов; его сын Семен был сельским старостой.

Яков – вероятно, сын Андрея Ильича Фролкова, бывшего долгое время бурмистром в Ясной поляне.

Матвей Егоров; его племянник, Филипп Егоров, был кучером у Толстых и одно время управляющим Ясной поляны.

Мороз – очевидно, кто-либо из числа Морозовых; но эту фамилию в Ясной поляне носят несколько семейств, так что трудно решить, к кому именно относится упоминание в «Дневнике помещика».

Данила – из зажиточной семьи Ореховых. Что касается до упоминаемого в «Дневнике помещика» Власа, то о нем С. Л. Толстой мог сообщить только, что у него был сын Прокофий, бедный и малосильный мужик, которому Толстой помогал не только материально, но также и своей работой.

Кирилл, Анисимов брат – из семьи яснополянских крестьян Воробьевых, ныне носящих фамилию Деевых; их было три брата: Анисим, Евдоким и Кирилл; последний умер молодым и бездетным (сообщено И. В. Ильинским).

Грумант – название деревни-хутора в 3 километрах от Ясной поляны у опушки казенного леса – Засеки; сюда дед Толстого, князь Николай Сергеевич Волконский, выселил несколько дворов крестьян и назвал эти выселки Грумантом, воспользовавшись древне-русским названием Шпицбергена, памятным ему со времени его пребывания в Архангельске, в качестве губернатора (при Павле I).

Арковский верх – название местности в окрестностях Ясной поляны; «верхом» или «вершиной» в Орловской и Тульской губерниях называют овраги, в особенности у того места, где только начинается провал.

–

[ПРОЕКТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ.]

Осенью 1857 года, после возвращения из своего первого заграничного путешествия, Толстой поселился в Ясной поляне и занялся сельским хозяйством в своем имении. Он несколько раз отмечает за это время в Дневнике, что хозяйство «сильно втягивает» его, и даже выражает опасение, как бы это занятие не втянуло его незаметно «в крепостную колею» (26 августа). Может быть, в связи с этими опасениями стоит и его план сократить полевое хозяйство, переведя крестьян на оброк, и сосредоточить свое внимание преимущественно на использовании лесных угодий и на разведении лошадей. 12 сентября Толстой пишет в Дневнике: «Перемена хозяйства заключается в том, что крестьяне на оброке и главные статьи: лес и луга для выкормки лошадей».

Но интерес к лесному делу не ограничился у Толстого узкими рамками собственного хозяйства: он привел его к постановке некоторых общих вопросов, касающихся разведения лесов, в применении к местным условиям. В Записной книжке Толстого сохранилось несколько отдельных заметок, касающихся этих вопросов; заметки эти, набросанные, очевидно, для памяти, очень лаконичны и не связаны между собой, благодаря чему смысл их не всегда вполне ясен; как большинство заметок в Записной книжке они датированы и, судя по ближайшим датам, относятся к концу сентября и началу октября 1857 года. Так как заметки эти имеют непосредственное отношение к составленному Толстым проекту по ведению лесного хозяйства в России, то приводим их полностью:

«Леса нейдут – почему?

«Не сажают и не имеют средств, деньги платят. Для дуба глини[стая] [?] пахатная земля.

«Там где засаждение природное, оставляется в ведении Лесничих на их ответственности.

«Я прошу право на 3 года решить на всю Россию и с весны на Тульскую засеку. Кроме вновь срубленных и старые участки

.....

«Проект о лесном хоз[яйстве] вообще. Сделать его вольнооткупным. Три процесса с откупов: сруб, засаждение и прорубка.

«Предлож. обд. Т[ульской] Губ[ернии]

«Засаждение на 6 лет не выкорчев. год на резко [?] и год сажен. процент $^{1}/_{30}$.

«Выгоды: 1) 9 р. с. обработки; 2) уменьшение леснич[их]; 3) истребление дурн[ых] пород, колья; 4) столкновение част[наго] с Правит[ельственным]; 5) образование лесничих; 6) со временем – статья дохода. Невыгоды незасаждения – залоги. Удлинение оборота $^{1}/_{30}$. Пропашка. Особая плата. И мне только выгодно сделать, имеющему хозяйство.

«Вопросы: Когда вступается лесничее ведомство. Ежели по посадке, то без залогов. Какие породы? Какая посадка? По скольку? Чьи семена? Я желаю казенные, как имеющ. средство, или ограждения».

Приведенные заметки представляют собой как бы краткий набросок того проекта по улучшению лесного хозяйства в России, который Толстой изложил в форме докладной записки, представленной им в Министерство госуд. имуществ, в ведении которого находились громадные казенные леса, в том числе и так наз. «Тульские засеки», расположенные вблизи Ясной поляны. Эксплоатация этих лесов и главным образом лесонасаждение на сведенных участках происходили, по мнению Толстого, нерационально и невыгодно для казенных интересов; в целях упорядочения этого дела Толстой и решил выступить со своим проектом. Какое значение он придавал ему, видно из того, что для ускорения дела он решил сам съездить в Петербург и лично представить проект свой министру. В самый день приезда в столицу, 22 октября 1857 года, он побывал в Министерстве, о чем и записал в Дневнике: «Утро к Мини-

стру, видел Зеленого и почему то смутился». Упоминаемый здесь Зеленой, Александр Алексеевич (1818—1880), генерал-майор, был в это время товарищем министра государственных имуществ. На следующий день, 23 октября Толстой записывает: «Опять Зеленый. Дѣло туго идетъ». Еще через несколько дней, 29 октября: «Застал министра. Плохо успел поговорить о деле». Министром государственных имуществ был в это время (1857—1862) известный Михаил Николаевич Муравьев (1796—1866), впоследствии граф, усмиритель польского восстания 1861—1863 гг. (Муравьев – «вешатель»). Свидание с министром, повидимому, не дало никаких положительных результатов, и на другой день, 30 октября Толстой уехал из Петербурга, оставив свой проект на рассмотрение министерства.

Никаких упоминаний об этом лесном проекте Толстого в его Дневнике в дальнейшем не встречается, но в архиве Толстого, хранящемся во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина, сохранилась «Выписка из утвержденного г. Министром журнала специального по Лесной части Комитета от 17 января 1858 года». Эта выписка, очевидно, присланная Толстому из Министерства государственных имуществ, представляет собой ответ министерства на предложенный Толстым проект нового порядка лесонасаждения в казенных лесах. Оно содержит в себе общий критический разбор этого проекта и стремится доказать, что предлагаемый Толстым порядок является невыгодным для казны. В этой выписке говорится между прочим: «При господствующем 90-летнем обороте рубки и при стоимости лесной десятины в среднем в 150 рублей, ценность однодесятинного годового прироста определится в 1 руб. 66 коп., а за 6 лет – 9 руб. 96 коп. За 470 вырубаемых ежегодно в Тульской губернии десятин это дает 4681 руб. 20 коп., между тем как расходы казны на культуры равняются 2901 руб. 91 коп.; таким образом при бесплатной сдаче казна терпит убыток на каждой десятине. Самый способ, предлагаемый графом Толстым, не может повести к верному успеху: очистка лесосек наголо принесет более вреда, чем пользы, потому что с уничтожением пней и корней не будет естественного подседа на случай неудачных посевов. Кроме того, кустарники дают защиту молодым растениям от солнца и ветра… Обязательство предпринимателя сдать в казну по истечении 7 или 9 лет лесосеку, засаженную 3-летними саженцами или годовыми сеянцами мало обеспечивается его залогом, так как по росту этих насаждений еще нельзя судить об их благонадежности в будущем. И если даже можно подсадку произвести за счет залога, то всё-таки 9-ти летний прирост на этих участках будет для казны навсегда потерян».

Получив это отношение Лесного комитета, Толстой, повидимому, решил выступить со своими возражениями, которые он изложил в форме письма к товарищу министра государственных имуществ А. А. Зеленому. В этом письме он доказывал, что критические замечания против его проекта несущественны, и развивал свою основную мысль, что современный способ ведения лесного хозяйства представляет собой чистый убыток для казны и для всего государства. Такое положение тем более непонятно, что в частных руках леса являются источником верного дохода. Причина же убыточности, по мнению Толстого, заключается в самой системе государственной монополии, системе «вредной и безнравственной», основанной «не на знании дела, не на коммерческом обороте, а на власти». Развивая свою мысль о необходимости передачи лесного хозяйства в частные руки, Толстой предлагает образование особой Компании для ведения этого дела, действующей на основании специально выработанного устава и подчиненной контролю правительства. «Главным условием должно быть обязательство со стороны Компании не пользоваться землею после известного срока по срубке ни как покосом, ни как полем. Тогда разведение лучших, нужнейших в краю и полезнейших пород леса будет составлять выгоду промышленника. Не говорю о громадных выгодах для целого края, вытекающих из такого порядка, о выгодах финансовых для Казны и нравственных для всего государства в упразднении корпуса лесничих».

В дальнейшем Толстой хотел, повидимому, изложить подробнее условия работы предполагаемой Компании; однако он был, вероятно, чем-либо отвлечен или же вообще охладел к

своему проекту, так что письмо его к Зеленому не было послано и осталось в черновом виде в его бумагах.

Слух о лесном проекте Толстого дошел и до И. С. Тургенева, который писал 1/13 декабря 1857 года из Рима П. В. Анненкову: «Удивили вы меня известием о лесных затеях Толстого! Вот человек! с отличными ногами непременно хочет ходить на голове. Он недавно писал Боткину письмо, в котором говорит: «Я очень рад, что не послушался Тургенева, не сделался только литератором». В ответ на это я у него спрашивал – что же он такое: офицер, помещик и т. д.? Оказывается, что он – лесовод. Боюсь я только, как бы он этими прыжками не вывихнул хребта своему таланту; в его швейцарской повести уже заметна сильная кривизна. Очень бы это было жаль, но я всё таки еще крепко надеюсь на его здоровую природу» (П. В. Анненков. «Литературные воспоминания». Спб. 1909. Стр. 500). К самому же Толстому Тургенев писал из Рима 17/29 января 1858 года: «Вы были бы правы, если бы, предлагая Вам быть только литератором, я ограничил значение литератора одним лирическим щебетаньем, но в наше время не до птиц, распевающих на ветке. – Я хотел только сказать, что всякому человеку следует, не переставая быть человеком, быть специалистом; специализм исключает диллетантизм – (извините все эти «измы») – а диллетантом быть – значить быть бессильным. До сих пор в том что Вы делали – всё еще виден диллетант, необычайно даровитый, но диллетант; мне бы хотелось видеть вас за станком, с засученными рукавами и с рабочим фартуком» («Толстой и Тургенев». Переписка. Редакции и примечания А. Е. Грузинского и М. А. Цявловского. М. 1928. стр. 44).

«Проект по лесному хозяйству» изложен в форме предложения на имя Министра государственных имуществ М. Н. Муравьева. Сохранились две рукописи, обе писанные одинаковым крупным и красивым канцелярским почерком:

А) более ранняя, с поправками, рукою самого Толстого и с его собственноручной подписью: Граф Лев Толстой;

Б) более поздняя, в которую вошли указанные выше авторские поправки, но которая снова подверглась исправлениям, вписанным автором между строк, и дополненная пунктом 10, которого в более ранней редакции не имелось вовсе; подпись: «Граф Лев Толстой» в этой рукописи зачеркнута, но зато поставлена дата: «28 октября 1857 года, С. Петербург». Обе рукописи хранятся в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. *(Папка XVI. 2.)*

Обе рукописи писаны на отдельных полных листах писчей бумаги лучшего качества: каждая из них занимает два полных листа, сшитых вместе, всего 8 ненумерованных страниц. На полях 2-й, более поздней редакции вписаны неизвестной рукой критические замечания по поводу каждого отдельного пункта предлагаемого проекта, – вероятно кем-либо из служащих Лесного департамента, которому было поручено рассмотрение этого проекта.

В настоящем издании «Проект по лесному хозяйству» печатается впервые, по исправленной и дополненной рукописи *Б.*

–

IV.
ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ.

Время написания отрывка определяется записями Дневника Толстого: 22 июня 1858 года Толстой занес в него: «Приходит мысль описать нынешнее лето. Какая форма выйдет?» Летом этого года Толстой с увлечением занимался сельским хозяйством в своей Ясной поляне, как об этом свидетельствуют неоднократные замечания в его Дневнике и в его письмах к друзьям, напр., к Фету. За несколько дней до приведенной выше записи, 19 июня, он писал в Дневнике: «Не пишу, не читаю, не думаю. Весь в хозяйстве». На время все другие интересы отступили на второй план, в том числе и литературные. Однако, под влиянием накопившихся у него впечатлений и наблюдений над деревенской жизнью и крестьянским бытом, над сельско-хозяйственными условиями и отношениями, накануне их решительного перелома, у него явилась мысль подвести некоторые итоги этим наблюдениям.

Повидимому, Толстого более всего интересовал вопрос о взаимных отношениях, установившихся в это время в деревне между крестьянами и помещиками, и о связанных с этими отношениями настроениях обеих сторон. В этих отношениях и настроениях чувствовалась напряженность, столь характерная для послевоенного периода, усиленная толками о предстоящей реформе и приводившая ко взаимным неудовольствиям и столкновениям. У самого Толстого было этим летом, во время сенокоса, какое-то недоразумение с крестьянами, о котором довольно смутно говорится в записях Дневника от 19 и 20 июня. Но на этот раз Толстого, повидимому, остановила трудность подыскания соответствующей литературной формы, и мысль об описании деревенского лета была на время оставлена.

Он вернулся к ней уже осенью, во время своего пребывания в Москве. 15 сентября в Дневнике говорится: «Обещал Коршу описание лета; но узость задачи претит мне». На следующий день: «Описание лета не пойдет». Упоминаемый здесь Корш, Валентин Федорович (1828—1883), известный литератор и журналист, бывший в то время редактором «Московских ведомостей» (1856—1862). Очевидно, он просил Толстого дать ему статью для «Литературных прибавлений» к газете, но затем дело почему-то расстроилось. 20 сентября Толстой возвратился в Ясную поляну и в тот же день начал писать задуманное еще в июне «Лето в деревне», судя по отметке на заглавном листе рукописи; однако никакого упоминания об этой работе в Дневнике не встречается; повидимому, написав начало задуманного произведения, Толстой оставил его, чтобы уже никогда более к нему не возвращаться.

Рукопись, автограф Толстого, представляет собой разрозненные листки, в четвертку, вырезанные из той же переплетенной тетради, в которой затем была написана одна из редакций «Семейного счастия»; при вырезывании пострадали окончания слов на оборотных страницах. Всего в рукописи 6 ненумерованных листов, из которых на первом написано лишь заглавие и дата: «Ясная Поляна 1858 года 20 Сентября»; оборот последнего листа неисписан. Как на заглавном листе, так и в начале самого отрывка, заглавие: «Лето въ деревне» переделано довольно искусно из первоначального заглавия: «Бѣглецъ»; очевидно, тетрадь предназначалась для одного из вариантов кавказской повести Толстого, над которой он работал несколько лет, которая в рукописях и Дневнике носила различные наименования и которая впоследствии при напечатании была озаглавлена «Казаки». Рукопись хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. *(Папка XXI. 7.)*

«Лето в деревне», по своему замыслу, должно было отразить в себе личные впечатления автора, при его соприкосновении с деревенской жизнью. Поэтому автор не счел нужным сколько-нибудь замаскировать автобиографичный и субъективный характер задуманного им произведения. Он прямо вводит читателя в свое поместье – Ясную поляну, дает сведения о хозяйственном положении именья, о количестве крестьянских тягол, о размерах оброка,

выводит и характеризует действительных лиц из числа яснополянских дворовых; так, напр., в лице «нянюшки» Агафьи Михайловны, Толстой изобразил крепостную горничную своей бабки Пелагеи Николаевны, урожденной княжны Горчаковой; впоследствии Агафья Михайловна исполняла в Ясной поляне роль домоуправительницы и экономки; ее Толстой неоднократно изображал в своих произведениях: в «Детстве» в лице Натальи Савишны, в «Зараженном семействе» в лице Марьи Исаевны, в «Анне Карениной», где она под собственным именем выведена в лице старой няни и экономки Левина. Агафья Михайловна до глубокой старости прожила в доме Толстых в Ясной поляне, где она и скончалась в 1869 году (о ней см. «Воспоминания детства» Л. Н. Толстого и «Мои воспоминания» его сына Ильи Львовича). Также вполне реален и бурмистр Василий; это – Василий Ермилин Зябрев, несколько лет управлявший яснополянским имением и бывший впоследствии, уже после освобождения крестьян, сельским старостой.

Упоминаемое в отрывке «маленькое именье», это – сельцо Грецовка, в 10 километрах от Ясной поляны, доставшееся Толстому по семейному разделу в 1847 году.

Некоторую ошибку Толстой допустил в определении дня своего приезда из Москвы в Ясную поляну: он приехал в нее не 3 апреля, как сказано в отрывке, а в ночь с 9 на 10 апреля, как видно из записи дневника.

Упоминаемый в начале отрывка «рескрипт», это, конечно, рескрипт имп. Александра II от 20 ноября 1857 года, на имя виленского ген.-губернатора Назимова, впервые официально возвестивший о намерениях правительства приступить к решительному изменению крепостных отношений.

«Лето в деревне» впервые опубликовано А. М. Цявловским в книге: Л. Н. Толстой. «Избранные произведения», изд. Гиза. М.—Л. 1927, стр. 119—123.

–

V.
[ЗАПИСКА О ДВОРЯНСТВЕ.]

Время написания этой записки точно определяется записью Дневника Толстого, где под 12 декабря 1858 года значится: «Написал записку о дворянском вопросе и никому не показывая сжег ее». До нас дошел, очевидно, черновой набросок этой записки, случайно уцелевший от уничтожения. Рукопись, автограф Толстого, представляет собой кругом исписанный лист писчей бумаги (4 страницы), с многочисленными поправками и вставками; хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. *(Папка XVI. 8.)* Она не имеет никакого заглавия, но содержание ее позволяет с большой вероятностью приурочить ее к приведенной выше записи Дневника.

В настоящем издании «Записка о дворянстве» печатается впервые.

–

VI.
[РЕЧЬ В ОБЩЕСТВЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.]

28 января 1859 года Толстой, по предложению К. С. Аксакова, был избран, одновременно с И. С. Тургеневым, в число членов состоявшего при Московском университете Общества любителей российской словесности. Общество это было одно из самых старых литературных обществ в России (основано в 1811 году), но в течение большей части царствования Николая I оно бездействовало и только в 1858 г. возобновило свои заседания, в момент, ознаменованный общим подъемом русской общественной жизни. Ближайшими виновниками возрождения Общества и возобновления его деятельности были А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, М. А. Максимович и М. Н. Лонгинов. По мысли новых руководителей Общества, оно должно было служить делу сближения между русской литературой и русской общественностью. В одном из первых заседаний возобновленного Общества, 21 января 1859 г., временный секретарь его, М. Н. Лонгинов, произнес программную речь, посвященную выяснению общественного значения русской литературы и ее заслуг в деле морального и гражданского воспитания русского общества, распространения среди него либеральных идей и благородных стремлений. В частности он указал на громадное воспитательное значение, так называемой, обличительной литературы, вскрывавшей общественные язвы и пороки и боровшейся против тех условий, которые породили их и поддерживали их существование.

По примеру некоторых европейских ученых и литературных обществ, Хомяков, в качестве председателя Общества любителей российской словесности, ввел обычай, согласно которому всякий вновь избранный член должен был произнести речь на тему литературного характера; в свою очередь, сам председатель в таких случаях обыкновенно брал слово для ответа новому сочлену. Подчиняясь этому обычаю, Толстой в следующем же заседании Общества 4 февраля 1859 г. выступил с краткой речью, в которой он изложил свои взгляды на первенствующее значение художественного элемента в литературе. Избрание данной темы и самое содержание речи отнюдь не были чем-либо случайным, неожиданным, но явились отражением интересов и мнений Толстого, характерных для этого периода времени. Конец пятидесятых годов, когда всё русское общество переживало период общественного подъема, литературным отражением которого было развитие демократической литературы, насыщенной боевыми вопросами общественной жизни и борьбы, ознаменован у Толстого, вопреки господствующему настроению, увлечением идеей чистого, самодовлеющего искусства. В «Альберте», в «Люцерне», в «Сне» эта идея высокого, безотносительного значения искусства нашла себе художественное выражение; но она отразилась также в некоторых записях дневника и в письмах Толстого к друзьям, в особенности в письмах к В. П. Боткину, который в эту эпоху являлся его главным советчиком и арбитром по вопросам искусства и литературы. Так в письме к нему от 1 ноября 1857 г., описывая свои впечатления после возвращения на родину из заграничного путешествия, Толстой пишет: «Дружинин также умен, спокоен и тверд в своих убеждениях. Я все не заставал его и видел последним из всех наших общих знакомых. После Некрасовского мрака, Анненковской туманной подвижности и разных политических непрочувствованных излияний, я отдохнул у Дружинина. Вообще надо вам сказать, новое направление литературы сделало то, что все наши старые знакомые и ваш покорный слуга сами не знают, что́ они такое, и имеют вид оплеванных… Салтыков даже объяснил мне, что для изящной литературы теперь прошло время (и не для России теперь, а вообще), что во всей Европе Гомера и Гёте перечитывать не будут больше. Ведь всё это смешно, а ошалеешь, как вдруг весь свет уверяет, что небо черное, когда вы его видите голубым, и невольно подумаешь, хорошо ли сам

видишь». Под влиянием этого настроения, у Толстого даже явилась мысль о необходимости издания какого-нибудь сборника или даже журнала, который бы выступил в защиту чистого искусства. 4 января 1858 г. он писал тому же корреспонденту, в ответ на его обширное письмо из Рима, в котором Боткин излагает свои взгляды на современное состояние русской литературы, во многом совпадающие с точкой зрения самого Толстого: «У нас, т. е. в русском обществе, происходит небывалый кавардак, поднятый вопросом эманципации. Политическая жизнь вдруг неожиданно обхватила всех… Изящной литературе, положительно, нет места теперь для публики. Но не думайте, чтобы это мешало мне любить ее теперь больше, чем когда-нибудь. Я устал от толков, споров, речей и т. д.... У меня есть к вам серьезное дело. Чтò бы вы сказали в теперешнее время, когда политический грязный поток хочет решительно собрать в себя всё и ежели не уничтожить, то загадить искусство, чтобы вы сказали о людях, которые бы, веря в самостоятельность и вечность искусства, собрались бы и делом (т. е. самым искусством в слове) и словом (критикой) доказывали бы эту истину и спасали бы вечное, независимое от случайного, одностороннего и захватывающего политического влияния? Людьми этими не можем ли быть мы? Т. е. Тургенев, вы, Фет, я и все, кто разделяет наши убеждения. Средство к этому, разумеется, журнал, сборник, что хотите. Всё, что является и явится чисто художественного должно быть притянуто в этот журнал; всё русское и иностранное являющееся художественное должно быть осуждено. Цель журнала одна: художественное наслаждение, плакать и смеяться. Журнал ничего не доказывает, ничего не знает. Одно его мерило – образованный вкус. Журнал знать не хочет ни того, ни другого направления, и потому, очевидно, еще меньше хочет знать потребностей публики. Журнал не хочет количественного успеха. Он не подделывается под вкус публики, а смело становится учителем публики в деле вкуса, но только вкуса».

Хотя мысль об издании чисто-художественного журнала, мимоходом брошенная Толстым, не была осуществлена, да и едва ли была осуществима при господствовавшем в эту эпоху общественном настроении, однако самое зарождение ее в уме Толстого является чрезвычайно показательным. Не менее показателен также и сочувственный отзыв его о Дружинине, который в эту эпоху, на ряду с Боткиным, являлся наиболее видным представителем теории чистого искусства в русской критике; показателен также и тот факт, что именно к этим годам относится возникновение интимно-дружеских отношений Толстого к Фету, поэзия которого уводила общественное сознание от противоречий сознательной действительности, от вопросов общественной борьбы.

Взятая в такой перспективе, речь Толстого в Обществе любителей Российской словесности представляет собой сжатое резюме тех мыслей о значении и роли искусства в жизни человека и народа, которые сложились в эти годы в уме Толстого, и которые в отрывочных сентенциях мы встречаем во многих местах его Дневников и писем этого времени. Так, например, запись Дневника от 21 марта 1858 г. заключает в себе, в виде беглого намека, основную идею всей его речи: «Политическое исключает художественное, ибо первое, чтобы доказать, должно быть односторонне». В своем выступлении в Обществе любителей Российской словесности 4 февраля 1859 г. Толстой только развил эту мысль и придал ей ясное и законченное выражение.

Некоторые подробности об этом заседании мы находим в протоколе, напечатанном в «Московских ведомостях» № 59 от 10 марта 1859 года:

«1859 года, февраля 4-го дня, под председательством А. С. Хомякова и в присутствии гг. Действительных Членов: С. А. Маслова, М. П. Погодина, С. П. Шевырева, Н. Ф. Павлова, А. Ф. Томашевского, М. А. Максимовича, А. Ф. Вельтмана, И. С. Аксакова, П. А. Бессонова, М. Н. Лонгинова, Ф. Б. Миллера, С. А. Соболевского, Н. В. Сушкова, В. М. Ундольского, С. М. Соловьева, П. И. Бартенева, Н. Ф. фон Крузе, И. В. Селиванова и графа Л. Н. Толстого, Общество имело свое обыкновенное 5-е заседание, в котором происходило следующее:

1. Прочтен и подписан протокол 4-го заседания Общества, бывшего 24-го января с. г.

2. Вновь избранные члены: И. В. Селиванов, граф Л. Н. Толстой, Н. Ф. фон Крузе и С. М. Соловьев произнесли речи, в которых выразили признательность Обществу за свое избрание. Кроме того в сих речах И. В. Селиванов изложил взгляд свой на так называемую обличительную литературу и на необходимость ее в известные времена народной жизни. Граф Л. Н. Толстой коснулся вопроса о преимуществах художественного элемента в литературе над всеми ее временными направлениями; И. Ф. фон Крузе представил несколько мыслей о значении слова в развитии общества; С. М. Соловьев указал на появление обличительной литературы в две разные эпохи общества: эпоху возрастания и эпоху упадка.

После приветствий, сказанных г. Председателем новым Членам и продолжительной беседы, в которой, кроме г. Председателя и вышепоименованных Членов, принимали участие и делали свои замечания и другие Члены, Общество положило: а) речи Действительных Членов И. В. Селиванова, графа Л. Н. Толстого и Н. Ф. фон Крузе, представленные ими письменно, напечатать в будущем издании Общества, и б) просить С. М. Соловьева изложить на письме сделанные им замечания, для напечатания тех и других вместе с упомянутыми выше речами».

Из вышеприведенной выдержки из протокола видно, что речи, произнесенные вновь избранными членами Общества в заседании 4 февраля, касались главным образом вопроса о сравнительном значении важности чисто-художественного и политического элемента в литературе, причем Толстой подчеркивал преимущественное значение первого, в то время как все другие ораторы сосредоточили свое внимание на втором, в их понимании обличительном. Его же коснулся в своей ответной речи Толстому и председатель Общества А. С. Хомяков, выступивший в защиту законности и важности обличения в литературе. «Права словесности, служительницы вечной красоты, не уничтожают прав словесности обличительной, всегда сопровождающей общественное несовершенство, а иногда являющейся целительницей общественных язв. Есть бесконечная красота в невозмутимой правде и гармонии души; но есть истинная, высокая красота и в покаянии, восстанавливающем правду и стремящем человека или общество к нравственному совершенству». (Сочинения А. С. Хомякова. Москва. 1900. Т. III, стр. 418.)

Постановление Общества относительно напечатания произнесенных в его заседаниях речей, в том числе и речи Толстого, не было приведено в исполнение, не по вине Общества, а вследствие того, что правительство не разрешило печатания «Трудов» Общества без предварительной цензуры, т. е. лишило его права, которое оно имело еще по своему первому Уставу 1811 г. В виду такого умаления своих прав, Общество постановило временно воздержаться от издания своих трудов и таким образом речь Толстого осталась не опубликованной. В настоящем издании она печатается по сохранившейся копии, писанной писарской рукой, с исправлениями, сделанными самим автором. Рукопись занимает 2 листа писчей бумаги обыкновенного формата, и хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. *(Папка XXII. 8.)* Впервые «Речь в обществе любителей Российской словесности» была напечатана в издании «Федерации»: «Лев Толстой. Неизданные художественные произведения», со вступительными статьями А. Е. Грузинского и В. Ф. Саводника. М. 1928, стр. 247—250.

–

УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН.

В настоящий указатель введены имена личные и географические; названия исторических событий (войн, сражений, революций и т. п.), учреждений, издательств; заглавия книг, названия статей, журналов, газет, произведений литературы, живописи, скульптуры, музыки; имена героев художественных произведений как других писателей, так и самого Толстого, когда он упоминает их не в тех произведениях, где они выведены. Знак ‖ означает, что цыфры страниц, стоящие после него, указывают на страницы текста не Толстого.

Ааргау – см. Арговия.

Аваны – см. Avants.

Агафья Михайловна (1812—1896) – няня Толстого и его братьев, а затем экономка в Ясной поляне – 263, 264, ‖ 352.

Аксаков, Иван Сергеевич (1823—1886) – писатель-публицист славянофильского направления, издатель «Дня» и «Руси» – ‖ 362.

Аксаков, Константин Сергеевич (1817—1860) – писатель, один из основателей славянофильства – ‖ 355.

Аксаков, Сергей Тимофеевич (1791—1858) – писатель, автор «Семейной хроники» – ‖ 290.

Александр II (1818—1881) – 257, 266—268, 270, ‖ 353.

Алжир – французская колония в северной Африке – ‖ 286.

Алье – см. Alières.

Английский клуб – старинный аристократический клуб в Москве – ‖ 358.

Англия – 182, 267.

Анненков, Павел Васильевич (1812—1887) – писатель-критик, биограф Пушкина – ‖ 318, 349, 356.

Анненков П. В. Литературные воспоминания. СПБ. 1910. ‖ 349. —

Арговия (Argovie) – один из северных кантонов Швейцарии, орошаемый рекою Аар, притоком Рейна; отсюда его немецкое название: Aargau – 9, 15, ‖ 282, 285.

Аргун – правый приток Сунжи, притока Терека – ‖ 234.

Аристархова – бумажная фабрика.

Арковский верх – местность бл. Ясной поляны – 251. См. также слово «верх».

Арсеньева, Валерия Владимировна (1836—1909), по первому мужу Талызина, по второму Волкова – знакомая и соседка Л. Н. Толстого – ‖ 304.

Архангельск – портовый город на Сев. Двине – ‖ 346.

«Архив села Карабихи» – письма Н. А. Некрасова и к Некрасову. Примечания Н. С. Ашукина. Изд. К. Ф. Некрасова. М. 1916. – ‖ 290—292.

Аудиториат – Военный суд до введения Воинского устава 1874 года – 238.

Африка – 23, 24.

Ахалцык – город в турецкой Армении, взятый русскими войсками штурмом 15 августа 1828 г. – ‖ 318.

Баден-Баден – курорт в южной Германии – 119, 120.

Базель – большой торговый город в северной Швейцарии, на Рейне – 15, ‖ 283.

Байрон, лорд Джордж-Гордон (1788—1824) – английский поэт – ‖ 320.

Бартенев, Петр Иванович (1828—1912) – историк, издатель «Русского архива» – ‖ 357.

Белбек – река в Крыму, протекающая в окрестностях Севастополя. – «Белбекская мельница» – 185.

Белевский уезд, Тульской губ. – ‖ 344.

Белинский, Виссарион Григорьевич (1811—1848) – критик – || 287.

Беллини, Винченцо (1801—1835) – итальянский композитор – 39 (опера «Сомнамбула»).

Берио, Шарль-Огюст (1802—1870) – французский скрипач – 159.

Берлин – 56, 192.

Берн – столица Швейцарской республики – 207, || 316.

Бернский Оберланд – высочайший горный массив Центральных Альп, с вершинами: Юнгфрау (4167 *м*), Менх (4106 *м*), Финстераархорн (4275 *м*) и др. – 207, || 316.

Бессонов, Петр Алексеевич (1828—1898) – славист и исследователь народного творчества – || 357.

Бетховен, Людвиг (1770—1827) – немецкий композитор – 39, 70; соната Quasi una fantasia – 130.

«Библиотека для чтения» – журнал, выходивший в Петербурге и с ноября 1856 г. по ноябрь 1860 г. редактировавшийся А. В. Дружининым – || 300.

Бирюков, Павел Иванович – || 304.

Бирюков П. И. – «Биография Л. Н. Толстого», т. I, изд. 3. М. 1923 – || 304.

Блудов, граф Дмитрий Николаевич (1785—1864) – русский государственный деятель; в 1856 г. он был председателем департамента законов Государственного совета и президентом Академии наук – 255, || 338, 343.

Богородицкий уезд – Тульской губ. – || 344.

«Божественная Комедия» (Divina Commedia) – поэма итальянского поэта Данте Алигьери (1265—1321), написанная в 1300– 1318 гг. и состоящая из трех частей: Ад, Чистилище и Рай – 6.

Бозио, Анджелика (1824—1859) – итальянская певица. Умерла во время гастролей в Петербурге – 39, 159.

Бёме Эрих, «Leo Tolstoi und das Rigi-Lied» – || 285.

Боткин, Василий Петрович (1811—1869) – писатель и критик, автор «Писем из Испании» (1857) – || 278, 279, 281, 287—290, 293, 306, 307, 349, 357.

Брэддон, Мария-Елизавета (1837—1915) – английская романистка – || 322.

Валэ (Valais) – долина верхней Роны, от истоков до впадения ее в Женевское озеро; с обеих сторон она окаймлена цепью снеговых гор – 192, 195, 196, 199, 201.

Василий – см. Зябрев В. Е.

Вебер, Карл-Мария (1786—1826) – немецкий композитор – || 299 (опера «Фрейшюц»).

Вегис (Weggis) – деревня на северном берегу Фирвальдштетского озера, у подножия горы Риги – 15, 16.

Вельтман, Александр Фомич (1800—1870) – автор многочисленных романов и повестей романтического направления – || 357.

«Венецианский карнавал» – пьеса для скрипки Никколо Паганини – 160.

Верне (Vernex) – местечко близ Монтрё, с пристанью для пароходов – 194.

Виардо-Гарсиа, Полина (1821—1910) – певица, друг И. С. Тургенева – 39.

Виггер Иосиф – || 286.

«Вильгельм Телль» (1829) – опера Россини – 159.

Вильнёв – небольшой городок на восточном берегу Женевского озера, недалеко от впадения в него Роны – 194, || 322.

Влас – яснополянский крестьянин – 254, || 346.

Владимир – см. Фоканов В.

«Вниз по матушке по Волге» – 36.

Водский кантон – см. Vaud.

«Военный листок» – см. «Солдатский вестник».

Волкова – см. Арсеньева В. В.

Волконская, кж. Варвара Александровна – двоюродная сестра матери Л. Н. Толстого – || 300.

Волконский, кн. Николай Сергеевич (1753—1821) – дед Л. Н. Толстого – || 344.

Волконский, кн. Сергей Федорович (1715—1784) – прадед Л. Н. Толстого – || 344.

Воробьев, Анисим – яснополянский крестьянин. – || 346.

Воробьев, Евдоким – яснополянский крестьянин – || 346.

Воробьев, Кирилл – яснополянский крестьянин – 252, || 346.

Восточная война (1853—1856) – война России с Турцией, которую с 1854 г. поддерживали Франция и Англия; в 1855 г. к коалиции присоединилась и Сардиния. См. также Крымская кампания – || 336.

Вотье, г-жа – хозяйка пансиона в Монтрё – 195, 200.

Галахов, Александр Павлович (р. 1802 г.) – генерал-адъютант, С.-Петербургский обер-полицеймейстер – || 319.

Галахова, Надежда Александровна, по мужу Половцова – || 316—319.

Галахова, Софья Александровна, по мужу бар. Притвиц – || 316—319.

Галахова, Софья Петровна, рожд. Мятлева – || 316—319.

«Гамлет» – трагедия Шекспира – || 322.

Ганновер – город в северной Германии – || 287.

Гассман А. Л., «Das Volkslied im Luzerner Wiggertal und Hinterland» (1906) – || 285, 286.

«Das Rigilied «Vo Luzern uf Wäggis zue». Seine Entstehung und Verbreitung» (1908) – || 285—286.

Гейдельберг – город в вел. герц. Баденском, в Германии – 129, 132, 133.

Гёте, Иоганн-Вольфганг (1749—1832) – германский поэт – || 356.

Говарда – Троицкая бумажная фабрика – || 295.

Гоголь, Николай Васильевич (1809—1852) – || 323.

Гомер – легендарный греческий поэт, которому приписывалось создание «Илиады» и «Одиссеи» – || 356.

Гороховая – улица в Петербурге – 156, 166.

Государь император – см. Александр I.

Гофманские ночи – ночи в духе рассказов Эрнста-Теодора-Амедея Гофмана (1774—1822), немецкого писателя и музыканта – 151.

Гражданская Палата Тульского Окружного суда – || 342, 344.

Граф Тревский (comte de Trèves) – супруг принцессы Женевьевы Брабантской – || 320, 321.

Грейерц – см. Greyerz.

Грецовка – хутор Л. Н. Толстого, в 10 *км* от Ясной поляны – 248, 249, || 342, 345, 352.

Григорьев, Аполлон Александрович (1822—1864) – критик и поэт – || 299, 322.

Гриндельвальд – местечко в Центральных Альпах, у подножия Эйгера и Веттерхорна – || 317.

Грузинский, Алексей Евгениевич (1858—1930) – историк литературы – || 305, 327, 330, 349, 363.

Грумант – хутор в 3 *км* от Ясной поляны – 252, || 346.

Гусев, Николай Николаевич – 304.

Гусев Н. Н. – «Толстой в молодости». М. 1927 – || 304.

Давид – царь Иудейский, предполагаемый автор псалмов, песен, входящих в состав Псалтыри и составляющих часть книг так называемого «Ветхого завета» – 63.

Данила – см. Орехов Д.

Дело 14 декабря – восстание декабристов 14 декабря 1825 г. – || 318.

Дижон – город во Франции – || 288, 293, 295, 296.

Диккенс, Чарльз (1812—1870) – английский писатель – || 323.

«Для берегов отчизны дальной…» – стихотворение Пушкина – || 175, 311.

«Дон-Жуан» – опера Моцарта (1787 г.) – 40, 155, 166.

Доницетти, Гаэтано (1797—1848) – итальянский оперный композитор – 39 (опера «Лючия»).

Дружинин, Александр Васильевич (1824—1864) – писатель и критик – || 300, 361, 362.

Дюс (Дюссо) – содержатель ресторана в Петербурге – 147.

Европа – 256, || 356.

Егоров, Матвей – яснополянский крестьянин – 250, || 346.

Егоров, Филипп – яснополянский крестьянин – || 346.

Екатерина II (1729—1796) (с 1762 г.) – 267.

Елена Павловна (1806—1873) – жена в. кн. Михаила Павловича – 217, || 323.

Ергольская, Татьяна Александровна (1792—1874) – троюродная тетка Толстого, в 1850—70-х гг. жившая с ним в Ясной поляне – || 338.

Ефремов – уездный город Тульской губ. – || 289, 298.

Жаман – см. Jaman.

Жаманский зуб (Dent de Jaman) – горная вершина (1878 *м*) в 12 *км* к северу от Монтре – 196, 198, 200, 201.

Жданов, Владимир Александрович – || 304.

Жданов В. А. – «Любовь в жизни Льва Толстого», кн. I. М. 1928 – || 304.

Жемчужников, Лев Михайлович (1828—1912) – живописец и гравер – || 288.

Женева – город во французской части Швейцарии, на юго-западном берегу Женевского озера – 193, 209, || 316, 318.

Женевское озеро – обширное озеро в юго-западной части Швейцарии (франц. – le lac Léman) – 193, || 316, 320.

Женевьева – принцеса Брабантская – 207. Средневековая легенда о ней – || 320.

Жуковский, Василий Андреевич (1783—1852) – поэт и переводчик – || 320.

Заанская долина – долина реки Зааны (Saane, по-франц. Sarine, см. это слово) – 211.

Засека – см. Тульская засека.

Зеленой, Александр Алексеевич (1818—1880) – товарищ министра государственных имуществ – || 348.

«Золотая легенда» (Legenda aurea) – сборник рассказов XIII века фантастического и поучительного содержания – || 321.

Зябрев, Василий Ермилович – яснополянский крестьянин и староста – 249—254, 263, 264, || 338, 345, 352.

Зябрев, Ермил – яснополянский крестьянин – 264.

Излер – содержатель заведения искусственных минеральных вод в Новой деревне, близ Петербурга. – 36.

«Илиада» – поэма Гомера – || 322.

Ильинский, Игорь Владимирович – || 346.

Индия – 24, || 283.

Инкерман – урочище в Крыму; на Инкерманских высотах во время осады Севастополя были расположены позиции англичан. – 24 октября 1854 г. здесь произошло неудачное для русских сражение. – 185.

Интерлакен – местечко в центральной Швейцарии, между Бриенцким и Тунским озерами, у подножия Бернских Альп – 14, 15, 207, 211, || 316.

Италия – 14, 17, 55, 62, 154, 166.

Кабилия – область в Алжире – || 286.

Кабилы – воинственное арабское племя, живущее в Алжире – 23.

Кавелин, Константин Дмитриевич (1818—1885) – либеральный публицист, ученый – || 332, 339, 340.

Кавелин – Записка об освобождении крестьян в России (1855) – || 337.

Кавказ – || 348.

Карамзина, Елизавета Николаевна (1821—1891) – младшая дочь историографа Н. М. Карамзина – || 316, 317, 319.

Карцевский С. (Женева), письмо в Гл. редакцию – || 286.

Катков, Михаил Никифорович (1818—1887) – писатель-публицист консервативного направления, редактор «Московских ведомостей» (с 1863 г.) и «Русского вестника» (с 1856 г.). – || 306, 307.

Кетерер – хозяин пансиона, в котором жил Толстой в Кларане – 192, 193, || 316, 319.

Киевская дорога – большая дорога от Москвы до Киева, проходящая близ Ясной поляны – || 345.

Кизеветтер, Георг – скрипач в оркестре Петербургской оперы – || 287, 288.

Кинд, Иоганн-Фридрих (1768—1843) – немецкий поэт, автор либретто к «Фрейшюцу» – || 299.

Кирилл – см. Воробьев К.

Китай – 25, || 286.

Кларан – местечко на сев.-восточном берегу Женевского озера – 192, || 316—319.

Клин – уездный город Московской губ. – || 300.

Кокорев, Василий Александрович (1817—1889) – откупщик-миллионер – || 355, 358.

«Корсар» – балет в 4 действиях Сен-Жоржа и Мазилье – 225.

Корш, Валентин Федорович (1828—1883) – литератор и журналист, редактор «Московских ведомостей» (1856—1862) и «Петербургских ведомостей» (1863—1875) – || 351.

Корш, Евгений Федорович (1810—1897) – журналист – || 331.

Кошелев, Александр Иванович (1806—1883) – общественный деятель и писатель-публицист славянофильского направления, издатель «Русской беседы» (1856—1860) – || 356.

Крапивенский уезд – 243, 245, 247, 248, || 340, 344.

Крез (VI век до нашей эры) – Лидийский царь, имя которого стало нарицательным для обозначения несметно-богатого человека – 116.

Кремль московский – 231, || 331.

фон-Крузе, Николай Федорович (1823—1901) – в 1855—1859 гг. был цензором Московского цензурного комитета – || 358, 362, 363.

Крым – 187.

Крымская кампания – главный эпизод Восточной войны 1853—1856 гг. между Россией и Турцией, которую поддерживали Франция, Англия и Сардиния – 185, 187, || 336.

Кузнецкий мост – улица в Москве – || 310 (дом Татищева).

Лаблаш, Луиджи (1794—1858) – оперный певец, бас. В 1850-х гг. пел в Петербурге – 39.

Ланской, гр. Сергей Степанович (1787—1862) – русский государственный деятель, министр внутренних дел с августа 1855 г. до апреля 1861 г. – 245, 255, || 322, 341.

Левшин, Алексей Ираклиевич (1798—1879) – государственный деятель, при Ланском был товарищем министра внутренних дел – 247, 255, || 337, 338, 341, 342.

Леман – французское название Женевского озера: le lac Léman – 193.

Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814—1841) – 115 (строки из стих. «Парус»).

Лесной департамент – || 349.

Лесной комитет – при Министерстве Государственных имуществ – || 348.

Лонгинов, Михаил Николаевич (1823—1875) – библиограф и историк литературы – || 360, 362.

Люти Иоганн (1800—1869) – музыкант из Золотурна – II 286.

Люцерн – город в немецкой Швейцарии, на берегу Фирвальдштетского озера; крупный центр международного туризма – 3, 14, 21, 23, II 277—281, 285—286.

«Лючия-ди-Ламмермур» – опера Доницетти – 39.

Лялин В. – переводчик «Жалобы девушки» Шиллера – II 299.

Максим Иваныч (?) – 261.

Максимович, Михаил Александрович (1804—1873) – профессор русской словесности в Киевском университете – II 360, 362.

Малая Воротынка – деревня Богородицкого уезда, Тульской губ., принадлежавшая Л. Н. Толстому – II 344.

Малая Морская – улица в Петербурге – 48.

Мария Николаевна (1819—1876) – вел. княгиня, дочь Николая I, в первом браке за герцогом Максимилианом Лейхтенбергским, во втором браке (с 1855 г.) за гр. Григ. Алдр. Строгоновым (1823—1878) – II 279.

Маршошников, Николай Харлампиевич – 253.

Маршева – писчебумажная фабрика – II 309.

Маслов, Степан Алексеевич (1786—1879) – директор Московского общества сельского хозяйства – II 362.

Мейербер, Джиакомо (1791—1864) – оперный композитор – 39 (опера «Роберт-Дьявол»).

Мендельсон, Николай Михайлович – II V.

Меньшиков, светл. князь Александр Сергеевич (1787—1869) – русский государственный деятель; в первой половине Крымской кампании был Главнокомандующим действующей армии – II 355.

«Мертвые души» Гоголя – II 323.

Мещерская, кн. Екатерина Николаевна, рожд. Карамзина (1805—1867), супруга кн. П. И. Мещерского – II 316, 318, 319.

Мещерская, кж. Екатерина Петровна (1841—1879 г.) – дочь кн. П. И. Мещерского – II 316, 318, 319.

Мещерский, кн. Александр Петрович (р. 1837 г.), сын кн. П. И. Мещерского – II 316, 318, 319.

Мещерский, кн. Владимир Петрович (1839—1914), сын кн. П. И. Мещерского, литератор, издатель реакционной газ. «Гражданин» – II 319.

Мещерский, кн. Николай Петрович (р. 1829 г.) – сын кн. П. И. Мещерского – II 316, 318, 319.

Мещерский, кн. Петр Иванович (1801—1876) – отставной гвардии подполковник – II 316, 318, 319.

Милан – город в северной Италии; до присоединения Ломбардии к Итальянскому королевству в 1859 г. принадлежал Австрии – 198.

Миллер, Федор Богданович (1818—1881) – поэт-переводчик – II 362.

Милютин, Николай Алексеевич (1818—1872) – либеральный деятель крестьянской реформы; в 1857 г. он был директором Хозяйственного департамента, а в 1859—1861 гг. товарищем Министра внутренних дел – II 337, 339, 340.

Министерство внутренних дел – 246—248, II 338, 341, 342.

Министерство государственных имуществ – 242, 243, 259—261, II 348.

Министр внутренних дел – см. Ланской С. С.

Монтрё – местечко на сев.-восточном берегу Женевского озера, состоящее почти исключительно из гостиниц и вилл – 193, 195, 196, 198, 206, 207, II 319, 320.

Мороз – см. Морозовы.

Морозовы – яснополянские крестьяне – 254, ‖ 346.

Москва – 55, 61, 72, 115, 257, 266, 270, ‖ 290, 291, 300, 307, 330, 355—357.

Московская губерния – ‖ 356, 357.

«Московские ведомости» газета – осн. 1756, закрыта после Февральской революции. С 1875 г. реакционно-черносотенного направления – 214, ‖ 291, 351, 362.

Московский Толстовский Музей – ‖ 344.

Московский университет – ‖ 360.

Мостовая – деревня Крапивенского уезда, Тульской губ., принадлежавшая Толстому – ‖ 344.

Моцарт Вольфганг-Амедей (1756—1791) – немецкий композитор – 79, 87 (соната-фантазия), 155 (опера «Дон Жуан»), 227 (опера «Волшебная флейта»).

Муравьев, гр. Михаил Николаевич (1798—1866) – Министр государственных имуществ (1857—1861), Виленский ген.-губернатор (1863—1865), усмиритель Польского восстания 1861—1863 гг. («Муравьев-вешатель») – 259, ‖ 348, 349, 355.

Назимов, Владимир Иванович (1802—1874) – ген.-губернатор Виленский, Ковенский и Гродненский – ‖ 353, 355, 358.

Наполеон I (1769—1821) – французский император – 192, 256.

Наполеон III (1808—1873) – французский император – 23.

Наумов, Осип – яснополянский крестьянин – 249—252, 254, ‖ 345.

«Наяда и рыбак» – балет Перро – 221.

Неаполь – город в южной Италии; до 1861 г. – столица Королевства Обеих Сицилий – 23.

Негласный Комитет – для обсуждения мер по устройству быта крестьян (учрежд. 3 января 1857 г.) – ‖ 355.

Некрасов, Константин Федорович – издатель – ‖ 290.

Некрасов, Николай Алексеевич (1821—1877) – поэт и редактор «Современника» – ‖ 279, 280—292, 305, 338, 361.

Нёшатель (Neuchatel) – один из французских кантонов Швейцарии, расположенный в области Юрских гор, к северу от Водского кантона (см. Vaud) – 209.

Никитская – улица в Москве – 229.

Никитский монастырь – в Москве – 229.

Николай I (1796—1855) – 267, ‖ 3 360.

Ницца – город во Франции, на берегу Средиземного моря – ‖ 216.

«Новая Элоиза» – роман Ж. Ж. Руссо (1761) – ‖ 320.

Новикова – писчебумажная фабрика – ‖ 309, 333.

Общество любителей Российской словесности – 271, 273, ‖ 360, 362, 363.

«Одиссея» – поэма Гомера – ‖ 322.

Озеро четырех кантонов (Фирвальдштетское) – озеро в центральной Швейцарии, вокруг которого расположены четыре основных кантона, из которых образовалась Швейцарская республика (Люцерн, Швиц, Ури и Унтервальден) – 3, ‖ 281.

Опекунский Совет – правительственное учреждение, стоявшее во главе Московского Воспитательного дома; с 1808 г. при Опекунском совете существовала Ссудная казна, производившая ссудные операции под залог недвижимого имущества (имений, домов и проч.) – 243, 245—248, ‖ 341—343, 345.

Орехов Данила – яснополянский крестьянин – 252, 254, ‖ 346.

Орлов, кн. Алексей Федорович (1786—1861) – русский государственный деятель, с 1844 г. шеф жандармов и главный начальник III Отделения – ‖ 355.

Орловская губерния – ‖ 346.

Осберг и К° – магазин в Москве – ‖ 310.

Островский, Александр Николаевич (1823—1886) – писатель-драматург – 271.

Павел I (1754—1801) – || 346.

Павлов, Николай Филиппович (1805—1864) – писатель, автор «Трех повестей» (1835) и многочисленных критических и публицистических статей – || 355, 358, 362.

Павлов П. (псевдоним) – || 304, 305.

Памятник Льва – памятник в честь швейцарцев, павших при защите Тюльери 10 августа 1792 г.; памятник сооружен по модели датского скульптора Торвальдсена и изображает умирающего льва, пронзенного копьем – || 277.

Панаев, Иван Иванович (1812—1862) – писатель, с 1847 г. редактировал вместе с Некрасовым журнал «Современник» – || 281, 287.

Париж – 39, 180, 211, || 282, 285, 304, 357, 366.

Пекин – город в Китае – || 286.

«Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой» – СПБ. 1911 – || 279, 301, 306, 307.

Петербург – ныне Ленинград – 74, 115, 117, 119, 215, 255, 261, || 279, 290, 291, 294, 301, 334, 337, 340, 341, 343, 348, 349.

Петр I (1672—1725) – 267.

Пиквик – герой романа Диккенса «Записки Пиквикского клуба» – || 322.

Погодин, Михаил Петрович (1800—1875) – русский историк и литератор, профессор Московского университета – || 357.

Поливанов, Александр Константинович – см. Саша.

Поливанов, Константин Александрович (1816—1858) – Тарусский уездный предводитель дворянства – || 313.

Поливанова, Александра Романовна (1825—1865) – рожд. Любимова, супруга К. А. Поливанова – || 318.

Половцов, Иван Александрович (1842—1880) – || 319.

Притвиц, бар. Карл Карлович – || 319.

Пруссия – 258.

Прусский генерал – сожитель Толстого в пансионе Кетерера в Кларане – 190, || 319.

Пушкин, Александр Сергеевич (1799—1837) – 147, 175 («Для берегов отчизны дальной…»), 216 (начало 10 строфы VIII гл. «Евгения Онегина»), 219, 271, 294 (заключительные строки стих. «Чернь»), || 295, 311, 318.

Пущин, Иван Иванович (1798—1859) – декабрист, друг Пушкина – || 318.

Пущины: Михаил Иванович Пущин (1800—1869) – декабрист, и Марья Яковлевна Пущина – его жена – 193, 194, || 316—318.

Пыпин, Александр Николаевич (1833—1904) – историк русской литературы и общественности – || 291.

А. Н. Пыпин – «Н. А. Некрасов». СПБ. 1905 – || 291.

«Рассуждение о том, способствовало ли возрождение наук улучшению нравов» – Ж. Ж. Руссо (1749) – || 283.

Рандон (1795—1871) – маршал, французский военный и политический деятель, закончивший в 1857 г. покорение Алжира – || 286.

Революция (французская) – 256.

Резун – см. Резунов, Сергей.

Резунов, Семен Сергеевич – яснополянский крестьянин – || 348.

Резунов, Сергей – яснополянский крестьянин, плотник – 251—255, 257, 258, || 346.

Рейнера – бумажная фабрика – || 294.

Риги – горный массив на северном берегу Фирвальдштетского озера, высшая точка которого, Риги-Кульм, достигает высоты 1800 *м* над уровнем моря; с вершины Риги-Кульм открывается широкий вид на снежную цепь Альпийских гор – 3, 5, 10, 15.

Риги – см. Rigi Vaudais.

Рим – 180, || 349, 356.

«Роберт-Дьявол» – опера Мейербера – 39.

Роль (Rolle) – городок на сев. западном берегу Женевского озера – || 320.

Рона (Le Rhône) – река, берущая начало в горах центральных Альп и протекающая по долине Валэ до впадения в Женевское озеро, из которого она снова вытекает у гор. Женевы – 197, 198, || 320.

Россини, Джоакимо-Антонио (1792—1868) – итальянский композитор – 39 (опера «Севильский цирюльник»), 159 (опера «Вильгельм Телль»).

Росиньер (Rossinière) – большая деревня во Фрейбургском кантоне, на берегу Сарины – 207.

Россия – 207, 212, 215, 218, 239, 257, 262, 267, 268, || 347, 348, 356, 360, 361.

Ростовцев, Яков Иванович, граф (1803—1860) – умеренно либеральный деятель крестьянской реформы 1861 г. – || 323.

Рубини (1795—1851) – итальянский певец, «король теноров»; пел в Петербурге в 1844 г. – 39.

«Руммель и Голубцов. Родословный сборник русских дворянских фамилий». СПБ. 1886 – || 319.

«Русский вестник» – журнал, издававшийся с 1856 по 1887 г. М. Н. Катковым в Москве; в нем были напечатаны произведения Толстого: «Семейное счастье», «Казаки», «Война и мир» и «Анна Каренина» – || 306, 308, 314.

Руссо Жан-Жак (1712—1778) французский писатель и философ – || 283, 320.

Рябинин, Михаил Александрович (1814—1867) – || 316.

Саводник, Владимир Федорович – || 330, 363.

Савойские горы – часть Альпийского хребта, к югу от Женевского озера; высшая точка их – гора Монблан (4810 *м*), на границе Франции и Италии – 193, 201.

Савойя – французский департамент к югу от Женевского озера; до 1860 г. принадлежал Сардинскому королевству – 14, || 197.

Салтыков (Щедрин), Михаил Евграфович (1826—1889) – писатель – || 356.

Самарин, Юрий Федорович (1819—1876) – писатель славянофил и общественный деятель – || 358.

Сарина – см. Sarine.

Саша – Александр Константинович Поливанов (р. 1845 г.), 11-летний мальчик, сопровождавший Толстого в его путешествии по Швейцарии – 196—201, 203—211, 213, || 316, 317, 319.

«Сборник сведений о военно-учебных заведениях» – || 291.

Свод законов Российской империи – 246, 247, || 340, 341.

Севастополь – портовый город в Крыму; в Крымскую кампанию он подвергся 11-месячной осаде (сентябрь 1854 г. – август 1855 г.) союзных армий – 19, 164, 185, 188, 190, 288, 332.

«Северная пчела» – политическая и литературная газета реакционного направления, издававшаяся в 1825—1859 гг. Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем – || 318, 319.

«Севильский цирюльник» – опера Россини – 39.

Селиванов А. В. – «Род дворян Поливановых». Владимир, 1902 – || 319.

Селиванов, Илья Васильевич (1810—1882) – писатель, автор «Провинциальных воспоминаний» (1857) – || 357, 358.

Соболевский, Сергей Александрович (1803—1870) – друг Пушкина, библиограф и библиофил – || 357.

«Современник» – журнал, основанный в 1836 г. Пушкиным и после его смерти издававшийся П. А. Плетневым, который в 1847 г. передал право издания Некрасову и Панаеву;

в «Современнике» были напечатаны первые литературные произведения Толстого, начиная с «Детства» (1852) – || 279, 280, 291—293, 305, 337.

«Солдатский вестник» – задуманный Л. Н. Толстым, но запрещенный властями журнал для солдат – || 332.

Соловьев, Сергей Михайлович (1820—1879) – русский историк, профессор Московского университета – || 357.

«Сомнамбула» – опера Беллини – 39.

Срезневский, Всеволод Измайлович – || 287, 288, 295, 327.

В. И. Срезневский – «Георг Кизеветтер, скрипач Петербургских театров (к истории творчества Л. Н. Толстого) 1857—1858» – || 295.

Стелловский, Федор Тимофеевич (ум. 1875 г.) – владелец типографии, издатель, книгопродавец – || 295, 308.

Ст[олыпин?] – вероятно, Аркадий Дмитриевич (1821—1899); во время Крымской кампании – адъютант начальника артиллерии действующей армии – || 322.

Строг[анов?] – вероятно, граф Григорий Александрович (1823—1878), с 1855 г. муж в. кн. Марии Николаевны – || 322.

Судаково – имение Арсеньевых, знакомых Толстого – || 305.

Сухотин – вероятно, Александр Михайлович (1827—1905), участник Крымской кампании, затем мировой посредник первого призыва и Новосильский предводитель дворянства – || 328.

Сушков, Николай Васильевич (1796—1871) – литератор 1830—40-х годов – || 357.

Талызина – см. Арсеньева В. В.

Татьяна Александровна – см. Ергольская Т. А.

Тильзитский мир – мир Наполеона I с Александром I и прусским королем Фридрихом-Вильгельмом, заключенный 25 июня (7 июля) 1807 г. – 214, || 323.

Тициан, Вечеллио (1477—1576) – итальянский живописец – || 182.

Товарищ Министра внутренних дел – см. Левшин, А. И.

Толстая гр. Александра Андреевна (1817—1904) – двоюродная тетка Толстого; их многолетняя переписка была в 1911 г. издана Петербургским Толстовским Музеем – || 279, 300, 301, 305—307, 316.

Толстая гр. А. А. – «Воспоминания о знакомстве с Л. Н. Толстым» – || 279.

Толстая, гр. Елизавета Андреевна (1812—1867) – двоюродная тетка Толстого, воспитательница детей в. к. Марии Николаевны – || 279.

Толстая, гр. Мария Николаевна (1790—1830), рожд. кж. Волконская – мать Толстого – || 344.

Толстая, гр. Мария Николаевна (1830—1912) – сестра Толстого – || 322, 330, 344.

Толстая, гр. Пелагея Николаевна, рожд. кж. Горчакова (1762—1838) – бабка Толстого – || 352.

Толстая, гр. Софья Андреевна – жена Толстого – || 302, 309.

Толстовский кабинет – при Публичной библиотеке Союза ССР им. Ленина (б. Румянцевский Музей) – || 281, 293, 301, 309, 310, 315, 317, 318, 325, 327, 330—332, 334, 339—343, 348, 349, 352, 358.

Толстой, гр. Вилериан Петрович (1813—1864) – муж гр. М. Н. Толстой, сестры Толстого – || 330.

Толстой, гр. Дмитрий Николаевич (1827—1856) – брат Л. Н. Толстого – || 344.

Толстой Л. Н. – «Альберт» («Музыкант», «Поврежденный», «Погибший», «Пропащий») – || 287, 299, 316, 356.

– «Анна» («Семейное счастье») – || 306.

– «Анна Каренина» – || 352.

– «Беглец» («Казаки») – ‖ 322, 352.
– «Воспоминания детства» – ‖ 352.
– «Детство» – ‖ 352.
– «Дневник помещика» – ‖ 338, 343—346.
– Дневник Толстого – ‖ 277—280, 286—290, 292, 300, 304—306, 315—319, 322, 323, 327, 330—332, 334, 336—339, 342, 343, 346, 347, 351.
– «Записки мужа – ‖ 327.
– «Записки мужа из дна» – ‖ 327.
– Записная книжка – ‖ 277, 324, 325, 331, 347.
– «Зараженное семейство» – ‖ 352.
– «Казаки» («Беглец») – ‖ 302, 305, 316, 322, 352.
– «Как умирают Русские солдаты» («Тревога») – ‖ 332, 333.
– «Лето в деревне» – ‖ 345, 351—353.
– «Люцерн» («Из записок кн. Нехлюдова») – ‖ 277—280, 285, 239.
– «Музыкант» («Альберт») – ‖ 292.
– «Отъезжее поле» – ‖ 277, 289, 321—326.
Письма Толстого:
П. В. Анненкову – ‖ 318.
П. И. Бирюкову – ‖ 304.
В. П. Боткину – ‖ 278, 279, 288, 306, 307, 356.
Н. А. Некрасову – ‖ 290—292.
гр. А. А. Толстой – ‖ 279, 301, 305—307.
Письма к Толстому:
В. П. Боткина – ‖ 306, 307.
Н. А. Некрасова – ‖ 291, 305.
И. С. Тургенева – ‖ 305.
– «Поврежденный» («Альберт») – ‖ 289, 294, 317.
– «Погибший» («Альберт») – ‖ 289—291, 295.
– «Практический человек» – ‖ 322.
– «Пропащий» («Альберт») – ‖ 288, 289.
– «Путевые записки по Швейцарии» («Отрывок дневника 1857 г.») – ‖ 317, 318.
– «Роман руского помещика» – ‖ 336, 339.
– «Светлое Христово воскресенье» – ‖ 331.
– «Семейное счастие» («Анна») – ‖ 304—314, 352.
– «Сказка о том, как другая девочка Варинька скоро выросла большая» – ‖ 330.
– «Смерть» – ‖ 300.
– «Сон» – ‖ 293, 361.
– «Сочинения». Изд. Ф. Стелловского, в двух томах. СПБ. 1864 – ‖ 293, 308.
– «Сочинения». Изд. 3-е, в восьми томах. М. 1873 – ‖ 281, 308.
– «Сочинения». Изд. 4-е, в одиннадцати томах. М. 1880 – ‖ 308.
– «Сочинения». Изд. 5-е, в двенадцати томах. М. 1886 – ‖ 281, 308.
– «Сочинения». Изд. 6-е, в двенадцати томах. М. 1886 – ‖293.
– «Тревога» («Как умирают русские солдаты») – 332, 333.
– «Три смерти» – ‖ 300—303.
– «1805 год» – ‖ 322.
– «Утро помещика» – ‖ 336, 339.
– «Юность» – ‖ 322.
Толстой, Л. Н. – «Избранные произведения», под ред. М. А. Цявловского. Изд. ГИЗа М. —Л. 1927 – ‖ 344, 353.

Лев Толстой – «Неизданные художественные произведения», со вступительными статьями А. Е. Грузинского и В. Ф. Саводника. Изд. Федерации М. 1928 – || 358.

Толстой и Тургенев. – «Переписка». Редакция и примечания А. Е. Грузинского и М. А. Цявловского. М. 1928. – || 305, 349.

Толстой – «Памятники творчества и жизни». Вып. 4. М. 1923. – || 279, 292, 306, 307.

Толстой. «1850—1860. – Материалы. Статьи». Редакция В. И. Срезневского. Труды Толстовского Музея Академии наук СССР» Л. 1927. – || 287, 295.

Толстой, гр. Николай Николаевич (1823—1860) – старший брат Толстого – || 300, 322, 344.

Толстой, Сергей Львович – || 325, 345, 346.

Толстой, гр. Сергей Николаевич (1826—1904) – брат Толстого – || 344.

Толстой И. Л. – «Мои воспоминания». Москва. 1912 – || 352.

Томашевский, Антон Францевич (1803—1883) – литератор, цензор иностранных газет при Московском почтамте – || 357.

«Травиата» – опера Верди – 159.

Тула – 264, || 344, 358.

Тульская губерния – 243, 245—248, 259—261, || 340, 344—348.

Тульская засека – заповедный казенный лес, тянущийся через Тульскую губернию и служивший в XVI—XVII вв. защитой от татарских набегов – || 327, 344, 346—348.

Тун (Thun) – старинный город на Ааре, в Бернском кантоне – 212, || 316.

Тургенев, Иван Сергеевич (1818—1883) – писатель – 271, || 279, 289, 291, 305, 338, 349, 356.

Тюльери (Tuileries) – дворец в Париже, резиденция последних французских королей, а также Наполеона I и III; дворец был сожжен в эпоху Парижской Коммуны в мае 1871 г. – 6.

Ундольский, Вукол Михайлович (1816—1864) – библиограф и исследователь древней русской письменности – || 357.

Фет (Шеншин), Афанасий Афанасьевич (1821—1892) – поэт – 271, || 351, 356, 357.

Фоканов, Владимир – яснополянский крестьянин – 254, || 346.

Фоканов, Семен Владимирович – яснополянский крестьянин – || 346.

Франция – 267.

Фрейбург – главный город одноименного кантона; в соборе св. Николая – знаменитый орган, с 74 регистрами и 7800 трубами – 196, 198, 204, || 316.

Фрейбургский кантон – один из кантонов Швейцарии со смешанным французским и немецким населением – || 320.

Фрейганг – автор «песни Риги» – || 283, 285.

«Фрейшюц» – опера Вебера – || 299.

Фрешенбург (Fröschenburg) – деревушка близ Люцерна – 7, 9.

Фридрих II (1712—1786) – король Пруссии – 192.

Фролков, Яков Андреевич – яснополянский крестьянин – 253, || 346.

Хомяков, Алексей Степанович (1804—1860) – писатель, один из основателей славянофильства – || 355, 357, 358.

Цюрих – город в северо-восточной части Швейцарии, центр промышленной и интеллектуальной жизни немецкой Швейцарии – 14.

Цявловский, Мстислав Александрович – || 305, 344, 349.

Чахгири – крепость на Кавказе, на границе с Большой Чечней – 232.

Черемушкин – тульский купец – 264.

Черкасский, кн. Владимир Александрович (1824—1878).

Чернский уезд, Тульской губернии – || 344.

Чечня (Большая и Малая) – область на северном склоне Андийского водораздела, в равнине р. Сунжи и ее притоков – 234.

Чичерин, Борис Николаевич (1828—1904) – русский ученый, философ и общественный деятель, автор многочисленных исследований по истории и теории права – || 322, 357.

Шамиль (1797—1871) – вождь горцев Дагестана и Чечни в их борьбе с русскими за независимость в период захвата русским царизмом Кавказа – 233.

Шамуни, правильнее Шамони (Chamonix) – деревня в Савойе, у подножия Мон-Блана – 14.

Шато д'Е – см. Château d'Oex.

Швейцария – 3, 5, 14, 192, 194, 202, 204, 210, || 281, 282, 285, 289, 316, 319, 320.

Швейцергоф – гостиница в Люцерне – 3, 7, 9, 11—13, 16, 18, 23, || 277—279, 282.

Шевич, Лидия Дмитриевна, рожд. гр. Блудова (1815—1882) – дочь гр. Д. Н. Блудова – || 338.

Шевырев, Степан Петрович (1806—1864) – историк литературы, профессор Московского университета – || 362.

Шейдек (Scheidegg) – гора (1961 *м*), с которой открывается знаменитый вид на горную цепь Бернского Оберланда – || 316.

Шиллер, Фридрих (1759—1805) – немецкий поэт – || 299 («Текла», «Жалоба девушки»).

Шильон – замок, построенный на скале у берега Женевского озера, между Монтрё и Вильнёвом; в Средние века и позднее служил крепостью и тюрьмой Савойских герцогов – 193.

«Шильонский узник» – поэма Байрона (1816) – || 320.

Шопен (1809—1849) – польский пианист и композитор – 39, 158 (ноктюрны), 161 (мазурка).

Шпицберген – группа островов в Ледовитом океане (Грумант – у поморов) – || 346.

Шуберт, Франц (1797—1828) – немецкий композитор – || 299 (музыка к «Текле» и «Жалобе девушки» Шиллера).

Шульгоф Юлий (1825—1898) – немецкий пианист и композитор – 79.

Эйгес, Иосиф Романович – || 293.

Эйгес И. Р. – «Из творческой истории рассказа «Альберт» Л. Толстого» – || 292.

Эйхенбаум, Борис Михайлович – || 292.

Б. Эйхенбаум – «Лев Толстой. Книга первая. 50-е годы». Л. 1928 – || 292.

Юра (Jura) – горный хребет, проходящий по сев.-западной части Швейцарии, в виде отдельных параллельных цепей – || 320.

«Юристен-вальцер» – вальс Иоганна Штрауса – 43.

Яблочков, М. Т. – «Дворянское сословие Тульской губернии». 16 вып. Тула, 1891—1914. – || 359.

Ягодная – деревня Крапивенского у., Тульской губ., принадлежавшая Толстому – || 344.

Яков – см. Фролков Я. А.

Ясенки – деревня Крапивенского у., Тульской губ., принадлежавшая Толстому – || 344.

Ясная поляна – деревня Крапивенского уезда, Тульской губ., в 15 *км* к югу от Тулы, – именье Толстого – 243, 245, 247—249, 262, 263, || 335, 336, 338, 340—345, 347, 348, 351, 352.

Aix-les-Bains (Экс-ле-Бэн) – город в Савойе, известный своими целебными источниками – 15.

A1ières (Альер) – деревня на северном склоне Жаманского перевала – 202—205, || 317.

Argovie – см. Арговия.

Asti (Асти) – город в Пьемонте, в северной Италии, известный своими виноградниками, производящими шипучее вино («asti spumante») – 16.

Avants (точнее Les Avants. Аваны) – деревня в 10 *км* от Монтре, у подножия Жамана – 196, 198, 200, || 317, 320.

Basset – деревушка на берегу Женевского озера, в 1 *км* от Кларана – 193, || 319.

Bath – английская бумажная фабрика – || 280, 332.

Braddon – см. Брэддон.

Carnaval de Venise – пьеса для скрипки Никколо Паганини – 160.

Chamby – деревушка в окрестностях Монтрё – || 322.

Champfleury – «Histoire de l'imagerie populaire» – || 321.

Château d'Oex (Шато д'Е) – местечко в Фрейбургском кантоне, на берегу Сарины; горный курорт – 208, 210, || 316, 317.

Chopin – см. Шопен.

Clarens – см. Кларан – 194.

Côte – название части сев.-западного побережья Женевского озера, по обеим сторонам города Ролль (Rolle); местность известна своими виноградниками, дающими лучшее швейцарское белое вино – 206, || 320.

Dent de Jaman – см. Жаманский зуб.

Gessenay – местечко в долине Сарины, центр производства «швейцарского сыра» (fromage de Gruyère) – || 317.

Greyerz – «Die Mundartdichtung der deutschen Schweiz». Leipzig. 1924 – || 283.

Île de Pei1z – искусственный островок у юго-восточного берега Женевского озера, против Вильнёва – || 319.

Ineichen Joseph – швейцарский поэт – || 285.

L'air du Righi – || 285, 286.

Jaman (Жаман) – гора и горный перевал (Col de Jaman, 1516 *м*) в 12 *км* к северу от Монтрё – 193, 200, 203, || 317.

Montbovon (Монбовон) – деревня в долине реки Сарины, во Фрейбургском кантоне – 205, 206, 210, || 317, 321.

Mont Cubli – гора в окрестностях Монтрё (1192 *м*) – || 320.

Montreux – см. Монтрё – 193.

Murray John – Джон Меррей – английский книгоиздатель, известный между прочим своими «Путеводителями» по разным странам – 3, || 281.

P. Pav1ov. – «Tolstoy's Novel: Family Happiness» – || 304.

Plombières (Пломбьер) – городок в Вогезах, известный своими целебными источниками; летнее местопребывание Наполеона III, который построил здесь небольшой дворец – 23.

Rigi Vaudais (Водская Риги) – небольшая гора вблизи Монтрё – 197, 198, || 320.

Sarine (немецк. Saane) – горная река, приток Аары, впадающей в Рейн – 206.

St. Bernard – два горных прохода в западных Альпах: Большой Сен-Бернар, ведущий из Италии во Францию, и Малый Сен-Бернар, соединяющий Италию с Швейцарией – 14, 15.

St. Gotthard (Сен-Готар) – горный проход в центральных Альпах, ведущий из долины реки Тичино (приток По) в долину Рейса (приток Рейна) – 14.

Slavonic Review (Славянское обозрение) – английский журнал – 304.

Vaud (нем. Waadt) – Водский кантон, лежащий на северном берегу Женевского озера и принадлежащий к числу французских кантонов Швейцарии – 209, || 320.

Votier M-me – см. Вотье – 195.

СОДЕРЖАНИЕ
(из 5-го тома Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого)

Предисловие к пятому тому… VII
От редакции… IX
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1857—1859 гг.
Из записок князя Д. Нехлюдова (Люцерн). (1857)… 3
Альберт (1857—1858)… 27
Три смерти (1858—1859)… 53
Семейное счастие (1858—1859)… 67
Варианты из первоначальных редакций.
* Альберт… 145
*Три смерти… 166
* Семейное счастие… 168
НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ.
Художественные произведения.
*I. Начало фантастического рассказа. (1856)… 185
*II. Отрывок дневника 1857 года. (Путевые записки по Швейцарии)… 192
*III. Отъѣзжее поле (1857)… 214
*IV. Записки мужа (1857)… 220
*V. Отрывок без заглавия. (1857)… 222
**VI. Сказка о том, как другая девочка Варинька скоро выросла большая. (1857—1858)… 223
*VII. Светлое христово воскресенье. (1858)… 230
*VIII. Как умирают русские солдаты (Тревога). (1854, 1858)… 232
Статьи и заметки разного содержания.
*I. О военно-уголовном законодательстве. (1856)… 237
*II. Писания, относящиеся к проекту освобождения яснополянских крестьян (1856)
1. [Заметка о фермерстве]… 241
2. [Заметки к вопросу о порядке и условиях освобождения]… 241
3. Предложеніе крѣпостнымъ мужикамъ и дворовымъ сельца Ясной Поляны Тульской губ., Крапивенского уѣзда… 243
4. [Отношение к Министру Внутренних Дел С. С. Ланскому по поводу проекта освобождения крестьян]… 245
5. Докладная записка [Товарищу Министра Внутренних Дел А. И. Левшину]… 247
6. [Проект условия с крестьянами Ясной Поляны и Грецовки]… 248
7. Дневникъ помѣщика… 249
*III. Проект по лесному хозяйству (1857)… 259
**IV. Лѣто въ деревнѣ (1858)… 262
*V. [Записка о дворянстве.] (1858)… 267
**VI. [Речь в Обществе любителей российской словесности] (1859)… 271
КОММЕНТАРИИ.
В. Ф. Саводник.
«Из записок князя Д. Нехлюдова» (Люцерн)… 277
Н. М. Мендельсон.

«Альберт»
История писания и печатания… 287
Описание рукописей и гранок, относящихся к «Альберту»… 293
Сравнительный обзор текста всех редакций «Альберта»… 296
«Три смерти»… 300
«Семейное счастие».
История писания и печатания… 304
Описание рукописей «Семейного счастия»… 309
Сравнительный обзор содержания «Семейного счастия» по рукописям и по печатному тексту романа… 310
Художественные произведения.
В. Ф. Саводник.
[Начало фантастического рассказа]… 315
«Отрывок дневника 1857 года»… 316
Н. М. Мендельсон.
«Отъезжее поле».
История писания… 322
Описание рукописей «Отъезжего поля»… 325
«Записки мужа»… 327
Отрывок без заглавия… 328
«Сказка о том, как другая девочка Варинька скоро выросла большая»… 330
«[Светлое Христово воскресенье]»… 331
«Как умирают Русские солдаты» (Тревога)… 332
Статьи и заметки разного содержания.
[О русском военно-уголовном законодательстве]… 334
Писания, относящиеся к проекту освобождения Яснополянских крестьян… 336
1. [Заметка о фермерстве]… 339
2. [Заметки (А и Б) к вопросу о порядке и условиях освобождения]… —
3. Предложение крепостным мужикам и дворовым с-ца Ясной Поляны Тульской губ., Крапивенского уезда… 340
4. Отношение к министру внутренних дел Ланскому по поводу проекта освобождения крестьян… 341
5. Докладная записка [товарищу министра внутренних Дел А. И. Левшину]… 342
6. [Проект условий с крестьянами Ясной поляны и Грецовки]… —
7. Дневник помещика… 343
[Проект по лесному хозяйству]… 347
Лето в деревне… 351
[Записка о дворянстве]… 354
[Речь в Обществе любителей российской словесности]… 355
Указатель собственных имен… 359

Иллюстрации

Фототипия с фотографического портрета Толстого, снятого в Брюсселе в 1861 г. (размер подлинника) между X и 1 стр.

Автотипия с последнего листа черновой рукописи первой редакции повести «Альберт» (размер подлинника) между 48 и 49 стр.

Автотипия с 53 листа рукописи второй редакции романа «Семейное счастие» (размер подлинника) между 176 и 177 стр.

Автотипия с чернового наброска проекта освобождения крестьян (размер подлинника) между 256 и 257 стр.

Настоящее юбилейное издание первого полного собрания произведений Л. Н. Толстого печатается на основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 24 июня 1925 г.

6-я – 10-я тысяча

Книга набрана во 2-й типографии „Печатный Двор“ треста „Полиграфкнига“. Ленинград, Гатчинская, 26. Отпечатана с готовых матриц в тип. им. Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57. Зак. изд. X-00 № 736. Тираж 5000. Уполн. Главлита № Б 6588. Формат бумаги 68 × 100/32 по 77 600 зн. 12 бум. л. 24 п. п. Заказ. тип. № 3224. Корректор М. А. Перфильева.

*

Техническая редакция Н. И. Гарвея.